

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (524)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Сергей Самойленко. «недружная весна идет как из-под палки...» *и др. стихи*.....3
Ксения Чижикова. Идущий человек. *Роман*.....19
Люба Макаревская. «Небесные провода» *и др. стихи*.....127
Катя Сим. Во времена великанов. *Повесть*.....133
Виктор Лисин. «помню как бабушка говорила что за окном...» *и др. стихи*.....169
Сергей Тиханов. Рассказы из разных циклов.....176
Данил Файзов. «буколика» *и др. стихи*.....180
Андрей Рухлин. Возврат по браку. *Рассказ*.....187
Дарья Варламова. «Год начался со смерти...» *и др. стихи*.....192
Вадим Ярмолинец. Кадры из фильма «Одесса. 80-е».....197
Алина Витухновская. «Во имя лишь себя самой» *и др. стихи*.....204
Владимир Тренин. Дождливый январь. *Рассказ*.....210

ПЕРЕВОД

Маргерит Янг (1908–1995). Покойницы. Бабушкина нога. *Рассказы*
Перевод с английского Микиты Неймана.....215

АНАГРАММЫ

Валерий Силиванов. Сочиненья (неясно чьи).....223

NON-FICTION

Григорий Беневич. Перекресток судьбы.
Отрывки из книги мемуаров.....228

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алексей Порвин. Бубонная сажа для угнетённого когнитария
О кн.: Петр Содоловский (Разумов). Чёрная пчела: строки вернувшегося.....253

Борис Кутенков. Карфагенский колокол
О кн.: Мария Степанова. Перемещённое лицо: Статьи последних лет.....256

Антон Васецкий. Пять стадий принятия неизбежного
О кн.: Анна Гедымин. Возьми себе.....260

Евгения Либерман. «Ты беззаботная, моя вьюга»: *Хроники конца света в поэзии Насти Верховенцевой*
О кн.: Настя Верховенцева. Все спят не видя сна.....262

© «Волга», 2026

Сергей САМОЙЛЕНКО

***

недружная весна идет как из-под палки
сосулек бахрома висит ни в зуб ногой
кто в лес кто по дрова вороны или галки
галдят заупокой

февраль от слова арт рифмуется с артрозом
кругом сплошной грабарь берлинская лазурь
суставами скрипят больничные березы
не бзди глаза разуй

снег ноздреват и рыхл он держит нос по ветру
предчувствует апрель по первое число
а мне отшибло нюх я ничему не верю
тем более в добро

предполагая жить хоть чучелом хоть тушкой
гляжу на белый свет сквозь черные очки
пока над головой не грянут как царь-пушкин
саврасовы грачи

***

прокуренного утра
сырая хренотень
лохмата как лахудра
персидская сирень

бриллиантовая зелень
озон и никотин
газующей газели
разбавленный бензин

цветет в ближайшей луже
павлиний хвост аи

Сергей Самойленко родился в 1960 г. в Макеевке, Донецкая область. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (отделение поэзии). Стихи публиковались в журналах «Литературная учеба», «Соло», «Юность», «Волга», Homo Legens, интернет-журнале Text Only, антологии «Нестоличная литература» и др., входили в шорт-лист премии «Антибукер» (1998). Автор четырех книг стихов. Как театральный критик публиковался в газете «Культура», в «Петербургском театральном журнале», журнале «Около». Переводит поэзию и современную и классическую драматургию (Мариво, Мольер, Ясмина Реза, Франсис Вебер, Себастьян Тьери и др.). Преподает историю зарубежного театра в Балтийской школе музыкальных и сценических искусств (Калининградский филиал РГИСИ).

и ты недоразбужен
встаешь пинать хуи

пенсионер бездельник
еще не очень стар
выходишь в понедельник
с похмелья на бульвар

садишься благочинно
за столиком в кафе
и пьешь свой капучино
до шума в голове

поглядывая жадно
записывая впрок
все что неоднократно
имел и не сберег

всю эту ахинею
всю радужную чушь
все то что не умею
запомнить как ни тщусь

на возраст поздно дуться
но память неполна
без этого от блюдца
кофейного пятна

без вкуса мокрой пыли
и запаха листвы
не вспомнить кем мы были
и кем не стали вы

дожив до лет преклонных
без сердца и ума
тройным одеколоном
дохнет глухая тьма

асфальта и резины
удушливый букет
напомнит мнемозина
гася в прихожей свет

сирени и ранета
риохи и бордо
и я из жизни этой
откинусь по удо

***

вяз развязал распоясался ясень
в яблонях и в сирени по уши этот май
до отвращенья пышен щедро огнеопасен
до тошноты прекрасен только не умирай

лыка не вяжут клены в зелени по макушку
в мае заря пунцова и кумачов закат
ухает ночью филин хором поют лягушки
тополь в росе по локоть липа в цвету до пят

сколько осталось весен и без кукушки ясно
празднуйте под фанфары следующий пожар
пусть все горит огнем а у меня погасло
выгорело дотла сжалься не уезжай

жаворонок в зените и росиньоль в рябине
ласточки ортоланы и остальная родня
оплачьте похороните кого еще не убили
спойте над пепелищем порадуйтесь за меня

***

Этот город брусчат и узкоколеен.
Как мы здесь очутились? Почти случайно.
В старом доме на бывшей Луизеналлее
просыпаясь затемно от криков чаек,
за объедки дерущихся на помойке,
все враждебным кажется с непривычки.
Ну не плачь, любимая, успокойся,
полчаса до моря на электричке,
как ни странно, многое искупает,
все могло бы быть и куда паршивей.
Хочешь, смотаемся искупаться?
Надо было дальше, но не решились.

Поменялись ПИН-коды, пароли, явки.
Вперемежку с хрущевками – кирхи, шпили.
Почему б в этой бухте не бросить якорь? –
говоря фигурально, высоким штилем.
Сильно смахивая на условный Запад
или на Европу с приставкой недо,
виноград камуфлирует на фасадах
вездесущие баннеры «За Победу!»
Проступают призраки Кёнигсберга
сквозь витрины и окна Калининграда,
и под сетью дырявой «Янтарьэнерго»
полыхают напалмом провалы ада.

Две волны британских бомбардировок
выжгли центр дотла в сорок четвертом.
Вот тогда-то было совсем херово –
те, кто выжил, завидовали мертвым.
А сейчас, как игрушечные, из лего,
карамельные домики, разномастны.
Здесь зимой почти не бывает снега,
и морозы такие, что курам на смех.
А в апреле, стряхивая оцепененье,
как с цепи сорвавшись, цветет весь город
алычой, форзицией и сиренью,
и магнолией, и прочей флорой.

Кипарисы, буки, дубы, каштаны,
а под сенью – пежо, мерседесы, порше.
По сравненью с Сибирью не те масштабы,
не спеша дошагаешь пешком до Польши.
Никогда я не видел руины замков,
гнезда аистов и колтуны омелы.
Здесь снимают кино про войну и Запад,
но снимают халтурно и неумело.
Крестоносцы, пруссы, тевтонский орден,
гугеноты, беженцы, релоканты...
У собора роятся туристов орды,
ночью светится красным могила Канта.

Сколько в этих болотах костей и кладов,
сколько в Балтике янтаря и рыбы?
Неизвестно, зачем нам все это надо,
но на всякий пожарный скажу спасибо,
выходя под кантовским звездным небом
в ясной памяти на песчаный берег,
не успев дописать, что мечтал, но недо,
не доделав всего, что хотел, но пере.
Я надеюсь в последнюю четверть честно
научиться жизни нельзя нелепей.
Лучше моря вряд ли найдется место
над водой развеять по ветру пепел.

***

Что означает, если приснится
глокая куздра, железная птица?
Крылья как два топора.
Смотрит в упор на манер василиска
призрак совриска из Новосибирска,
напоминая: «Пора!»

Кашель к утру разрывает мне бронхи,
Память давно превратилась в обломки,
сколько ни ройся – облом.
Был вундеркиндом, а стал октябрёнком.
Летом в деревне доили буренку,
пахло коровьим говном.

Первая школа была деревянной,
ставила двойки в дневник Мариванна,
так объясняя отцу:
«Мальчик ваш очень способный, но бука,
может за день не промолвить ни звука».
Всыпать ремня стервецу!

Был интровертом, а стал пионером.
Звали Французом, Гроссмейстером, Серым,
как-то еще, позабыл.
«Мальчик, конечно, блестящий, но лодырь!»
Слеты, линейки, костры, турпоходы –
как же я вас не любил.

С металлоломом и с макулатурой –
фартуки, банты – набитые дуры.
Я не влюблен ни в кого!
Правда, была одна Зина, нет, Нина,
важная шишка в совете дружины,
страсти предмет роковой.

Школьные годы летели со свистом.
Был шахматистом, а стал онанистом,
тут и прыщи по лицу.
Дама червей, обнаженная маха,
помесь стыда, вожделения, страха –
много ли надо юнцу.

Так бы и шло. Но не знамо откуда
что-то дохнуло предчувствием чуда,
в строчки сложились слова.
Был комсомольцем, а стал рифмоплетом,
строчку за строчкой, как из пулемета,
сам понимая едва.

Все понеслось кувырком и вприпрыжку:
дружба, филфак, рукописные книжки,
Вагинов, Хармс, Мандельштам.
Юность прошла между Щербой и Проппом.
В очередь – Брежнев, Черненко, Андропов,
как анекдот не для дам.

Память слабее, чем к финишу ближе.
Терпит бумага, губерния пишет
прямо в графу «Итого».
Кто там учил ничего не бояться?
Был распиздяем и жил тунеядцем,
мне ли пенять на него.

Мальчик, корпевший над чистой страницей,
мог ты представить, что так все случится,
ровно до наоборот?
Стать переводчиком и мизантропом
в мире, в котором не будет Европы,
может и мира вот-вот.

Птица проклятая, мерзкая куздра!
Мир постепенно съезжает ли с глузда,
следом за миром не я ль?
Кто-нибудь скажет, что будет в финале?
В этом финале не будет морали,
да и при чем тут мораль.

***

Чем там движется все, amore?
На другом краю материка
выйдешь на берег – море, море!
Небо, чайки и облака.

Цвета кровельного железа
и бутылочного стекла,
бьется вдребезги о волнорезы,
растекается, как смола.

Шевелящийся блеск атласный
в смятых складках гофре, плиссе.
В шторм – грохочущая автотрасса,
в штиль – чуть слышимый плеск в песке.

Вечно разное и другое –
ночью, утром, в разгаре дня.
То зеленое, то седое,
не похожее на меня.

Ближе к старости ценишь вдвое –
жизнь в эксклаве на сложных щах,
не смолкающий гул прибоя,
заглушающий шум в ушах.

Атлантические задворки,
где янтарь продают на вес.
Я б хотел здесь, как Ленин в Горках,
навсегда умереть не весь.

Или лучше – как Кант. Философ
был у моря хоть раз? Вопрос.
В детстве, может быть, стать матросом
он мечтал, да не довелось.

Никогда не блевал от качки,
но в предсмертном бреду не зря
Кант кричал, как матрос на мачте:
«Вижу землю. Земля! Земля!»

***

сикарашки жучки бикарасы
косиножки на ломких ногах
жизнь прекрасна до третьего класса
даже если ты с ней не в ладах

облаченные в экзоскелеты
водомерки сверчки светлячки
население дачного лета
уйма мух легион саранчи

баснословная фауна детства
заповедник июльского дня
мир природы не знает злодейства
насекомым плевать на меня

пауки уховертки двухвостки
для чего эти твари нужны
спинки в крапинку брюшки в полоску
крылья радужны жвалы страшны

тараканы букашки козявки
царство моли держава клещей
вы останетесь здесь на хозяйстве
если мы испаримся вообще

трубковерты хрущи дровосеки
кто любил вас сильнее чем я
хладнокровная раса инсектов
не родня они нам не друзья

щелкуны скрипуны трупоеды
жесткокрылы живучи умны

эти монстры не с нашей планеты
ксеноморфы чужие не мы

эти панцири эти кирасы
блеск металла хитиновый лязг
копошащаяся биомасса
мириады фасеточных глаз

караулящих нас в наших кущах
ожидая последний бултых
жрущих жалящих кровососущих
как две капли похожих на них

***

Снять дачу. Главное – недорого,
без разницы в какой глуши.
Сдают знакомые, от города
верст шестьдесят. Читай, пиши.

Да, не у черта на куличках, но
не ближний, согласитесь, свет,
не меньше часа электричкой,
другой альтернативы нет.

Там жил пенсионер-мичуринец,
шесть соток заросли травой –
копай, пока не окочуришься,
и превратишься в перегной.

Приедешь. От хозяйской рухляди
избавишься, запрешь в сарай
панно, засиженное мухами.
Проветришь. Подметешь. Гуляй.

И вот, чуть обозрев окрестности –
дом, пруд, лес, речка, ебеня –
сядь на крыльце в хромое креслице,
не зная, чем себя занять.

Пока шурупом вместо штопора
откупориваешь мерло,
свет гаснет медленно, как в опере,
перед премьерой «Фигаро».

Кого дают сегодня вечером?
Дают дрозда и соловья.
А что еще здесь делать? Нечего.
Тем паче дача не своя.

Все замерло в лиловых сумерках,
Сиди и слушай, как дурак,
настырный комариный зуммер,
и выключить его никак.

Другое дело электричество,
оно совсем наоборот,
начнет подмигивать панически,
пока совсем не пропадет.

Во всей округе свет отключится,
придет подстанции каюк,
и небо звездное колючее
над головой зажжется вдруг.

Над муравьиным мегаполисом,
борщевиком и лопухом.
Над магазином за околицей,
над валуном, поросшим мхом.

Над фермерством, над мелким бизнесом,
над ебенями, хоть убей.
Над Западно-Сибирской низменностью,
над малой родиной моей.

***

черешневою косточкой
заряжен пистолет
поигрывает тросточкой
повеса и поэт

к нему судьба индейка
с рождения добра
прекрасная еврейка
ему вчера дала

ему дуэль рулетка
он промаха не даст
поэт стреляет метко
ведь он же пушкин ас

к цыганам ездит в табор
читает при свече
и сочиняет рапорт
в стихах о саранче

играет на бильярде
в очко и в домино

курчавит бакенбарды
буянит в казино

ведет он жизнь пустую
ужимки и прыжки
кутит напропалую
корябает стишки

скучая в кишиневе
напрашиваясь чтоб
граф косточкой вишневой
влепил повесе в лоб

а после в зрелом возрасте
известнейший пиит
классическою прозой
нам все изобразит

черешню бессарабию
где в ссылке аки царь
жил не без безобразия
коллежский секретарь

***

моя муза крови набрала в рот
не мычит не телится третий год
только смотрит волком
врешь как дышишь безграмотная урла
в голове громко гавкает абырвалг
да щетинит холку

где свинья в ермолке там конь в манто
сучья речь перешла на жаргон ментов
на язык суконный
уголовную феню блатной шансон
на казенный сленг на тюремный стон
с похоронным звоном

научись не вздрагивать слыша: «ложь!»
нож любой завет обращает в ложь
ни закона ни благодати
воровской словарь лексикон жулья
неживой язык мертвым ртом жуя
исполать вам бляди

я молчу как убитый как рыба нем
лучше ржать как конь как гуигнгнм
иго-го без ига

без ярма неправды оброка лжи

говорят: спасибо скажи что жив

говорю спасибо

***

В.Н.

колыбель качается над бездной
спит младенец в люльке видит сон
никому на свете не известно
кем он станет кем не станет он

ничего пока что не понятно
бесполезно всматриваться в тьму
вспышки света солнечные пятна
будут сниться без конца ему

райский сад не тронутый распадом
детства разноцветное кино
ничего предсказывать не надо
все и так предопределено

все и так уже предельно ясно
катится россия под откос
продолжая сниться неотвязно
через радужную призму слез

продолжая сниться еженощно
в поездах отелях номерах
все что б ты хотел увидеть очно
до того как будешь умирать

и когда на мелкие осколки
с треском разлетится голова
сложатся в узор калейдоскопа
баттерфляи стеклышки слова

Максу, до востребования

храни тебя господь в сухом прохладном месте
определив в нз на самый черный день
отрезанный ломоть не ставший грузом двести
до скорых новых встреч лишенец и мишень

посмертно рядовой словарного запаса
кого благодарить что ты в такой стране

не лагерная пыль не пушечное мясо
а проклятый поэт умерший не вполне

до страшного суда лежи в обложке братской
пока не подключат вселенский интернет
не извлекут на свет трубой своей дурацкой
прочтут и навсегда опять погасят свет

***

кто в детстве не стоял в углу
весь вечер в темном коридоре
нарочно разломав юлу –
не знает что такое горе

кто в школе не носил очков
глаза испортив в одночасье
дюма читая с ночничком –
не понимает как он счастлив

не плоскостоп не близорук
залезть умея по канату
кого не презирал физрук
и не дразнили очконавтом

кто не зубрила не задрот
и не ботан четырехглазый
отличник весь учебный год
игноримый всем третьим классом

тихоня маменькин сынок
бредущий в школу чуть не плача
боялся двоечников мог
дать сдачи только по-девчачьи

блажен моральный инвалид
прошедший этот ад без травмы
без непрощаемых обид
бойкотов унижений травли

пусть этот нравственный урод
живет животным толстокожим
как крокодил и бегемот
ничем не мучим не тревожим

пусть набивает свой живот
пивасиком и дошираком
навряд ли до него дойдет
когда-нибудь как до жирафа

пусть вкусно жрет и сладко пьет
пусть хоть на бали тушу нежит
ты не поверишь в рот компот
есть у рептилий гилти плежа

чему же предается он
в маразм впадая будто в детство?
не угадал не секс не сон
не алкоголь не людоедство

ты прав игрушечный волчок

поставлен в угол в наказанье
надавливая на зрачок
до ощущения сиянья
фрактала радужки
течет
из глаз и носа

дурачок
не плачь не плачу ну и я не
о чем тут плакать?
ни о чем

***

летучая гряда небесная регата
неведомо куда плывет из-за бугра
ничей воздушный флот беспаспортных фрегатов
не ищущих себе ни друга ни врага

не знавших никогда ни рима ни эллады
ни мира ни войны ни жизни не по лжи
плывут куда хотят или куда им надо
к ненашим берегам в чужие рубежи

им кучевым плевать на санкции таможню
на средства пво и визовый режим
пока ты пузом вверх как вечности заложник
на пляже нагишом безвылазно лежишь

над балтикой гроза над черным морем тучи
кругом холодный фронт и горизонт багров
куда ж нам плыть нигде уже не будет лучше
а небо навсегда закрыто на засов

***

в самой западной провинции
не настолько уж глухой
по остаточному принципу
существуем мы с тобой
на околице империи
на краю материка
без амбиций и вне времени
наблюдая облака
проходящие над балтикой
атмосферные фронты
где ни зетников ни ватников
только я и только ты

в нашей внутренней монголии
ни войны ни сво
блогеров многоглаголание
не меняет статус-кво
если и читаем новости
не про дроны и бахмут
здесь в восточнопрусской волости
рододендроны цветут
нежно розовеет сакура
и черемуха за ней
нестерильной ватой сахарной
кутает культи ветвей

с этим минимумом базовым
ждем без страха и стыда
как у господа за пазухой
даты страшного суда
чуть проклюнется форзиции
неживая желтизна
и разит по всем позициям
трупным запахом весна
оголяет плоть магнолия
естеством своих телес
тошнотворное зловоние
источая до небес

мы живем здесь как на острове
а точней как на луне
не поддерживаем острые
разговоры о вине
в смысле не о фанагории
как в такие времена
сосуществовать у моря и
обходиться без вина
без надежды и без радости

встретить дивный новый свет
жить и жить бы так до старости
но у нас ни шанса нет

***

далеко ли еще мне до патриарха?
облачиться пора б уж в парчу и бархат
сразу стать респектабельным и вальяжным
а не валять дурака на нудистском пляже

хорошо б озаботиться внешним видом
педагогу приличествует пиджак из твида
а не джинсы с майкой-алкоголичкой
пошитой на фабрике большевичка

врать не буду гонялся и я за модой
молодым был однажды душой и мордой
и в шестнадцать бы отдал за леви страус
честь и совесть оставив лишь ум на старость

в прошлой жизни носили мы клёш пошире,
трузера из афиш театральных шили
и не стриглись по году лелея хаер
лишь бы быть не похожими на эти хари

но ума и сейчас у меня немного
и похож я на старого педагога
а точней на старого изувера
студиозусов мучающего мольером

не достать за деньги штанов желанных
ни ливайсов ни врангеля ни монтаны
нет сегодня коттона такого кроя
стать моложе вчетверо или втрое

нет такого неба цвета индиго
чтоб под ним как тогда хоть на миг могли бы
где еще все живы и никто не старый
а из окон настежь одна шизгара

***

Сергею Солоуху

Рожденному в СССР,
мне в детстве недодали моря.
Уж лучше б недодали хлеба –

мираж, химера, vive la mer!
До моря было, как до неба,
или до Марса, например.

Кого ебёт чужое горе,
моряк с сибирской печки бряк.
Всегда готовый пионер
срифмует на любом заборе
икс, игрек, неизвестный знак,
генсеку подрисует рожки,
изобразит Веселый Роджер –
memento mori,
флибустьер.

Короче, bref,
спустя полвека он все тот же,
состарился не повзрослев.
Штормит весь день. От соли в горле
першит. На вышке черный флаг:
купание запрещено.
Рискни – волна сбивает с ног,
швыряет, будто поплавок.
Захлебываешься, теряешь дно,
не говоря заплыть за буй.
Ну нах!

Вот маленький лайфхак:
похерь «ебёт», исправь – «волнует».
Безмерно в ширину, в длину ли,
неисчислимо в мире мер,
волнует, но теперь не так,
как в юности.
Пенсионер,
ты мог бы жизнь прожить иную,
на берегу морском пануя,
забыв войну и в ус не дуя,
примолодившись, как мудак.
Я прав? Не факт.

Ксения ЧИЖИКОВА

ИДУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Роман

Часть первая. Вниз

1.

По моей привычке ходить по городу можно подумать, что я люблю заглядывать в окна. Вовсе нет. В окно, про которое пойдет речь, я заглянул случайно.

Оно выходит во внутренний двор, похожий на глубокий и узкий колодец, с четырех сторон зажатый белыми стенами. В это окно нельзя заглянуть и никогда нельзя было, если, конечно, ты не живешь в одной из квартир напротив и не сосредоточишься мучительно на квадрате рамы, белом снаружи и черном внутри, стараясь уловить движение в глубине неосвещенных комнат.

Там живет старичок-пенсионер. Квартира пятьдесят шестая. Если спросить, как его зовут, я не вспомню.

Стоять за его плечом удобнее всего в темноте. Я смотрю, как он хромает, качаясь, из кухни в ванную, как дрожат его руки – цыплячьи прожилки вен, спущенная кожа на пальцах – когда он ополаскивает кастрюлю под струей воды.

Меня раздражает его старость. Я не переношу, что в какой-то момент старость становится жалобной – этот его дребезжащий, умоляющий тон, когда он разговаривает по телефону; как дрожит в его пальцах трубка, а он все извиняется, все переспрашивает, все как будто боится сказать, а потом все-таки вставляет свой подрагивающий вопрос, как руку в закрывающуюся дверь, чтобы придержать ее, пока она не захлопнется. Я ненавижу его привычку говорить «Уж прости, если что-то сделал не так», – виновато и немного наклонив голову, забывая про давление и про то, что ему надо держать ее прямо.

Когда ее забрали, он стал кружить по квартире. Натыкаться на кресла, открывать холодильник, подолгу смотреть туда, застыв на одном месте. Я в это время, кажется, стоял за его плечом и думал – раз уж я в его квартире, может, и я что-нибудь съем? Готов спорить, он не заметил бы, что что-то пропало, даже если бы все банки в холодильнике вдруг стали других цветов, а сам он заполнился чем-то вязким и склизким, вроде спекшихся кишок. Пластиковые баночки и плотно прилаженные крышечки над кровавой жижей. Спорю, что он все стоял и смотрел бы на разводы крови в желтом свете, а потом захлопнул бы дверцу, так ничего и не взяв.

У дальней стены был книжный шкаф, и я с любопытством рассматривал его. Мне всегда было больше интересно, что скажет книжная полка, или разделочная доска, или старая, пожелтевшая от времени пластмассовая лейка, уткнутая в угол подоконника, чем сам владелец квартиры. Я рассматривал переплеты – страницы внутри пожелтели, края иссохлись, за стекло воткнуты фотографии, и лица расплываются в темноте.

Ее забрали в среду. Не знаю, откуда я помню, что в среду, но он только что пришел из магазина и что-то хрипло кричал ей из кухни, а она лежала на кровати. Потом тот, что в оранжевой форме, подхватил ее на руки – совсем не так, как делают в фильмах, а куда грубее и быстрее – и понес. Ее

Ксения Чижикова родилась в 1992 году, выросла в городе Дубна Московской области. Закончила Высшую школу экономики, работает менеджером проектов. Живет во Франции. В «Волге» публиковалась повесть «Обычная история» (2025, № 7-8).

голова свесилась назад, и я подумал, что это же неправильно – надо как минимум придержать ее, чтобы не ударить об стену подъезда. И тому, который нес, как будто специально сказали сдвинуть брови как можно ближе. Другой, тоже в форме, стоял совсем близко и что-то говорил.

– Ее надо везти сейчас, прямо сейчас, вы понимаете? Постойте! Вы меня слышите? Вы слушаете, что я вам говорю?

Он все кивал, все искал что-то в пространстве руками и находил только спинку кресла.

– Да, да, я возьму такси...

– Не стоит беспокоиться, нет!

– Вот только поставил кофе... Простите, наверное он выкипел... Надо выключить, как вы думаете?

Его долго не было, и меня долго не было, потому что у меня, представите ли, были другие дела, но когда он вернулся, то вернулся без нее. Он все поглядывал на телефон, а тогда, когда не набирал номер, ходил – в дверь и за дверь, кругами по квартире, как будто если он повернет голову и посмотрит в окно, а потом снова резко ее повернет, телефон зазвонит. Но он не звонил.

Немощность, думал я с отвращением. Болезнь и старость неизбежно составляют вокруг тебя черный садок, и ты перестаешь даже понимать, в каком городе живешь. Может быть, в квартире, а может быть, на скамейке и ты вдруг очнулся, и уже ночь, и рядом спит бомж, выставив одну голую грязную ступню из-под брезентовой накидки. Или хуже – ты очнулся, а бомж сидит, согнувшись, и медленно поднимает глаза от книги, которую до этого читал, и смотрит прямо на тебя. И ты думаешь – что я здесь делаю?

2.

Что я здесь делаю. На самом деле это не тот вопрос. Хотя и этот вопрос имеет четкий и хороший ответ – я пришел сюда, потому что предчувствовал – что-то будет.

Я знаю, что ему нехорошо, по тому, что он перестал наполнять водой лейку. Перестал выходить на балкон кормить птиц. Иногда он подолгу сидит в кресле, закрыв глаза рукой. Когда он укладывается спать, я сижу рядом и смотрю, как горбится его спина – на левый угол подушки падает свет луны, но он поворачивается к луне спиной и отодвигается подальше. Я знаю, он ненавидит лунный свет. Теперь он спит на кушетке – их кровать так и стоит в углу, пустая, и красным квадратом смотрит в потолок.

Я знаю, о чем он думает. Он поправляет чашки в раковине и думает о том, что она не вернется. Он приходит из магазина и жмет кнопку звонка, зная, что внутри никого нет. Иногда он жмет ее по два или три раза подряд. Он тяжело поднимается наверх, часто останавливаясь между ступеньками – раньше он себе такого не позволял – и соседи окликают его, а он только тяжело кивает, длинный, полный кивок, чтобы люди не подумали, что он их не заметил. Он ездит ее навещать. Он звонит ей каждое утро и каждый вечер. Я не слушаю, о чем они говорят, но голос в трубке всегда ее, иногда медсестры, которая что-то говорит, и он покорно кивает обоям в цветочек, а потом так же покорно кладет трубку на рычаг.

Им было много дано. Столько лет это много, это больше, чем получает большинство – я ведь видел, как отрезаются эти нитки. Видел, как щелкают ножницы, как между пальцев отмеривается время. Но много тоже заканчивается. Или, может быть, я не понимаю, что такое много.

Он открывает окно. Я стою у него за спиной и смотрю, как он открывает – тянет на себя шпингалет, дергает оконную раму, возится и давит на ручку, всю в облупившейся белой краске. Внутри квартиры темнота, и снаружи, во дворе-колодце, тоже темнота, но молочно-белая, подкрашенная ночью. Ночь в городе никогда не бывает полностью темной. Окно высоко, и ему неудобно. Он приставляет к подоконнику стул, и осторожно становится на него, прямо в своих домашних тапочках.

Где-то в глубине квартиры жужжит холодильник.

Телефонная трубка лежит на столе – он специально ее туда положил, аккуратно сняв с рычага. Ему никто не звонит, им никто не звонил – я почти не заходил сюда раньше, но мне казалось, что

они жили в молчании, в свисте чайника, в недовольстве, что он так громко свистит. В их собственном молчании. Только когда она исчезла, стало понятно, как тихо в квартире на самом деле.

Он крепко держится за раму и смотрит во двор. Горит только одно окно, далеко слева. Белые стены отвесно уходят вниз. Сверху небо как будто выход из трубы.

Он ставит одну ногу на подоконник.

Я стою совсем рядом, рукой уперевшись в раму – да что там, я почти касаюсь его все еще слегка сгорбленной спины. Жаль, что он меня не видит. Он не смотрит вниз – он теперь смотрит прямо перед собой. Он внезапно выпрямился, как совсем молодой человек – просто стоит и смотрит прямо – окно высокое – и дыхание его становится все медленнее. Что, как он думает, ждет его пятью этажами ниже?

3.

То, что ты видишь, зависит от того, откуда смотреть. Когда я иду по городу, я смотрю вверх – как плывут дома, как сегодня начищены на них таблички, как открыты окна, а на балконах колышутся флаги.

Он еще стоит на своем подоконнике.

Я мог бы рассказать ему о том, что жить стоит хотя бы ради того, чтобы найти еще одну точку зрения. Если бы он стоял со мной на крыше самого высокого собора, если бы он поднялся выше, внизу кружились бы городские шоссе, он увидел бы, как догорает на западе желтое зарево заката. Если бы он смотрел на город с моря, далеко в заливе, рассматривал бы, как раскидывается ряд белых жемчужин, как роятся в вышине ласточки, как поет волна, как подбегает к городу и убегает опять.

Если бы он понял, что не стоит уходить с вечеринки раньше времени, даже если ты долго слонялся и ни в одном углу не мог себя приткнуть. Все равно можно выйти на балкон и вздохнуть, и посмотреть на то, как город колышется в ночи. Не стоит только смотреть вниз, и не стоит смотреть вверх, как будто хочешь взлететь – против гравитации, то есть вертикально вверх, все выше, выше и выше.

Корни этой истории начинаются в моем прошлом. Так, во всяком случае, мне кажется.

Не тогда, когда он поставил ногу на подоконник.

Не тогда, как я шел по городу и один день вдруг показался мне не таким, как другие.

Не тогда, когда я попал в его комнату и смотрел в его спину в темноте.

Даже не тогда, когда меня завербовали.

А тогда, как я познакомился с ней.

4.

Кровавое пятно. Крик, срывающийся и исчезающий в воздухе, как будто воздух его задушил.

– Пи-у, пи-у, пиииииииииии...

Приехали.

Машина.

– Да врача!! Вызовите же кто-нибудь врача!!!!

Хотя медики тут уже, конечно, не пригодятся. Истерика соседки с первого этажа. Она первая увидела, что он упал. Вначале подумала, что у кого-то опять, как в шестьдесят четвертой, выпал пакет с мусором, который до этого мирно стоял на подоконнике, но стоило только открыть раму, как на тебе.

Потом она поняла, что выпала не микроволновка. И не пакет с мусором.

– Он... он всегда так мило здоровался! Когда шел покупать овощи!

Вот и то, что остается. Чужой возглас. Административная работа. Неприятности. Ведра и ведра чистящего средства, чтобы отмыть кирпичную кладку внутреннего двора.

– Он теперь станет привидением? И будет тут жить?

Ребятенок из пятой.

Он и раньше тут жил в этом доме, хочется сказать мне. Но меня никто не замечает, и все устроено так, что меня никто не замечает – не замечает, что я стоял с ним рядом, не замечает, что я не стал смотреть на все это сверху. Мне не хочется подходить к пятну слишком уж близко – зачем?

– Вы знаете, что тут произошло? – здоровенный детина-пожарный – светоотражающий жилет, такие же светоотражающие брюки и ботинки, которыми можно подавить много вредителей, если долго и упорно топтать ими в очень маленькой комнате.

– У него жена в больнице, – кто-то из толпы. Голос вроде бы мужской, но срывающийся, как бывает у людей, которым по их собственным, нервным, причинам, хронически не хватает воздуха.

– Была в больнице. – женщина. Соседка с первого, что ли?

– Что, похороны были? Я думала, она еще болеет? Вернется скоро.

– Не знаю, по-моему, не было.

– По-вашему или не было?

– Да откуда я знаю!

Детина морщится и с некоторой осторожностью, но все же вытаскивает из толпы соседку с первого и аккуратно, но крепко берет ее за плечо.

– Вы видели, что здесь произошло?

– Н-ничего я... – она запинается, хотя обычно тараторит, как ненормальная.

– Да кто это? Из какой он?! – раздается из толпы.

– Из пятьдесят шестой.

– Тот старичок?! Тот? Да что ж за... он?? Да как он? Как он?! Вы что?

– А вы почем знаете, что из пятьдесят шестой?

– Из пятьдесят шестой, я вам говорю, и все. А вы думаете, откуда?

– Я не эксперт-криминалист!

– Ну и помалкивайте!

– Почему это я должен помалкивать? Разбудили, на уши поставили весь дом!

– Да замолчите вы наконец!!

– У меня ребенок проснулся! – какая-то женщина, из шестнадцатой, кажется, молодая мама. Голос у нее такой неприятный, что хочется немедленно заткнуть уши пальцами.

– А вы думаете, у вас одной ребенок?! А у меня нет ребенка?

– Вы что, тут одна живете, милая?

– Да замолчите вы!!

Детина по-прежнему держал соседку, готовую покачнуться, за плечо.

– Вот вы мне все и расскажете, правда? – произнес детина примирительно. – Кто был, что делал, что тут случилось.

– Что мне вам... рассказывать? – сказала она внезапно очень тихо. – Я ничего не знаю. Решил человек... ну... Из окна. Я-то тут при чем?

5.

Мне повезло, что не пришлось объяснять, как я попал в эту комнату. Если надо было, я бы, конечно, объяснил, но лишний раз я стараюсь не говорить о своей профессии.

Я поисковик. Специализируюсь на поиске людей. И вещей. И следов. Поиске того, чего тем, кто сейчас главные в городе, надо найти в данный момент.

Я работаю один, и работаю по заданиям. Задания бывают не то чтобы очень часто. Иногда по два в неделю, иногда по несколько недель ничего нет. Я ищу, что говорят, и передаю информацию. Все. С другими я не работаю, ни с кем не сотрудничаю, и одиночество такого рода обостряет мое поисковое чувство, эту большую пернатую тварь, которая иногда нетерпеливо бьется о дверцы клетки и хочет вырваться наружу. Хотя нет, я вру. Это чувство не похоже на птицу, совсем даже

нет, оно больше как ползущий над землей запах, бензин в ноздри, камень, дождь, перламутровое сияние, исходящее от стен домов. Я угадываю, от чего чем веет, что где находится, где прячутся секреты, и иногда даже и не приходится особо далеко ходить. Даже прощупывать и то не надо. Просто тонкая струя запаха. Просто то, что я вижу.

Они наняли меня не потому, что особенно искали, а потому, что такие, как я, у них на особенном счету. Таких, как я, мало, и их надо по возможности беречь, и их, в общем и целом, не трогают – не трогает то, что вилами вонзается в другие места, то, что оставляет кровавые следы на металлических поверхностях. Это не я им нужен, а то, что я могу. Но то, что я могу, не живет без меня.

Как поисковик я имею некоторые привилегии. Не могу сказать, что они сильно облегчают мне жизнь, но иногда пригождаются. Я могу заходить туда, куда другим нельзя, причем так, чтобы меня никто не видел. Я могу проникать, как проникает холодный воздух через трещину в раме, как проникает скромная мышь в буржуазную квартиру – без приглашения. У нее нет документа, но документ к ней, в общем-то, и не применяется. Даже если бы у нее и был документ, ее вряд ли бы пустили.

Я понятия не имею, что сделали люди, которых я ищу. А пешком – я много ходил и до того, как меня завербовали. Я всегда любил ходить пешком. Во мне есть что-то, что толкает меня на бесконечное движение вперед. Я хожу по разным кварталам, по разным кругам – одни грязнее чем другие, а другие жарче. Это не те круги, если что, про которые вы подумали, потому что ничего похожего на движущийся огонь там нет, и слоев льда тоже, и сколько-нибудь неприятных мучений нет, кроме тех фраз, которые непонятно кто иногда выкрикивает в моем мозгу.

6.

Я поднимаюсь и лечу над крышами, и город летит вместе со мной – мостовые сочатся, где-то внизу бежит и поет река. Я сверху вижу парочки, сидящие на крышах, замечаю, как клювами касаются друг друга голуби. Вижу квадратики машин, круглую площадь, которую они огибают по дуге, вижу, как открываются окна верхних этажей, как висит над парком огромный воздушный шар. Я смотрю на город так, как будто он зажат в стеклянном кубе, а я могу поворачивать его и так и сяк, вертеть и трясти. Внизу коричневый, а сверху голубой. Я смотрю и вижу, как играет вода – в один день зеленая, а в другой – желтая, а в третий синяя, темнеет на баржах и обнимает маленькие катера. Белые полосы остаются сзади, двумя перистыми следами, когда те идут по реке вниз. На подоконниках и крышах красные цветы – почему всегда красные? Как будто все владельцы подоконников и балконов в этом городе сговорились не пускать на них котов, не выбрасывать белье сушиться мокрым краем наружу, не хранить на решетках поломанные велосипеды, а выставлять цветы – всегда красные. Крупные лепестки, я мог бы подлететь совсем близко и даже – мог бы, точно говорю, мог бы – оборвать их все и высыпать вниз, на мостовую.

Я вижу город каждый раз разным, потому что он каждый раз поворачивается ко мне новой стороной. Другая сторона, которую я видел в прошлый раз, остается, но как будто прячется, но я запомню ее, я смогу вытащить, как тонкий конверт виниловой пластинки, которую другой покупатель положил в самую середину «рока», когда вообще-то ей место в «блюзе». У нее на глянцевой обложке облака, и я тоже вижу облака, белые столбы, среди которых, как среди колоннады, прячется и гуляет ветер. Если подняться еще выше, то будет одна пустыня, покрытая бурунами, как будто только что сошла лавина.

Я иду по мостам и террасам, по тропинкам и аллеям – огибаю и нагибаюсь, поднимаю листки из школьных тетрадей, сигаретные пачки, расписанные ручки, сломанные зонты, забытые перчатки, ключи, за кольца надетые на изгороди. Один раз я даже поднял красный цветок – удивительно, как его не затоптали. Он лежал у меня в руке, тонким крылом прильнув к середине ладони.

Я вижу больше, чем остальные, конечно. Но не потому, что я поисковик, а потому, что внимательнее смотрю. Ходят слухи, что таким поисковикам, как я, дают расширенные возможности, и они далеко превосходят возможности обычных людей. Якобы у нас есть доступ к библиотекам, в которые простым смертным вход воспрещен. Не скажу по поводу смертных, потому что этот термин они стараются не употреблять. Но ни в какие особые места для поисковиков доступа у меня

нет, и никакой информацией нас не пичкают, кроме той, которую мы можем найти сами. Поэтому я, собственно, и рыскаю так много времени по городу, иногда медленно, почти лениво, иногда по сообщению, что след куда-то ведет, а мне просто надо шагать рядом с ним.

7.

Когда я иду – от того часа, когда зажигаются фонари, до того, как ночные рабочие вычищают кастрюли, моют вертела, ссыпают горы костей в контейнеры с мусором, заталкивают туда остатки ночного обжорства, чтобы утром их забрала мусорная машина. Я притворяюсь, что не знаю, что ест этот город по ночам – по правде говоря, мне все равно, потому что я не вижу, как в пенистой струе воды блестят лезвия. Как капает в бульон кровь из порезанного пальца, как мышь робко выглядывает из плинтусовой дыры. Какое мне дело – я скольжу мимо витрин, где они сидят, посверкивая своими десертными ножами, и золотые колье – только кажется, что золотые – сжимают им шею, смыкаются вокруг нее, как пятерня. Почему бы и нет – металл тебя душит, а тот, что сидит напротив, смотрит восхищенно, как ты сегодня горишь.

Погоди, ты не сумеешь освободиться. В этом котле для всех найдется место, и если повезет, ты сможешь даже выбрать ряд, зло думаю я. Я бы вошел и сам сжал твое горло рукой – предпочтешь первый или последний, как тебе больше нравится?

Мне интересно думать о том, как они готовят все действо – затягиваются и смеются, бросая на тротуар желтые угольки непотушенных сигарет, деловито и заботливо сворачивают и раскладывают по местам салфетки, накаляют решетки, так, что снизу взметается красное пламя. Толщину стенок проверяют пальцем, пока те не нагрелись. Суют свой нос в запах пальто в гардеробе. Серебряные инструменты у них хранятся в ящичках наподобие тех аккуратных, в которых хранят столовое серебро – все должно быть под рукой. Кто сказал, что боль всегда так уж плоха – они же веселятся там внутри, метают взглядами друг в дружку, сначала легкими, а потом их глаза становятся все ярче, а голоса все громче – над толпой у бара стоит такой гул, что и слова не различишь. Температура все растет и растет – фокус в том, чтобы поднимать ее плавно, по градусу, чтобы было не заметно, как бросается в виски, как начинает ныть, когда втыкают блестящий инструмент, как сочится и жжет. Чего беспокоиться, когда люди и не замечают, что их жжет. Не замечают даже тогда, когда их сожгло совсем.

– Куда идешь? Эй, давай к нам!

До меня долетает окрик, но я уже заворачиваю за угол, и меня обдает холодным ветром – на тот праздник, что там, внутри, я не суюсь. Пару раз и меня лизнуло огнем, но я вовремя ускользнул, исчез, и они из своего тепла не смогли меня достать.

Я люблю идти днем и люблю идти ночью. Днем я обозначаюсь четче, меня легко узнать, легко заметить, например, из идущего мимо автобуса – но я-то знаю, что если даже я и застряну у кого-то в глазу, надолго там не задержусь. А вот ночью – ночью я становлюсь фигурой, двумерной, но живой. Я двигаюсь от улицы к улице и не существую, пока на меня не упадет свет какой-нибудь террасы и луч не полоснет меня по лбу, носу, губам, подбородку, а потом опять не стечет в темноту.

Столы они всегда выставляют так, чтобы я натыкался на них. Столы и мусорные контейнеры, которые никто толком не закрывает, и живая каша, смешанная с кровью, плещет на все четыре стороны.

Почти так же, как и тут, сейчас, во дворе.

8.

Когда мы только переехали в этот дом, мне ужасно понравилось то, что здесь окна раскрыты на две стороны – одни во внутренний двор, а другие во внешний мир. Сквозная квартира, и сам дом тоже сквозной, и одновременно как бы закольцованный, потому что внутренний двор – как колодец с глубоким дном.

Глубже, чем я мог бы подумать.

А соседка – она из второй. Второй квартиры на первом этаже. Всего в этом доме около восьмидесяти квартир, но всех владельцев совсем не так сложно запомнить, как это кажется. Казалось бы, восемьдесят человек никак не влазят в память, никак не помещаются в ней, но когда ты начинаешь различать их по возрастам, по тому, живут они вместе с мужем или женой, чьи окна каждый вечер горят, а из чьего окна доносится музыка, становится гораздо проще. Имена тоже сами начинают идти на язык.

Входа в этом доме тоже два – парадный и беспарадный, как она, смеясь, его называет. Сам дом, как и город, строился очень давно, и входов тогда было четыре – два с внутреннего двора и два с улицы. Но те, что с улицы, сейчас наглухо закрыты, и никто даже и не догадается, что там был вход. Ну, кроме крыс. Подъезда всего два, и лифт в одном из них маленький, но исправно работающий, который возносит вас на этажи, с первого по седьмой, только на восьмой надо пешком подниматься. А в беспарадном, то есть в соседкином подъезде – лестница, и лифта там нет. Лестница широкая и довольно удобная, не винтовая, хотя и такая тут тоже есть, в первом подъезде, где она вьется вокруг шахты лифта. Первый подъезд больше, а второй как бы вставной ящик, второй, секретный слой дома – в первом должны были жить те, что побогаче, во втором те, кого не должны были видеть. Теперь, понятно, все смешалось, и все только пожимают плечами на то, что дом так странно спроектирован – как коробка с двойным дном.

Я сам нередко поднимаюсь и спускаюсь по этой винтовой лестнице, хотя иногда мне и кажется, что колени у меня подогнутся на пятом пролете и я полечу головой вниз.

Соседка эта тоже взбирается, но всего лишь один пролет, на первый этаж, чуть-чуть вознесенный над каменной кладкой двора. Метра на полтора, не больше. Про нее на первый взгляд было почти нечего сказать. Случайная прохожая, и все. Лицо у нее неприметное, даже некрасивое, маленькое и обтянутое кожей, на щеках желтоватое, а на висках прозрачно-голубое. Волосы жидкие, а глаза зеленовато-карие, водянистые и с блеском, который странным образом их не украшает, а только делает еще более голодными. Она вся выдается вперед, как ее зубы, и наклоняется к собеседнику очень близко, и так и сыпет, частит словами так, что ее невозможно прервать. Ходит она всегда спеша, закутанная в два шарфа, накидку, шапку, повязку, пальто, еще одно пальто – идет, изредка обижаясь, когда ей наступают на ноги, не вскрикивая даже, а сердито зыркая на людей, когда грузовик, проезжающий мимо, обдает ее сбоку грязью.

Своими жадными глазами она всегда и все обшаривает – улицу, двор, меня, и то, как мы идем, взявшись за руки, по двору.

– Из магазина идете? Правильно, идите, идите, – бормочет себе под нос.

Она всматривается, как будто разглядывает, углядывает, что такого происходит в мире и во дворе. Больше во дворе, чем в мире. Она не смотрит вдаль, не смотрит в небо – она смотрит по углам, в щели, куда забиваются конфетные фантики и жвачки, смотрит в трещины на мостовой, на прозрачные мусорные мешки, которые вдевают в урны. На витрины она тоже смотрит, но не туда, где выставлено все самое дорогое и изящное, а туда, где продукция уже покрылась пылью, зачерствела, ушла в тень, почти что свалилась с узкого прилавка, но все еще балансирует на самом краю.

– Дай возьму. – говорит она, когда кто-то выставляет во двор потрепанную одежду, или книжки, или детские игрушки.

– Вам не нужно, а я дай возьму, дай возьму.

Когда я только ее увидел – случайно, на лестнице – она прошла мимо, охая и заворачиваясь поглубже в свои два платка и плащ, и я подумал, что она из тех, кто уж точно приучен с самого начала не требовать многого. Она из тех, что выбирают какую-нибудь маленькую, незаметную деталь, вроде фарфорового сервиза, или портрета своей бабушки за коричневатым стеклом, или такого же маленького, незаметного человека, а потом строят вокруг него всю свою жизнь.

Сложно было сказать, сколько ей лет. Я думал, шестьдесят, а потом пригляделся, когда она шла с внезапной, совсем несвойственной ей резвостью, и подумал – а может, сорок пять? Может, сорок семь, сорок восемь? Или вообще сорок три? Мое внимание привлекло то, что в тот день вид у нее был торжествующий, победный до такой степени, что она почти что вывалилась из собственной шкуры и стала кем-то другим. А у таких женщин редко бывает торжествующий вид. Если не сказать никогда. Уж не наследство ли получила, подумал я. Или встретила кого?

У нее был вид того, кто ухватил то, чего хотел – я смотрел, как она идет, осторожно, переваливаясь и придерживая все свои слои, которые укрывали ее сверху донизу. И тогда я, кажется, понял, что именно она смела с прилавка, что такого ценного присвоила, что заставило ее лицо, обычно такое немиловидное, так непривычно сиять.

Она придет домой и аккуратно поставит на стол пакет с продуктами, который несет на отлете, зажав двумя пальцами. Погладит себя по животу. Как я не заметил этого раньше? И как это получилось, интересно?

Никто не возьмет пакет у нее из рук. Пустая квартира – но это неважно. Уже неважно.

9.

– А из второй-то? Вы слышали?

– Что – из второй?

– Я думал, она уж и не может... а она – вон как.

– Ну, вы даете. Вы же не знаете, сколько ей лет!

– Я думал пятьдесят!

– Вообще-то женщины сейчас и в пятьдесят могут.

– И много вы видели женщин, которые в пятьдесят могут?

– А с кем это она? Простите за нескромный вопрос.

– Да откуда я знаю, с кем!

– Может и могут, но... – понижая голос. – Как она дальше-то будет? У нее ж каморка. Метров десять, и все. Как растить-то?

– Ну, раньше и на десяти метрах троих выращивали, знаете.

– И много вы сами таких видели, которые...

– Да какая разница!

– Так у нее ж и денег нет!

– Вы дать хотите?

– А что, может нам организовать.... Ну, сбор? Соседский сбор?

– Я скидываться не буду. Это ее проблемы. Сама рожает, самой и растить, знаете ли! Какое мне дело до ее ребенка!

Соседский сбор мы потом организовали, конечно. Я даже сам в нем поучаствовал.

Никто не спрашивал у нее, конечно, как это вышло, да она бы и не рассказала.

Вряд ли был это кто-то случайный, кто просто сказал:

– Давай.

Или, наоборот, знакомый – кто-то, с кем она часто сталкивалась? Он курил, а она бочком, аккуратно проходила во внутренний двор, поднимала крышку мусорного ящика и заталкивала туда свои многочисленные пакеты. Робко улыбалась ему. А он делал вид, что не обращает внимания. Или кто-нибудь, кто высматривал ее из-за полок в магазине? Его лицо почти закрывают коробки с сухим кошачьим кормом, жестянки с консервами и круглые, с блестящими боками банки. Вечером она пригласит его к себе, и он неловко протиснется в узкую прихожую, сунет ей бутылку вина и вытрет грязные ботинки о коврик. Как бы тщательно он их ни тер, на застарелой, заскорузлой коже ботинок все равно останутся царапины. По случаю она, наверное, причешется тщательнее, даже немного намажет губы красным – подушечками пальцев, но немного, чтобы случайно не замазать ему подбородок.

Все быстро, суетливо – и наспех выпитое вино, и одежда, которую он просто скинул на пол, а она торопливо стащила с себя, но потом все-таки сложила более или менее аккуратной сто-

почкой. Возня в темноте, откидывание тяжелого и почему-то уже пахнущего его потом одеяла, когда она стирала его только вчера, ну, что ты будешь делать! Ойканье, когда он случайно сжал ее слишком сильно, и это чувство, странное чувство, когда одной рукой он тяжело оперся о кровать, а другой взял ее за волосы. Он что-то шептал ей на ухо, гадости, конечно – она не хотела слушать, она и не слышала их, и не знала, что такие существуют, что-то подобное доносилось до нее только иногда, издалека, на улице – и не слушать оказалось просто. Надо было всего лишь представить, что его слова лопаются и разлетаются на брызги, прямо в воздухе, как водяные бомбы, сброшенные тем несносным мальчишкой с третьего этажа. На каменной кладке от них остаются только испарения, мокрота, капельки тумана, что слетают с его губ.

Но главное – не это. Главное то, что если повезет, все получится с первого раза. Воспоминания можно будет выставить так же быстро, как сразу же после – его самого.

– Что ж, спасибо! Увидимся! – и улыбочка, искренняя даже, но адресованная совсем не ему.

– Если захочешь повторить...

– Да-да!

Он тяжело хлопает дверью.

Не знаю, как ей так повезло, но получилось действительно с первого раза – получилось, и она знала это, кажется, еще тем же утром, когда вывернулась из-под все еще пахнущего потом одеяла, втиснулась в малюсенькую ванную, встала в профиль и стала рассматривать свой живот. Живот, понятно, был такой же, как обычно – плоский, слегка впалый, с белыми волосками, которые виднелись по бокам и около пупка. Она вертелась так и эдак и смотрела на него с некоторым триумфом – никто и не поверит, что ей, той, кому никогда не уступают место, той, кого никогда не приглашали на танец, той, которой никто и никогда не признавался в любви, не вскидывал на нее глаза восхищенно, не подавал руку при выходе из троллейбуса, не оглядывался вслед – ей, совершенно незаметной, даже для самого города, который не открывает перед ней никаких дверей, ни кованых, ни крашеных зеленой краской, ей, ей, ей! – удалось провернуть такое.

Я думал, как она стоит, с торжеством глядя на свой живот, и уже чувствует это – непонятно как, но там, в глубине, под ее кожей, под ее жиром, под ее сердцем, уже сталкивается что-то, гнется, сливается, сопротивляется и все-таки сливается, и там уже есть та маленькая запятая, та загогулина, которая ей так нужна.

Она гладит свой живот.

Не переживай. Теперь бессмысленно – ты ведь уже в пути.

10.

Доносила она почти до конца срока – меня не было в доме, когда ее увезли в госпиталь.

Ей повезло. Она вернулась через целых две недели, когда консьержка уже дважды спросила меня, где она, а я дважды ответил, что не знаю.

– Откуда я знаю! Она мне не родственница!

– Я всех спрашиваю, – озабоченно заохала консьержка. – Всех, всех. Вдруг с ней что-то случилось! Она женщина в возрасте, понимаете! Ну то есть не настолько в возрасте, чтобы... Чтобы не... Ну, вы понимаете.

Я хотел было сказать, что со всеми иногда что-то случается, и с беременными женщинами в конце срока тоже, но не стал.

Она вернулась через две недели, живая и невредимая, с большим кулем – таким большим, что он казался похожим на огромный букет цветов, только полностью завернутый в пеленки и одеяльца, изнутри которого доносился тоненький писк.

Она гордо прошествовала с этим кулем по двору.

– Это ваш ребенок, дорогая? – спросила у нее дама с четвертого с нескрываемым удивлением.

О нет, о нет, это мешок конфет.

– Да! Девочка! Почти пять килограммов.

– Как назвали?

Она промурлыкала имя, держа куль в руках и прижимая его к груди. Даже со своего высокого этажа я видел, как сияют ее глаза.

– Прелестно. – одобрила дама. – Вам очень повезло.

Говорила она это таким тоном, что вот-вот и скажет: «Отличное имя для простолюдинки». Но она любовно смотрела на свой куль, и соседкин тон пролетел мимо нее.

– Спасибо вам. Спасибо! Спасибо!

И, поспешая, она засеменила в свою квартиру на первом этаже. Она слегка переваливалась, но только совсем слегка.

11.

– Вы как? Можете сказать, что тут произошло? – детина все еще держал ее за плечо.

– Может, его кто-то столкнул? – донеслось из толпы.

– Не говорите ерунды! Они жили вдвоем. Жена в больнице. Кто мог его столкнуть?

– У меня... ребенок. – сказала соседка, глядя ему в лицо. – Дочка. Ей год всего. Простите, я только недолго могу с вами... поговорить, мне вернуться надо. Она меня ждет.

Детина отпустил ее плечо.

– Да, конечно. Пройдемте со мной. Где тут можно...?

– Да вот тут.

– Да может, он с ума сошел! Может, у него деменция раньше времени началась! Был он странноватый, не знаете?

– Да нормальный он всегда был. Продукты покупал. Он раньше учителем работал.

– Понесло его...

– Ну, кто так делает...

– Жены всего месяц нет, можно подумать, что...

– Давно они тут живут, не знаете?

– Да сколько дом стоит, столько и живут. И родители их жили, отца его квартира...

– Отца?

– Да я не знаю его отца, это все лет восемьдесят назад....

– Вы пройдемся, пройдемте. Быстрее начнем, быстрее закончим.

– А завещание-то...

– Это что, какие-то чужие люди? В его квартиру?

– Да. Да, конечно.

Толпа в конце концов унялась. Ночь прошла, и небо понемногу начало светлеть, неохотно, но неуклонно. Как будто вначале оно совсем еще темное, а потом его начинают подсвечивать в одном месте, в другом, и оно становится светлее, светлее, и висит над городом – бело-серое и бессолнечное.

Совсем еще раннее утро, и люди, все еще переговариваясь, кто трясясь, кто спокойно, положив руку жене на плечи, топая домашними тапочками и скруглив плечи в накинутом наскоро пуховике, расходятся по своим квартирам.

– Что ж такое...

– Угораздило же, а!

– Никогда не знаешь, что у них в голове...

– Альцгеймер? Никто и не заметил...

– А дети у них есть?

– Вроде были, а вроде и не было, откуда я знаю. Я тут только пять лет живу, а они...

Все разошлись, даже детина, который все хватал соседку со второго за плечо, куда-то в конце концов убрался со своими «ребятами».

Я старательно отводил глаза от асфальта. Я теперь не смогу думать ни о чем, когда смотрю на городскую каменную кладку, кроме открытого погреба ночи. И него.

12.

Обратно в квартиру я решил подняться по лестнице, и это было ошибкой.

– Вы как думаете, он сам?

Между вторым и третьим этажом ко мне пристал сосед, которого, насколько я помню, во дворе не было. Видимо, он все это время сидел в своей квартире, прежде чем ко мне пристать.

Взгляд снизу вверх, лукавый, и длинная белая борода, которая делала его до странности похожим на святого. Я видел его до этого всего пару раз, и, насколько я знал, у него не было никакой профессии, кроме как раздавать на улицах листовки непонятного содержания. Одет он был, конечно, не в рясу, но что-то вроде того, что-то длинное и бесформенное, напоминающее даже не пальто, а длинную, до земли, накидку, сверху которой безрукавка на искусственном меху.

– Так как вы думаете? – он заглядывал мне в лицо. – Я не видел, как все было, я в окно не смотрел, но когда закричали, я подумал... А потом я выглянул и... как-то... увидел..

Я помотал головой и сделал попытку протиснуться мимо него, что должно было означать, что я тороплюсь.

Но он преградил мне путь.

– Но! Но! Вы же были... ну, свидетелем. Первым свидетелем. Вы все видели!

– Кто сказал, что я был первым свидетелем?

Он так и запрыгал.

– Никто, никто, но... Вы же были там, верно? Он сам? Как вы думаете, он сам? Бог не позволит, чтобы так...

Вот. Началось. Бог не позволит. Как будто у него где-то там, в недрах его одеяний, есть маленькая черная книжечка, где записано, чего он позволит, в левую колонку, и чего он не позволит в правую. Вы-то откуда знаете, чего позволено, а чего не позволено, чуть не спросил я. С явным раздражением бы спросил, надо признать.

– Я понятия не имею, сам он или не сам.

– Давайте поговорим? Если зайдете ко мне? – спросил он внезапно.

Я остановился.

– Не думаю, что это хорошая идея, эээ...

Я не помнил его имени. «Божий человек» называла его наша консьержка, хотя он постоянно тырил у нее конфеты и другую еду, и она на него за это не обижалась.

Почему, интересно, почти все «божьи люди» или как их там называют, ужасно назойливы, почти все любят поговорить, и сразу берут опасно близкую дистанцию и не отстают от тебя, не отстают, потому что насквозь видят твое счастье или несчастье и увязываются за ним следом. Искатели света, вот кто они такие – и не в возвышенном смысле, а в самом бытовом. Будут искать его, искать, искать, приставать, а если уж увидят в тебе что-нибудь, то не отпустят ни за что. Она так ищет солнечные очки в ящике комода, как они ищут свет – засунет руку как можно глубже и на ощупь перебирает там предметы, гремит, тычет наугад между узких полок, нащупывает и с трудом вытаскивает, зацепив одним пальцем. Так же и он, если надо, каждый раз вытаскивает из людей то, что в них есть хорошего. Ну и денег, куда без этого.

Он только одной ступенью – квартирой – отличался от бездомного. Ему было где жить. Бездомных в городе очень много. Они просят и просят – они созданы как зеркала, как крючки для одежды, чтобы повесить на них свою вину и горечь, опереться, стаскивая ботинки, на их плечо, бросить монету, и тут же забыть. Они мусоросборники, прямо как те, в которых ночью плескалась человеческая каша, только со ртами и головами. Их наняли отражать печаль, чтобы несчастье было на улицах, присутствовало там так же, как и счастье. Всего должно быть в равных пропорциях. Это же город. Иначе здания все покосятся на одну сторону, если добра будет больше, чем печали...

Кажется, что можно отдать им свою печаль – когда они рядом, то немного преломляют ее, делают поменьше, отбирают ее у тебя, даже выпрашивают. Сами-то, конечно, думают, что оставляют людей легче, чем нашли их, и если не наставляют на правильный путь, то хотя бы показывают, где он.

Почти все, кто ищут в людях свет, почему-то уверены, что течения внутри человека так просто развернуть, достаточно что-то сказать, стоя у берега. Люблю смотреть на их физиономии тогда, когда они разочарованы. Это даже лучше, чем вытащить монетку, подкинуть ее, и мы оба смотрим, смотрим, как она переворачивается, взлетая, а потом поймать, подмигнуть и пойти дальше. У них, когда я так шучу, обидно приоткрывается рот, совсем как у детей, когда у них сначала водят под носом мармеладным мишкой, а потом снова прячут его за спину.

Если подумать, то они служат сразу нескольким целям. Может быть, подсаживаться за столики к тем, кому не хочется возвращаться в пустую квартиру; может быть, наполнять своим журчанием коридоры, где люди выстроились в очереди в туалет, и сердито поглядывают на дверь, но слушают – а куда деваться? Может быть, он видит тех, у кого холодно внутри, опускается рядом на сиденье в автобусе, хватается за перекладину в метро прямо над ними и смотрит, по-доброму смотрит, как будто есть что-то такое, что они могут ему доверить. Он донесет это до дома за воротником своей куртки, под полой – согреет, а не выбросит. С ним можно поддакивать, он болтает и дает им ритм, и надо только упасть в этот ритм, подстроиться, начать кивать, а там уже покатится, покатится прочь их несчастье.

За это-то их, наверное, и терпят – за паузы в разговоре, за сочувственную улыбку, за вечное «ты не один». За удобный задник, на котором нарисовано что-то даже симпатичное, за назойливость, которая не умаляет горе, но стачивает его по краям. Но если отвечать, если только отвечать, то его успокаивающее журчание немного оттеснит огромный валун, который до этого прижимал их сердце к стене. Когда он уйдет, останется раздражение. Не за то, что отвлек и уболтал, а скорее за то, что ушел, увальсировал за поворот, и теперь непонятно, как удерживать этот валун на безопасном расстоянии от сердца.

Но, с другой стороны, я могу себе позволить быть злым, а им приходится все время быть добрыми. Не скучно ли это? И я уж точно никому не показываю дорогу вперед, и никого не наставляю на путь истинный. Это их специализация.

Сосед тем временем не отставал.

– Пойдемте ко мне? Поговорим... А вы...?

Я вполуха слушал его вопросы, и какие-то странные это были вопросы – про то, скользкий ли был подоконник (откуда я знаю), про то, долго ли он летел (откуда я знаю), про то, верующий ли он был человек и как, когда супругу-то увезли, сосед пришел, и хотел даже поговорить, а тот не открыл ему дверь, ну вы можете себе представить, какие сейчас бывают люди, но мы-то с вами понимаем, что...

– Чего вы от меня хотите?

Он смутился.

Если сейчас скажет, что денег, то мне придется дернуть его за бороду. Чтобы больше не приставал.

Он выпрямился и помолчал.

– И все же лучше в квартиру зайти.

– Нет.

Я покачал головой.

И тогда у него изменился тон. Резко изменился, так, что мне даже показалось, что он одновременно как-то выпрямился, вытянулся, перестал горбиться и размахивать руками.

– Вы ведь из этих, да?

Этого я никак не ожидал.

– Вы все видели, да? Видели же, не притворяйтесь. Вы, может, там даже и были.

– Где – там?

– Вы... путешествовать можете. Перемещаться можете. Вы и... – он потупился. – Вверх, и вниз заходить можете. Так же?

Я коротко вздохнул и посмотрел в окно. За окном не показывали ничего. Двор – колодец. Узкий, но не такой узкий, чтобы можно было четко и рассмотреть, что происходит у соседей на-

против. Видно было, как голуби садятся на подоконники, как у противоположного окна зажигается лампа, видно, как чья-то рука толкает оконную раму. Видно, как солнце бьет в стекла, когда поднимается над городом в очередной раз. Еще один день.

– Вы меня, очевидно, за кого-то не того приняли. – сказал я медленно и отчетливо.

И, когда мой ответ его не удовлетворил, добавил:

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

Он смотрел на меня своими маленькими, глубоко посаженными глазками и качал головой.

– В каждом доме такой есть. А в нашем доме это вы. Вы больше всего... в вас есть что-то... такое.

Такое. Во мне есть что-то такое.

Что во мне есть «такого», я спрашивать не стал и, не оттолкнув, но отодвинув его от себя и протиснувшись мимо, стал подниматься вверх по лестнице. Он, к моему удивлению, но некоторому облегчению, не последовал за мной.

Не потому, что он был неправ, не потому, что он не знал, о чем говорил, а потому, что никому не полагалось знать. Я знаю город вдоль и поперек, знаю его дороги и маршруты, но прежде чем говорить о дорогах и маршрутах, надо поговорить обо мне.

А я не хочу говорить обо мне. Я не затем эту историю рассказываю, чтобы говорить обо мне. И я уж точно не хочу говорить о том, что я был тем вечером за его спиной.

Как он догадался, интересно?

13.

Стряхнув бородатого соседа, в буквальном смысле, со своих плеч, я все-таки поднялся до квартиры и, стараясь не шуметь, вставил ключ в замок и повернул его.

– Это ты?

Она не вышла меня встретить, просто окликнула меня из комнаты.

– Это я. – сказал я, снимая ботинки.

В прихожей было темно и пахло как обычно.

– Что там произошло?

Я вошел в комнату. Она сидела, оперевшись спиной на изголовье кровати, и читала – как обычно, две книги сразу. Одна книга валялась рядом, на одеяле, и она время от времени проводила пальцем по обложке, а другая была у нее в руках, и она приблизила ее очень близко к носу и держала вертикально, чтобы не нагибать шею. Получалось как на той картине с яблоком – откуда я смотрел, книжка заслоняла ей лицо.

– Сколько времени?

– Семь?

– Семь двадцать. – Она опустила книжку. – Утра. Так что там было?

Я подумал, что ей сказать. Но, как всегда, не нашел ничего, кроме правды.

Я тяжело сел на кровать. Странно, но мне не хотелось лечь на нее щекой и заснуть – хотелось шагать, идти, вкладывать в ноги всю силу, которая в них есть, и подальше, подальше отсюда.

– Наш сосед. – сказал я. – Пятьдесят шестая квартира. Он... с ним... он умер. Выпал из окна.

Она охнула, уронила книжку и прижала обе руки ко рту. Я ничего не говорил, но она поняла и так.

– Во... дворе? В нашем дворе?

– Из окна, – повторил я. – Да.

– Какой ужас. – она оторвала руки ото рта и прижала их к щекам. – Какой ужас, какой ужас.

Молчание.

– И он специально? Это не несчастный случай?

– Это не несчастный случай. – сказал я.

Она не спросила, откуда я знаю.

– Это не несчастный случай, – повторил я. – Сам. Ему почти семьдесят было. Но не поэтому.

Она помотала головой сначала справа налево, а потом слева направо, и сильно встряхнула ей.

– Из-за жены?

Я молча кивнул.

– Какой ужас, – повторила она снова. – Какое... плохое утро.

– Ну, у нас не обязательно должно быть плохое утро. – сказал я без особенного энтузиазма. – Хочешь кофе? Я сварю.

– Это как такая штука, занесенная над домом, – сказала она задумчиво. – Штука, которая висит и занесена над домом.

Она говорила это не то чтобы мне, а больше даже воздуху. Пространству.

– Думаешь, его привидение будет теперь рыдать и стенать?

Я знал, что не будет. Это просто дом, но дело было не в доме. Если бы дело было в доме, только в доме, то да. Тут вполне могли бы быть закованные, застрявшие души, или сгустки – кто как их называет, но он бы точно не присоединился бы к их числу. Он выбрал это, путь тапочек и скольжения – может быть заскользил, а может быть и нет – но он не выбрал этот дом. Этот дом всего лишь лестница, у которой есть верх и низ.

– Такие вещи просто так не происходят, – сказала она.

И когда я промолчал, повторила.

– Такие вещи просто так не происходят.

Молчание.

14.

Этот дом – замочная скважина, а люди в нем – это ключ. Каждый из нас – ключ к своей собственной скважине, главное только вставить его достаточно глубоко и провернуть столько раз, сколько нужно.

Восемьдесят квартир. Теперь я знаю почти всех. Кого-то я как будто знал раньше, а потом забыл. Ухватил только некоторые их привычки, увидел стеклышко, но не всю мозаику. Странно, но соседей обычно узнаешь с конца – с того, какие они покупают продукты, с того, как орет ребенок с третьего этажа, и на макушке у него вихры, и он высунул свою, довольно большую, голову в форточку. С того, какие отпечатки оставляют на лестнице грязные ботинки, с того, кто в три ночи все еще не гасит свет. Кто во сколько уходит и приходит, а из каких квартир вообще нет никаких признаков жизни. Бывают и такие – у них у дверей иногда стоят продукты в коричневых пакетах – где в этом городе находятся курьеры, которые поднимают продукты до лестничной площадки? – а потом и пакеты исчезают. И никакого шевеления за дверью. Квартиры без жизни внутри, квартиры, где кто-то весь день и всю ночь лежит в постели и смотрит в потолок. Я мог бы зайти, проверить, посмотреть. Я это умею. Но не хочу. Из таких квартир несет затхлым серым воздухом, а я тороплюсь вернуться к ней.

Когда мы только сюда въехали, мы все время друг на друга орали. Мне даже не стыдно это признать. Орали, пока до нас одновременно не дошло, что через окно наши крики разносятся по всему двору-колодцу, и звук умножается, как в концертном зале с большим оркестром, и весь дом уже наверняка в курсе наших неприятностей. Хотя мы не поэтому прекратили орать – просто адаптировались к друг другу. Ни я, ни она раньше ни с кем не жили, и не обсуждали, будем ли жить – я увидел, когда проезжал мимо, желтого цвета объявление в окне – сдается квартира. Мы сходили посмотреть, высунулись в окно с одной стороны – проспект, с другой стороны – двор, она поглядела на потолок и кивнула – и на следующей неделе мы въехали. Со всем небольшим скарбом, который у меня составлял два чемодана и кое-какую мебель, а у нее целый шкаф одежды, две полки обуви и много-много красивой, разрисованной красками посуды. Посуда в этой квартире уже была, как и мебель, но она аккуратно сложила хозяйские тарелки, чашки и блюда в огромный ящик и засунула на антресоль.

– Пусть лежит. – сказала. – Своя есть.

Все чашки у нее были наперечет – с зайчиками, воздушными шарами, с медвежатами и со снегирями. Я очень старался обращаться с ними аккуратно, и они смотрели на меня и весело под-

мигивали каждый раз, когда я открывал дверцу кухонного шкафа – ценили, наверно, мое хорошее отношение.

Орать мы перестали, но поначалу звуки этого дома – несмотря на то, что я хотел в нем жить – меня раздражали. Новое жилье это понятно, но я не был готов к тому, что и звуки будут новые. Скрип оконных рам, хлопанье дверей, шаги на лестнице, которые почему-то всегда были громче, когда кто-то сбегал вниз, чем когда кто-то поднимался наверх. Жужжание майских жуков на балконе, воркование голубей между лестничными пролетами – они устраивались в углах и между кирпичами, вили там свои гнезда и настойчиво, с рокотом ворковали по ночам.

– Да сгони ты их, весь пол будет в помете! – кричала она, как только слышала хлопанье крыльев на балконе.

Шум перьев – очередной голубь взмывал в воздух, а потом, попарив совсем немного, тяжело падал вниз.

Одни звуки цеплялись за другие – перестук каблуков, шипение кастрюльного дна, где, пока вода еще не вскипела, собирались белые пузырьки. Пикание, назойливое, настойчивое, которое я спешил приглушить, прежде чем она проснется.

Я начал и опознавать жильцов по звукам – молодого человека из сорок четвертой, потому что он всегда очень громко насвистывал, когда шел по двору, и пел одни и те же две строчки одной и той же песни: «Оп-оп, наступает весн-а-а-а! Оп-оп, в городе наступает весн-а-а!».

Хотя до весны было еще далеко.

Соседка с первого, которая всегда гремела какими-то то ли банками, то ли бутылками, которые были набиты в ее тележке так, что звякали на каждом шагу. Консьержка – она работала не все часы, только несколько часов утром и изредка, я так и не понял по какому принципу, вечером, ее возня с почтальоном, с которым они каждый раз затевали диалог минут на тридцать, пока не перебирали все те темы, на которые не успели поговорить вчера, включая, по-видимому, то, как каждый из обитателей дома провел ночь. Понятия не имею, как консьержка может быть в курсе того, как кто провел ночь, потому что ночью-то ее тут как раз и нет – но, наверное, либо она настолько рано приходит и уже сидит в своей каморке, что видит, как наутро возвращаются с вечеринок студенты, чьи-то дочери и сыновья проскальзывают, надеясь остаться незамеченными, и первые жильцы уже уходят на работу. Либо, что гораздо более вероятно, ей кто-то доносит. Хотя я сомневаюсь, что тут есть еще кто-то такой же, как и я. В этом плане белобородый был прав – надо быть осторожным, когда открываешь рот, и еще более осторожным, когда проникаешь в чужие квартиры.

15.

Суть поисковиков – как можно догадаться, поиск. В рамках поиска я могу ходить куда угодно. Ну, почти куда угодно. Кое-где ходить просто бессмысленно – там почти наверняка никого нет, да и находиться не очень приятно.

Задание мне дают почти всегда в одном и том же виде – на помятой бумажке, которая всунута между страницами какой-нибудь книжки, в мокрой от дождя будочке для обмена книгами в сквере недалеко от дома. Раньше было в другом сквере, а потом место сменили – тот сквер стали слишком уж часто посещать люди, а этот был спрятан между домами, как школьный пенал, вставленный в узкий промежуток между книжкой и стеной. Там была песочница с серым песком, который, очевидно, уже лет сто никто не менял, скамейка, облезлая от краски, и еще одна, приткнутая почти к самым кустам сирени.

Бумажка обычная. На бумажке либо имя, либо фотография, либо фотография и описание, либо вырезка из статьи или распечатка. Либо, редко, искать надо предмет. В начале работы я иногда просил какую-нибудь личную вещь, но теперь уже почти перестал так делать – это как напеть мелодию, а потом определить ее, отмотав кассету назад. Сейчас я уже и по нотам читаю нормально, и слышать мелодию на слух мне не надо. Только так это можно объяснить.

Срок обычно неделя. Редко когда бывает один-два дня, потому что тогда приходится работать по ночам, а я это не люблю.

В тот день я не спал, и пришел сразу, рано, потому что чувствовал – новое задание есть. Я привык доверять себе, доверять этому чувству, которое летит внутри меня, и я знал, поэтому я сказал ей.

– Мне надо идти.

– Уже?

Потом:

– Работать будешь?

Она не знала многое про мою работу, но знала суть. Она знала, что я ищу людей и вещи.

– Буду. Надо.

Я наклонился и поцеловал ее в раскрытые губы. Я почти не чувствовал вкус, не чувствовал запах – это потому, что он еще здесь. Он стоит и смотрит на нас из угла комнаты, как я не так давно смотрел на него.

Часть вторая. Кругом

16.

Корни всей этой истории там, в моем прошлом, где я на коньках прохожусь по острой грани момента, где я еще не понял, кто я есть. Я еще не решил, рассказать ли мне ее или нет – на самом деле, я пытаюсь уйти от мысли, что ее стоит рассказать. И не в переносном смысле уйти, а буквально – отшагать столько шагов, сколько нужно, чтобы поднести эту почку ко рту, попробовать ее на вкус, провести языком по стеблю. Чтобы я мог взять этот стебель в руки и он не сломался, не согнулся – когда я смотрю на те истории, что уже прошли и случились, мне кажется, что я перегнул, оборвал их слишком резко. Как ломают ветку молодого, живого куста – сразу она не треснет, не ломается, а намочит зеленым соком ладонь, повиснет на волокне, будет цепляться, держаться, и если сил не хватает, то придется долго выкручивать ее, тонкую, совсем молодую, прежде чем она отломится совсем. Так и эта история – повисла и висит, как плеть, но еще не отломилась. Она еще часть меня, и где-то пониже сердца сочится зеленый едкий сок. Когда я иду, капли падают на мостовую – на улицах моего города всегда так много людей, что никто этого не замечает. Подумаешь, может кто-то нес рыбу в пакете. Или ручка из школьного портфеля протекла. Или капли краски долетели до противоположного тротуара, пока красили лавку.

Никто и не подумает, что это был я.

17.

Я планировал всю жизнь провести один. Так просто проще. Многие так говорят, но в моем случае это на самом деле правда.

Желание уйти – одно из самых сильных, самых фундаментальных моих желаний. Если человек построен из того, чего он хочет, чем тяготится и что выбирает, то желание уйти внутри меня – это плита, вставленная в самый центр и обмазанная по бокам цементом. На это чувство – мне надо вырваться, вывернуться, отдалиться – всегда можно было рассчитывать, потому что оно всегда появлялось, поздно или рано.

Я рос с этим чувством – с тем, что расстояние между мной и предметами и мной и людьми необходимо, чтобы получше их рассмотреть. Картина не красива вблизи, она красива только на расстоянии. Лицо вблизи расплывается на оттенок кожи, блеск глаз, пятно на кончике носа, а издалека собирается обратно.

Чтобы судить о чем-нибудь, если, конечно, ты вынужден судить, надо хотя бы немного, но отойти. Чтобы забыть кого-то, надо отойти. Чтобы соскучиться, надо отойти. Я думал раньше,

что любовь так и работает – ты далеко, и тебе начинает ее не хватать, а потом вы близко, и тебе начинает не хватать себя. Это тоже оказалось не так.

18.

Прямо перед тем, как встретил ее, я оказался в пустоте. Не могу сказать, что пустота меня пугала. Совсем нет – с моей привычкой рассекать город я думал, что это занятие займет меня насовсем. Я найду себе сюжет, и просто буду прыгать из одной истории в другую – с той разницей, что это будут не мои истории.

Когда мы познакомились, у нее, кажется, был другой. «Кажется» потому, что я никогда не обращал на него особого внимания – ясно было, что он, конечно, с ней, но на самом деле он не с ней.

Я пришел на вечеринку – не помню как, не знаю зачем и кто меня пригласил, я тогда был куда моложе и не так уж и много думал о своих решениях, и увидел, как он сидит с ней рядом, приобняв ее за плечи, и смотрит на всех остальных враждебно из-за сомкнутых бровей, которые нахмурены в одну густую черную линию. Он прижимал ее к себе, поминутно пытался поцеловать – целился в губы, но она каждый раз подставляла щеку и мягко улыбалась, поглаживая его по коленке, которой он мелко тряс.

– Принести тебе что-то? Хочешь?

Он заглядывал ей в лицо, как под абажур лампы, с нервным любопытством и немного снизу вверх, а она смотрела мимо него. Не то чтобы думала о чем-то другом – она слушала, и внимательно, но видно было, что глаза её смотрят куда-то вовне, за раму картины, за круг, который он так старается замкнуть.

Тогда я и увидел ее в первый раз. На ней было кремовое платье, чуть длиннее колена, шелковое, и больше цвета сливок, а иногда, в тамошнем освещении, даже цвета крем-брюле, и белые туфли и на высоких каблуках.

В ней было что-то такое, что притягивало взгляд. Я еще тогда это заметил.

Где бы в квартире она ни была, ее тогдашний парень всегда старался быть рядом. Или маячил у нее за плечом, или касался бедра, или, когда она просила не ходить за ней по пятам, не отрывал взгляда от ее платья, или затылка, или туфли, которая виднелась из-за угла, пока она разговаривала с хозяйкой. Он никого не видел, кроме нее, и я даже позавидовал – должно быть, одиноко в этом коридоре, где все гости появляются и исчезают только тогда, когда разговаривают с ней.

Она выворачивалась из-под его руки, шла налить себе еще, смеялась. Потом, видимо, почувствовав вину, садилась рядом – он сразу загорался, обвивал ее обеими руками и прижимал к себе.

– Но как будто не может удержать, да? – сказал шаловливый голос рядом со мной.

Я повернул голову, но голос уже исчез.

Вот в тебя попало-то, приятель, думал я, потягивая нечто вроде подслащенной воды, которую мне в руку сунула хозяйка вечера. Даже отсюда было видно, что ему не расковырять, не вскрыть этот тикающий механизм. Она уйдет – на воздух, на свободу, на свет, а его ревность мигом обратится в ребяческую ярость. Потрясая картонным мечом, он даже попытается ее вернуть – но так, скорее пробуя боль на вкус, чем испытывая ее по-настоящему.

Она же игрушечная, эта его боль. Она скоро пройдет.

А шаловливый голос скоро вернулся.

Чего и следовало ожидать.

Бывают такие женщины... со временем, далеко не сразу, но я научился их различать. С виду они веселы и распахнуты, даже слишком, как будто упаковку надорвали больше чем нужно, и все их чувства высыпались наружу. Я относительно часто их вижу и называю женщинами наизнанку. Заранее вывернутыми женщинами.

У них обязательно есть что-то в прошлом. У всех женщин есть что-то в прошлом, и, честно говоря, они сами рано или поздно указывают, что именно. Но у заранее вывернутых женщин есть что-то такое, куда тыкнули, расковыряли и заставили показать то, чего показывать не следует.

Их продавили, и они поддались, вмялись в себя, а обратно не распрямились. Они смотрят на тебя блестящими глазами, обшаривают твое лицо, следят, блуждает ли твой взгляд по комнате или цепляется, возвращаясь, за тонкую бретельку их лифа.

Им почему-то очень важно почувствовать, что ты хочешь их – прямо здесь и сейчас. Им хочется, чтобы их хотели все – каждый, кто сидит напротив в метро, каждый, кто взбирается на стул у барной стойки, каждый, кого они случайно касаются бедром.

Короткая, острая вспышка.

Попался, да?

Попался.

Она села рядом.

– Жаль его, – сказала она. – Так страдает. И все зря. Она на следующей же неделе от него избавится. Вы ее знаете?

Клубок меха, блестящие серьги, которые совершенно не шли к ее бледно-зеленым волосам, цвета отлива в море. Она сильно опоздала, но сразу же, не стянув даже меха с плеч, нашла хозяйку взглядом и, взвизгнув, бросилась ей на шею. Та улыбнулась сдержанно и начала что-то говорить, размахивая в воздухе рукой.

– Ладно, ладно...

– Это ничего...

– Да нет, что ты!

А русалка – я сразу ее так назвал – уткнулась ей в плечо, как ребенок, и никак не хотела отпускать.

Когда они, наконец, расцепились, зеленоволосая тут же принялась что-то говорить, быстро и без остановки, не выпуская хозяйкиного запястья из своего. Я видел, как той хотелось отойти, но она вежливо слушала, пока та подпрыгивала на месте, рылась в сумке, пищала от восторга, потом, наконец, стащила с шеи шарф и швырнула его на диван. Это был маленький спектакль, и я не был уверен, для кого – может, для мужчин, которые все, как по команде, повернулись к ней, а может, такие спектакли случались везде, куда бы она ни пришла.

– Ты здесь в первый раз?

Я скосил на нее взгляд.

Платье было ей слегка велико, и между тканью в низком вырезе и бледной кожей на груди был зазор. Она сидела вполоборота, и сверху мне было видно очень много – и родинку на скуле, и нежную рябь у подмышки.

Глаза у нее оказались темные, гораздо темнее, чем я ожидал – я думал, они будут совсем прозрачные и водянистые, но они были черные и жадные, такие жадные, что ловили и сохраняли в себе каждый похотливый взгляд. Никто не учил ее позировать, давая себя рассмотреть – но она все равно позировала, позировала примерно каждую минуту.

– В первый, – коротко сказал я.

– И как? – она закинула ногу на ногу, так, что подол платья немного сполз вверх. – Нравится наша компания?

Я повернул голову еще немного.

Я должен был ответить «Очень».

По всем правилам я должен был ответить «Очень».

И она должна была улыбнуться мне в ответ.

Положить голову мне на плечо. Или, что еще интереснее, руку мне на колено.

Музыка вечеринки должна была стать все тише, а ток крови в моей голове все громче и громче.

Все так несложно. Все, черт возьми, так несложно с того самого момента, когда они сами к тебе подсаживаются.

Рука запястьем вверх. Взгляд из-под сильно накрашенных ресниц. Ритм все быстрее и быстрее, и пол дрожит, и оконные рамы дрожат, и звезды за занавеской тоже дрожат. Не уходи с вечеринки в одиночестве – кое-кто смеется, не отклоняясь, прямо мне в лицо, и в нос мне шибает запахом изо рта, и я вижу его отвратительные желтые зубы.

Я чувствую, что взгляд той, другой, в белом платье и белых туфлях, уперся мне в затылок. Он буравит мне кожу, и это место начинает чесаться – чем дальше, тем больше хочется обернуться и встретиться с ней глазами.

Интересная игра, думаю я.

Опасная, но небезынтересная.

19.

– Слушай, мне надо идти, – говорю я русалке.

– Идти? – она откидывает голову назад и заходится смехом. Смех у нее тоже отработан, он высокий и хрустальный, и изгиб шеи, запрокинутой назад, в которую почему-то хочется вцепиться пятерней. Вцепиться и сдавливать до тех пор, пока она не перестанет смеяться.

Она резко прекращает смеяться, когда понимает, что я не шучу.

– Иди, – говорит она безразлично. – Раз уж тебе так на-а-а-до.

– Оставить тебе что-нибудь на память?

– Что?

Она наклоняется поближе ко мне, улыбается и достает из-за уха красный цветок. Маленький красный цветок-заколку.

– Зачем мне...?

– Не знаю. – она пожимает плечами. – Я просто такая. Люблю делать всякое. Неожиданное.

Она многозначительно смотрит на меня.

Я снова должен принять подачу.

Я снова не хочу.

Пока я медлю, одна бретелька, как будто случайно, спадает у нее с мраморного и, я почти уверен, холодного, как змеиная кожа, плеча. Не сводя глаз с моего лица, она неспешно возвращает ее на место.

– Знаешь, – произносит она медленно. – Раньше заколкой можно было и убить.

– Хочешь убить меня заколкой?

Ее глаза блестят. Хитро переливается серьга.

– Хорошо проводите время?

Ее голос сзади.

– Отлично! – русалка откидывается. – Просто отлично, дорогая.

– Торопишься соблазнить моего нового знакомого?

Она мотнула головой – зеленая волна – и, скривив шею, обернулась. Та стояла, сложив руки на груди – белое платье переливается в свете ламп – слегка позади меня. Почти прямо за моей спиной.

– А... что?

Она снова засмеялась, на этот раз хрипло и, как мне показалось, с досадой.

– Ты же здесь со своим молодым человеком, так? Как у него дела? Как новая работа?

– Его работа прекрасно. Сделает прекрасную карьеру.

– Я рада, дорогая. Вы отличная пара.

Я поднялся. Надо было уходить.

20.

Когда я сейчас думаю об этом, то думаю, что тогда, там, именно в том моменте находится завязь моей истории. Я никогда не смогу объяснить, почему с того вечера, когда я увидел ее в первый раз, мы оказались по одну сторону мира, а все остальные по другую.

Даже та русалка. Хотя она не была слабым противником.

По всем правилам я должен был пойти с ней. Мраморная кожа, полуголая грудь, волна волос и красивый разрез рта. Я должен был пойти с ней. Я должен был поддаться. Я чувствовал, что она почти уже готова сбавить цену, поддеть мою ногу носком своего ботинка и вдруг застенчиво, скромно улыбнуться мне – доверчиво и нежно, только не на самом деле, а так, как улыбаются русалки перед тем, как утащить тебя вглубь.

– Я думала, ты с ней уедешь. – сказала она.

Мы стояли вдвоем у подъезда. Пока она надевала пальто, я видел, как впились в брючную коленку пальцы ее кавалера. Длинные, с крупными костяшками, нервные пальцы. Я кивнул на них – она обернулась и посмотрела, быстро и виновато, как мать на кассе в супермаркете – подожди, милый, я только расплачусь.

Я стоял и вдыхал ночной мокрый воздух, задрав голову вверх, а вокруг были здания – промышленный район, одни прямоугольники и квадраты. За светом фонарей небо было абсолютно черным. Нельзя было хоть что-нибудь разглядеть.

– Я и не планировал с ней уезжать.

– Тогда с кем?

– С тобой?

Она стояла и задумчиво смотрела прямо перед собой.

Потом кивнула на темную машину, стоящую неподалеку.

– Твоя?

– Да.

– Тогда поехали?

Она зевнула. В желтых и черных полосах, которые проходились по нашим лицам, трудно было разглядеть выражение ее лица. Я вел машину и смотрел на дорогу.

Она не спросила, куда мы едем.

– Я еще до вечеринки я ему сказала, что все. Мы встречались всего месяц. Нас подруга... свела. А, впрочем, какая разница. – она помотала головой. – Расстались.

В конце концов мы приехали, и я припарковал машину. Повернулся к ней.

– Как тебя...

Она подалась ко мне, и я не закончил фразу.

Я все еще вижу ее лицо тогда, в машине – вижу в профиль, вижу в три четверти, ее глаза – очень крупно, с неровной черной линией по краю века. Вижу, как опускаются ее ресницы, вижу, как она двумя пальцами заправляет за ухо прядь волос. У меня плохая память на детали, выборочная и плохая, но иногда они вдруг сами начинают показываться мне – как она смотрела на меня, и полосы шли по ее лицу, и почему-то капли по стеклу, продолговатые – из-под колес. Я беру ее рукой за подбородок и поворачиваю к себе, нет, это было в другой раз, я рассматриваю ее почти с сожалением.

Почему так, а, скажи, почему – она смотрит вопросительно, но не уклоняясь. Не откидываясь подальше от световых полос.

Тогда все и началось. А позже появился дом, гораздо позже. А еще позже дома появились соседи. И профессия. Профессия была другая, потом сменилась. То, что было внутри меня, стало только сильнее, а по мере того, как оно стало сильнее, оно стало занимать в моей жизни – и во мне самом – все больше места.

21.

Так.

Я вынул из книжки мокрую бумажку и, нахмурившись, смотрел на нее.

Этого товарища я уже где-то видел – или, во всяком случае, его лицо, с очень резкими чертами, левый глаз прикрыт прядью иссиня-черных волос, казалось мне знакомым. У него были немного монгольские черты, величественные и одновременно жестокие, но жестокость в данном случае меня не волновала. Когда я кого-нибудь ищу, мне не надо брать их с поличным. Надо только достаточно четко указать, где именно они находятся.

Я какое-то время смотрел на фотографию и кратенькое описание. Мужчина, сорок два года, национальность... понятно.

Они никогда не пишут, почему их разыскивают. Никогда не пишут об их преступлениях, если они совершили преступление. Считают, что поисковикам не полагается об этом знать.

В конце концов я положил листок в карман и закрыл дверцу ящика. В нем лежало, наверное, штук десять книг, может пятнадцать – все потрепанные, потертые от времени и отсыревшие.

Это было как заданный вопрос – где его искать. Где, где, где. Где? Ты еще не знаешь весь ответ, но ты знаешь начало, и ты знаешь, куда указывает стрелка. Именно оттуда и надо начинать.

22.

Чисто теоретически товарищ мог бы быть во многих местах. Но я, как обычно, начал с самого вероятного.

Свои любимые маршруты я берегу – не трачу их все сразу, перебираю пальцами, бренчу и поглаживаю. Некоторые, как ленты, извиваются и льнут к речным берегам, на других скользят автобусы, третьи вскрыли и провели вдоль дорог чем-то острым – вспороли окна, двери, груды вещей и серые лица, без всякого выражения, такие же, как иногда мелькают внутри окон нашего дома. Как будто мякоть всю вычерпали огромной ложкой, осталась только кожура. Они живут внутри чего-то, что однажды было живым.

Я начал с дальних, выметенных и выеденных кварталов. Я видел и хуже – дома с чернотой внутри, сожженные стены и потолки, выкорчеванные двери. Внутри черно, и то, где некогда жили люди, превращается в плоскую декорацию. Через окна видно небо, оно показывается на глаза, просвечивает с другой стороны. Дома стоят рядом друг с другом, как воткнутые в землю горелые обломки.

Город иногда говорит мне посмотреть поближе. Вернее, нет – не то чтобы он говорит, но как будто притягивает мой взгляд к каким-то вещам и отводит – от других. Я всегда думал, что рассматривал людей и вещи невнимательно – глянул тут, глянул там, но на самом деле я просто всегда ищу важное, а чтобы заметить важное, пялиться не надо.

Что остается у человека тогда, когда из мира вещей у него больше ничего нет? Нет кастрюли, в которой он привык варить суп. Нет варежки, снимаемой со стены прежде, чем пойти посмотреть на снег. Нет дивана, на котором легко заснуть, положив голову на подлокотник. Они были – до того, как камера моргнула и погасла. А потом пленка остановилась.

Щелк – остановите запись. Записи больше нет.

Я иду – людей на улицах нет, почти нет, совсем нет, только ребятишки с очень белыми белками глаз иногда подскакивают, а потом так же убегают обратно в худые подъезды – и думаю о том, что разрушение должно идти изнутри наружу, а не снаружи внутрь, чтобы нанести хоть какой-нибудь ощутимый вред. Я думаю о том, как долго нужно поливать ростки зла, чтобы они уже показались, зеленые, из удобренной земли. Я не из тех, кто заводит случайные разговоры или вдруг вываливает из сумки сразу все, что у него с собой. Я могу отдать свой бутерброд бездомному, я могу пожалеть собаку, которая лежит, сложив передние лапы, и смотрит на меня печальными глазами. Ты не можешь пойти со мной, говорю я ей. Ты не можешь пойти со мной – и она не идет.

Я иду и думаю, что делать с тем, что зло победило. Во всяком случае здесь, среди голых сожженных и так и не отстроенных обратно домов. Что черное перевалилось за отметку «максимум» и теперь плещет через край, что картину, которую рисовали так старательно, так любовно раскрашивали и обводили фигурки, с угла заливает темнотой. Черная клякса – поверх еще не засохшей краски, расползшиеся черты, рука, выкинутая вбок, и палки травы. Все собирается и взрывается, расширяется и взрывается, как когда-то взорвался комок вселенной.

Зло побеждает во мне регулярно, но я никогда не верил, понимаете, не верил, что оно победит в таком большом, таком настоящем масштабе.

Зло побеждает во мне, когда ей грустно, а я не хочу ее обнимать. Когда крикливая дочь соседки со второго кривит физиономию и ревет, а я думаю, как поднять что-нибудь с пола, запустить в сторону коляски или ее трещотки-мамаши изо всех сил и выйти из комнаты. Когда я специально наклоняюсь очень близко и говорю что-нибудь такое, от чего по лицу напротив, как разряд, проходит боль – один, которому я так сказал, даже смешно вскочил, уронив графин себе на брюки, и с мокрым пятном так и припустил по улице, даже не поворачиваясь.

Зло побеждает тогда, когда мне не жаль бродячую собаку, что скорчилась у забора и лежит там неподвижно. Когда стравливают людей друг с другом, просто чтобы с наслаждением наблюдать за градом ударов и за тем, как синяки быстро проступают – сбоку на шее, на скуле, как выламываются линии, как стачивается черта. Правда, я давно уже не бываю там, где такое бывает, потому что мне не нравится ощущать разлитие внутри черной бездонной лужи, которая заливает мне и легкие, и сердце, не дает мне дышать, топит меня, как в пруду, откуда нет выхода, в моем собственном теле.

Может, это оттого, что он прыгнул, как овца, а может, оттого что тот с бородкой у меня спросил, беспокойно заглядывая мне в лицо, а может потому, что ни в одном из здешних подъездов не горит даже лампочка. Но иногда мне кажется, что зло – цунами зла – поднялось над городом, как стена черного цвета, от которой никак не спастись. Я шел и смотрел в небо, и видел, как оно надвигается. Оно везде проникнет, оно перевернет мой стеклянный шар с синим вверху, землистым внизу, оно просочится, пройдет и в воду, и в листья, и даже в ветер – каждый раз он приносит новые истории, но теперь и он будет отдавать горечью, и бросаться мне в глаза осколками металлической пыли.

Когда я был маленьким, я верил, что все пройдет – и все правда пройдет, только тогда я не знал, что кое-что пройдет прямо сквозь меня. От этой волны не удастся уйти – люди останавливаются на перекрестках и смотрят, прикрыв глаза рукой, как все растет и растет гора туч, как небо темнеет, как что-то катится с горизонта, смывая и складывая город – картонные домики возвращаются обратно в книжку.

23.

Его подъезд – крайний из трех в сером полуразрушенном доме.

Я осторожно сел на лавочку рядом с домом. Я могу сделать так, чтобы он меня не заметил, но, честно говоря, мне не хочется делать лишних усилий. Ему сейчас не до меня.

У меня есть, если надо, способность быть незаметным, но сейчас я приткнулся на лавочку, вытянул перед собой ноги и стал задумчиво смотреть на дом. Дом был от меня сбоку слева, поэтому голову приходилось поворачивать. Третий этаж, неосвещенные два крайних окна. Причем между этими двумя окнами – кровать.

По виду там никого не было, и можно было, конечно, подняться и проверить, там он или нет, но в подъезде даже не было перил, осыпалась лестница, и лампочки тоже нигде не горели – поэтому, кроме редких фонарей, свечей и переносных светильников, которые работали без розеток, никакого освещения там не было, а желания сталкиваться с мясистым и здоровым мужиком, который прямо сейчас беспокойно спит на полосатом матрасе, у меня не было никакого.

Людям свойственно строить свой мир из ничего – возводить его там, где до них ничего не было, наполнять его собой так, что не остается дыр. Прямо на земле, на дорожном полотне, стаканы ставят на трансформаторную будку, люди переговариваются, стоя в луже глины, которую размыло недавним дождем. Мимо идет поезд, и они вскидывают головы, смотрят на проносящиеся мимо окна, а потом, поняв, что он не остановится, снова на землю.

Когда идет дождь, черные провалы окон и ветки обожженного куста тяжелеют и становятся почти нежными. Как будто шлюз открывается, и идет дождь, и где-то медленно, оставляя свой влажный след на камне, поднимается вода.

Город мог бы дать им больше, чем дождь – но дает только его, бросает, скривясь, только бы отстали.

Он должен был уехать, подумал я. Должен был бежать отсюда, или хотя бы убраться подальше, на еще более дальние задворки, чем эти. Но благодаря мне – из-за меня? – бежать он, скорее всего, не успеет.

Из подъезда показался парень. Подросток. Тонкий, большая голова на тонких плечиках, перебирает ногами не так чтобы очень ловко – так делают люди, боящиеся потерять координацию. Болеет, что ли, подумал я, все еще не отрывая взгляда от окон. Или просто не ест?

Парень явно заметил меня, и я ему не понравился. Ничего не сказал, прошел мимо. Я посидел еще немного.

Это только кажется, что человека тяжело найти – на самом деле, если ориентируешься и в городе, это не так уж и тяжело. Я это делаю на чувстве, на векторе внутри, и почти не думаю, как мне это удается. Иногда, конечно, приходится идти более классическим путем, то есть говорить с окружением, работодателями, любимой, обходить предыдущие адреса, хотя предыдущие адреса в случае людей, которых я ищу – самое гиблое дело.

Иногда приходится еще и расспрашивать и внизу, и вверху, и вообще искать информацию всяческими другими способами, но это я не люблю еще больше, чем по адресам ходить. Я стараюсь не бывать там без особой надобности.

24.

Верх и низ – это измерения города, куда обычно закрыт вход обычным людям, вернее даже не то чтобы закрыт – они его просто не видят, и в лучшем случае не хотят проводить там время. Я их понимаю.

Многим почему-то кажется – и белобородому, уж конечно, так казалось тоже, поэтому он и задавал мне свои интересные вопросы – что или верхние, или нижние пытались прибрать меня к рукам.

Это не так, конечно же.

Там это не принято.

К тому же мной интересуются исключительно в качестве инструмента. И меня это полностью устраивает.

Верх был, пожалуй, скучнее. Я шел там и вертел головой по сторонам, но мне никогда не удавалось все до конца рассмотреть. Кажется, были и арки, и пустые коридоры, и большие залы, наполненные чем-то вроде каталок и конвейеров. Или огромные склады, где ящики выдвигались и задвигались сами собой.

Наверху в те редкие моменты, когда я туда приходил, было пусто. Никого не было, в какую бы дверь я ни постучал – везде меня встречала пустота. Это как ходить по огромному офису, где раньше были люди, сновали, обивая пороги, из кабинета в кабинет, спотыкались в покрытых серым линолеумом коридорах, дрыгали ногой, сидя в приемной – а потом одна протяжная, длинная пожарная тревога вымыла их всех наружу. И никого не осталось.

Их работа, в конце концов, была внизу, в городе – и даже там поймать их было непросто, потому что они-то не тряслись на поворотах, не вжимали голову в плечи, а просто плыли туда, куда им нужно было. Никаких опознавательных знаков они не носили, и были вроде агентов под прикрытием, которым за пять минут надо подбросить мысль, обкатать ее немножко рукой и ретироваться.

Зато внизу всегда полно народу.

Вот уж кому было нечего делать – они, развалясь, сидели, отдыхали, курили – и горлопанили, и никто не думал их усмирять. Там вообще не принято говорить, чтобы вели себя лучше.

Как спустишься, постоянно надо проталкиваться через людей – как через толпу у бара, только два квартала подряд. Кварталы набиты битком, и постоянно кто-то проезжает мимо на двухэтажной конструкции с колесами, которую и велосипедом-то нельзя назвать. Что-то постоянно лязгает, шипит и грохочет, и нет смысла пытаться перекричать стоящий там гвалт. Откуда-то доносится музыка, через минуту она сменяется на другую, потом на третью, четвертую – одну мелодию уловить невозможно. В темных углах там постоянно что-то происходит, к этому я тоже уже привык. Иногда попадаются места, со всех сторон окруженные темнотой, и к ним я стараюсь близко не подходить – как в городе к пустырям и глубоким котлованам.

Но хуже всего не там, где темно. Хуже всего там, где все залито электрическим белым светом. Желание вырвать все живое, что есть – вот что там.

В нижнем мире, как и в верхнем, нет краев. У вещей и людей нечеткие границы. Никакой шкалы измерений тоже нет. Каждый рассматривается как уникальный экземпляр, а не в сравнении с

другими – причиненное зло, в конце концов, нельзя сравнить с другим причиненным злом. Зло живет здесь постоянно – в той самой размытости границ. В улыбке, которая после пары стаканов становится жестокой.

В нижнем мире на первый и неопытный взгляд интереснее, чем в верхнем. Я тут знаю не всех, да и не все хотят меня знать. Кто-то вообще с радостью вышвырнул бы меня, да только я сам убрался быстрее.

Везде, куда ни пойдешь, на тебя наседает толпа – разница с обычной, городской толпой только в том, что на тротуарах и стенах виднеются сгустки крови и в воздух поднимается черный пар, но никто не обращает на это внимания. Люди то приходят, то уходят, они, подобрав полы длинных вечерних платьев, поднимаются по лестницам и в лифтах наверх. Да, тут заботятся о своем комфорте. Из золотистых краников бежит бурая жидкость, ее наливают в стаканы и раздают всем желающим. Тут много реплик города – зданий, которые вырастают на меня из ниоткуда, широких площадей, на которых раздаются крики – но только нет ни светофоров, ни такси, ни даже какой-нибудь минимальной регулировки движения. Никто даже и не пытается что-нибудь контролировать.

25.

По правде говоря, меня порядком утомляет вся эта свистопляска с очищением через боль. Этот концепт появился вверху, а адаптировали его почему-то внизу, и внизу стали использовать, и, по-моему, никому от этого не лучше.

Когда я иду по грязным кварталам низа– грязным не потому, что фундаменты зданий покрывает слой коричневой жижи, и не потому, что во все углы забивается снег, когда в городе снег, и застывает там, не тая, хотя не таять даже неприлично – при такой-то погоде, когда снежинки падают и исчезают, не касаясь земли. Грязным не потому, что в морщинах и вокруг ртов застыли коричневые разводы, и не потому, что на столе отпечатывается черная пятерня – не поэтому. Когда я иду по грязным кварталам, мой взгляд притягивают не лица, а мусорные баки, кучки, тряпье, полуразбитые цветочные горшки, которые неизвестно почему еще держатся на подоконниках, когда даже ставни уже рассохлись и облетают струпьями белой краски. Я смотрю на то, как кривятся тонкие металлические решетки, как на отшпаклеванном, пористом и светлом лице города появляются прыщи. Что-то лишнее. Что-то, что лучше бы спрятать.

Когда я иду по грязным кварталам, и заглядываю под белый свет халяльных магазинов, я думаю, как эти люди переваривают боль. Так же, как купленное там – долго и медленно, натужно, спотыкаясь и бредя домой, где круглосуточно бормочет телевизор, и жены, переворачивая лепешки в кипящем масле, недовольно покрикивают, а потом, подбоченясь, бьют и бьют непослушное тесто скалкой.

Или, может быть, они не видят боль как боль – просто как потолок, низкий и черный, под которым они вынуждены жить, пригнувшись, никогда не выпрямляясь в полный рост. Всегда немного подсогнув, сгорбив спину и заранее приготовившись извиняться.

А может, боль сделала их нечувствительными – ни к оскорблению, ни к похвале, ни к доброй воле – когда я останавливаюсь и протягиваю им монету, они смотрят на меня пустыми, осоловевшими глазами. Глаза их точно видят меня – не могут не видеть – но не находят. Или, может, они хотели бы найти что-то другое, а находят меня.

Каждый видит то, что хочет видеть. Кто-то не опускает свой взгляд ниже крыш, и только смотрит, как под стеклянными прозрачными квадратами, через которые видно небо, сверкают огни. Кто-то морщится и старается ни к чему не прикасаться, хотя низ уже поглотил его, сглотнул и теперь облизывается, высматривая следующую жертву. Кто-то резко меняет направление, потому что чья-то рука вдруг вылетела из темноты и схватила за локоть, а потом за плечо – подожди, не уходи, куда же ты. Раньше я не замечал этого – город, оказывается, может и остановить. Только меня он никогда не останавливает.

Я совсем не уверен, что боль очищает. Я совсем не уверен, что несчастье очищает. Я совсем не уверен, что через боль можно пройти как через коридор и выйти на другой стороне. Или все-таки можно?

Чтобы горело, так ли уж обязательно самому прыгать в костер. И во время, и после не становится чище – в конце концов, может, остаток боли застревает внутри, как застывший снег. Он упрямо смерзается в комки, лежит и ждет, и твердеет вместо того, чтобы становиться тоньше.

Когда я думаю о боли, то я думаю о том, что она отводит в такое место, где кроме нее больше ничего нет. Последний способ обратить на себя внимание – и если уж говорить про очищение, то счистить, отскоблить ножом нарисованную на холсте фигуру. Сразу всю.

26.

Я был удивлен, когда узнал, что верх и низ пересекаются – многие их тех, кто регулярно бывают в одном, бывают и в другом. Они делают что-то похожее на то, что делаю я – я ведь оказываюсь наверху или внизу не потому, что меня посылают, а потому, что сам выбираю, куда мне пойти. Никто не подталкивает меня в спину, и я не лечу вниз по ступенькам, и не поднимаюсь на невидимом лифте.

Я даже не спрашиваю разрешения. Просто оказываюсь там – и вот, уже шагаю по переполненной улице, завидев за грязным стеклом знакомый оскал. Однажды я долго не был внизу – а вернувшись вдруг увидел, что у всего поменялась форма. Теперь это был не город с забитыми толпой и огромных размеров улицами, а театр – со сценой, оркестровой ямой, светом ламп, которые захватывали даже самые дальние уголки лож.

На галерке толклись люди, и вцеплялись зубами в бутерброды. В гардеробе кто-то шнырял, проверяя карманы. За сценой вились узкие коридорчики, в которых тоже было полным-полно народу. Пахло пудрой, чем-то прогорклым, вроде плавящегося свиного жира, и запахом человеческого тела. Впрочем, им пахло и раньше, я просто не обращал на это особого внимания.

Толпа колыхалась, вставала со своих мест и снова садилась, и знакомых было сложно разглядеть.

– Ты так удивляешься, как будто в первый раз видишь, – сказал мне один, которого я в конце концов выловил на одном из балконов, где он сидел, беспечно раскинув ноги и поглядывая вниз, пока начнется представление.

– Так я в первый раз и вижу, – ответил я.

Он внимательно посмотрел на меня.

– Не-а, – он вытянул шею, перегнувшись через бортик. – Не в первый.

Все думают, что те, кто за верх, и те, что за низ, часто сталкиваются. Когда выпадает случай за кого-нибудь поспорить, они дерутся и пихаются локтями. Или сидят справа и слева, вроде охранников на суде, и препираются сквозь зубы.

На самом деле это чушь полная – те, что сверху, и те, что снизу, видят друг друга постоянно, но встречаются редко, если не сказать никогда. Примерно как водители автобусов на одном и том же маршруте, которые едут в разные стороны и машут друг другу рукой, проплывая по узкой улице.

Точить лезвия, цедить кровь, сидеть в оркестровой яме. Искать людей, чем я и занимаюсь. Вылавливать и вытаскивать на свет божий, вернее, как божий.

Они бывают разных взглядов и разных специальностей. Лезвия – не самый их любимый способ. Тыкать поострее в то, что больнее всего, слишком просто, чтобы можно было получить хоть какую-нибудь радость. Понятно, что по запросу они сделают и не это – сдерут с любого желающего шкуру, предложат ему таблетку, всего одну, чтобы забыть, и любезно улыбнутся ему – и мне – желтыми зубами.

Они повсюду, и я к ним равнодушен. Их работа – куда как проще, чем у верхних, зато интереснее – черная фигура посреди танцпола, еще одна прислонилась к стене в узком вонючем коридоре

между двумя домами, одну я вижу краем глаза, пока она по красным ступенькам скользит вверх, поднимаясь в город, втыкая каблуки точно по краю. Иногда они просто забавляются – подкладывают таблетки, кому не следовало бы, прыскают в лицо острой грустью, которая у них всегда с собой, втыкают иглы в сиденья, рвут бумаги. Подстраивают все так, как будто это несчастный случай. Им забавно смотреть, как веселый еще две минуты назад человек закрывает ладонями лицо и выбывает из игры.

Они из тех, кто способен выполнять любые желания, но их это уже не забавляет. Желания, да и секреты тоже, у людей не меняются столетиями – хоть бы одному взбрело в голову пожелать что-то новенькое.

Одна даже пожаловалась мне, когда мы случайно пересеклись внизу – я уходил, а она только заходила, – что перестали меняться даже слова. Всем настолько хочется быть уникальными, что они повторяют друг за другом одно и то же, понимаешь, повторяют, сказала она с издевкой, отбрасывая в сторону очередную спущенную шкуру.

– Ну не идиоты ли?

Она опрокинула стакан – на горле татуировка.

Выискивать тех, кому надо причинить боль, и потом нащупывать, как именно – вначале это даже забавно, но когда они повторяют это много, много, много раз, то поневоле начинают смотреть на это с презрением. Сколько раз я видел, как они безразлично стоят и считают секунды, и ждут, пока их жертва, нокаутированная болью, отклеит лицо от пола и поднимется, чтобы продолжать.

Не передать, как их веселит наивная надежда на то, что следующего раунда не будет. Как они визжат, следя за дураками, которые у всех подряд спрашивают, когда это закончится. Чей палец скользит по газетной колонке, по экрану, набирает дрожащее «Скажите, когда мне ждать...», ища день, до которого им надо дотерпеть, день, когда от них отступит несчастье. О, голубчик, хихикают они, с чего же ты, соколик, подумал, что несчастье пройдет. Я уходить не собираюсь, насвистывают они жертве на ухо, и та беспокойно дергается и переворачивается, мотая головой и бормоча во сне.

Иногда эта работа их почти раздражает.

– Ну вот подумай, – сказал тот, которого я нашел на балконе. – Бывают такие, кого ни хорошим, ни плохим не проймешь. Пошли кого-то еще, и я тебе гарантирую – результат будет тот же самый.

– Да ладно, – ответил другой, потянувшись за вторым стаканом. – Ты что, все попробовал?

Когда они только начинают эту работу, то видят всех, кто проходят через их руки, как вереницу одинаковых имбирных человечков. Что может быть милее – подсохшее тесто, которое они отскабливают от противня железной лопаткой. Сломать руку имбирному человечку совсем не сложно – надо только зажать двумя пальцами тельце, и отломить ее. На себя, и вниз. Останется неровный край.

Человечек, от которого уже что-нибудь отломали, так и остается поломанным. Он уже не похож на своих по-рождественски нарядных собратьев. Можно, конечно, оторвать руку и кому-нибудь другому, но куда проще продолжать ломать его.

Есть много способов мучить имбирных человечков, и, как я уже сказал, они работают на всех – фигурки ведь похожи друг на друга. Тут и там блестят пятна красной глазури. Она еще не успела застыть.

Не знаю, кто их этому научил. Мучения могут идти как изнутри, так и снаружи – это одно из правил, которому они учатся первыми. Сварить жертву в собственном соку, в растворе из посаженного когда-то горького семечка обиды – вот что доставляет им наибольшее удовольствие.

– Откуда-то должна упасть капля надежды, друг мой, – сказал мне один, разделывая мясо на волокна.

Он сгреб внутренности в пластмассовое ведро.

– Да? – спросил я.

Я смотрел на внутренности равнодушно, как на остывшую разделанную курицу.
– Да. – Он пожал плечами. – Сколько же дерьма в них, а.
– В тебе не меньше.
– Да, – согласился он легко и оскалился, обнажив зубы. – Во мне так даже и больше.

27.

В конце концов мне приходится подняться с лавочки, на которой я сижу. Ноги у меня затекли, поясница стынет, а этот шкет скоро выйдет из подъезда, вот буквально уже с минуты на минуту.

У тех кварталов, где все вымело и выело наружу, тоже есть жители. Не он, я имею в виду не тех, кто здесь только скрывается.

Чаще всего я вижу жителей таких районов в метро. Когда они ходят по вагонам, согнувшись пополам и скуля, то обязательно суют мне в лицо свои стаканчики, в которых позвякивает мелочь, касаются меня пальцем, вдруг приближают свои черные лица к моему. У них подтекшие глаза и взгляд плывущего в толще воды, и они ковыляют, раскачиваясь, среди пассажиров, и поют свои несвязные писклявые песни, заглушая громкую связь.

Огоньки станций загораются и гаснут, мимо несутся грязные стены, исписанные черными маркерами, стертые слова старательно выводят опять; пути, которые задваиваются и уходят вбок; входы в туннели, там, где не зажигается свет. Конец платформы – узкая полоска, выкрашенная в желтый цвет, и каменные ступеньки, спуск в полость, где прокатываешься раз, как шарик, и исчезаешь в лабиринте.

Мимо нас проносятся платформы, заваленные досками и латунными буквами. Огонь, который горит где-то далеко – я редко пользуюсь своим правом на выход, не хожу смотреть, что там.

Они ковыляют вперед, хватаясь за поручни и плечи, с которых раздраженно стряхивают их руки все новые и новые пассажиры. Все делают вид, что не заметили их. Раздавленное насекомое, одна выступившая капля крови там, где оно проползло до того, как его задавили. Сложно жить, когда ты и есть то самое насекомое, и тебя вот-вот прихлопнут, но ты все ползешь, ползешь и ползешь.

В тех кварталах, где черная бритва прошлась по заднику, где ввалились окна, где на пустой кухне осталась сковородка с прилипшей к ней затвердевшей массой, было их место. Где чай в стакане, кажется, еще немного плещется, и испарина еще на сошла с толстых стенок. Вон тапочки, вон зеркало, куда кто-то смотрелся, когда брился, вот жилет, который он всегда надевал на работу, когда у него еще была работа – но где он сам?

Там, где что-то прокатилось и выдрало людей оттуда, где они должны были быть, из их предыдущей жизни, и швырнуло вниз, выбросило в вагоны метро, на платформы метро, заставило прятаться, прижиматься носом к поездному стеклу и думать – куда я еду?

Я смотрел и думал – уж если и есть бог, о котором так толкует белобородый, то, уж наверное, он отвернул свое лицо, он смотрел в этот момент в другую сторону, потому что как же иначе, он следил за тем, как пролетают мимо сигнальные огни, пока кто-то протягивал к нему руку, касался его лацкана пальцем, тыкал в плечо своим мятым бумажным стаканчиком, который дрожал в руке. Пока кто-то смотрел на его профиль, отвернутый в сторону и брезгливый, смотрел жадно, настойчиво, надеясь выпросить хоть один взгляд глаза в глаза.

Если бы он только видел эти груды трухи и черноты, которые от них остались. Если бы он повернулся хотя бы немного, как поворачиваются к надоедливому собеседнику в маршрутке, который все теребит своими вопросами, все докучает: «Ну, а вы? А вы?»

Он повернулся и увидел бы, как дом становится декорацией, как взлетает в облаке огня все то, на что ты когда-то смотрел с любовью.

Я знаю наверняка, о чем они молят – быть увиденными. Снова увидеть солнце, не быть в жерле смерча хотя бы только этот раз. Они обещали, что исправят все то, о чем ты их просил, что будут верить теперь, только если ты уберешь эту иглу, что выбивает им окна, срывает со стен обои, и достает их, до сердца, опять, и опять, и опять. Убери ее от меня – они сильно сжимают на

груди ладони, ворочаются и обнимают себя обеими руками за бока, чтобы туда, внутрь, ей было сложнее добраться.

Каждый из них – каждый – и не вообразил бы, что станет тыкаться к нему, надоедая, со своим бумажным стаканчиком, в котором собрано не так уж и много. Каждый не думал, что станет закрывать глаза и представлять, что бог здесь, он почти лежит рядом на полу, или улыбается, поднимаясь из метро вверх. Может быть, он посмотрит в них наконец, и кольца смерча отступят, и больше не будет закладывать в ушах.

Возвратясь домой, они обнаружат и запотевший стакан, и налипшую кашу, и даже тапочки – и там, прямо там начнут дышать ровнее, и костяшками пальцев вытрут слезы, и даже смогут заснуть – а потом проснутся и будут слушать, как я слушаю, как поезд свистит в тоннеле и несется вперед.

28.

Но есть и те, у кого не получилось. Это и их город тоже, только никто не знает, что они еще здесь. Они в запунктирной зоне, они становятся похожими на полупрозрачные фигуры, и надо моргнуть два раза, чтобы убедиться, что видишь их на самом деле.

Но они здесь. Их голодные глаза с очень белыми белками, цепляющиеся за края юбок и загорелые щиколотки, если одна попадется им на глаза. Их поднятые руки и согнутые спины, когда они наклоняются к стеклам машин, а потом снова выпрямляются и идут, пошатываясь, по шоссе.

Начинается все всегда невинно – не обязательно даже заполнять в их жизни дыры, достаточно просто дать о них забыть. Подсадить отчаянных вообще ничего не стоит – вывести их наружу, туда, где все, что их мучило, скроется за коричневым туманом, за мутным стеклом, в которое сколько ни заглядывай – ничего не видно. Они будут стоять на траве за окном и глотать ртом воздух, и в голове у них вдруг станет пусто, волшебно пусто, так пусто, что не проскочит ни одна мысль.

Потом они отдадут что угодно за то, чтобы еще раз побывать в этой пустоте. Там их мозг не способен их сжать, не способен причинить им боль – они путешествуют туда, куда никто до этого не отправлялся, и вдалеке виднеются флажки, синие и красные, как на высокой крепостной стене, и солнце, обвитое радужными полосами рассвета.

Они живут на полях – кто дальше, кто ближе, смотря сколько успели прошагать. Мой глаз выцепляет тех из них, кто готов свалиться на месте – это просто. Тонкие фигуры и ввалившиеся глаза, и эти съежившиеся позы людей, у которых нет своего места. Может быть, они согнутся пополам на парковке позади крупного торгового центра, а может быть, упадут у забора, металлическая чешуя которого поблескивает в темноте. А может быть, они будут идти сквозь ночь, сквозь утро, пошатываться, спешить, стучать зубами, все для того, чтобы уйти далеко за пунктир, и протянуть руку там, где больше никто не увидит их стыда.

Их жизнь – это жизнь теней, жизнь тех, кто оборачивается в тумане и не видит никого, кто шел бы за ним, и никого, кто идет им навстречу. Иногда есть точки на тыльной стороне их рук, выпирающие вены, мутная взвесь в голове, но иногда нет и этого – только трава и асфальт. Верх и низ, земля и небо, травинка номер один и травинка номер два. Они видят только сам туман, и то, как вдали по шоссе едут машины, и такие же, как они, тени идут между машинами, лавируя в бесконечном потоке.

Я усмехаюсь. Черная ложка высунулась и выскребла все внутренности, и город не просыпается вместе с ними. И потом – они никогда не спят.

29.

Город от меня ничего не прячет. Граница между белым и черным, сытым и скрученным от голода проходит по улицам как пунктир. Я иду и смотрю на то, как они собираются на углах улиц, как переговариваются, как окидывают взглядом чужих. Им всегда нужно быть по двое, по трое, чтобы чувствовать себя целыми – как будто для одного человека улица слишком пуста, и он спешит куда-то, где его снова проглотит толпа.

В музее я как-то видел подобное – у них была одна грудная клетка, один набор ребер, одна привычка шумно задерживать дыхание. Они вместе думают, перебрасывают друг другу то, что хотели сказать, они лежат валетом в слишком узких кроватях без простыней, они сидят рядом на бордюрах и на траве, они хватают друг друга за локти в автобусе, хлопают по плечу, ставя на тротуар замызганный пластмассовый табурет, на котором проведут, ссутулясь, все время до заката.

Я не могу отличить их друг от друга, как будто они уже появляются на свет такие – приклеенные. Серое разварившееся тесто – тыкаешь, тыкаешь в бульон ложкой, но их не отцепить друг от друга, и они кружатся в кипятке, дразнясь и шипя. Столиков здесь нет, нет и нарядного цвета террас, и огоньков, и дорогого стекла, и атлантов, что смотрят озабоченно вниз – только примятая трава и асфальт, заборы из проволоки и дорожная пыль. Они научены тем, что там, где витает запах ирисов и лилий, где распускаются тюльпаны, где продают сладкую вату и плывет в воздухе карусель – там их не замечают. Они есть и там, они везде есть – в конце концов, они такие же жители города, как и все остальные, но они толкутся там невидимой толпой, и если на них и смотрят, то с удивлением, как будто безмолвно спрашивая, как они тут оказались. За этим они и держатся вместе, и трогают друг друга за плечи, и окликают громкими гортанными голосами – затем, чтобы их не унесло в тот мир. Где их не ненавидят, нет – они недостаточно важны, чтобы вызвать ненависть.

Я иду не спеша. Небо сейчас высокое и синее, вздернутое над моей головой, а на улицах выстраиваются в ряд остроконечные белые палатки. Внутри у них блестит серебро, отливают края молочно-белых тарелок, громоздятся расписные заварочные чайники. Мимо них приятно проходить – торговцы отдыхают, развалившись на складных стульях и задумчиво глядя в небо. Можно сидеть в столбе солнечного света, зажмурив глаза, но иногда, прищурившись, все же бросать взгляд на прохожих.

Будь счастлив, говорит солнце. Я тебя согрею, а ты будь, пожалуйста, счастлив. А я иду вперед, и напряжение никак не исчезает. Солнце не растворяет его, а только немного подтапливает, и оно чуть плавится по краям, но не перестает колоть меня изнутри. Я не хочу думать о том, что внутри – но все же приходится. Все же приходится представлять все то, что там раскинулось – или, может быть, сжалось. Я думаю об этом, но совсем кратко – красные внутренности, подернутые кровью, скользкие, уворачивающиеся из-под моих пальцев.

Ходьба научила меня еще и вот чему – если ты по-настоящему хотел сделать только сотый шаг, и только он имел для тебя смысл, то предыдущие девяносто девять сделать все равно придется. Без них сотый не был бы сотым. Какой шаг будет тем самым, я заранее не знал. Но один из них, может быть, десятый, а может быть, миллионный, будет. Мне только пообещали джокера в колоде, солнечный луч за тучами, понять, найти– и я кивнул, и теперь я иду.

Каждый раз, когда мне нужен ответ, город вкладывает мне его в руку – но иногда мне хочется скомкать бумажку и выбросить, не читая.

30.

– Ты вечно ходишь ужасно долго.

– Да ладно.

Она ополоснула руки под краном и подбородком показала на стол.

– Салат. Давай.

Я взял в руки нож и придвинул к себе пачку с зеленью.

– Я каждый раз переживаю, что с тобой что-то случится.

– Со мной ничего не случится. – сказал я.

– Ты уверен?

Первый раз я сказал ей, что люблю ее, тоже на кухне.

Она резала морковь. Был вечер, и она стояла, как сейчас, и спиной ко мне – на виске серая тень, волосы падали вперед, и она смотрела вниз, на разделочную доску. Фартук с бантом на спине – в голую кожу на боку врезается тонкая белая лента.

Пальцы у нее были мокрые, свитер задрался, и волосы спутались там, где она часто заправляла их за ухо. Вид у нее был усталый, как у кого-то, кто уже смирился со своей усталостью и теперь плывет посреди нее спокойно, мерно взмахивая веслом. Река усталости никогда не кончится – во всяком случае, не тут, не на кухне, освещенной светом двух лампочек, к которым я все никак не могу прикрепить абажуры.

– Я тебя люблю.

Она остановилась. Положила нож на разделочную доску. Вскинула голову – она выглядела теперь почему-то не усталой, она выглядела свободной. Посмотрела в окно.

– Я тебя тоже люблю.

Слова дошли до меня не сразу. Конечно, она уже говорила это раньше, и я уже раньше это говорил, или мне только казалось? От того момента, когда она сказала «люблю», добро, твердо и как нечто само собой разумеющееся, до того, как я понял, что она сказала, я прошагал много шагов, заглянул во много переулков, побывал в жизнях у многих людей и в конце концов вернулся в свою собственную жизнь.

Она дорезала – аккуратными ломтиками – и ножом, надавив на лезвие сверху, разрезала лук на две части. Улыбнулась мне.

– Может, не настолько я и люблю готовить.

Протянула руку и нажала кнопку на чайнике.

Я двумя пальцами достал из коробки пакетик, положил и начал наливать кипяток – она любила пить чай горячим, таким, чтобы обжигал, – как она снова повернулась и, отирая тыльной стороной руки слезы от лука, спросила.

– Если любишь, почему вечно ходишь по ночам?

– Работа у меня такая.

– Ну да. Работа.

– Ты знаешь, что работа.

Она усмехнулась.

– Давай сюда чашку.

31.

– У тебя вид какой-то странный.

Я отдал информацию – быстро, технично и как всегда. Я снялся с той лавочки, и она растаяла в темноте. И тот дом, и тот квартал – до следующего визита.

Я пришел домой относительно рано, очень рано, потому что, сколько бы я ни ходил, сколько бы ни кружил, мои мысли возвращались к нему.

Интересно было бы узнать, задание мне дали до или после того, как это случилось. Хотя человек на фотографии и человек на подоконнике были не связаны никак. Кроме как мной.

– Думаешь о нем? – спросила она.

– Да.

Она подтянула рукав кофты повыше.

– Одна моя подруга тоже пыталась. Давно. Я уже и забыла. Пока сегодня не... не вспомнила.

– Кто?

Она назвала имя той русалки.

– Да ладно.

– Да. Она тогда была с бывшим. Мы еще... дружили. Он собирался от нее уйти.

– И что?

Чай был горький, и я добавил туда сахару, крупинки которого еще оставались в сахарнице, сдвинутой на самый угол стола.

– Она наглоталась каких-то таблеток. Просроченных, всех, что были. Сама не понимала, что делала. Глупо так... Мать ее потом к ней в больницу ездила. Ругалась последними словами.

– И что? Он вернулся?

– Шутишь! Один раз к ней приехал, и то мать заставила, а после уже не появлялся.

Она покачала головой и подлила себе еще чаю.

– Я все равно не понимаю, зачем это делать, – сказала, покачав головой. – Я не понимаю.

– Я тоже не понимаю, – сказал я.

Хотя отчасти я понимал.

– Даже когда теряешь... любовь. Потерять любовь ведь не значит потерять зачем жить.

– Да. Не значит.

– Как думаешь, – сказала она, помедлив. – Он жалел... пока... ну. Жалел, что так сделал?

– Когда ты летишь с моста, – процитировал я. – Ты вдруг понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной – ты уже летишь с моста.

А потом, потому что она все еще ждала:

– Может быть. Может... он и не успел ничего подумать.

– Но у человека же есть эта штука, – она посмотрела вдаль. – Эта штука внутри, этот предохранитель, который всегда будет... ну. За жизнь. Разве нет?

– Да. – сказал я. – Большинство не могут через него перешагнуть. Инстинкт. Мы не хотим броситься с обрыва.

– Как овцы?

– Как овцы.

– Но он все-таки бросился с обрыва, – сказала она. – Он все-таки не просто подбежал к краю, не просто посмотрел вниз, а бросился с обрыва. Вот чего я не понимаю.

– И я, – сказал я.

Потому что было еще кое-что, чего я и правда не понимал.

Часть третья. Вглубь

32.

– У нас человек пропал!

Консьержка жмурилась и обеспокоенно заглядывала мне в лицо, как будто я тут же мог ей сказать, куда он делся.

– Какой человек?

– Да этот. Проповедник.

– Проповедник?

– Ну я не знаю, как его еще назвать еще! Старичок такой. С бородой.

Наша консьержка – женщина лет примерно пятидесяти, одетая во все мягкое и шерстяное и почти всегда почему-то бежево-песочное, и в ширину примерно такая же, как в высоту. Она вся создавала впечатление квадратности и основательности, даром что теперь она высунулась почти наполовину из своей двери и теперь напряженно вглядывалась в меня.

– Не видели его? Вечно ко всем пристает. К вам тоже приставал же! В день, когда тот, из пятьдесят шестой-то...

Я не отвечал, и она все так же беспокойно переступила с ноги на ногу. Так она занимала почти весь дверной проем.

– Листовки еще раздавал. Вроде в церковь ходил. Или в церкви работал, я не знаю, я сама не хожу, в церкви-то эти, разве что на пасху, и то когда...

– Вы уверены, что он пропал?

– Нет! Только я его уже давно как не видела. Так обычно часто видела, каждую неделю видела, мимо меня проходил, хотел и мне листовку оставить, конфеты тырил еще, бывало, а теперь уже недели две как его не вижу!

– Может, он куда-то уехал?

– Уехал? – переспросила она недоверчиво. – Думаете, уехал?

Подумала еще.

– Может, вы наведете справки?

– Справки о чем?

– О нем.

– Я его имени даже не знаю.

Зачем я это сказал, а.

– Мне-то откуда знать, где он может быть?

– О! Подождите.

Она долго рылась в книгах и листках, которые были беспорядочно навалены у нее на столе, и в конце концов нашла. Назвала мне и имя, и фамилию.

– Мне это ни о чем не говорит. И потом, вы уверены, что его действительно так звали?

– Думаете, он жил под чужим именем? – она смотрела преданно, но обеспокоенно.

– Ничего я не думаю, – проворчал я. – Я понятия не имею.

– Просто странно, – сказала она нерешительно. – Согласитесь, это странно. Что его нет.

– Ничего странного я не вижу. Может, уехал, может, живет у кого-то.

– Чего бы ему у кого-то жить, – она нахмурилась. – Точно не сможете... узнать?

– Откуда?

Она пожала плечами.

– Не знаю. Просто мне показалось, что вас можно попросить о помощи.

– У меня жена... – я замялся. Слишком много говорить мне не хотелось. – Сейчас мы немного... как вам сказать. Заняты. Я не могу выяснять, куда кто-то делся.

Если он вообще куда-то делся, прибавил я мысленно. И не вернется со дня на день и опять не начнет ко всем по очереди приставать.

– Я понимаю, понимаю! – замахала рукой консьержка. – И жену вашу... – она покраснела. – Я сама видела, выглядит такой счастливой, румяной! Уже скоро, да? Уже скоро!

– Да, – подтвердил я. – Уже скоро.

33.

Это было то, чего мне не хотелось никому говорить и ни с кем обсуждать. Это было наше с ней, не отдельно ее и не отдельно мое, а наше.

Она ждала его до того, как начала его ждать – вот в чем вся штука. Желание уже было в ней, оно просто начало расти, цвести и захватывать территории. Я был близко и все зачарованнее смотрел, как оно цветет – огромный цветок, розовый венчик, аккуратные лепестки по бокам, белое с длинными лепестками, что иногда вспыхивают огнем на склонах и кренятся под ветром. Это было похоже на укрепление того, что раньше было хилым, на медленное и неуемное утолщение стебля, который в конце концов стал таким толстым, что выдержал бы груз любых страхов и возражений.

Я подумал, что она куда более податливо подчиняется жизни – куда больше верит тому, куда ведет ее эта путеводная красная планета, сверкающая точка высоко над крышами, которая раскачивается то вправо, то влево, но никогда не исчезает.

– Я не могу больше ждать. – сказала она как-то. – Я хочу попробовать. Я хочу ребенка.

Спокойно, как будто речь шла о том, что у нас кончился кофе.

– Я уйду, если ты будешь против. Я просто. Ну. Не могу больше ждать.

– Я... не против, – сказал я. – Я никогда и не говорил, что я против. Просто раньше я думал, что сейчас не лучшее для этого время, потому что...

– Никогда не будет лучшее время. Ты понимаешь? Никогда. Никогда не будет лучшее для этого время. И потом. Можешь мне не верить, но если этому не суждено получиться, то оно не получится. А если должно получиться, то получится. И у нас с тобой точно получится. Я знаю.

Я мог бы сказать нет. Я мог бы поспорить. Короткая яркая вспышка. Не морочь мне голову, я знаю, как это бывает. Вернее нет, я не знаю, но я....

Но зачем.

Я подошел и обнял ее.

– Все будет хорошо.

Я не видел ее лица, но все равно почувствовал, как она улыбается.

– Оно еще не началось. Мы даже не попробовали!

– Прямо сейчас начнем? – она подняла ко мне лицо. Если она и плакала, следов от слез не было видно.

– Если хочешь.

34.

Это казалось одновременно естественным и невозможным. Мы проводили столько времени совсем рядом, сплющенными друг с другом – мне никогда, ни с ней, ни до нее, не хотелось стать с женщинами одним целым – я чувствовал, что я слишком из жесткого материала сделан, чтобы слиться с кем-нибудь полностью.

Но в такие моменты, когда ее дыхание было у меня на носу, а ее рука на моем плече – я чувствовал, что она существует. Не знаю, как еще описать это ощущение – пока мы не начали жить вместе, оказалось, что до этого она состояла больше из моих представлений о ней, чем из реальных фактов. Я что-то замечал о ней, что-то помнил, что-то полузабытое вспыхивало у меня в памяти – вроде фразы, которую она бросила в кафе, глядя через плечо – кофта сползла, а я запомнил – и мелкие веснушки на плече, и ткань, белую в синюю морскую полоску.

Я восхитился. И запомнил. Сложил это к себе, а потом забыл.

Ее нос был очень близко, и я чувствовал его холодное прикосновение. Ее полотенце, висящее на крючке и еще влажное, и немного припадавшее к двери. Фильтр для кофе, и банки с отвратительным растворимым, который я не понимал, как она пьет, а она не понимала, как я могу не пить. Расческа, которая лежала и блестела своей изогнутой ручкой на куче моих дисков. Черты становились более и более реальными, и проступила она вся – не та, которую я придумал, а та, что была на самом деле.

Я видел ее так часто, что не замечал, как она меняется – ее лицо было в каждый момент, когда я ее видел, едино, но ежеминутно собиралось и разбиралось – родинка у носа, торчащий волос, маленькая складка на боку, тускло-розовая, вся в пупырышках, кожа, и содранная пятка, которую она быстро и смущенно прятала под одеяло. Увидеть ее обнаженной – не увидеть, а успеть увидеть. Сверху всегда что-то было, накинуто, наброшено, завернуто, застегнуто, и не то чтобы она была против расстегнуть – скорее, она сдавалась, зная, что расстегнуть все равно придется. Я чувствовал ее стыд, и чувствовал жар, исходящий от нее – одновременно то, что всем позволено, и то, от чего хочется зажмуриться и убежать; одновременно то, что дает свободу и то, что обвязывает низ живота невидимой нитью.

Она дышит прерывисто и осторожно, и ее тело появляется и исчезает – в ночи ее силуэт то закрывает свет из окна, и становится совсем темно, то он снова обозначается в тусклом лунном сиянии. Нас здесь двое, но иногда мне кажется, что это какое-то одно существо, у которого несколько рук и ног, и оно барахтается и переваливается в темноте.

Мы проводили столько времени рядом, что ждали – она ждала, а теперь и я – когда это случится.

Когда-то, в свой первый раз, когда я впервые оказался ограниченным четырьмя углами кровати, не с ней, а еще до этого – я вдруг понял, что от меня ждут чего-то. Ждут, что у меня с собой, ждут, что я знаю, что делать. И я поспешно сделал вид, что я знаю. Но мысль пришла – как они всегда приходят , молнией – короткая и абсурдная: до чего это все нелепо. До чего нелеп я, раздетый догола, нелепы развевающиеся занавески, тонкая ткань, и ветерок, от которого у меня неприятно стынет кожа, и стопы наливаются холодом. До чего нелепо, наверное, мое выражение лица – очень глупо оно выглядит в лунном свете. До чего нелепы попытки положить руки – то на талию, другая на поясницу, туда, где еще недавно была резинка от белья, и оставила на коже длинный красноватый след, который теперь съезжает и стелется по бедру, как лыжная трасса по склону. Почему я подумал про лыжную трассу?

Кто-то сказал за пределами моей головы, но все же внутри – что ты тут делаешь? Хуже всего было то, что от меня и тогда чего-то ждали – нетерпеливо, сонливо, требовательно. И я, конечно, понял, чего, и промямлил что-то, и кровать скрипнула в темноте. А голос больше ничего не говорил. Ощущение было противное, как будто кто-то стоит со мной рядом и уважительно молчит.

После того как осталась позади та первая, белая в лунном свете, четырехугольная кровать – мне казалось, что я никогда уже не уйду с этой кровати, никогда из нее не выйду. Не странно ли, как много важного обрамляют самые разные кровати – то, как появляются люди, то, как тело становится просто телом, то, как лежащего на ней перекручивает и хватает болезнь, то, как можно прижаться к кому-то, и даже секунду странно провести, не касаясь. Я был во множестве разных кроватей, но ту, первую, запомнил потому, что тогда видел не только то, как кожа отливает в лунном свете. В ту ночь я впервые почувствовал разницу между своим телом и чужим – то, что я не знаю, во мне не отдает импульс, когда им больно, или хорошо, или и то и другое. Что я вынужден полагаться на шаткую опору, и она, конечно, подламывается под моей рукой, и я падаю, падаю, падаю.

Последняя граница между мной и ней – резиновая оболочка, всего несколько миллиметров. Иногда в процессе в голову мне лезло что-то странное, вроде орд маленьких воинов, которые беззвучно маршируют через эту преграду, а она стелется под ними и блестит, как молочная река, масляным блеском.

Мне казалось, что это произойдет, точно произойдет – с моей-то удачей, моей привычкой собирать и замечать все странное, что живет в этом мире. Что я прорвусь через эту резиновую преграду – сам не хотя этого, почти случайно, но прорвусь. И мне придется вспоминать себя тогдашнего – промерзающего под сквозняком из открытого окна, ладонь в первый раз ложится на белую, мягкую кожу.

Но этого не случилось поначалу. Не случилось, и все, и не случалось несколько месяцев, так, что я почти уже начал забывать об этом, забывать, что мы пытаемся.

Но я все равно думал. Даже тогда, когда мозг мне слепило удовольствие, когда снизу вверх шла высокая горячая волна, я каким-то осколком мысли, запрятанным вглубь, думал – а вдруг? А вдруг?

Если вернуться в ту минуту, когда я увидел ее в первый раз, если прошагать обратно в тот кусочек времени, если задержаться, оглядеться, осмотреть, что произошло – то окажется, что будущее, которого еще не было, каким-то образом уже было. И я подчинился ему.

Мне казалось раньше, что между двумя людьми не может быть пустоты. Что пустота ядовита, что пустота разливается, как река, и относит нас дальше и дальше друг от друга. Но мы стали жить вместе – и пережили пустоту. Время пережевало ее и сплюнуло, а мы остались – и теперь не пустота есть, и не мы, а то, чего в ней еще нет. Кого в ней еще нет. Пока нет.

35.

А потом однажды она пришла, села на кровать и сказала:

– Да.

Не бросилась мне на шею, не обняла и не стиснула меня крепко – хотя иногда так делала, когда очень радовалась или очень огорчалась.

Посидев только секунду, она вскочила, захлопала в ладоши, и закружилась, притоптывая и подпрыгивая, в центре комнаты.

– Да! Да, да, да!

Камина тут давно не было, только выемка в стене, но мраморная полка зачем-то еще осталась – видимо, строители не хотели ее пилить. На ней теперь сидел вязаный заяц, которого ей подарили на восемнадцатый день рождения, и она везде возила его с собой. На эту полку она и положила тест.

В следующий момент мои руки уже были вокруг нее – ее запах, и на уткнулась мне в грудь, а потом в плечо.

– Да, – повторил я. Потому что ничего другого говорить не надо было.
– Да.

– Ты пойдешь к врачу?
– Я уже сходила. Днем.
– И все... в порядке?
– Все в порядке. Пятая неделя.
– Пятая? – удивился я. – Я думал, вторая? Третья?
– Пятая. – она покачала головой. – Быстро получилось. Не сразу конечно, но быстро. Повезло нам! Представляешь?
– Да.
Я сжал ее посильнее. Но аккуратно. Она не отстранилась, только вздохнула.
– Мы будем отличными родителями. Первоклассными. Лучшими.

– А, и да. Это мальчик, – сказала она. – Мне никто не говорил, но я чувствую. Это точно мальчик. Сто процентов. Миллион.
– Ты уверена?
– Уверена не то слово. Я знаю. Это мальчик. Назову как тебя.
– Не вздумай!
– Ага, – хмыкнула она. Оторвала лицо от моей груди и поцеловала меня.

– Спасибо тебе, – сказала она некоторое время спустя.
– За что?
– За то, что ты со мной. За то, что ты сказал да. За все.
– Подожди, пока он родится, ладно?
– Спасибо, – повторила она. Сцепила руки на моей спине и не отпускала. – Спасибо, спасибо, спасибо.

36.
Мы никому и ничего не говорили, но в доме все равно, понятно, знали.
– Эта, с первого этажа, пытается давать мне советы, – сказала она, смеясь.
Я сразу понял, кого она имеет в виду.
– Какие еще советы?
– Хочет продать свою коляску. Говорит, дочери уже скоро будет не надо.
– У нас тут не дом, а целая гаражная распродажа, – проворчал я, помогая ей снять пальто. – И что ты ответила?
– Мы сами справимся, спасибо. А она мне и говорит – вы в такой госпиталь поедете? В тот, где была жена того... ну.
– Того, – я кивнул. – Из пятьдесят шестой.
– Его, да. С чего мы должны ехать не в тот же госпиталь?
– Просто совпадение. Ближайший.
– Вот именно.
– Но она вбила себе в голову, что это дурной знак.
Когда сосед выпрыгивает из окна и приземляется прямо перед тобой, это очевидно дурной знак, хотелось сказать мне. Дурной знак для соседа, но совсем необязательно для тебя.
– Потом спросила, собираюсь ли я кормить грудью. Еле от нее отвязалась. Как живот становится виден, люди уже не могут сдержаться. Консьержка и та осведомилась, как мы его назовем!
– Диоген, – сказал я, не думая.
Она рассмеялась.
– Надо было сказать «Диоген», а потом сказать, что он привычен к закрытым пространствам.
– Я сказала, что не знаю, – сказала она, смеясь. – Теперь каждый раз, когда меня видит, она станет предлагать мне новое имя.

– А про меня она ничего не спрашивала? – осторожно спросил я. – Консьержка?

– Нет. Вообще про тебя не упоминала. – Она подняла голову и вгляделась мне в лицо. – А должна была?

– Нет.

Она кивнула и ушла на кухню.

Ходила она точно так же, как всегда. Походка ее совсем не изменилась. Я старался поменьше ходить теперь, побыстрее выполнять свои задания, и так быстро, как только мог, возвращаться к ней.

Это получалось не всегда.

37.

Это было утро, очень, очень раннее утро, между пятью и шестью часами утра – мне надо было посмотреть, где машина очередного объекта, удостовериться, что она там, где я предполагаю. Я мог бы, конечно, сделать это на следующий день, но в этот раз я предпочел закончить все одним махом.

Машина была там, где я и рассчитывал, под окнами, слабо освещенными, а значит, мне больше нечего было там искать.

Я шел через пустой и темный квартал. Шел и представлял, как прямо на ходу, ловко огибая растопыренные руки прохожих и продавцов всякой дряни, я сдираю то, что на мне надето, бросаю на углу улицы и вхожу в следующий квартал как ни с чем не бывало, натягивая на плечи совсем другую ткань и поправляя чалму на голове. Я иду и посвистываю, и вдруг начинаю по имени выкрикивать владельцев магазинов, и поминутно вскидывать руку, и хлопать встреченных по пути друзей по спине – и они отвечают мне так же зычно, громко, смеясь всем телом, так, что им сигналит подошедший сзади автобус. Я мог бы сесть, подогнув ноги, среди них на бордюре, или даже запустить руку в чужие карманы – почему нет, дайте мне минутку на повороте или на перекрестке, где толпится народ, и я сделаю это.

Витрины еще спят, но сквозь очки я вглядываюсь в выложенную там мишуру, вижу, как звенят выставленные на продажу золотистые сережки, переливаются блестяще-розовым отрезы ткани, и пахнет специями и уксусом.

Если бы тут было людно, во мне отпечатались бы следы уличного гула, флаги, резкий звук трубы и крики около метро, когда кого-то – грузную женщину с тележкой, всю закутанную во что-то ядовито-розовое – в прошлый раз, когда я тут шел, сшибли на ступеньки. Она не покатилась, не слетела вниз, а просто распласталась и лежала некрасивой кучей, из-под которой доносился приглушенный вой обиды.

Достаточно только сменить образ. Я проделываю это как фокус, трюк, просто протягиваю руки, прямо на ходу просовываю их в рукава и вежливо улыбаюсь, мне подают еще одну душу.

Вот бы кто-нибудь объяснил мне, для чего я здесь, для чего все устроено так.

Раньше, когда я ходил, я смотрел сбоку на свои отражения. Между облезлыми дверьми иногда были зеркальные поверхности. Я ловил себя в них и сразу же проскальзывал, выскальзывал, тренировался исчезать.

В темноте я дошел до стадиона – он находился совсем недалеко от нашего дома, и в такой час там было пусто. На трибунах никого не было, кроме, может быть, пустой бутылки, которую ветер закатил под сиденья, или кепки, что валялась, неприкаянная, на сиденье в предпоследнем ряду. Я поднялся на трибуну и сел повыше – мне нравится тишина, нравится пустое и голое пространство, нравится смотреть на то, как изгибается и поворачивают на углу полосы беговой дорожки.

Стадион мне нравится и не нравится тем, что он сжимает бегунов кольцом, и бежать по городу совсем не то же самое, что бежать по стадиону – хочется нагнуть голову, как будто кто-то бежит за тобой. Стадион отбирает все то, зачем обычно бегают по городу: и скользящий пейзаж, и вид с холма сверху, пока город притаился и ждет внизу. Есть только резиновое покрытие и боль, и все возвращается к одному и тому же – к постепенной потере чувства времени, чувства дистанции и чувства того, куда и зачем ты бежишь.

Иногда хорошо себя чем-нибудь ограничить. Я думаю об этом, трогая рукой горб на боку у дорожки – неудобный горб, вздутие как раз там, где положено огибать трек. Всегда лезет под ногу как раз тогда, когда чувствуешь себя победителем.

Спортсмены вскальзывают внутрь незаметно – так же незаметно, как они начинают бежать, едва водя ногами в плотном, темном воздухе. Бывало, что я замечал их не сразу – через десять минут, а то и полчаса сидения вдруг видел фигуру, которая двигалась вдоль стадиона неспешно, но плавно, и так естественно, как будто это была просто тень. Я смотрел на нее, стараясь понять, как она плывет так неторопливо и одновременно так быстро – оттуда, где я сидел, не было видно лиц, и я не мог понять, полуприкрыты ли у них от усталости глаза, или устремлены на одну точку на горизонте, или они смотрят в полуслепое небо и замечают птичьи гнезда на верхушках деревьев, что растут по другую сторону стадиона.

Бегунов не становилось больше – одни растворялись насовсем и просто исчезали, и я больше не видел, как они бегут, чуть раскачиваясь на своих длинных и мускулистых ногах. Другие добавлялись – я не отрывал взгляда от дорожки, следил, следил, как они пересекают полосу света, и вдруг замечал, что фигур стало больше – и не три штриха, а четыре двигались теперь вдоль огромного, уходящего вдаль круга. Они бежали, а рассвет приближался все ближе и ближе.

Надеюсь, она все еще спит.

Одна женщина выделялась среди бегунов. Я заметил ее потому, что она была непохожа на тех, кто обычно здесь бегает – в ней было что-то жесткое, деревянное. Ее тело было сбито куда плотнее, чем легкие и тонкие фигуры других, а движения ее рук и ног как бы насильно, специально раздвигали толстый воздух. Она не летела, нет, она преодолевала пространство – как я иду, согнувшись, под дождем, всем телом бросаясь на встречный ветер. Но эта женщина, в отличие от меня, не останавливалась – нагнув голову, она продвигалась вперед упрямо и мерно, перебирая ногами и держа очень прямо свое негнущееся тело. У нее был вид кого-то, кто долго бился о каменную стену, за годы отбил кулаки в кровь, но она знает, что однажды – однажды каменная кладка разъедется и пропустит ее внутрь.

Сила, которая чувствовалась в ней, – я хорошо знал эту силу. Сила негнувшегося, вечного, горящего намерения, которая пробуривает дыры и подкладывает взрывчатку под двери, где долго не хотят открывать. Она бежала, а я думал – я не заглядывал туда, где она живет, я не сидел с ней рядом в приемной врача, рассматривая ее руки, я не был там, где переодевают в халат и выдают чистые тапочки. Я не знаю, что она выращивает на своем подоконнике, куда спешит, когда выходит из метро. Кто она такая, когда она не в легинсах, слегка сползших на талии, и толстой кофте с капюшоном.

Я прикладываю руку ко лбу и улыбаюсь – приняла решение не сдаваться. Что ж, я не могу возражать – дойти до этого стадиона, распрямляя и хрустя на ходу костями, неудобным нагромождением их в спине, которое собралось там, как куча жестких палок, поднять голову как можно выше и ковылять, ковылять, по два метра удаляясь от своей печали. Чем не решение.

Она права, думаю я – печаль не может поймать тебя, пока ты на ходу. Только летит следом, как аромат, но окутать, надвинуться на голову и плечи и закрыть от мира не успеет. Бегун навстречу кивнет ей понимающе, и вот уже печаль, та печаль, что везде увивается за ней, окажется на пару метров, но позади.

Беги, беги, думаю я. Даю тебе слово, что туман растает, темнота рассеется, ты поднимешь голову и обведешь стадион глазами, которые будет заливать едкий соленый пот – меня не будет на самом последнем ряду, и трибуны, раскрывая перед тобой свои пластиковые чаши, будут пусты.

Солнце взойдет.

38.

Когда она ждала его, я смотрел на нее и думал – откуда он придет? Он уже начал свою дорогу и шагает теперь, шаг за шагом, нам навстречу, или он вовсе и не хотел идти к нам, так просто полу-

чилось – ему кивнули подбородком, втолкнули в эту дверь, и пришлось начать двигаться вперед маленькими шагами, меньше, чем толщина волоса, меньше, чем игольное ушко.

Он идет и идет, не зная, что его ждет, в темноте, и вокруг несутся и гудят по трубам потоки крови. Он идет и притягивается к пункту назначения, он путешествует по времени, а шаги становятся все больше, все ощутимее, и вот уже даже я чувствую отбиваемый ими ритм. Он идет нам навстречу, идет и идет, раскачиваясь в пустоте, переворачиваясь, но не поворачивая, а мы всего лишь стоим за этой дверью и ждем.

Иногда мне казалось, что она смотрит на ту дорогу, которую он совершает – с восторгом, а на меня – с сожалением. Не потому, что мы становились друг от друга все дальше, а потому, что она уже попрощалась с прежней жизнью, быстро и неминуемо перешагнула этот порог, а я все медлил.

Трус ли я – спрашивал, когда шел, заглядывая под козырьки ларьков с мороженым, в окошки таксистов с зеленым огоньком, которые чуть поднимали пальцы от руля, пропуская меня вперед.

Если бы за каждой дверью, в которую я входил, кто-то ждал бы меня так, как мы ждем его – был бы я счастливее? Мне оставалось бы только шагать и щурить глаза на свет, не белый, а красновато-желтый, который выбивается из-под щели под дверью. Только дойти до нее, только повернуть ручку, только дождаться, пока она распахнется – и сразу же, когда я пересеку полосу света, исчезнет все, что было до.

В ней как будто погасло что-то – ее привычная бойкость, резкость движений – языки пламени перестали взметаться вверх, а теперь только мерцали, и я даже мог держать над пламенем ладонь. Часто она замирала посреди кухни и прислушивалась, покачиваясь под неслышимый мне ритм, а потом вытягивалась кверху, вставая на носочки и слушая, как несется издалека звук, которого я не мог расслышать.

Ее, казалось, это ничуть не волновало – то, что однажды та боль, которая зашита в ней с самого начала, вырвется и разорвет ее напополам. Не потому, что он должен выбраться наружу – нет, совсем не поэтому, а больше потому, что он вытеснит ее из мира. Не только из моего мира, где мы с ней были вдвоем, среди полупустых кофейных банок, смятых подушек и гудения душа поутру, а из мира вообще.

Я боялся за нее. Она становилась все ровнее, все тише и добродушнее, все меньше куда-то выходила, а, когда выходила, говорила мало и двумя руками обнимала живот, мечтательно глядя в небо. Она смотрела туда внимательно и как будто даже с какой-то целью, щурила глаза. Из уголков от того, как она сильно щурилась, выкатывались слезы, но она не смахивала их, а только продолжала щуриться и смотреть.

Иногда я представлял себе самое худшее. Она падает – ее вдвое сгибает боль, и она дергается, ноги у нее подгибаются, одной рукой она держится за живот. Оседает на кухонный пол, и я вижу, как растекается во все стороны бледно-розовое, а потом все более и более красное пятно. Как весь цвет уходит из ее лица, и оно становится просто набором черт – бледный лоб, рот, собранный в нитку.

Мне говорили, что надо делать в этом случае – набрать номер, дождаться, пока мне ответят. Дышать в пустоте и даже не думать, нет времени думать – обрубаются одним ударом и прошлое, и будущее, и нет ничего, кроме этого белого плоского лица.

Когда она останавливается посреди того, что делала, или тяжело поднимается с табуретки, на которой сидит, и держится за поясницу, я ловлю ее руку и немного сжимаю. Пальцы у нее теплые, и все пять умещаются в моей ладони.

Я боялся – не только за нее, а еще и за то, что он заберет ее у меня. Ту ее, что смотрела на меня в машине сквозь полосы света. Ту ее, что лежит рядом и дышит часто-часто. Они все схлопнутся, соберутся в гармошку и будет только одна она – та, что принадлежит ему.

– Ты знаешь, время так быстро идет. – сказала она, со стоном повернувшись ко мне в постели. – Я его не замечаю. И вроде оно должно быть каким-то особенным, а я себя чувствую так, как будто это все давно уже должно было случиться. Как будто он даже опаздывает.

– Опаздывает?

– Да. И еще как будто так, что это уже когда-то было.

– Что было?

Она коснулась живота рукой и закрыла глаза.

– Ты. Этот дом. Улицы. Лестничные пролеты. Я уже была беременна. В прошлой какой-то жизни. Это все уже было.

Ее голос звучал все тише.

– Может, ты поспишь еще?

– Да, – сказала она сонно. – Да. Надо поспать.

Я погладил ее бок – длинным ласкающим движением.

Она вздохнула, прежде чем закрыть глаза.

– Это все уже было.

39.

– Слушайте. Опять консьержка. Что ж такое-то.

– Простите, что я вас опять... беспокою. – Она виновато потупилась в ответ на мой взгляд. – Но. Я тут подумала. Может, нам сходить в его квартиру?

И, когда я промолчал:

– У меня есть ключи.

Я поднял голову от стола, где в груде писем искал то, которое спустился сюда найти.

– Откуда у вас ключи?

– У меня запасные. Не ко всем квартирам, а только к тем, кто дал на это свое согласие... То есть, ну... – она смутилась.

– И к нашей есть? – спросил я.

– К вашей есть, – подтвердила она, зардевшись. – Хозяин оставил.

Прекрасно. То есть кто-то вполне мог зайти в нашу квартиру, когда нас там нет, воспользовавшись ключами консьержки. Хорошо, что я ничего не хранил в квартире, кроме личных вещей, и ничего нельзя было узнать из того, что там было. Чисто.

– И к его есть?

– К его тоже есть, – она с готовностью кивнула. – Я и сама хотела... сходить. Но вдруг он там, а я вломлюсь, без стука. Вы знаете, у некоторых ведь даже оружие есть, никогда не знаешь, где люди его берут, – она доверительно наклонилась ко мне, – а я его и потревожу, вдруг спит человек, или болен... Ну, и я... понимаете...

– Понимаю.

– Давайте сходим, – сказала она опять. – Я его так и не видела. Уже месяц как точно. В прошлый раз вы сказали, что не надо, но... давайте сходим, а?

– А к властям вы обращались?

– Да, я говорила. – Она перевела взгляд за мое плечо.

– И что сказали?

– Сказали, если с ним что-то случилось, обращайтесь. Сами знаете. Так они не хотят этим заниматься. Нет человека, так какая им разница, почему нет.

Мы помолчали. Я обдумывал ситуацию.

– Если бы что-то случилось, был бы запах, – сказал я резко. – И потом, вы разве в тот раз к нему не ходили? Вы же вроде говорили, что пойдете.

– Ходила, – призналась она нехотя. – Ходила, но я.... Не открывала дверь. Я только постучала. Позвонила.

– И что?

– Никто не открыл.

– И вы хотите, чтобы теперь я пошел с вами?

– Ну... да. Вдруг он... там. Вдруг ему плохо.

– Когда вы видели его в последний раз?

Она нагнула голову и стала, уставившись в круглые и обкатанные тысячей ног камни, думать. Пока думала, я заметил, что один носок у нее съехал, а второй оставался подтянутым высоко, а на туфле – странной, больше похожей на мужской мокасин – спереди морщинка.

– Вторник... – бормотала она. – Вторник это был, что ли? Или среда? Нет, не среда... точно вторник.

– Полтора месяца. – сказала она наконец. – Как минимум.

И мы пошли.

40.

Обшарпанная дверь, коврик, на котором мы долго шаркали, стуча и звоня – она звонила и вздыхала, вздыхала и звонила, я вежливо ждал рядом. После третьего раза я сказал:

– Давайте ключи.

– Что, прямо так? – всполошилась она.

– Давайте. Или я ухожу.

Она дала.

Я повернул в ладони блестящий металлический ключ – давно не видел таких, он был плоский и с кольцом, какие бывают ключи от старых столовых, или каких-нибудь кабинетов, где сквозь замочную скважину видно полкабинета – и отпер дверь.

Первое, что донеслось изнутри квартиры, это тихое пение. Пели голосом, который был непохож на его, непохож на женский или мужской, не радио, не громкоговоритель, не передатчик и не эхо. Не бормотание, не слова. А именно пение.

Квартира была завалена вещами – в коридоре по левую и правую сторону какие-то тряпки, они же закрывали почти всю мебель и кучами лежали на кресле, на низком столике и толстым слоем – на подоконниках. Весь пол был заставлен коробками, кое-какие открытые, кое-какие закрытые. Ногу было поставить почти негде.

Консьержка, всей своей порядочной квадратной массой, ойкнула и замерла.

– Это... что?

– За мной идите.

– Он дома, выходит? Может, нам...

– За мной идите! – повторил я, потому что, сделав первый шаг, едва не подвернул ногу на стеклянной бутылке, которая тут же откатилась в угол.

Тут можно ловушки ставить, честное слово.

Осторожно пробираясь мимо вещей, снимая с себя те, что на меня падали и за меня цеплялись, я прошагал во вторую комнату.

Вторая комната была не лучше. Стульев больше, один с поломанной спинкой, и что-то наподобие кушетки, приткнутой в углу.

Он стоял спиной к нам, у окна, стоял спокойно, не поворачиваясь, но слегка раскачиваясь, и тихо пел.

Мне сразу бросилось в глаза, что он куда худее, чем когда я последний раз его видел – одет только в свободную рубаху, но даже со спины кости пересчитывались сквозь ткань, и он стал как будто бы сильно уже. Ноги, выглядывающие из-под затасканных шаровар, и руки, сложенные за спиной, были худы до такой степени, что казались почти высохшими, как у скелета – часть повыше локтя, казалось, можно было обхватить пальцами одной руки.

Консьержка за мной громко охнула.

– Что с ним?

Не ел, подумал я про себя. Нет еды. И в принципе нет, и конкретно в эти последние месяц или полтора нет. Не ел, может и не пил, курил, сох, томился. Сушили. Сох сам? Да кто его знает. Вещества. Черное по венам. Опиумный притон. Дым. Терять сознание, но не резко, от ослепляющего удара, а мягко, как бы оседая. Опускаясь.

О чем я думаю?

Консьержка больно ткнула меня в бок. Оказалось, я все еще стоял в дверях.

– Да что с ним, а? Скажите же, что с ним?

– Эй! – позвал я его. – Эй!

Он не спеша обернулся, продолжая и покачиваться, и петь. Казалось, он нас не видел, потому что смотрел куда-то мимо, в сторону старого шифоньера в углу комнаты, из приоткрытой двери которого тоже вываливались вещи.

– Ой ваааааа и даааааааа... – тянул он тихонько.

Что-то странно хрупкое было в его худобе. Как будто его можно было сломать одним ударом. Как будто его уже сломали, потом ровно склеили, потом опять сломали и опять склеили, и так до бесконечности, так, что теперь он носит с собой только половину себя – половину того, кем был до. Как будто кто-то пришел и половину отрезал. За повинность? Какую?

И тут вдруг он заговорил.

– А, вы! – он посмотрел на меня шаловливым взглядом, но как бы искоса, не в лицо, в мою сторону. – Вы! Тот самый! Из тех! Шпион под прикрытием! Ха, ха, ххха-ха! – он восклицал и на каждое восклицание взмахивал руками. – Пришли проверить, как тут я! Не околел ли еще! Не преставился! Не...

Консьержка резко отпустила мою руку.

Он закашлялся – тонким и каким-то визгливым кашлем.

Что, интересно, заставило его голос так уехать вверх – последний раз он разговаривал со мной не как дребезжащая алюминиевая крышка, а теперь от повизгивания хотелось уши прикрыть.

– Вот видите, не умер еще, не умер, товарищ шпион! Можете проверить мои вещи, ваши друзья или, как их там, ваши коллеги за мной еще не приходили! Что-то они припозднились! Должен вам сказать!

Он вдруг подпрыгнул и стал раскачиваться на месте, поводя руками, как будто плыл через воздух. Ноги между тем оставались на месте, а он раскачивался и пружинил всем телом.

– Но я-то – чист! Они до меня не доберутся! Хи-ххxи. Не доберутся. Пусть только попробуют меня тронуть, и тогда я им... я им... скажу.

Внезапно я заметил в углу комнаты небольшую плитку, с двумя горелками, аккуратно пристроенную на качающийся стол, так заставленный, что поверхности вообще не было видно. Под столом валялся одинокий оборванный тапочек.

На одной из горелок стояла кастрюля, из которой что-то дымило и тоненькой струйкой шел пар. И, судя по запаху, не от еды.

– Он так все тут спалит. – сказал я негромко консьержке. – Еще немного, и будет пожар.

Она с ужасом переводила взгляд то на него – казалось, она никак не может перестать смотреть на его руки-спички, и такие же ноги – то на меня. В ее глазах было что-то такое, о чем я пока отказывался думать, и, возможно, я и потом не буду думать, потому что не все ли равно на ее мнение?

– Эй!

Я шагнул было к кастрюле, но он зашелся визгливым смехом и погрозил мне костлявым пальцем.

– Там для вас нет ничего интересного, уж поверьте мне! Если не хотите, хаха, улететь вместе со мной! С вашим покорным слугой! Вернее, не таким уж и покорным, ха! Вы бы видели... Ха. Они не знают. Они и не узнают. Ха!

– Он с ума сошел, – сказала позади меня консьержка убитым голосом. – Спятил. Надо же. Он сумасшедший.

Я все-таки подошел и выключил горелку. Он вяло помахал у меня перед носом руками, но я отвел их, как ветки.

Хорошо было бы ее совсем забрать, а также хорошо, чтобы он чего-нибудь поел, а кухни тут, насколько я мог видеть, не было. Поэтому забирать ее с собой я не стал.

Он подмигнул мне.

– Что, не хочешь попробовать?

– Что он там... варит? – спросила консьержка.

– Я состав не читал, – сказал я, рассматривая кастрюлю. – Тут, знаете, этикетки нет. Но вам лучше это не пить, не есть и не нюхать.

Он все продолжал раскачиваться.

– Так что же... делать? Что с ним делать?

– Бульон какой-нибудь дать ему выпить. Есть у вас? И что-нибудь, чтобы заснул. Только не говорите, что даете. Таблетку снотворного растворите и все. Судя по нему, он не ел с месяц где-то.

– Хи, хи! – захихикал белобородый. Борода у него теперь спуталась и висела клочьями, щеки впали, глаза ввалились, а уши заострились и прижались к голове.

– А вы? – прокричала она мне вслед, когда я уже направился к выходу из квартиры. Кастрюльку я взял с собой – она неприятно жгла мне руки, и на ходу выплеснул ее в унитаз, а саму поставил на тут же пристроенную раковину, размером не больше обувной коробки. Можно было бы вылить и из окна, но не стоит рисковать головой кого-то, кто проходит в это время по двору и рискует быть ошпаренным чудодейственной жидкостью. Одной головы тут нам хватит.

– Он жив, а мне идти надо, – прокричал я уже от двери. – Ключ в замке. Закроете за собой потом!

И, проявив таким образом минимальное участие, я побежал вниз по лестнице.

Его сумасшествие, по правде, меня не то чтобы беспокоило.

И потом, я не думал, что это было сумасшествие.

41.

Я не знаю, забирали ли его. В конце концов, его вполне могли забрать, а потом вернуть. Причем и вниз, и вверх, но не было никакого шанса его там найти – даже если бы я наткнулся на него случайно, я его не узнал бы. И уж точно не смог бы его вытащить и предотвратить все это – если ты что-то видишь, это еще не значит, что ты можешь вмешаться. Видеть это всего лишь видеть, протягивать руки за прутья клетки. Всего-то.

Это почти как смотреть в чужие окна. Есть некоторые общие места, а есть и частности, но в целом вагоны, в которые заглядываешь из поезда, несущегося по соседним рельсам – окно в окно – это только сцены, где ты зритель, а не участник.

Все выглядело так, как будто забирали. Доказательств у меня, конечно, не было, кроме того, что он сказал – а я не стал его допрашивать потому, что это, во-первых, не входило в мои обязанности, во-вторых, я приперся-то в эту квартиру, чтобы помочь консьержке тащить его бездыханное тело по лестнице в случае чего, а совсем не для того, чтобы слушать его песнопения и думать, как хорошо, что он не открыл окно, а то вывалился бы, а одного нам на первое время хватит? В-третьих, там была консьержка, а задавать вопросы при ней было просто опасно.

Больше меня беспокоило то, что он сказал про меня. Теперь эта, оправившись от шока, разнесет это на весь дом, и мне следовало бы ее припугнуть, чтобы не повторяла всякой чепухи, особенно чепухи, про которую ничего не знает. Но слово, как известно, не мышь – если мышь еще можно остановить, поставить ей ловушку, словить в капкан, раздавить сапогом в конце концов, то слово, всего лишь одно слово уже не остановишь. Стань я спорить с сумасшедшим, всем стало бы интересно, а почему, собственно, я с ним спорю. Что он сказал такого, чего стоило бы бояться? И вот, железный лязг пружины, опускающейся на не пустое место. Ну да. Ну да.

Ему уже вряд ли поможешь. Душа вернется, может быть, вернется, может быть, не до конца ее из него выбили.

Мне надо было возвращаться к ней.

42.

– Уже скоро, ты как думаешь?

– Уже очень скоро.

Я вряд ли когда-то представлял, что в нем будет немного нее и немного меня. Эта мысль казалась мне странной, как смешивать в одной миске перец и соль. Моя манера все ставить в вопросительном. Ее прядь волос, налипшая на лоб. Мои чуть поднятые плечи. Ее смех посреди ночи, потому что она смотрела что-то в наушниках и вдруг засмеялась из-под одеяла.

– А если в нем будет что-нибудь такое, чего ни у меня, ни у тебя нет?

– Откуда, по-твоему, оно тогда появится?

– Не знаю. Откуда все появляется? – она пожала плечом, не поворачиваясь ко мне. – Откуда он появился?

Это был отличный вопрос – откуда, черт возьми, он появился. По правде говоря, какая-то часть меня думала, что он не появится вообще. До последнего момента. Как артист, которого анонсировали, долго драили сцену, отряхивали от пыли бархатные занавески, прилаживали микрофон – а потом, когда все уже ждали, напряженно вытянувшись вперед, вдруг по громкой связи объявили, что концерта не будет.

В больницу мне пришлось ехать одному – я не успел, вернее, успел к самому главному, но она приехала до меня. Быстро, как она умела, схватила сумку, засунула сначала одну ногу, потом другую в такси – отец семейства, чей сын имел свойство горлопанить и швыряться из окна то пакетами с водой, мне потом сказал:

– А я видел вашу – проворно так села! Даром что беременная!

Я ворвался, когда все уже почти было кончено. И когда довольно уже не молодой доктор похлопал меня по плечу и посмотрел на меня странно, потому что я тоже, кажется, начал раскачиваться на месте и напевать, и зеркальный шкаф напротив в полумраке – почему в больничном коридоре выключили свет? – показывал даже не белое, не бледное, а какое-то зеленоватое с серым лицо, тени на щеках и на висках.

– У вас мальчик.

Я, кажется, кивнул. Мальчик.

– С вашей женой все будет в порядке. Она спит.

– Вы можете к ним зайти.

Я не смог ему ничего ответить. Не смог даже открыть рта, только смотрел.

– Ладно, – сказал он в конце концов и ушел.

Или это был уже другой доктор? Я не мог их различить.

Я только подумал – я подумал тогда, что есть что-то такое, что нельзя сказать. Нет таких слов, которые можно темной ночью вынуть из себя, как его вынули под белыми больничными лампами, и сразу выключается весь свет. Нет таких слов, которые можно вынуть из себя – в темноте или при свете. Нет таких слов, какими это можно было бы объяснить.

43.

Когда я первый раз встретился с ним взглядом – позже, это было сильно позже, хотя это было в тот же день – мне показалось, что он вглядывается в меня. Это был странный взгляд – слишком взрослый для кого-то, кто видит мир в первый раз. Длился он недолго – она пригнулась и поцеловала большую круглую голову, и прижала его к себе, и глаза, жмурясь, закрылись.

Потом я держал его на руках, прижимая к себе, и смотрел в больничное окно. Мне хотелось сказать что-нибудь глубокое, или хотя бы подумать что-нибудь глубокое, но я сумел сказать только:

– Вот это – ты.

– А вот это – мир, – я показал на то, что за окном.

Сейчас ты не видишь мир, но вот увидишь, он там, за окном, где городские крыши забрасывает белым, и они скрываются в молочной пелене. Там стоят высокие здания, ряд за рядом, те, что поближе, видны более отчетливо, а те, что подальше, очерчены контуром. А те, что сбоку, отрезаны рамой окна. Больничное окно берет в кадр только это. Но город там, за окном, весь, сияющий по ночам, липкий, когда наступает лето. Внизу, где тебе не видно, дороги, и они пересекаются друг с другом, иногда прямоугольниками, иногда гонят по кольцевой, а иногда уходят в сторону ветвями.

Ты не видишь мира, и тебе столько всего прощается пока. Тебе прощается все. Ты такой маленький, и тебе и не надо знать – и долго не будет надо, пока ты не станешь взрослым, и тогда внезапно тебе надо будет знать сразу все. Тебе надо будет знать, в какую тебе сторону. Тебе надо будет знать, чего ты хочешь и как этого достичь. Тебе надо будет знать, как перебросить мост из настоящего к будущему, и как сделать так, чтобы этот мост привел-таки к другому берегу, а не застыл, уткнувшись в воздух над пропастью.

Я слегка покачал его – из стороны в сторону – и стал смотреть, как за окном вьются белые плетки метели. Он был теплый и не такой уж тяжелый, не тяжелее, чем мой рюкзак, но, в отличие от рюкзака, мне хотелось прижать его, вдавить в себя, спрятать у себя внутри. Если бы он был у меня внутри, то прежде, чем что-то случится с ним, это случилось бы со мной. Я смогу встать между ним и болью.

Я все еще стоял перед окном. В нем не было ничего, кроме нас – меня, его, ее, белого цвета в раме. Я оглянулся – она спала, положив одну руку на одеяло. Она не любит укрываться до самого подбородка, а я, наоборот, всегда натягиваю одеяло настолько высоко, насколько могу.

У меня не было другого выбора, кроме как – быть. В этот момент, освещенный белым, и сероватый по заднему плану, я мог только быть – дышать, слушать, как он сопит, чувствовать его вес в своих руках, чувствовать мягкость и одновременно жуткую хрупкость, и гудение снега, и треск ламп под потолком.

Потом он заплакал, и она проснулась.

Он довольно причмокивал, когда она наконец подняла глаза на меня.

– Ты не злишься, что я опоздал?

– Нет, – она покачала головой. – Я под конец вообще почти ничего не видела. Честно. Даже если в палату динозавр бы вбежал, я бы его не заметила.

Она перевела взгляд на него.

– А потом ты. – сказала она ему. – Ты. Теперь ты тут.

Я кивнул, хотя она разговаривала с ним.

44.

– Какой он у вас, ну какой! Богатырь! – заохала соседка с первого, которая не просто выбежала, а прямо-таки вынеслась на него посмотреть, сжимая свою дочь, как куль, в руках.

Она слабо улыбнулась и прижала его покрепче. Она вообще казалась странно тонкой после больницы, и все, что в ней было, сразу сошло и оставило ее прозрачной – через кожу было видно вены, на шее, на руках, даже на висках, а кожа казалась тонкой-тонкой – как бледно-желтый, почти кремовый первый блин, такой тонкий, что вот-вот прорвется в середине. При этом она не казалась хрупкой, как белобородый, а вполне крепко стояла на ногах, держала его и легонько качала.

– ...килограммов?

Оказалось, я не слушал.

– Что?

– Сколько килограммов?

– Эээ. Четыре. Даже чуть побольше!

– Ну, богатырь!

Она протянула руку и погладила одеяло, в которое он был завернут.

– Как назвали?

– Пока выбираем варианты, – сказала она и улыбнулась.

Это была неправда – имя мы уже выбрали, почти что до того, как он появился, или сразу после – теперь я уже не мог определить, когда имя прилипло к нему и так и осталось. Но нам не хотелось говорить его кому-то. Хотелось подержать, подкидывать, как мяч, сохранить между нами.

– Выбираем, – кивнул я. – Вы простите, нам надо идти... сейчас холодно...

– Конечно, конечно! Я только так! У вас такое событие! Не каждый день бывает!! Я и сама... Я сама была так рада...

– Спасибо.

Она улыбнулась и перехватила свой куль.

– Если будет нужна какая-то помощь, какая угодно, посидеть с ребенком или ну... любая помощь! Скажите! – крикнула она нам в спину.

– Спасибо!

В лифте она спросила:

– Как думаешь, мы обойдемся?

– Без чего обойдемся?

– Без помощи.

Это было еще одно. Нас было только двое. И мы всегда знали, что нас будет только двое. И моя работа, которую нельзя было бросать. Невозможно было бросить, но сейчас я не думал об этом.

– Обойдемся, – сказал я.

Снег все еще шел.

Мелкий, колкий снег, который тонким слоем покрывал мостовые, улицы и дома и сразу же грязнился, сразу же стирался в кашу. Он не успевал покрыть их плотно, не успевал сделать целый толстый пласт на скамейках или сиденьях стадиона. Снег просто летел, летел, летел, заволакивая город белесым туманом.

Она опустила его в кроватку.

Некоторое время мы стояли и смотрели на него. Глаза у него были плотно сомкнуты, кожа красная и распаренная, кулачки сжаты. Он спал, и спал как-то так, как ни один из нас уже не сможет спать никогда в своей жизни.

Она всхлипнула. Негромко, но отчетливо.

– Странно, да?

– Да.

– Нас было двое, и теперь....

– Да.

– Мне кажется, я никогда не смогу к этому привыкнуть. И одновременно как будто он всегда был.

– Да, – сказал я, все еще смотря на него.

Даже в той минуте, где мы встретились, и его еще не было, странным образом мне кажется, что он там тоже был – нахмуренно смотрел на нас, переводя взгляд с одного на другого. Теперь я думаю, что ее тянуло туда, тянуло к нему, даже больше, чем ко мне – и он тоже качался с пяток на носки, нетерпеливо заглядывал сверху вниз в нашу жизнь, готовясь прыгнуть.

А теперь он лежал в кроватке, внизу, и снег шел над всеми нами и всем городом, и он был так далеко, и было совсем глухо, и никто не мог до нас дотянуться, и телефон не звонил, но мне никого и не было нужно, кроме них.

Часть четвертая. Вверх

45.

Город празднует.

Я совсем забыл про это, но сейчас же праздники – и консьержка выставила на свой подоконник корзиночку, увитую лентой, и огоньки загораются и гаснут, когда я выхожу из дома что-нибудь купить и быстро, почти бегом, возвращаюсь, успевая только один взгляд к небесам поднять, но и его мне хватает.

Город празднует устало и так, как будто его заставили праздновать – часть букв на вывесках светится, а часть не работает, концы зеленых гирлянд волочатся по каменной кладке.

Я прошел по улице всего один раз, не помню, что мне было нужно – но видел, как желания парят и носятся в воздухе, как облачка пара. Материальные поплотнее, а нематериальные попро-

зрачнее. Я их сразу замечаю – они болтаются и висят на одном уровне с головами прохожих, вроде воздушных шаров неправильной формы. Воздух над ними и между ними гудит, от разговоров, от смеха, от музыки, и я устал, и город устал, и голова моя тоже гудит. Особенно от пожеланий счастья – чем больше желают, тем больше она наполняется глухим гулом.

Наверху наверняка есть склад того, о чем люди просят и мечтают. Я его не видел, когда шел мимо, но может быть, я просто не обратил внимания. Огромный распределительный центр, где подписаны все мечты по номерам, на ящике – имя, и дата, когда это надо выдать. Курьеры с тележками снуют туда-сюда, двигаются конвейерные ленты, по полу рассыпается пудра. Чья-то мечта огромная, и ее волокут сразу трое, сгибаясь под ее тяжестью. Чья-то кабинетного формата, и ее надо просто аккуратно спустить вниз, чтобы по дороге не треснула. Некоторые, длинные и жесткие, они запросто суют, как зонтики, под мышки, и подсовывают их, недолго думая, тому, кто пожелал, прямо под дверь, когда спускаются. Ничего нельзя вернуть. Все дефекты – за счет покупателя.

Город осунулся и даже как будто бы похудел, спрятался в серые тряпки, намотанные на него сверху. Дыхание не растворяется, а висит облачками белого пара, пока я иду через серую сонную темноту. Сбоку и сзади горят желтые огоньки, но куски льда один за другим заползают мне за шиворот, касаются горла, и я не хочу поворачивать голову. На перекрестке надо посмотреть, не втискивается ли в маленькую улицу огромный автобус. Он проплывает прямо у меня под носом и гудит, когда я уже было собираюсь сделать шаг вперед. Проходит мимо, почти мазнув мне по носу своими усталыми шубами внутри, освещенными желтым сиденьями и музыкой – рэпом, всегда только рэпом в их наушниках. Автобус исчезает, мигнув, но я вижу одного из тех, что живут на полях. Он стоит, улыбаясь, на противоположной стороне улицы.

Еще этого мне не хватало.

Это граница. Там, где он стоит, где я увидел его – сейчас его там уже нет – начинается голый, ободранный, неблагополучный район. Там ломается лед, плещет, как в ванне, вода, снег покрывает и холодный колкий дождь барабанит по столикам кафе, над которыми никто не удосужился прицепить навеса. Там никого нет по утрам, зато ночами шныряют туда-сюда худые фигуры с выглядывающими из спортивных штанов голыми ступнями. Шлеп-шлеп-шлеп – стучат по обледеневшим мостовым.

Почему из двух должно получиться одно?

Я настырно думаю эту мысль – почему, чтобы получилось что-то одно, обязательно должны сложиться вместе две части? Почему оно не может родиться из морщин внутри красного круга, появиться откуда-нибудь из складок, само по себе? Как восходит солнце – не нужно, чтобы сливались вместе два планеты, растворялись, и получался один белый солнечный диск. Две широкие дороги сходятся в один переулок, куда автобус-то едва протиснется; две глубоких траншеи становятся одним укрытием; две белые сплошные линии, нарисованные на дороге, и те сойдутся в одну. Когда-нибудь.

Все, что мы до этого прошли, нам придется отдать ему.

Постараться отдать.

Но то, что я увидел одного, да еще и в такое время – праздничное время – мне не понравилось. Причем он стоял еще и так, чтобы я его специально заметил, и он заметил, что я его заметил, и сразу же исчез. Это значит, что я слишком долго уклонялся от своих обязанностей, значит, что я был недостаточно старателен – но мне и не выдали отпуска. Потому что для таких вещей там отпуск не выдают.

И он стоял там, я был уверен, чтобы напомнить мне об этом. Но так, чтобы я не успел его поймать за боком проходящего автобуса. И так, чтобы не успел последовать за ним.

Не забывай, как бы говорит он. Не забывай. Город прострачивает сверху вниз одна и та же строчка. Не забывай.

46.

Я иду и думаю о том, что мы наслаиваемся сверху на все то, что уже было.

В городе вообще нет никого, кто когда-либо бы тут жил, и от кого не осталось бы никакого следа. Как падает дерево и его заносит песком – целые огромные ветки заносит, листва сливается с землей, корни выворачиваются на асфальт, а потом и они проваливаются, вжимаются в почву. Не помню, кто мне это сказал, или я сам подумал это – но все продолжаются в чем-то. Пусть даже и во взгляде, который кто-то бросил на меня на узкой улице.

Даже в краске, которой окрашены стены – кто-то придумал ее карминный цвет, разработал состав, то, как она будет называться и кому продаваться – в одной этой краске, в камне, в обочине дороги, в табличке, в скамейке следы целых поколений. Они там зашиты, пусть даже их никто и не видит. В стенах и мостовых, в цветах и буквах, в воде, в молчании витрин, которые когда-то были лавкой краснодеревщика, а теперь булочная, а потом будут чем-то или кем-то еще. В спрятанных дворах с зелеными фонтанами, в парадных залах, за столиками кафе, в углах парков – нет такого места, где люди бы не оставили след.

В этом городе нет такого места, где чья-то душа не была бы и не оставила следов. Я хожу по миру прошлого – может, потому мне всегда и кажется, что кто-то сейчас выпрыгнет на меня из незнакомой улицы. Потому что в сточной трубе, в зарубке на стене, в лакированном, блестящем от дождя карнизе так оно и есть.

Все, что уже произошло, лежит прямо здесь, под нашими ногами. Мало кто утруждает себя об этом подумать, но это правда. Ночью легче еще и потому, что все, кто были когда-то, не создают такой давки – я выбираю их не видеть, но иногда у меня все равно чувство, что я плыву в огромном сонме рыб, косяке, и за спинами других, невидимых людей, людей в одежде прошлых веков, людей со связками вяленых туш и крынками молока в руках, людей на повозках, с узелками, стучащих башмаками и отряхивающих фалды фраков – и я не вижу города.

Город исчез, и они теснят меня, спешат и трутся друг о друга, как пассажиры в набитом до отказа автобусе или студенты на демонстрации – плечо в плечо.

47.

Воображение – ненадежная сетка. В нем полно дыр, причем в самых разных местах.

Но мы перестали спать. Вот в чем было дело.

Мы перестали спать, и стало гораздо хуже. Месяцев через шесть после того, как он родился – тогда что-то прорвало и пережгло внутри нас.

В тот длинный, похожий на один сплошной тяжелый сон с редкими просыпаниями, период, когда он мало спал, я вдруг понял, что внутри у меня начали пропадать части. Стали обнаруживаться дырки в памяти. Дырки в воле. Дырки в голове. Да даже дырки в желании жить – но я-то знал, что с желанием жить у меня все в порядке, просто никому в этом не признавался.

В этот момент я не всегда мог разобрать, где я – смотрю на нас с ним сверху, или сплю и одновременно вижу, как беспокойно ерзает по простыне моя нога, или я сижу рядом с ней на кровати, и на ее спине видны напряженные, перекрученные мышцы, и я провожу рукой ей по волосам – все потому, что мне хочется как-нибудь облегчить засунутую в них боль.

В этих дырках что-то посвистывало. Сон мне тогда казался сильно привлекательней реальности. Во сне было так интересно, что я с удовольствием бы все время проводил во сне – но я проводил там только его отдельные лоскутки, которые таяли сразу же, когда я просыпался, а потом иногда еще всплывали, пока я дремал, в полуотключке, сидя в кресле или на стуле, едва не утыкаясь носом в кофейную чашку, даже не чувствуя запаха. Как будто запах мне тоже кто-то отключил.

Все то, что бежало тогда мимо меня, запустилось на ускоренную перемотку, и я не успевал разложить по своим пищеблокам, хранившим воспоминания, хоть что-нибудь, что можно было бы пришпилить конкретной датой. Все покрывало то, как мне хотелось спать. Мне просто слишком сильно хотелось спать. Мне ничего так не сильно не хотелось, как спать, просто спать, а не смотреть, как раскручивается эта бесконечная катушка сиреневых ниток.

Внутри меня пропадали и отключались прежде чувствительные зоны. Я все думал – а что, интересно, происходит с моим мозгом? Эти самые нервные окончания совсем сжарились, да? Мне и это было уже не настолько интересно.

Даже если они и сжарились, как почерневшие макароны на плите, и прилипли к чугунному сковородочному дну, то что с того? Пока он плачет, крепко удерживать его двумя руками, по привычке прижав к себе, не составляло для меня никакого труда. Когда он успокаивается, надо было опустить его аккуратно – потому что вдруг я засну и упаду. В том, что я буду стоять прямо и спать с ним в руках, как солдат на карауле, я был совсем не уверен.

Я жил во сне, который иногда ставился на паузу. В эти паузы надо было втиснуть много всего, и мы с ней по очереди давили на клавишу «плей» и передавали этот наш белый орущий комок друг другу, как эстафетную палочку.

Я перестал вспоминать тогда – воспоминания казались слишком затратным занятием, чтобы проходиться по ним с фонарем и что-то там отыскивать. Может, конечно, там что-то и было, но свет в этом пищеблоке выключился, и в этой зоне стало темно и холодно, и как в холодильнике, и висевшие там мясные туши, слегка похожие на туши бывших жен, размещенные на стенах Синей Бороды, стало не видно.

Я нахмурился на натертый песком ключ, на котором виднелись капли крови.

Мы нырнули вместе. Иногда один из нас пытался выбраться на поверхность и о чем-то поговорить с другим – и мы даже говорили, и если бы хоть один из нас вспомнил, о чем мы говорили, на следующий день, это было бы вообще отлично.

За окнами было небо, это мы помнили точно – оно не меняло цвет утром и вечером, примерно оставалось одним и тем же, и вообще трудно было так вот сразу сказать, где начинался день и где он заканчивался.

Пожалуй, заканчивался он тогда, когда гасли огни у овощной лавки, и все ящики с овощами и фруктами, пожухшими, твердыми, и еще совсем свежими, и помятыми ставили друг на друга и гасили свет. Опять свет. Когда гасят свет, ничего невозможно различить – и я снова засыпаю.

Я выходил на улицу и с трудом понимал, где я, и почему мостовая так выгибается и сопротивляется моим ногам – я шел вперед, покачиваясь и с усилием, а когда приходил, то оказывалось, что лавка уже закрыта, и я некоторое время просто стоял и тупо смотрел на дверь, где были развешаны разноцветные объявления и крест-накрест наклеены телефонные номера и афишки с полураздетыми женщинами. Я плелся, так же шатаясь, домой, потому что лето – а тогда было лето, по крайней мере иногда мне казалось, что это действительно лето – меня изнуряло и я, чуть не дойдя до подъезда, внезапно чуть не забывал, почему я возвращаюсь с пустыми руками. И почти поворачивал обратно. Вдруг в следующий раз я проснусь наконец, и лавка будет открыта? Вдруг правда? В двери будет желтый свет, и владелец высунется оттуда своей улыбающейся чумазой физиономией и позовет меня внутрь?

Помнится, когда надо было все-таки смотреть на часы, они каждый раз показывали разное время. Очень странно – я готов был поклясться, что смотрел туда ровно две минуты назад, но ничего подобного на циферблате не было.

– По-моему, время у нас кто-то крадет, – сказал я ей однажды. – Может, выследим его?

– Ага.

Глаза у нее были полузакрыты, и она так и говорила, ровно, не открывая их, – ресницы только немного шевелились от дыхания.

– С саблей.

– Что?

– С саблей.

– С какой саблей?

– А. Ну какие там бывают сабли.

Она зевнула.

– Деревянные? Как у пиратов?

Большая часть наших разговоров были такими. Отдельными словами, полушепотом, неот-

четливыми, разомкнутыми и порванными посередине. Даже в словах были дыры – если во всем остальном да, то почему бы и не в словах.

Это ничего не значило, потому что у нас обоих было чувство, что сигнал другому послан и обязательно придет. Даже сабля, которая вполне могла бы повиснуть на потолке нашей комнаты и нечаянно свалиться одному из нас на голову – все равно не повисла. Я подхватил ее за деревянную рукоять и помахал немного.

Между обрывками сна невыносимо было жить. Но когда я думал это «невыносимо», то думал про эту самую саблю.

Выследить время у нас так и не получилось – оно все равно уходило. Как прохожий, заворачивало за угол улицы. Как водитель автобуса, захлопывало двери перед нашим носом и отказывалось подождать. Обычно это означает, что у водителя плохое настроение. Какое настроение было у времени, я не знаю.

Никто не предупредил нас, что оно будет нестись такими скачками, покрывая сразу недели своими длинными ногами, которые то складывались в гармошку, то снова распрямлялись, как у кузнечика. Когда он долго не засыпал, я рассказывал ему про секретного агента-время. Плоского типа в очках с квадратной головой, который тем не менее ловко перемещался по листу, согнув одну руку в локте и сжимая в ней револьвер. Он вечно исчезает, когда надо проследить за его перемещениями, и появляется и сидит рядом, когда он совершенно не нужен. Секретный агент-время. Я сбивался и начинал рассказывать снова.

– Мда, это не усталость, – сказала она как-то. – Усталость давно пролетела мимо.

Усталость действительно пролетела мимо, где-то еще в начале дистанции. Усталость это где-то там, где бегунам дают стаканчики с водой, и они сжимают их за край двумя пальцами, быстро опрокидывают в себя, выбрасывают на обочину и бегут дальше, перебирая мускулистыми ногами.

Усталость это где-то там, где тебе могут утереть со лба пот. Где горизонт не кренится чуть влево, и ты не можешь понять, это ты наклонил голову или горизонт все-таки кренится, и, пока ты пытаешься его поправить, обнаруживаешь себя опять во сне, а потом в следующем дне. И день этот наступил, никого не спросясь.

Усталость это там, где зоны внутри тебя еще не начали по очереди отключаться. Где сигналы бегут по целым белым, хоть и раскаленным, нервным окончаниям. Где лоб не покрывается испариной, мышцы не твердеют до дерева, а в затылке не затягивается узел.

Я иногда стараюсь специально зайти в то место моего мозга, где теперь отключили свет. Стою посреди белого пятна и оглядываюсь – может вспомню что. Может, чего-то захочу. Почему я не могу испытать сочувствия? Я обнаружил, что сочувствие отключилось, случайно – ковылял домой из той самой закрытой по ночам лавки и на асфальте увидел очертания раздавленного голубя. Не пятно, а именно очертания на поверхности, как оттиск на камне. Может, ночной счет давал такой эффект, а может, у меня перед глазами все плыло.

Я отчетливо видел контур поднятых, сложенных вместе пушистых крыльев. Я смотрел на эти линии просто так, как на оттиск движения, как на вечно отраженное желание двигаться вперед – и бесконечное припечатывание, припечатывание, припечатывание его настоящим.

Я не хочу улететь. Нет, я не хочу улететь. Я хочу пролететь – сквозь наш дом насквозь, влететь с южной стороны и вылететь с северной – если бы я был голубем, то спикировал бы с крыши и сделал именно так. Правда, гнезда они строят на стороне, обращенной к солнцу. По ночам я слышу их громкое и настойчивое воркование.

Пролететь, чтобы он начал спать, действительно спать, и ночь стала ночью, а день днем, а паузы между сном стали становиться все длиннее и длиннее, и сам сон уже не был похож на сидение в темном кинотеатре, где на проекторе бесконечно крутили засвеченные картинки. Иногда мелькали подписи, но они были на иностранном языке, или лица, белые и плоские, обращенные друг к другу.

Ко сну даже вернулась его прежняя глухая сладость – выдавались участки, где картинки вообще перестали крутиться, и в мозгу не плелись бесконечные белые нити. Не сразу, но все-таки вернулась.

Бывают дни, когда дождь хлещет и стекает по стеклам с обеих сторон дома – мы просыпаемся как в корабле. Вернее, я просыпаюсь один – но слышу, как на кухне она стучит ложками, открывает кухонный шкаф и напевает себе под нос.

Я зажмуриваю глаза и представляю, как качаются из стороны в сторону верхушки деревьев, как горбится пешеходный переход, как набок наклоняются бордюры и урны, и целые районы раскачиваются с одного бока на другой. Еще не открывая глаз я знаю, что дождь будет идти целый день.

48.

В моем изжаренном мозгу есть что-то умиротворяющее. Там есть пустота. Если присмотреться, чуть-чуть прищурив глаза, то я окружен стеной потрясающего равнодушия. Я равнодушен к тому, что захожу в магазин – здесь почти все желто-оранжевое, и с трех сторон меня обступают витрины – и на кассе ко мне вдруг подходит паренек почти с меня ростом, в капюшоне, надвинутом глубоко на лицо, и ровным голосом просит дать монетку. Под капюшоном я вижу его глаза. Я только долю секунды вижу его глаза, и вижу их так же поверхностно, как витрины магазина – формы, а не надписи. Пестроту цветов, а не то, почему вон там розовое пятно, а там растекся жидкий желтоватый крем. Его глаза совершенно пусты, совсем пусты, так, что мне на полсекунды кажется, что я никогда не видел настолько пустых глаз. Я не успеваю заметить, расширены ли зрачки, или сжаты в точку – но мне кажется, что из капюшона на меня смотрит пустота, и она же говорит со мной ровным голосом. Ей нужна от меня всего лишь монета, этой самой пустоте, но монеты мало, чтобы откупиться от ее навязчивого присутствия. Может быть, кусок хлеба ей нужен тоже, но странно представить, что это существо вообще поглощает хлеб. Мне не страшно. Мне даже не жаль. На месте пустоты что-то было, точно что-то было, до того, как у него по венам побежало то, что не должно было бежать. Нужно было бежать, думаю я, подцепляя краем пальца монету в кошельке. Я забочусь о том, чтобы мой палец не коснулся его пальца, когда я ее передаю. Нужно было бежать совсем в другую сторону.

Я отворачиваюсь к кассе, и в следующий момент его уже нет – и на улице нет, и за витриной нет, и даже за моей спиной нет – мне вдруг кажется, что он вот-вот выпрыгнет оттуда. Я только догадываюсь, куда он пошел.

Равнодушие смыкается вокруг меня стеной.

В моей памяти, как на какой-нибудь овощебазе, есть отсеки и пищеблоки. Желая вспомнить что-то конкретное, я обычно вваливаюсь не туда. Игла, которая ведет меня, острый инструмент – кривится и разрезает ткани, и я натыкаюсь вообще на то, куда соваться было совсем не нужно. Воспоминания теперь нельзя перебирать – то и дело надо отдергивать руку.

49.

– А знаете, он все-таки не сам! – хвастливо заявила мне соседка с первого, когда я в следующий раз ее увидел – и еле узнал.

Оказалось, что из моей памяти с дырами она тоже почти стерлась.

– Они еще раз приезжали, осматривали квартиру, осматривали дом, и знаете, сказали, что он вполне мог и не сам, хотя я и сказала, что конечно не сам, как мог человек за семьдесят сам взобраться на подоконник, как вы вообще себе это представля...

Она резко осеклась и вгляделась мне в лицо.

– Вы как-то плохо выглядите.

Она продолжала вглядываться, обеспокоенно.

– Вы не спите?

Я помотал головой.

– Теперь уже лучше. Почти сплю.

– Почти?

– Почти всю ночь, – похвастался я.

Это было преувеличение, но я начал спать хотя бы больше трех часов подряд, и те места, где раньше были разрывы ткани, и я не понимал, сон это или жизнь, понемногу начали затягиваться.

– Или вы это по поводу того, что в новостях говорят?

– Я не смотрю новости. И не очень... вы извините, мне в последнее время было... не до того.

Я тяжело прислонился спиной к дверному косяку.

Она помолчала, прикусывая нижнюю губу.

– А что? Что в городе говорят?

Наконец она, казалось, решилась, наклонилась и просвистела мне в лицо:

– Атака. Говорят, будет атака.

Сердце рванулось, упало, и вдруг сразу стало не хватать воздуха, как будто кто-то огромный двумя руками надавил мне на грудь.

– Когда?

Это все, что я смог из себя выдавить.

– Да откуда ж я знаю, когда. Может, на следующей неделе, может, через две или через месяц. Но говорят, что скоро.

Она наклонилась еще ближе.

– Вы правда ничего не знаете?

Шпион, вспомнил я. Этот белобородый кретин болтал, что я шпион, и весть теперь, конечно, разнеслась по всему дому. Не будь у меня постоянно орущего новорожденного и синяков под глазами землисто-серого цвета, стало бы, конечно, понятно, что я организовал у себя в квартире настоящую ячейку, куда днем и ночью идут люди, и к тому, что тот шагнул со своего подоконника, я, конечно, имею самое прямое отношение. Хотя я имел какое-то отношение. Но уж точно не прямое. Но это было не для ее ушей.

Зачем, интересно, они приходили снова? Кто-то навел? Или что-то кому-то сказали?

– Не знаю, – я покачал головой.

– И что? – спросил я, все еще не отрывая голову от косяка. – Будет расследование?

– Не знаю я насчет расследования. – она оглянулась по сторонам. – Но атака – вот что точно будет. Я чую, будет. Думала, они уже закончились, а они...

50.

Я знал, что такое атака. Конечно я знал.

Это ночи, когда город, весь, полностью, погружается во тьму. Отключаются фонари – обычно они не гаснут до самого утра, но их как будто кто-то выкручивает рукой в толстой перчатке, сразу все.

Если закрыть глаза руками, то трудно забить их сразу так, чтобы ни одной точки, ни кусочка света, ни красноватого сияния из-за зажмуренных ресниц не просочилось туда. Но когда город становится темен, он становится темен именно такой темнотой – гробовой, глухой, черной без блеска. Не горят фары у машин, не зажигаются окна, не искрят провода, не желтеют окна вагонов метро, когда оно стрелой пролетает по мосту. У зданий нет подсветки – маленькие звезды на стенах, которые всегда мерцали мне и были почти нежны, и те исчезают. Выключаются витрины, светящиеся дорожки, вывески с выпуклыми буквами и взлетные волосы у самолетов. Нет больше ручного огня ночных кафе, нет костров с жутким сладковатым запахом, нет свечения магистралей и нет сигнальных огней.

Город становится черным – таким черным, как будто бы его совсем нет. Я представлял, как он выглядит сверху, сбоку, с воздуха, что он стоит на огромной доске, которая начнет разъезжаться, а он – оседать, медленно опускаться вниз, пока земля не поглотит его полностью. А где тогда буду я?

Я все еще двигаюсь во этой доске – у меня при себе нет фонарика, нет ничего светящегося, я как волос, который шевелится на ветру посреди всего этого оцепенения. Я иду ощупью, иногда отводя руку от тела, чтобы отмерить расстояние до забора, до тонкого витринного стекла, до дерева, которое в темноте дружелюбно наклонилось к моему плечу.

Город темнеет и ждет – ждет черный квадрат стадиона, ждут черные улицы, ждут черные проемы окон, ждут черные мусорные баки, отодвинутые подальше вглубь дворов. Но оно снова не наступает, гроза не приходит, ночь проходит спокойно, или почти спокойно – грохот слышен вдалеке – и утром, когда он откроет глаза, а потом засопит, просунув палец между деревянными прутьями, и заорет что есть силы– все будет как обычно.

Город стоит где был. Все как всегда.

Одно только мне интересно – где он такими ночами? Он – тот, про кого сказал белобородый, тот, что наверху, внизу и везде.

Может, он сидит, заткнув рукой луч прожектора, а может, забавляется, откидывая подальше от цели огненные дожди. А может быть, он просто смотрит. Не закрывает глаза рукой, не отводит ото лба мокрую прядь волос, не щурится и не оттягивает краешек глаза пальцем, чтобы разглядеть получше. Он просто смотрит – и видит. И глаза его полны слез.

Я иду быстро, почти ожесточенно, выжимаю из своих ног все, что могу. Почему все устроено так? Почему сейчас? Почему именно мы должны быть в эпицентре смерча? Фигурки двигаются во мраке, кто бредет, кто скачет, кто взлетает вверх по лестнице, кто ходит туда-сюда по лестничной клетке, кто болтает ногами, сидя на краю постели. Каждая фигурка описывает свой собственный круг, танцует в своем диаметре, иногда осторожно касается ножкой того места, что вне круга, притоптывает и аккуратно поворачивается то вправо, то влево. А потом глаза ее слепит свет – это круг его прожектора, луч, в который он ловит то одного, то другого. Ничего нет небезопасного в этом луче, кроме того, что в этой колонне света все становится слишком очевидным.

Людям свойственно прятаться от высшего – отступать обратно в темноту, туда, где по их лицам будет только иногда мазать слепой отблеск.

Хотел бы я знать, случается ли это со всеми – этот момент ослепления, мгновение, когда ты стоишь в холодном желтом луче, задрав лицо вверх, и он смотрит на тебя.

51.

В городе стоят странные погоды – серый дождь, который обдает улицы, и вывески, и транспорт, и облака одним маревом, блестящим и брызгающим мне в лицо. Оно не огибает меня – наоборот, так и тянется накрыть. Я пробираюсь вперед медленнее, слежу за тем, чтобы не замочить ноги, случайно утопив ботинок в луже у самого бордюра.

Он болеет – громко кашляет по ночам, неумело кашляет, немного даже смешно, и будит сам себя, и я с закрытыми глазами сползаю с кровати, и иду, покачиваясь, в направлении его плача. Он совсем обмяк и устал, и не знает, как еще сказать о своем горе, поэтому говорит громким криком, а потом еще кашлем поменьше.

Мы не болеем вместе с ним, но немного все же болеем – смотрим в его беспокойные глаза, которые следят за нами снизу вверх, и не отходим слишком далеко. Иногда, когда я сижу в ночи на полу, и усталость прибивает меня вниз, не позволяет подняться и пойти спать, сквозь полузакрытые глаза мне кажется, что я приближаю утро. А когда оно правда приходит – серое и хмурое, мне хочется взять и распахнуть пошире балконные створки, и впустить внутрь холодный и мокрый воздух, чтобы он почувствовал, как город машет ему издалека. Дать городу немного пощекотать его – пальцем по подбородку, поцелуй в макушку.

Она берет его на руки и садится у окна – он неизменно поворачивает голову туда, куда льется свет, а она губами касается его лба – один раз. Два. Три. Прижимает поближе к себе и касается снова.

Я целую его только тогда, когда с ним один. Это наш секрет – и он смотрит на меня хитро и довольно, как будто бы говорит: «Не волнуйся, я тебя не выдам». Скоро он, наверное, начнет говорить, и скажет что-нибудь по этому поводу, и кончится наш с ним безмолвный договор.

Когда он болеет – борется с чем-то чужеродным, что вселилось в его тело и отказывается отпускать – он кажется мне еще более маленьким. Я иногда вдруг замираю посреди кухни, или в коридоре, когда натягиваю ботинки, или на странице книги, которая давно уже расплывается у

меня перед глазами – иду на него посмотреть и вижу, что он не такой, каким был на прошлой неделе. Не такой, каким был вчера. Иногда мне кажется, что я сплю с открытыми глазами – а когда их открываю, то он каждый раз другой. В такие дни – когда я сплю, но на самом деле не сплю – мы молчим. Я так устал, что могу только сказать спасибо. Вернее нет, я даже сказать спасибо не могу – я просто думаю это, и надеюсь, что она слышит.

52.

Когда температура у него немного снизилась и он начал спать – несколько дней спустя, всего лишь несколько дней, а мне показалось, что прошло года полтора – она спросила:

– А мы будем его крестить?

Моя рука замерла в воздухе.

– Мы будем его что?

Я обернулся к ней. Она стояла в другой стороне комнаты, перед вазой с цветами, в которых только что поменяла воду, и обеими руками поправляла букет.

– Ты слышал что.

– Ты этого хочешь?

Она поправила два последних бутона и опустила руки.

– Не знаю, – она прикусила губу. – Хочу.

– Думаешь, это ему поможет? – пошутил я. – По жизни?

– Я просто хочу... ну.

– Что?

– Его как-то защитить.

– В смысле мы его не сможем защитить?

– Что-то выше.

– А так, без... – я поискал слово, – церемоний его не защитят?

– Я не знаю, – она сцепила руки перед собой и теперь смотрела на них. Пальцы побелели. – Я не знаю.

– Не знаешь, – повторил я.

– А ты что об этом думаешь?

Сейчас я, видимо, должен отказаться. Или как минимум возражать.

И мне надо было принять решение. Прямо в этот момент мне надо было принять решение, к которому я не был готов. И, возможно, никогда не буду готов. Но принять надо было прямо сейчас.

Мне вспомнилось кое-что. Прямо в тот момент – воспоминания иногда залетают в мозг, когда они больше всего нужны.

В тот день я не работал – просто показалось красивым, как утыкается в небо треугольная крыша и как блестят и переливаются циферблатом часы, как бежит по витражам минутная стрелка – и я зашел внутрь, просто так, толкнув створку недавно покрашенных дверей. Внутри было не так, как снаружи – полутемно, пусто, ряды обычных коричневых стульев, а не длинные грубые скамьи. Я посмотрел вдоль анфилады вглубь, а потом вверх – свет всегда уходит вверх, рассеивается в вышине, и уже непонятно, куда он потом девается.

Их было немного – я видел только белую ткань, отблеск золота, руки, которые придерживали, чуть раскачивая, сверток – туда-сюда, туда-сюда, и почему-то надутые маленькие щеки – я не мог видеть их на таком расстоянии, наверное, я это придумал, и все-таки я видел – сощуренную, сморщенную красную мордочку. Я посочувствовал ему – это было острое, мгновенное чувство, как резкий вдох, и легкие вдруг полны холодного воздуха. Испытывать боль еще до того, как мы узнаем слово «боль».

Они были сосредоточены на том, что делали, и не оглянулись на меня. Но бог был там – не потому, что я что-то видел, не потому, что видели они, а потому, что я просто подумал о нем, подумал о нем так естественно и просто, как будто бы он был рядом. Куда бы я ни смотрел, я был к нему повернут, и это одновременно раздражало – как будто мне негде спрятаться – и успокаивало.

Со своей привычкой все разбирать и во все вдумываться я бы так хотел, чтобы там, внутри, под сводами, ничего не было. Чтобы я вышел и забыл, как под сводами прокатился крик, и бог был там и смотрел, улыбаясь, прямо на меня.

Что скрывать – иногда я хотел бы, чтобы там никто не стоял. Чтобы я мог сказать с совершенной точностью, что все придумано, и что я спрашиваю, как дурак, советов у пустоты. Что его нет. Что в него бессмысленно верить. Что я закрываю глаза и опускаюсь внутрь, но там никого нет, только нерасступившийся мрак, предрассветный туман, который в очередной раз накрывает город.

– Я хотела бы, – сказала она. – До того, как... ну. Знаешь.

– Знаю. – сказал я.

Потом я сказал:

– Я узнаю насчет того, где это можно сделать. И когда.

Она еще раз поправила букет и кивнула.

– Ты не думаешь, что это глупо?

– Нет.

– И ты не думаешь, что это не нужно?

– Тоже нет.

– Или что это мой каприз? Я...

Я повернулся к ней. Посмотрел на нее.

– Если это вопрос, верю я или нет, то я верю. Если это вопрос, поможет это ему или нет, я не знаю.

53.

Я мало знал о самом обряде. Мало знал о том, как это бывает. Я только знал, что нам – ей – надо найти крестных родителей, и явиться в храм в назначенное время. И отвечать на вопросы, и подгадать день, чтобы она могла зайти, и иметь... одежду, и еще много чего, что соседка с первого торопливо наговорила, когда узнала.

– Дело хорошее, – сказала она. – Я и сама собиралась, думаю, в следующем месяце. Или через два. Три. Как с дочерью соберусь.

Они с дочерью не выходили почти никуда, поэтому я сомневался, что она доберется до церкви, пока дочери не исполнится года два. Но кто знает.

– Я сама не то чтобы... верую, – сказала она нерешительно. – Нет, не то чтобы... но думаю, все равно дело хорошее. Раньше же всех детей крестили, правильно? Потом обычай потеряли. Сейчас это... непопулярно, но лично я думаю...

– Да, – сказал я.

Лицо у нее теперь еще больше запало, как провалилось внутрь, и пожелтело.

– Вам бы к врачу сходить.

– Схожу, схожу. Не думаю, что у меня что-то... ну, не то. Так, болячки, но ничего страшного. Живот побаливает, – она отмахнулась. – И не сплю в последнее время. Плохо сплю.

– Весь дом плохо спит, – сказал я. – Окна горят до четырех утра.

– У некоторых до семи! Всю ночь! Отсвечивают мне в окна, не дают спать! Приходится все зашторивать наглухо! Ребенка в самый темный угол кладу, чтобы она не проснулась – можете себе представить?

– Да. – подтвердил я.

Потом сказал зачем-то:

– Видимо, после затемнения. Все включают свет. Даже ночью.

Она только покачала головой.

54.

Не то чтобы я бывал в церквях мало – я бывал в церквях достаточно. На экскурсиях, заходил туда просто посидеть, когда ноги болели от бесконечной, многочасовой ходьбы – это случалось

со мной редко, но иногда все-таки случалось. Мышца в бедре начинала мелко дрожать, и каждый раз, когда я ставил ногу, в таз отдавало болью, и я понимал, что надо притормозить.

Я шел вдоль ряда статуй, порталы и портики, колонны и обнаженные мраморные ступни в сандалиях, аккуратно поставленные так, чтобы ни один пальчик не съезжал вниз. Не так, как когда стоишь и раскачиваешься на краю перед тем, как прыгнуть в воду. Я мог бы поднять руку и взять ее за мраморный подбородок – на плече собираются белые сладки, и лицо ее нежно. Завиток у уха почти сполз на округлую щеку, а губы разошлись, как будто она бежала и вдруг остановилась, и застыла, навечно дыша открытым ртом. Вдруг все они просто застыли, а однажды, когда-то очень давно, они были мной, и тоже думали о конце пути, или пили вино и не думали, потому что он мог наступить в любой момент? Как они относились к своему времени – как к разматывающейся ленте или как к колеснице, которая несется в стену, с какой бы точки ни направлялась?

Я бы поправил завиток у ее щеки, пальцем отведя его за ухо. Ямочку на подбородке удобно трогать указательным пальцем, на шее еще блестят солоноватые капли, цвет кожи все теплеет и теплеет, влажнее становится взгляд.

Сверху они смотрят на все. На то, как молодой человек на тонких и ломких ногах несется к автобусной остановке, натянув на голову куртку. Как автомобилисты машут руками из окон, а вот тот господин с зонтом медлит, прежде чем зайти в здание, и вглядывается в вывеску. Как в ящики привозят почту и как спешат ночью домой одинокие велосипедисты, вглядываясь в огни светофоров и ожесточенно крутя педали. Статуям дано видеть все – и ни в чем не участвовать. Наверное, поэтому они так равнодушны. Их взгляд – это не взгляд наблюдателя. Это скользящий взгляд того, кому все равно.

55.

В большей части церквей теперь никого нет. Почти никого. Когда мы зашли, там тоже почти никого не было.

– Вы никого не пригласили? – спросил меня мужчина. – Будете только вы и ребенок? А крестные...

Я только посмотрел на него.

Одна крестная у нас все же была. Ее подруга, другая, не та, что русалка с зелеными волосами. Я, кажется, видел ее до этого только один раз. Эта была куда более полная, основательная и молчаливая, с длинными темными волосами, на которые был наброшен темно-коричневый платок. Она была в холщовом платье почти до пола, и почти все время молчала, и даже ни разу не взглянула на меня – смотрела вместо этого или на нее, или на ребенка.

Она обняла подругу одной рукой.

– Так давно тебя не видела.

– М-м.

– Столько лет.

– М-м.

– Так хорошо, что ты согласилась!

– М-м.

Подруга аккуратно взяла его на руки. Он проснулся и с любопытством оглядывал храм. Я вдруг подумал, что это первый раз, когда мы дали его кому-то подержать, кроме докторов и акушерок – эта молчаливая, мечтательная девушка с тяжелыми волосами и такой же тяжелой походкой – я видел, как она идет, слегка переваливаясь из стороны в сторону – оказалась первой, кому это было доверено.

– Как, говоришь, ее зовут? – спросил я, наклонившись к ее уху.

Она посмотрела на меня укоризненно.

– Не может быть, чтобы ты не помнишь. Ты же уже ее видел!

Я закатил глаза.

– Это давно было. – сказал я не очень убедительно.

– Ага.

– Шшш!

Оно началось.

Я оглядывался и оглядывался и все никак не мог понять, почему у меня такое странное чувство. Я чувствовал себя здесь... как будто меня вырывают из меня, ведут куда-то. Как будто мне хочется взорваться, расшириться и заполнить храм целиком. Не то, чтобы как где-то, где мне не полагалось быть, вверху или внизу, хотя, конечно, вверху было не так, как тут. Тут атмосфера висела так, что можно было отрезать от нее ломти, как от огромной головки сыра, а там все расплывалось, рассасывалось, переходило одно в другое. Здесь как будто бы за тебя все уже решили, а там решить надо было тебе самому.

Мы послушно отвечали на все вопросы, которые задавал мужчина в облачении. Мы отвечали, и смотрели на него, и он смотрел на нас, так торжественно, и она шепнула: «Где крестик?», и я достал и передал ей.

Меня самого крестили подростком, даже чуть позже, в тот короткий пробег, когда я из подростка становился молодым мужчиной – самый край, когда фантазии превращаются в реальность или разбиваются о нее. Само крещение я плохо помню, а еще хуже помню то, почему я на него согласился. Мне было по большей части все равно. Бог любит всех. Так мне тогда говорили, или говорили, когда это происходило? Так говорили, но я тогда все еще был подростком и не думал, что он любит конкретно меня. Я не думал, ни тогда, ни потом, что ему есть до меня хоть какое-то дело. Только тогда, когда у меня начали проявляться способности, этот вопрос возник опять.

Уж если он есть, думал я тогда, то, наверное, он любит звучание мысли внутри меня, проходящий сигнал, эту ноту, но вряд ли меня самого. Готов поспорить, что ему нравится сам процесс – щипаешь струну, и она дергается, и издает звук, сначала резкий, а потом более мелодичный. Иногда мне кажется, что он так забавляется, проталкивая через мою голову и тело целый поток мыслей, которые я обрабатываю по большей части в одиночку, когда иду.

Когда я был моложе, и способности только начались, и я еще никого не искал, и даже не знал, что я буду заниматься этим профессионально – я представлял его как профессора в университете. Я захожу на кафедру, да даже прямо в его кабинет, но не застаю его – его никогда там нет. Я прислоняюсь к дверному косяку и обвожу пустой кабинет взглядом. Это такая шутка, игра, в которую он играет со мной – я вижу край его плаща в автобусе, но за его сандалией уже закрываются двери, и я не успеваю вскочить внутрь. Я заворачиваю за угол как раз тогда, когда он исчезает за углом впереди – всего десять метров, но даже если я побегу вприпрыжку, мне все равно не удастся увидеть его, только его спину, волосы, только намек на то, что секунду назад он рассек эту толпу и опять скрылся.

И не то чтобы я сильно хотел его увидеть. В молодости я хотел сильнее, но с взрослением я понял, что ответы на свои вопросы придется искать самому.

Я поднял глаза к потолку. Я должен был смотреть на него, на купель, на мужчину в облачении, но мои глаза как будто тянуло туда – и я посмотрел вверх.

Если бы я мог спросить, если бы я мог сформулировать в рое мыслей хотя бы один вопрос, я спросил бы, наверное, про тех, которые опираются на него слишком. Про тех, кто стучит к нему в дверь по каждой мелочи, кто сигает с края пропасти, не смотря вниз, а просто ожидая, что его поймают. Про тех, кому он так нужен, что ничего не происходит без него. Нельзя ни заснуть без него, ни проснуться без него, ни порадоваться и ни погоревать без него. Как же самим отвечать на поставленные вопросы – боязливо оглядываются за левое плечо, ведь он, в их представлении, всегда стоит там и сердито поджимает губы, если они сказали что-то не то.

Напоминать о своем существовании ему тоже надо постоянно – дружелюбно огорчаться, если оставил, падать на колени, чтобы помог. Телефонистка повторяет номер по одной цифре, разносчики у метро надсадно кричат одно и то же, восемь часов подряд, а они все твердят и твердят его имя, успокаивая себя, ожидая, когда он наконец придет. Каждый день они ждут, поглядывают наверх, как я сейчас, а в конце дня убеждают себя, что он обязательно появится – и самое смешное то, что, когда он действительно появляется, мало кто из них способен его разглядеть.

Он стоит рядом и смотрит на них вопросительно, как иногда смотрит на меня, когда вопрос уже собрался комком воздуха у меня во рту. И вместо того, чтобы посмотреть ему прямо в лицо, они не отрывают взгляд от экрана, продолжают бормотать под нос его имя, идут или едут, вцепившись в сиденье, как будто рядом никого нет. Когда он рядом, они съеживаются и начинают звать тише, но все равно зовут – и он наклоняет голову на их зов. Мне кажется, я знаю, о чем он думает – дать тебе то, о чем ты просишь, ты же не сумеешь этим распорядиться. Положи я свою ладонь на твою руку, вскинутую к небу – что поменяется тогда? Ты же подумаешь, что это просто ветер.

– Эй! – она дернула меня за рукав.

– Извините, – я помотал головой. – Прошу прощения.

Снова надо было повторять слова. Крестная – теперь оно у нее стало лицо страдалицы, чистой страдалицы, хотя на входе в храм я готов был поклясться, что лицо было другое – аккуратно держала его на руках.

При всем моем уважении, тебе я его не отдам. Верю, но не отдам – это не одно и то же.

Есть и другие, которые верят так истово, что, когда один раз увидели свет, или думают, что увидели, больше не могут отвести от него взгляд. Что им не скажешь, глаза их устремлены туда, откуда он льется, и думают они тоже только о том, чтобы встать к нему поближе. Вера для них – это столб, по которому они карабкаются к небесам, уцепившись руками и ногами. Тех, что внизу, это жутко раздражает, потому что поделать с ними, пока они висят на своих столбах, ничего нельзя – а я, наоборот, иногда жалею, что мое тело не может наполнить эта легкость, эта предопределенность всего, эта их нерушимая уверенность, что бог – внутри, и его не надо искать, что все, что они уже сделали или еще сделают, будет не от их имени, а от его.

Все можно прикрыть им, не так ли. Он как одеяло, которое укутывает их, и которым прикрывается все, что они уже сделали или еще сделают. Он прикрывает зло, прикрывает добро, закрывает собой улицы и проспекты, высится над стадионами. Он все вмещает – и эти, с белым светом посреди темечка, становятся переводчиками того, что он говорит, а то и добровольными секретарями, которые не позволяют никому зайти в его приемную. Еще чего, захотел увидеть бога лично – поговори вначале со мной, я тебе растолкую, что он хотел сказать. Они никого не пускают, выталкивая обратно вниз. У них нет и жалости – белый свет не допускает милосердия, куда лучше засовывать в него, как в топку, сколько угодно людей. Скармливать их туда, по одному, утрамбовывая, слегка хмурясь, когда они входят в жерло не совсем компактно.

Одни сигают в бездну потому, что он рядом, а другие потому, что его рядом нет. Что отличает тех, кто падает, от тех, кто разбивается?

Вот этот вопрос достаточно четкий, чтобы ему задать. Этот вопрос я мог выговорить вслух.

И в храме донеслось, в высоте, я готов был поспорить, что донеслось:

– Ничего.

56.

Он плакал, и я прижимал его к себе. Я не помню, как он оказался в моих руках. Он прижимался ко мне, и плакал, и я держал его, и она что-то говорила, и все, кажется, уже готовились расходиться.

Некоторые сигают потому, что он рядом, а некоторые потому, что его рядом нет. Да. Но может быть, я ошибался насчет них? И они делают это не потому, что бегут оттого, что позади, на секунду зависая над пропастью, а от того, что так долго всматривались в то, что впереди, во взрыв света, и решили, что именно этот выход им нужен, осталось только дернуть ручку, и все, кого они оставят после себя, будут только более свободны после того, как они прыгнут?

Но это не так, думаю я – это всегда было не так. Это всегда было не так – страдание не умаляется и не уменьшается, оно только перераспределяется – тяжесть ложится туда, чего раньше она только касалась. К краю пропасти подступают другие ботинки.

Я прожил уже достаточно, чтобы знать, что тебя все равно выкинет, как сор из трубы, по которой несется вода, в тот же самый круг. Придется снова открывать тетрадь и начинать с того же

места, и если ты опять порвешь ее, то он найдет другой способ заставить тебя выучить урок. Так всегда бывает. Во всяком случае, я уже не удивляюсь, когда раз за разом возвращаюсь на одно то же место, хотя и не думал туда направляться – я прохожу по нему снова и снова, и вглядываюсь в этот раз чуть внимательнее. Слегка лиловое небо с любопытством смотрит на меня между крыш – а я смотрю на него. Глупо делать вид, что я его не заметил.

На нем теперь был крестик.

– Что с тобой сегодня такое? – спросила она. – Ты как в тумане всю... службу был.

– Это не служба, – поправил я автоматически.

– Я знаю, – сказала она нетерпеливо. – Но ты знаешь, что я имею в виду. Тебя как мешком ударили. В чем дело?

– Давай на воздух выйдем, – сказал я. – Тут мне как-то...

– Нездоровится? – спроси мужчина в облачении, пристально смотря на меня. – Дышать трудно?

– Да, – согласился я, не встречаясь с ним взглядом. – Пожалуй, что нездоровится.

– Думаешь, в тебе сидят бесы? – спросила она с полусерьезным видом, когда мы вышли обратно в колоннаду.

– Шутишь, – сказал я.

– Но тебе там стало плохо.

– Я просто задумался.

Потом до меня дошло, что мы опять вдвоем, и я спросил:

– А где твоя подруга? Уже ушла?

– Да, ей надо было идти, – она быстро заправила волосы за ухо. – У нее работа.

– И у меня работа, – вздохнул я. – У меня только работа, и работа, и работа. В последнее время так особенно.

Она остановилась и положила обе руки мне на плечи – я держал его, и он оказался между нами.

Мы стояли на ступнях огромной лестницы, и я смотрел ей в глаза. Я так любил ее глаза. И никогда ей об этом не говорил.

– Я рада, что мы это сделали, – сказала она просто.

Я кивнул.

– А бесы сомневаюсь, что сидят, – сказал я. – Можешь не волноваться. Я просто задумался. Голова слегка закружилась.

– Но крест ты не носишь, – сказала она. – Я никогда на тебе его не видела.

– Нет. – сказал я.

Не ношу.

Часть пятая. Назад

57.

Скорая в наш дом снова приезжала. Это было тем вечером, незадолго после крещения, когда ей показалось, что посреди ночи он не дышит. Он дышал, но после того, как они уехали, она легла на пол и рыдала, трясясь на жестком паркете, два часа подряд.

Она даже не могла поднять голову – я держал ее, обнимая за плечи.

– Все будет хорошо, все будет хорошо, – свободной рукой я гладил ее по волосам. – Все будет хорошо.

– Д-да, – сказала она наконец, стуча зубами. – Хорошо.

– Все будет хорошо, – повторил я. – Встаешь?

– Встаю.

Но она лежала, молча, уставившись в потолок, еще минут десять.

– Меня как будто выжали. Я ничего не хочу. Я ничего не могу. Хочу только, чтобы с ним все было хорошо.

– С ним все будет хорошо, – сказал я.

– И ты... уходишь, – прошептала она.

– Прости меня.

– Я знаю. Знаю, что тебе надо. Но все равно каждый раз я думаю, что ты... я представляю, что ты...

– Я знаю, – сказал я. И погладил ее по голове еще раз. – Я знаю. Но я вернусь. Я же всегда возвращаюсь.

– Обещаешь?

– Точно.

58.

Третий раз скорая приезжала к дородной даме, кажется, с четвертого этажа. Я редко видел ее, а когда видел, то обычно она шла через двор, ни на кого не смотря и переваливаясь, как утка. Одну из своих комнат она сдавала. В основном у нее жили студенты, по большей части девушки, но иногда и шустрые молодые люди, глядя на которых я думал, что уже давно разучился так быстро бегать вверх и вниз вверх по лестницам без крайней на то необходимости.

Последний год у нее жила студентка, которую я тоже иногда видел – ладная девушка, как будто облитая тканью платьев, которые она всегда носила. В самой тетке интересное было только одно – она коллекционировала вещи.

В самой по себе тетке не было ничего особенного – она носила клеенчатый коричневый плащ, высокая, ростом почти с меня. Голос у нее был низкий и громовой, так что когда она говорила с консьержкой, слышал весь двор.

– Ну что, дорогая? Привезли?

– Привезли, – покорно кивала консьержка.

– О! О! – бухала клеенчатая. Она всегда бухала или трубила, а не говорила, и почти всегда короткими фразами, а не целыми предложениями. У меня было чувство, что на полные предложения у нее не хватает дыхания.

Когда с тем, что из пятьдесят шестой, случилось то, что случилось, она как-то притихла. Как и многие другие жильцы, спряталась. Теперь ее бас в дворе не очень-то и доносился, а если и доносится, то, может быть, я в своей нагретой, как электрическая горелка, реальности совсем перестал его слышать.

А потом тетка подумала, что у нее что-то украли.

И с ней случился приступ. Поэтому скорая и приезжала.

– Есть надо было меньше, – сказала консьержка хмуро, когда я спросил ее, походя мимо со батоном и бутылкой сока.

– Ела она как не знаю кто.

Она теперь смотрела на меня не как раньше, а исподлобья, как на кого-то, с кем ты вынужден сотрудничать, но только потому, что другого выхода у тебя нет.

– Продукты коробками туда носили. Птицу. Шоколад. Ветчину. Масло. Вот и результат.

– И что, у нее правда что-то украли? – спросил я.

– Да я понятия не имею, – консьержка махнула рукой. – Ее так прихватило, что она слова не смогла сказать. Так и увезли. Только глазами хлопала.

Она резко передернула плечами, и покрепче запахнула на груди шарф. Ее тряхнуло, как человека на сильном холоде.

– Она чем-то болела?

– Ничем она не болела. Эта, жиличка ее, говорит, что просто нервная была. Все недавнее... плохо на нее повлияло. Боялась, что обкрадут. В квартиру войдут.

– У нас же давно не было краж?

Краж действительно давно не было – последний раз мошенники залезли со стороны улицы, разбив стекло и переполошив случайно весь этаж – нацеливались на золотые ложки и нитку жемчуга, которую носила на шее живущая там тогда старушка, а сами не успели даже сбежать до того, как до них добрался ее сын, ночевавший по случаю у нее дома.

– Краж не было, – подтвердила консьержка. – Но вы сами... знаете, оно теперь как.

– Так у нее же эта, девушка, живет?

– Живет, – отозвалась она. – Сейчас живет. Но, может, она и вторую комнату захотела сдать! И кто-нибудь и пришел, меня не застал, я ж не всегда тут бываю, сами знаете, а ее напугал! Таких припугнуть знаете как просто? Она за свои вещи как за золото держится. Сидит над ними все время. Никуда не выходит. Раньше на рынок ходила, теперь и на рынок не ходит.

Я покачал головой.

Как люди начинают держаться за вещи, я знал.

59.

Я иногда думаю об этом – потому что это моя специализация, а еще потому, что обычно люди держатся за вещи, когда им больше не за что держаться.

Что плохого, если выкладывать любимые предметы на стол: аккуратно придвигать друг к другу, ссыпать в горки, заворачивать в оберточную бумагу. Стол все ширится и ширится, она возвращается к нему раз, два, каждый день, несколько раз в день – поправить или просто посмотреть. А потом, несколько лет спустя, наступает час, когда она совсем перестает отрывать глаза от стола – куда бы она ни пошла, что бы ни делала, ее взгляд блуждает среди того, что еще в ее власти. Ее глаза неотрывно обшаривают, подсчитывают, скользят среди отблесков золота и обрывков фольги – и ничего уже не оторвет ее от мысли о том, что ничего, никогда, ни за что не должно измениться.

Когда вещи становятся тобой – из пальца торчит носик дорогого кухонного чайничка, на ноге неловко болтается фарфоровая туфля, по ребрам ездит скалка, иголки звенят и стукаются друг об друга, путаясь в волосах – вещи становятся продолжением твоих движений, они встречают тебя там, где ты поднимаешь руку, дергаешь ногой, крутишься на месте. Вещи тормозят и висят на тебе, не дают сделать шаг, не дают про себя забыть.

Это забавно – когда люди уже не могут уйти от вещей, вещи начинают уходить от них сами. Внутрь – линять и терять краску, ломаться, чернеть дырами, и наружу – выпадать и пропадать, проситься в чужие руки, прятаться там, где владелец, бесясь, никак не может их найти. Я видел это много раз – когда они теряют вещь, то провал в том месте, где она должна была быть, чувствуется так остро, что они, мучаясь, сначала часами ищут, ищут, а потом, отчаявшись, хватают первый попавшийся предмет и водружают его в нишу, прикрывая им свой провал. Так же они делают и с другими дырами – там, где все затянуто молочным туманом, где ничего уже не просматривается, не прощупывается четко, они сухо скажут: «Не хочу говорить». И подожмут губы – красивая, короткая, эффектная заслонка.

Уйти от вещей кажется им немыслимым – попробуй только сказать, что они улетят в пропасть прямо под своим квадратиком ковра, что стелется перед письменным столом, вместе с их сахарницей, сколотой у одного края, с их зелеными шторами, через которые пробивается солнечный свет – все исчезнет, все опустится, время погребет все это под собой, и все их мысли, только об этом, так и останутся летать в атмосфере, то поднимаясь повыше, к облакам, то летя совсем низко, над мостовой.

Они думают, что в конце можно лечь на этот стол прямо посреди поблекшего золота, и там все и кончится – если только касаться рукой чего-нибудь, что тебе дорого, то, когда тебя вытолкнут за дверь, из-под которой сияет желтый, невыносимый свет, вещи не останутся там, где были, а пойдут вместе с тобой.

Как они злят меня, как раздражают со своим желанием сохранить, обернуть, положить под стекло. Везде, куда ни посмотришь, я вижу их побелевшие скрюченные пальцы, которыми они цепляются за прошлое.

Сам я никогда не был фанатом ручной клади. Фанатом брать с собой хоть что-нибудь. Когда-то, много лет назад уже, я ходил с рюкзаком – но рюкзаки, какими бы они ни были, рано или поздно забиваются вещами, которые уже на следующей остановке оказываются не нужны. И если прикорнуть на минутку, положив его под голову, я проснусь от того, что в затылок мне уперлось что-то жесткое, вытащу затекшей рукой рюкзак и развяжу шнурок – там окажутся черепки, засохшая еда, промасленные свертки и обломки чего-то большого, что я зачем-то решил взять с собой, но совсем не буду помнить, зачем. Если делать так, как предлагают – таскать с собой воспоминания, реквизит для всего, что может со мной случиться, или – хуже – того, что нельзя никому доверить на хранение, то мой рюкзак должен быть размером с дом.

Я ни разу не жалел, что у меня чего-то нет. Нет с собой, я имею в виду. Всегда был только город – и только я, и я чувствовал, что если у меня нет самого первого, защитного слоя вещей, то город быстрее соскребал и другие слои, которые ко мне прилипали. Он лущит, и они остаются позади – слой усталости, слой печали, слой гнева, слой страха. Хотел бы я идти так долго, чтобы все слои того, что налетели и налипли на меня, остались лежать в кварталах, через которые я прошел. Хотел бы я, чтобы он раздел меня до того слоя, где не осталось страха. Не за меня самого – а за них.

– А у нее было что-то ценное? – спросил я как бы невзначай. – У той, у которой украли?

– Знала, что вы спросите! Хе, хе. – консьержка хрипло засмеялась. Ее снова пробрала дрожь, хотя было не так уж и холодно. – Что-то может и было. Украшения. Мебель. Старинное всякое. Она специально искала. Покупала. И муж у нее вроде старьевщик был. Или реставратор. Из этих.

– Понятно, – я кивнул. Потом, как бы машинально, кивнул еще раз.

– Но я сомневаюсь, что украли. – Она повернулась вполоборота и было уже совсем собралась уходить. – Там нет ничего такого ценного. Разве что специально что-то искали.

– Что?

– А я почем знаю?

Я резко взглянул на нее.

Она смотрела на меня хитровато. С прищуром.

60.

Я шел по лестнице вверх.

Если она, то есть сама консьержка, оттуда что-то взяла, то найти это и тем более доказать, что это именно она, – почти невозможно. В случае жилички проще – если бы взяла жиличка, то она должна была это куда-то спрятать. А чтобы прятать, в доме было не так уж много мест, и все их я знал очень хорошо. Были и такие, которые плохо просматривались, но уж если там и было что-то спрятано, сигнал бы сам шел мне в руки. А он не шел.

Надо было при случае обойти чердаки, решил я. И подвал.

Но почему она решила, что у нее что-то украли? И так испугалась – до приступа? Женщиной она была крепкой, насколько я мог судить. Кто-то зашел? Они? Но им-то ее барахло зачем – уж если захотят уложить на золотой стол, уложат голой.

Кому теперь нужны чужие деньги? Глупый вопрос. Всем. Когда все в панике, их взять чего проще. Но кому нужны чужие вещи, чужие громоздкие вещи, и куда они хотят их уволочь из музея имени ее, и таким образом отнять ее у нее по частям – по одной чашке и вазе – мне было непонятно.

61.

Первым я решил проверить чердак.

Меня в последнее время меня не щадили, и я мотался, как мячик, по всему городу – похудел так, что брюки на мне висели, щеки ввалились, и, кажется, даже начали выпадать волосы – во всяком случае, когда я проводил пятерней по голове, их там каждый раз становилось все меньше, и я был почти уверен, что мне это не кажется.

Чердак надо было проверить, но меня понесло туда вечером – солнце уже садилось, до темноты оставалось всего пятьдесят минут, а над городом стоял густой и мутный запах осени.

Пока шел, я дважды споткнулся на лестнице – один раз так, что чуть не полетел подбородком вперед, один раз врезался в ступеньку носом ботинка. Я знал, что мне надо именно туда, но я все медлил и медлил – и то, что я чуть не полетел с лестницы и чуть не встретился головой с металлическим тяжелыми перилами, выглядело как знак.

Дверь была в самом конце лестничного пролета, на самом верху – незапертая, только плотно захлопнутая и прихваченная гвоздем. Лампочка внутри не горела, и помещение было длинное и узкое, заваленное каким-то хламом, и запах затхлый. С одной стороны ряд окон, заложенных картонками, кастрюля с отбитой ручкой, белая, эмалированная, кажется, с остатками какой-то еды внутри, задвинутая в угол...

Я уловил движение за спиной раньше, чем я его увидел.

Меня схватили сзади, мощными, тяжелыми руками, и подняли от земли. Я знал, что в таких случаях следует делать, и увернулся, но не успел увернуться полностью – он, а это точно был мужчина, выше меня и явно больше, иначе бы ему не удалось поднять меня так, что ноги не просто волочились по грязному полу, а вообще его не касались.

– Сволочь...! – хрипела туша. – Сволочь, сволочь!

Я пнул его изо всех сил, попытался освободить руки – он сжимал меня с двух сторон и не давал оторвать их от корпуса – потом пнул еще. В легких ничего не было, в горле ничего не было, а воздух, мне нужен был воздух, но я все равно рванулся, втянул его носом – и пнул его еще раз, каблуком в пах.

– Уууу!

Я не мог разглядеть лица, да оно и было закрыто какой-то тряпкой – я был слишком занят тем, чтобы понять, нет ли у него пистолета или ножа, и он так и не дал мне до конца развернуться. Перед глазами у меня плыло, боль в ребрах, в левой ноге, в которой, кажется, что-то хрустнуло, с левой стороны челюсти – и он был сильнее, и моя спина была все ближе к окну, холодный ветер по лопаткам, ближе, ближе...

До меня дошло, что он собирается сделать, за несколько секунд до.

Балкон был слева. Или справа? Кажется, слева.

– Мразь!!

Он перегнул меня спиной через перила меня так сильно, что верхней половиной тела я практически висел из окна. Картонка, которой окно было заткнуто – стекол не было – отлетела в сторону, и в ушах у меня засвистел ветер. Еще одно движение, и он подхватил бы мои ноги и выбросил бы меня вниз.

Но я был быстрее.

В этот один, решающий, момент я был быстрее. Я что есть силы оперся руками о подоконник и двумя ногами изо всех сил ударил его в грудь. Это было рискованно, очень рискованно – я мог потерять равновесие, мог не удержаться. Но я ударил так сильно, что он отлетел назад, и в тот момент, когда он, разъяренный, поднялся бы опять и бросился бы на меня, я перекинул ноги через перила и в буквальном смысле прыгнул – в сторону балкона. Я прыгнул, рассчитав, не рассчитав – так, чтобы только достать до балкона руками.

И я зацепился.

Я не занимался альпинизмом – вернее, давно не занимался, – но у меня было ощущение стены и ощущение опоры. Правда, обычно ты на веревке. Быстро и неловко, как мешок, я подтянулся, перевалился через перила и оказался с той стороны балкона, где ему над было бы высунуть всю голову из окна, чтобы меня увидеть.

Но... он не высунул голову. Вообще никто не высунул голову.

А потом, когда перед глазами у меня почти уже перестало плыть – из окна высунулась голова. Голова белобородого. В таком ракурсе он был похож на встревоженную курочку, с дрожащей шеей и белыми клоками волос.

Он беспокойно посмотрел сначала вниз, потом вверх, потом по сторонам. Вправо, влево, вправо, влево. Меня на балконе он не увидел – я вжался в стену так, что разглядеть было сложно.

Он покачал головой.

– Что за люди!

Голова исчезла.

– Как можно устраивать такой бардак! Да тут все разбросано! Что за...

Насколько я мог слышать, ему никто не ответил.

Но где тот, второй? Как у него получилось смыться так быстро? Он что, тоже из наших? Умеет быть там, где он вообще-то совсем не должен быть?

Судя по тактике, опыта у него не так много.

Я медленно разогнулся. Все тело болело, но, насколько я мог судить, он ничего мне не сломал. Надо посмотреть в зеркало, нет ли кровоподтеков, и позаботиться, чтобы она ничего не заметила. Колено саднило и хрустело, и разодраны обе ладони – но это ничего,

Может, там, на чердаке, хранится что-то, что я почти нашел, а мне не положено было найти? Может ли быть так, что ему было поручено выкинуть меня из окна не потому, что он меня ненавидит, а потому, что я слишком близко подобрался к тому, что там было, а каждого, кто подбирается так близко, полагалось уничтожить? Но почему в нашем доме? И почему мразь? То, что произошло с пятьдесят шестым, было его собственным решением, что бы консьержка ни говорила.

Я же был там. Я все видел.

И что там делал белобородый? Когда он успел взбежать вверх по лестнице и почему он, а не, например, жилец квартиры напротив услышал шум? Что ему там было нужно, и зачем его тоже понесло на чердак?

Плюс – я не слышал никаких шагов, пока мы боролись, хотя мне было так больно и в ушах у меня так звенело, что я не слышал бы и колокольного звона, наверное. Так что он вполне мог взобраться туда и вбежать, когда я перемахнул через подоконник, а тот, второй. Что с ним произошло? Куда он делся? Обратился в кучу щебня на полу?

Я усмехнулся, потирая кулаком челюсть.

62.

Никто, насколько я мог судить, не видел и не слышал драки – напротив чердака была одна квартира, но ее жильцы не показались ни до, ни после нашей схватки.

Я открыл балконную дверь и прошел в квартиру этажом ниже – там никого не было, но даже если бы и был, это не было бы особенной проблемой. Я старался не двигать ничего из вещей – я не знал, кто там живет, но ничего примечательного, кроме плоского телевизора, стопки книг перед ним и дивана, уже основательного потертого и с пятном чего-то белесого сбоку, там не было. В шкафу мужские вещи. Серебряные запонки на столе – тяжелые и массивные, в виде самолетиков.

Я заглянул на кухню. Гора грязной посуды в раковине, приоткрытое окно. Зато безукоризненно начищенные ботинки под зеркалом. Интересно.

Я притворил за собой дверь.

На лестнице никого не было, и, когда я вернулся на нашу лестничную площадку, там тоже было пусто. Казалось, что весь дом молчал – не стучали двери, не доносились голоса, даже собаку, которая выла н площадке выше нашей, не было слышно. Там постоянно выла собака – причем не от одиночества, а со своей собственной целью. Иногда мы слышали, как ее окрикивает сердитый голос, и она сразу перестает, и вой сменяется дробным, заливистым повизгиванием, которое взлетает все выше и выше, пока, наконец, не замирает. Ну что ты плачешь, думал я, слушая ее и поднимая взгляд к потолку.

Собак в доме было несколько, но такой диалог, балладу по повышенных тонах вела только эта. Почему именно ей надо проверять мир на прочность, а. Остальных вполне устраивает их миска и покусанный теннисный мячик, а эта все зовет кого-то, не заботясь о том, кто ее услышит. Даже ночью, бывает, она не успокаивается – выйдет на балкон, запрокинет свою пушистую голову вверх и смотрит на звезды.

С нашего балкона я ее пару раз видел – морда у нее была большая, и просунута между прутьями балкона, а глаза грустные. Гуляет ли с ней хозяин, что он делает и откуда она ему досталась, я понятия не имел. Странно было только то, что я его никогда не видел, хотя слышал, точно слышал, как он поднимается по лестнице, и ходит там, наверху, в квартире над нами. Как собака резко унимается, когда в замке поворачивается ключ, и поскуливает, когда он, наверное, проводит пятерней ей по морде и говорит что-нибудь типа:

– Ну, не прыгай! Не прыгай!

Когда она всем своим сорокакилограммовым весом пытается поставить лапы ему на плечи, и от радости напрыгнуть на него и прижать к входной двери.

Некоторые люди обладают такой способностью – быть и одновременно проворно сливаться с фоном, появляться на периферии зрения и сразу же исчезать. Наш сосед сверху, собаковладелец, был чем-то вроде этого – может быть, той же профессии, что и я, но выяснять это прямым способом мне не хотелось. Хотя теперь, после того что произошло на чердаке, выяснить было бы хорошо.

Дом молчал, как собеседник, которого ты обидел. Ничем не пахло из-за дверей – ни капустой, ни супом, ни пирогами с мясом. Не доносилось звяканье и грохот, ни бормотание телевизора. По-хорошему, стоило проверить и подвал. Я не думал, что он нападет второй раз, хотя в подвале такая возможность вполне себе была, но я решил пока не идти туда. Уже поздно, я устал, оба ладони ободраны – я мог бы сполоснуть их в раковине того, с самолетиками, но не хотел открывать там воду.

В подвале, как и на чердаке, почти наверняка что-то было – с чердака они теперь, правда, это уберут, после того как я там побывал. А вот насчет того, что в подвале, я не уверен. Ощущение было такое, что это два разных человека, две разных истории. Что-то, что в подвале, прятали не они. Это более личное. А вот того, что на чердаке, больше там не будет.

В конце концов я решил повременить. Решил в самый последний момент, уже заходя в квартиру.

Она стояла спиной к двери.

– Как работа?

– Хорошо. Как всегда. Как дом?

– Хорошо. Как всегда.

Она подошла и поцеловала меня, опершись двумя руками мне на грудь. Мои ободранные ладони, конечно, от нее не укрылись.

– Расскажешь мне что-нибудь?

– Нет, – я покачал головой. – Не расскажу. И не проси.

Она чуть отдалилась, чтобы посмотреть мне в лицо. Потом наклонилась, приблизив свое лицо к моему, и поцеловала снова.

Я закрыл глаза.

– Ладно. – Ее голос звучал откуда-то издалека. – Ладно.

Мне показалось, что на площадке выше нашей в замке повернулся ключ.

Собака молчала.

У меня иногда бывает это ощущение – что у меня за спиной у меня стоит что-то большое. Оно еще в тени, переступает огромными лапами, потягивается, горячим дыханием обдает мне шею. А я стою, не оборачиваясь, и жду, пока оно придет – или пройдет, исчезнет, так и не став реальностью.

63.

– Вам не кажется, что что-то странное творится?

Я открыл глаза. Оказалось, что я спал в лифте – вернее, стоял, и крепко, на своих двоих, но с закрытыми глазами, а хлыщ в узком черном костюме, который ехал рядом, живо повернулся и теперь смотрел на меня – блестящие темные глаза на деловитом и нервном лице.

Я видел его и до этого – он деловито протягивал мне руку, а я так же деловито ее пожимал всякий раз, когда мы встречались.

– Я очень рад, очень рад, – сказал он, когда мы познакомились. – Сразу видно, что вы человек приличный.

– Приличный? – переспросил я.

– Очень приличный, – подтвердил он, ничуть не смутившись. – Не то что все эти старухи. Между нами говоря, половина из них полоумные. Но что делать! В старых домах их всегда полно!

Я вежливо улыбнулся.

С тех пор мы встречались только в лифте.

А теперь он наклонился ко мне с тревожным видом. Причем тревожность все равно скрывалась под слоем уверенности, как под кремом скрывается подгорелый, но только с одной стороны, торт.

Я быстро окинул его взглядом. Хорошо скроенный костюм, черный, с блеском и из дорогой ткани. Начищенные ботинки. Ни куртки, ни пальто. В руках тоже ничего. Либо он так и ходит по улицам, и капли падают ему на лацканы, либо у него есть машина. Лицо... какое обычно бывает лицо у таких типов. Ухоженное и ничего не означающее – тонкие брови, тонкие губы, слабый подбородок и глаза, так и впившиеся в меня. Его оживленность казалась напускной, но что там под ней? Страх?

– Мы с невестой думаем уехать.

– Из города? – уточнил я.

– Из дома, из дома, – заторопился он. – Переехать. В другое место.

– Думаете, дело в доме? – спросил я серьезно.

Он покачался – с пяток на носки – и обратно. Думает, насколько много можно мне сказать.

– Не прям-таки только в доме. – сказал он наконец. Сами знаете, какая сейчас... ситуация. Столько неприятных событий... происходит.

Это точно. С неприятными событиями у нас напряженка. Что-то падает и жжет здания в самый неподходящий для этого момент, куда там про неприятные события. Людей то и дело сдергивают с улиц, как куртку с крючка – быстро, порвав и даже не подумав.

– Но этот дом! Дом! – подхватил он наконец. – Я потому с вами и заговорил, что! Что мне кажется, что вы тоже... понимаете! Тут происходит что-то странное!

– Что?

– Ну! – он наклонился ко мне поближе, и пахнуло одеколоном, таким крепким, что мне почти стало дурно. – То кто-то... сбросится, то кто-то... спятит. То ребенок орет, то собака воет эта. Вы тоже слышите, как она воет? – спросил он, как будто с сомнением.

– А вы что, думаете, вам привиделось?

Он отшатнулся от меня.

– Ничего мне не привиделось, – пробормотал он сердито. – У меня мозги на месте. Воет она.

– Воет, – подтвердил я. Хотел кивнуть, но его противный аромат все еще был у меня в носу, и я не стал. – Мы ее тоже слышим. Вы хозяина не видели? – спросил я как бы между прочим.

– Нет, – он помотал головой. – Как поднимается слышу, а самого не видел. Мужчина вроде? Крупный?

– Да?

Он пожал плечами.

– Здесь что-то не то. Точно вам скажу, вот вы умный человек, вам я могу сказать – тут что-то не то!

– Да что не то-то?

– Может то, что он... круглый. В смысле дом. И что двор... колодцем. И с тех пор как тот, ну... что-то начало такое твориться, что всех как будто это... связывает. Как будто это не просто так было. Как будто кто-то... ну, следующий.

– Следующий в каком смысле?

– Надо убираться отсюда, – сказал он. – Надо убираться. Думаю, мы скоро уедем.

– Удачи, – сказал я вежливо.

Двери лифта открылись. На секунду мне показалось, что прямо перед тем, как они открылись, на площадке кто-то был, но когда двери разъехались, там не было никого. Я выбрался – не спеша, шурша своими пакетами, а он поехал дальше.

– Странно все это, – раздалось из лифта. – Странно, странно. Странно.

Надо было извиниться по поводу ребенка, подумал я, суя ключ в замочную скважину. Правда, сейчас он уже перестал орать и спит, крепко сжав кулачок, как будто чтобы защищаться от волчка, который вылезет из-под кровати и съест его сон.

64.

Насчет жилички той, клеенчатой, которая еще не вернулась из больницы, у меня тоже были мысли.

– Мужиков водит. – неодобрительно сказала соседка с первого, и громко повела носом. – Пока этой ее, хозяйки, нет, та мужиков водит!

– Кто? – спросил я, хотя мне было, в общем-то, все равно. Все равно мне было, а я все равно спросил – зачем я так делаю, а?

– Да та! – она махнула рукой в сторону квартиры, откуда увезли большую и громогласную хозяйку. – Жиличка ее! Девка-то по мужикам горазда!

В ее голосе было ожесточение, которого я раньше не замечал.

– И вас это... раздражает?

– Да как не раздражать, когда ходят тут мужики какие-то! В подвал вон забрались, по двору ночами ходят! Хихикает с ними до трех часов ночи! Какая, а! Люди спят, а она!

В подвал – вот это было уже интересно.

– Ну она... молодая девушка, – осторожно сказал я. – Может быть, когда... эээ.. Хозяйка дома, нет возможности... Эээ... Встречаться.

– Как же! Конечно нет! Она-то к себе никаких мужиков не пускала!

Правду сказать, я знал, о чем она говорит. Я видел ее – жиличку, а не хозяйку – один раз.

65.

Город тут и там бросает мне веревки чужих разговоров. Иногда я хватаюсь за какую-нибудь – веселая компания на углу кафе – высокий парень оперся о столб в желтом свете фонаря; красотка, что выходит из такси, запахивает полы пальто, перебирает ногами в дорогих туфлях, и сразу же, даже не окинув улицу взглядом, исчезает внутри здания. Двое мужчин на скамейке на набережной, один постарше, другой помладше. Бывают такие разговоры, когда один как будто забрасывает крючки, чтобы зацепиться за кольцо и пришвартоваться наконец, а второй молчит, и крючки со звоном отлетают от камня. Первая попытка, вторая, третья – крючки плюхаются в воду. Есть даже те, кто привыкли говорить только так – тот мужчина, что скамейке слева, еле шевелит губами, как будто ответы томятся изнутри его губ, но наружу не вылетают. А молодой все говорит, говорит, так, что дыхание сбивается, а потом, с минуту помедлив и не получив ответа, замолкает, потупившись, и смотрит на воду.

Я не стал слушать, что говорит тот, молодой. К тому же я и так уже догадывался, о чем. А вот ее – жиличку, девушку, которая снимала у трубадурши комнаты – я действительно видел.

Я заметил ее на террасе, когда проходил мимо – она сидела там, в белом платье, которое еле-еле прикрывало колени, и смеялась. Рядом с ней, конечно, кто-то был, но я заметил только ее – она была выставлена там, как коробочка, вроде тех белых картонок, в которые упаковывают пирожные с кремом.

Платье, конечно, было маскировкой, просто восклицательным знаком, способом поманить за собой – а вот она сама, ее лицо, не затушеванное, как обычно бывает, а голое, сосредоточенное иногда сверх меры, когда она забывала растягивать рот в улыбке и всматривалась в небо над собой, нахмурившись тому, что он ей говорил – меня заинтересовало. Мне показалось, что она смотрит так, как будто тоже задается вопросами. Что она здесь не потому, чтобы посмотреть, что го-

род предложит ей сегодня. Не за этим – а за тем, чтобы поставить свой собственный эксперимент.

Небо все синело и синело, искусственные розы, прикрепленные к скату крыши, под ночными фонарями стали казаться настоящими. Я сидел и наблюдал за ними, пока они покончили со своими коктейлями в огромных пузатых стаканах, поднялись и пошли вдаль по улице. Мостовая блестела, и на улицах почти никого не было, кроме редких попрошаек, которые уже кутались в одеяла, готовясь ко сну, мрачно потягивались и оглядывались по сторонам, но, завидя их, еще выкликали: «Добрый вечер вам! Добрый вечер!» Он шел рядом с ней, и даже со спины было видно, что это она ведет его, а не наоборот. Когда они пересекали людные перекрестки, она оборачивалась к нему, замедляя шаг, и спрашивала что-то – я был уверен, что она спрашивает, не хочет ли он присоединиться к этим людям, оставить ее, выбрать другое направление. Бабочка улетает и ждет, что ты проводишь ее взглядом – но не ждет, что ты будешь переходить с ней с одного цветка на другой, с куста на куст, наблюдая с близкого расстояния, как дрожит ее маленькое крыло.

Со спины они казались мне почти незнакомыми друг другу, если не считать того, что они шли рядом, в унисон – примерно одной длины шаг, так, что он не уходил неудобно вперед, а она не оставалась неудобно позади. Он качал головой, и я понял, что они разговаривают – уходя все глубже и глубже от тех блестящих витрин, где я увидел их в первый раз, пересекая один пустой квартал за другим. Чем дальше они шли, тем спокойнее она становилась – как будто тот момент, когда ее спутник мог, извинившись, ускользнуть в темноту, прошел. Странно – но я подумал, что знаю, в чем заключается ее эксперимент. Дни, когда она идет одна, быстро и деловито, не сверкая платьем и умело лавируя в толпе – серым. Дни, когда кто-то рядом с ней, и смотрит на нее, и видит – красным. Красные мазки в календаре, растереть их получше, создать иллюзию того, что в этом городе она не одна.

Они все шли, теперь быстрее – я видел, как они миновали сразу несколько пятачков света у еще открытых ночных ларьков, свернули, как она, стесняясь, провела его между двух домов, стоявших так близко друг к другу, как будто их стены хотели наконец обняться. Остановились они в маленьком, безлюдном дворе – несколько велосипедов, поблескивающих спицами в темноте, мусорные баки в углу и белая шторка маячит в темноте за решеткой окна.

Теперь они стояли рядом, но не так близко, чтобы касаться друг друга – он оперся спиной о решетку и, склонив голову набок, слушал ее. Она стояла, то чуть придвигая свою руку к его, то, наоборот, отодвигая, – если не приглядываться, то в фонарном свете мне казалось, что на их запястья надета эластичная резинка, что-то невидимое, что не позволяет ей мягко отвести руку, улыбнуться и войти вовнутрь, а ему – одним движением поднять рюкзак с земли, закинуть его на плечо и прыгучим шагом выйти со двора.

Они просто стояли рядом, две фигуры внутри высокого стакана, на самом донышке – а я смотрел на них и думал, чем же так примечателен этот вечер. Сколько людей в этом городе ищут то небольшое, что висит, распыленное в малой концентрации, на дне этого двора – и сколько нашли его и потом потеряли, и я вижу, как они потеряли, как кричат друг на друга, как плачут, как отодвигаются как можно дальше на другой край кровати.

Она могла бы подойти к нему очень близко, он мог бы взять ее за руку, и их пальцы бы чуть коснулись друг друга. Они могли бы вместе подняться на лифте, хихикая под ярким светом и считая этажи. Ночь могла бы литься через открытые окна, душная, безветренная ночь, с гулом самолетов в небе, розоватой подпалинкой, дыханием, которое прерывается на полувздохе. Нежным и чуть потертым велюром на краю дивана – ночь могла бы накрыть их прямо там, в этом отрезке малоизученного, когда хочется только допить свой стакан, рывком запрокинуть голову и солеными губами впитать то, что осталось.

Я шел прочь и думал о том, что все происходит слишком быстро. Она смеялась так, как будто знала, зачем она так торопится – чтобы добавить в напиток огня, поднести зажигалку и смотреть, как он горит. Игла того, как можно воспламенить их, заставить прекратить думать – сколько я видел женщин, которые подсаживались на это чувство, женщин, сведенных до открытых намазанных красным ртов, грудей, сжатых слишком короткой юбкой ляжек. Когда я спускаюсь вниз,

то прохожу мимо них как между связок дров. Что заставляет их спешить, выкладывать свои богатства на прилавок, пока я не прошел мимо?

Это мощная педаль, хочу сказать ей я – не нажимай на нее раньше, чем следует. Их так много – опьяненных тем, какое оружие оказалось у них в руках, настолько, что они перестают думать о чем-либо другом, кроме как полировать его и любовно проводить по лезвию пальчиком. Другие инструменты тупятся и сыреют, и приходят в негодность, а они ловят и ловят этим лассо, пускают его в ход, зная, что если он и колеблется, заложив руки в карманы и смотря вопросительно, как будто готовясь уйти – когда вперед выбрасывается веревочное кольцо, устоять он не сможет.

Не приторговывай этим, хочу я ей сказать. Не спеши. Не пользуй, как инструмент, чтобы достать с дальней полки то, что ты хочешь. Это забавно иногда, дразнить и красоваться, но одиночество, хочу сказать ей я, одиночество всегда будет с тобой. Тебе не удастся от него убежать, не удастся уйти. Кто-то будет с тобой рядом, но смотреть на мир ты все равно будешь так, как смотрела сегодня в кафе – растерянно и одновременно сосредоточенно, как будто ты одна и тебе надо найти в этом мире что-то такое, что объяснит тебе, почему.

Кажется, что надо любить свой пункт назначения, или тот, откуда ты вышел – но возвращаешься всегда к тому, чтобы любить саму дорогу. Я давно это понял – и теперь все время отталкиваю эту мысль, пока она, надоедливая, как собака, суется под локоть и тянется холодным носом к моему лицу.

66.

– Не вижу ничего плохого. – сказал я соседке с первого, которая продолжала вопросительно и несколько подобострастно смотреть на меня. – Возможно, это ее молодой человек.

– Молодой человек! – фыркнула она. – Видели бы вы этого молодого человека!

Я не стал говорить, что видел.

Хлыщ в костюме вышел из подъезда, пока мы разговаривали, и, демонстративно размахивая зонтом, с мстительным видом направился к выходу со двора. Шагал он широко, слишком широко даже для своего роста – он был чуть ниже меня – и один раз чуть не споткнулся на каменной кладке. Как раз в том месте, где... где.

Соседка с первого покосилась в его сторону.

– Я с ним даже не разговариваю, – заметила она. – Не пытаюсь. С такими разговаривать – только слова тратить.

– Да?

– У них у всех мозги набекрень, у этих новых. Уж не знаю, чем им забили голову, но мозги у них у всех как вата. С трудом три фразы могут вместе связать!

– А он из новых?

– Да как же, из новых. Месяцев шесть назад они заехали. С девушкой еще, симпатичной такой, но худющей. Говорит, что это его невеста.

– Говорит?

– Ну, на ней не написано, – сварливо отозвалась соседка. – Но лицо у нее такое, как будто она только что лимон съела. Если она и невеста, непохоже, чтобы была очень рада!

– Ага.

– Проверял мои посылки, можете себе представить! Обвинил меня, что я ворую его почту! Вата в голове, я вам говорю! Картон!

– Он вас обвинил? В том, что вы почту воруете?

– И посылки. Говорил, ой вы, да вы, забрали мою посылку, я вас с ней видел, вы с почтальоном разговаривали! А я ничего не забирала, я чужое не беру! Я свою забирала, и то тогда...

Она запнулась и погрызла ноготь, задумавшись.

– Может, он что запрещенное получает? – спросила она вдруг. – Вы как думаете?

– Поэтому и волнуется? – уточнил я.

– Ага, – она кивнула мрачно. – Боится, как кто-нибудь его бы не поймал. А то он так меня обвинил, как будто я мать его обворовала! Честное слово! Орал на весь двор!

– А я не слышал.

– Не слышали, потому что вас тут не было!

Она покачала головой.

– То мужики, то скорая, то младенцы. Все орут. Как орать начинают, не остановишь.

Я ничего не ответил.

– Не нашли той, дамы-то? Вещи? – спросила она внезапно.

– Я не знаю.

– Вроде давно уже... и не вернулась она. Пока что. Мы помолчали.

Я раньше думал, что не способен любить без условий. Эта мысль прокатилась у меня внутри, как летит конькобежец, удерживая весь свой вес на тонком лезвии, как катится по морю парус, хлопая, как крыло.

Она верила в меня – она бы со мной поспорила.

– Конечно, способен, – сказала она. – Смотри.

И показала бы на кулачок, просунутый через прутья кровати.

Это правда, что я не думал о нем как о любви без условий. Когда он появился, то сразу вправился мне прямо внутрь, в свое собственное место, где я теперь всегда его ношу. Не географический пункт, не метка на коже и не внутренний орган – если вырезать, я истеку кровью – а просто часть меня, которую нельзя отнять. Я не думал о том, можно ли любить то, что является частью тебя – мне не приходило в голову, скажем, любить легкие, или косточку на стопе, или линию на затылке, которую щекочет машинка для стрижки волос. Мне не приходила мысль о том, любить его или нет.

Когда он спит, я иногда присаживаюсь рядом на корточки и шепчу ему о том, как прекрасен мир. Я шепчу о том, что жить стоит просто потому, что он лежит и сопит рядом. Я даже знаю, что временами, ночью, он просыпается, открывает глаза и секунду задумчиво смотрит над собой в потолок, прежде чем закричать.

67.

Когда я сказал, что собираюсь в подвал, она нахмурилась.

– Зачем?

– Надо проверить кое-что.

Я боковым зрением видел, как она прикусывает губу. Она всегда так делала, когда волновалась, и думала, что я не замечаю.

– Хочешь, я пойду с тобой?

– И зачем? И потом, мы его в квартире одного оставим, что ли?

– Я его на руках понесу. – Она улыбнулась. – А то мы мало гуляем.

– Это правда, – я нагнулся и, пыхтя, зашнуровывал ботинки, поэтому на нее не смотрел. – Мы в основном спим.

– Мы почти вообще... не выходим, – сказала она. – Я уже и не помню, когда в последний раз соседей видела!

– С тем, что сейчас происходит, лучше не гулять, – я разогнулся и снял куртку с крючка. – Лучше открывать окно и просто дышать воздухом. Поверь мне.

– Да я верю, – она грустно вздохнула. – Думаешь, когда это все закончится?

– Не знаю, – сказал я честно. – Сейчас вроде... поутихло.

– Да. Пару недель уже не было. По этому поводу перерыв.

Перерыв. Хорошо, если бы это был перерыв.

Я спустился по лестнице, пересек пустой двор и быстро спустился по ступенькам – дверь в подвал была в самом углу, деревянная, старая, рассохшаяся, да еще и закрыта на гвоздик. Даже удивительно, что это место еще не облюбовали бездомные и жители тех темных, выметенных кварталов, которых иногда заносит в эту часть города. Но их бы быстро вытурили – половина жильцов лично мутузили бы их до тех пор, пока они не убрались бы восвояси.

Я был в подвале всего несколько раз – когда мы смотрели квартиру, и с консьержкой, уже не помню почему. Внутри он был похож на заброшенный цех, то ли промышленный, то ли швейный. Было тихо, прохладно, просторно и пахло землей. Железные стеллажи по бокам – на полки уложено барахло, где-то аккуратно подписанное, где-то вообще ничейное. Никаких индивидуальных отсеков и каморок, никаких ниш, куда каждый жилец мог бы засунуть свои вещи. Под длинным низким потолком болтались три лампочки. Казалось, они и углы освещали, и не оставалось никаких теней.

Я закрыл глаза и прислушался. Не к внешнему – внутри.

Металл точно есть, хотя бы даже стеллажи, но мне нужен был не просто металл, не столько металл, а что-то фонящее, чужое. Что-то с тонким фоном, таким писком, который почти незаметно дает о себе знать. Несмотря на пустоту, чистоту и красоту, писк был. Фонило, тоненькое, серебряное с жемчужиной скорее всего, и ближе к глубине, к левой стороне. Я двинулся вдоль стеллажей. В подвале кроме меня никого не было – в этом я был уверен, но воздух все равно был спертый и душный.

Я почти дошел, и вдруг почувствовал, что задыхаюсь. Мне перестало хватать воздуха – я хватал его ртом, вбирал, но он как будто бы наполнял только верхнюю часть груди, а ниже не проходил, а потом воздуха стало совсем мало, и у меня потемнело в глазах. Я остановился, держась о стену. Дышать. Коротко и отрывисто, открытым ртом – глаза у меня были почти наверняка выпучены, на лбу испарина, но меня это мало волновало. У меня вдруг возникло ощущение, что за мной кто-то стоит, и я с трудом, и с хрустом в плече и шее, повернул голову. Никого не было. Только лампочки теперь было две. Одна перестала работать.

Лучше мне не становилось, но хуже тоже не становилось – поэтому дойти все-таки можно было попробовать. Я дошел до эмалированного таза, который был задвинут на почти самую верхнюю полку. В таз были навалены пакеты с вещами, а рядом стояли рядами пластмассовые коробки, покрытые крышками. Мне нужен был таз. Оно жило где-то рядом с дном, с той стороны, что ближе к стене.

С трудом я поднял обе руки, схватился за эмалированный край и потянул. Он оказался куда тяжелее, чем я думал, да еще и угол неудобный – выше уровня глаз, и тяжело было так, как будто в таз этот налили раскаленный металл, и потом дали ему застыть. Но если бы это правда был металл, или, скажем, цемент, то полка бы не выдержала.

Я с трудом подтянул таз к краю. Тут, возможно, можно было найти табуретку, но становиться на узкое сиденье – слишком большой риск того, что я упаду спиной назад, или перед глазами у меня окончательно потемнеет. Пока темнело вроде не очень – темнота и вспышки, которые было начали подкрадываться с двух сторон, отступили, и перед глазами теперь только бегали искры. У меня крайне редко такое было. Только когда я начинал работать. Я уже было думал, что такого не будет больше никогда.

С трудом повернув таз по часовой стрелке, я засунул под пакеты руку и начал шарить. Долго шарить не понадобилось. Тканевый мешочек с чем-то твердым внутри, и больше, чем я думал. Глупо было прятать его здесь – можно было зарыть куда-нибудь, чтобы сложнее было искать. Так я мог указать только примерное место, но, скорее всего, не определил бы, где конкретно надо копать. В пределах десяти квадратных метров? Двадцати? Земля не сохраняет следы. Особенно городская. Особенно после дождей. Тут регулярно идут дожди, и кое-что похуже дождей тоже, и ее часто перекапывают – так что за всеми этими манипуляциями сложно распознать планы конкретных людей.

А тут было легко. Я вытащил мешочек.

68.

Все легко. Украшения, конечно. Штук... восемь, хотя считал я наскоро – мне все еще было плохо, и я старался не слишком опускать голову вниз. Хотелось задрать ее повыше, к оставшимся лампочкам, чтобы в ней перестало гудеть.

Крупный серебряный браслет, кольца, кольца с камнями, одно даже с ящерицей, очень похожей на настоящую, в которую был аккуратно вписан камень – большая жемчужина. Колье, тяжелое и, похоже, разбирающееся на несколько частей. Еще один браслет, похож на бриллиантовый, со сломанной застежкой. В таком освещении трудно разобрать, но очень похож.

Зря она их взяла – я почти уверен был, что это «она», а не «он». Только какая «она», я был не уверен. Металл сверкал и горел у меня в пальцах, и я мимоходом подумал, как он не жжет мне руку. Прикасаться не стоило, конечно, но перчаток я не взял, а посмотреть, что внутри мешочка, мне было нужно.

Их перехватят до того, как она успеет их забрать и перепродать, или забрать с собой куда-нибудь, где будет шанс их продать. Продать такие заметные вещи в городе даже в текущем положении довольно сложно. Так, чтобы тебя при этом не отследили, вообще невозможно. Мне ли не знать.

Я посмотрел на них еще. Куда более красивые, утонченные, чем по той, громогласной, можно было предположить. Со всеми ее чашками с золотой каемочкой, золочеными кувшинами для молока и шкафами, полными посуды и красивых предметов. А это... другого порядка.

Я подумал, что можно сделать. Вернуть их настоящей хозяйке пока не представлялось возможным, и потом, если их вернуть, даже незаметно, почти наверняка за этим последует большое число объяснений, которые я не готов давать. Переложить в другое место? Забрать с собой? Спрятать у нас? Нет. Прятать у нас что-либо – очень плохая идея. Он и она должна остаться в стороне от всего этого.

Можно сделать ставку на то, кто это сделал, и дать ей знать, что я знаю. Прислать записку или что-то в этом роде. Но вопрос – какая? Соседка с первого? Невеста хлыща из лифта, которую я точно видел, но черты все никак не мог вспомнить? Консьержка? Много кто это мог быть, и мотивы были у каждой свои.

В конце концов я сложил все украшения обратно в мешочек и засунул его на прежнее место. Все, кроме кольца с ящерицей, которое положил в карман. Я не закрывал рот, и вдыхал часто и неглубоко – так было проще, хотя менее мутно внутри не становилось. Подыскать другое место, где бы спрятать мешочек, было сложно, да еще и такое, чтобы не нашли. Я мог бы положить его в водосточную трубу, мог бы спрятать на крыше, если рискнуть залезть на чердак еще раз. Но там могли найти, а носить его с собой мне не хотелось.

Когда я вышел, притворив за собой дверь, мне резко стало легче. Воздуха в легких стало больше. Голова все еще болела, и я прислонился к стене и на секунду закрыл глаза. Как будто рука протягивается из пустоты и сжимает мое горло. Не как та, которая тянется к горлу красавицы – на ключицах блестит серебряное колье, а браслет со сломанной застежкой падает на пол. Плавящийся металл. Блестящий глаз ящерицы, смотрящий на меня из темноты.

– Нашел что-то? – спросила она, когда я вернулся.

– Где? – я все еще думал о ящерице с блестящим глазом, пока мыл руки под краном.

– В подвале.

– А, – я выключил воду. – Да.

– И что? Что нашел?

– Я тебе потом расскажу. – сказал я, и потянулся потрогать ее щеку пальцами.

69.

Той ночью мы заснули поздно – нежность, тяжелая, накатила на нас сразу обоих и накрыла толстым одеялом, с рисунком из полумесяцев и звезд. Она смеялась и локтем заехала мне под ребра, и я тоже засмеялся, и одеяло съехало.

Сны были как пленка – крутились быстро, но я все равно их помню. Мне снилась красная сожженная кожа, того затхлого, заглушенного красного цвета, какой бывает у засохшей крови.

Мне снилась, как она обугливается и чернеет, и на ней больше не блестят капли пота. Как живое становится неживым. Как я переходил улицу, и вдруг раздался хлопок, а потом вспышка белого цвета, но я ушел, я уже ушел, и боялся посмотреть за плечо, не лежит ли там, у мусорного бака на углу, из которого поднимался вверх белый дым, мое тело.

Мне снился шум моря, но моря не было, оно только напрасно шумело в моих ушах – добраться бы до моря, думаю я, и не понимаю, кто это думает, ведь я сплю. Снились вены, вздутые и выпирающие, и одновременно странно притягательные, и по ним хочется провести пальцем, вдавить, вправить их обратно, как вывихнутую кость. Я слышал звуки, как будто что-то падает, стукается о землю – не опускается, не с кряхтением садится, не приседает на корточки, не прыгает животом вперед, чтобы распластаться в укрытии – а именно падает, валится и оседает. Неизящно, неловко – но я все же был рядом и слышал этот звук, но других я не слышал, как будто уши мне закрывает вата.

Мне снилась грязь – на руках, на лицах, на толстой ткани, что вечно морщится на колене. Снились пустые черные поля, целые поля остывшей холодной грязи, где когда-то поворачивались к солнцу толстые блюдца подсолнухов. Мне снилось, как надвое сломалось здание с ажурными решетками балконов, как летит вниз голова черной стеклянной башни – а фонарь нагнулся еще ближе над улицей, как будто стараясь рассмотреть, что там происходит.

Внутри меня, как струйка мелкого песка, прямо во сне скребло чувство незавершенного. Как будто город показывал мне какой-то новый маршрут, говорил – смотри, вот здесь, в узком проходе между домами, в садике, где валяются на траве мокрые стулья и лейки, в углу здания, где стыдливо спускается по стене труба, для отвода глаз выкрашенная в кремовый цвет. Смотри, тебе надо только наклониться – и ты сразу увидишь, что все, что ты когда-либо видел, ты видел здесь. Даже если тебе кажется, что воспоминания твои накоплены где-то далеко от города – на самом деле все они отсюда. Это просто игра, в которую город играет с тобой. Ты никуда и не уходил, говорит он мне. Ты просто хотел уйти.

Это правда – я хотел уйти.

Часть шестая. Вперед

70.

По улицам города плывет серый густой дым. Город обнимает своими влажными пальцами холод, трогает, прижимается к стенам, оставляя отпечатки. Последнее время я хожу в толпе, прямо посреди этой гущи, но она не прилипает ко мне. Люди не становятся ближе даже тогда, когда я стою к ним вплотную, касаясь их толстого пальто вместо того, чтобы схватиться за засаленный поручень, или почти заложив руку им в карман.

Город не изменился – изменился я. Мысль о том, что я изменился, мне неприятна. Она связана с тем, что от меня отсеклось то, что было частями прошлого меня. Отрезанный кусок сала уже упал на пол – упал и пропал. Я смотрю на него, как на что-то постороннее.

Что мне делать с отвращением к тому, что все увядает и тускнеет, и мой мир когда-нибудь начнет тускнеть, и меня тоже резко развернет внутрь, к боли – и я вынужден буду смотреть в собственные больные глаза. И хуже того, он тоже будет в них смотреть. Что мне делать с тем, что ель все растет и растет вверх, дальше всех остальных елей, и дотягивается до неба, и оказывается, что это не небо совсем, это бумажный листок, и его можно прорвать посередине и высунуть макушку туда, где сворачивается время, где ничего нет, но все возможно?

Хотя раз острие уже прорвало бумагу, то чего я спрашиваю.

Она не говорит что-то типа «Папа скоро придет». Она просто смотрит в окно, на свет, туда, откуда в комнату проникает солнце. Он на минутку хмурится при виде меня в дверях, как будто

не узнает, и я знаю, я вижу, как выпадает деталь. Выпадает что-то между тем, каким я был, когда ушел, и тем, и каким я возвращаюсь.

– Ты выбрасываешь моменты, – сказала она мне.

Люди на ходу выкидывают выкуренные сигареты, пустые пачки, сломанные зонты, мнут пакетики из-под сока и кофейные стаканчики, и бумагу – чеки и черновики, тетрадные страницы, журнальные плакаты, вырезанные маски. А я – я выбрасываю нас, пока иду. Выбрасываю моменты, не глядя, выбрасываю, как он смеется и брыкается, как смешно слезает носок, как она кусает его за ухо, притворяясь, что она – серый волк, а потом серый волк под одеялом, а потом серый волк за дверью туалета, и он с любопытством смотрит за угол, не придет ли серый волк оттуда. Я выбрасываю то, что мог бы увидеть, что могло бы быть моим. Что выбрал обвести только их двоих, а себя оставить вне.

Я никогда так не чувствовал протяженность времени, как сейчас – не чувствовал, что я путешествую в нем, забрасываю свой рюкзак каждое утро на плечо, спускаюсь по ступеням в ночи. Я вижу, как вываливается из-под вывесок толпа, как лепится кучками у освещенных парикмахерских, магазинов, вокруг любого, даже скудно освещенного, местечка. Я чувствую его теперь – чувствую значительность каждого проходящего момента, чувствую, как мой палец становится на стрелку часов, как меня прижимает к поверхности его гигантская ладонь. Я лежу и слушаю, как поет земля, как среди зеленоватых облаков светится луна, как звуки проходят через мою грудь, как из тела уходит боль, а музыка поднимается от земли выше, выше, я тут и одновременно не тут, я нужен только для того, чтобы провести все это через себя. Для чего я вообще нужен?

Вокруг меня хотя бы иногда должен быть круг пустоты. Я толкаю чужие плечи, случайно касаюсь рук, провожу ладонью по спинам людей, и они оборачиваются, стараясь рассмотреть мое лицо, но видят только ребра оград, листву куста, отражение автобусных фар. А не меня.

Потому что меня там нет.

71.

Мое отличие от других людей в толпе в последнее время такое сильное, что иногда я чувствую, что почти подкладываю им себя, как подкладывают свинью. Свинья – зарезанная, лежащая на огромном блюде горлом вперед – это я. Ее выносят в блеске свечей, и она блестит своими оловянными глазками, цвета рома, цвета коричневой жижи в самой глубине. Перед ними должен был оказаться я, а оказывается свинья – инородный, разделанный организм, с которым они не знают, что делать. Поэтому они берут нож и неловко, смеясь, тыкают в обнаженное, палевато-розовое брюшко. Сколько раз я чувствовал себя этим неуклюжим, раскинувшимся огромным животным, тушей, которой так хотелось бы ожить и убежать. Я чувствовал отвращение к их вопросам, отвращение к их участливым лицам, согнутым в улыбку, я чувствовал духоту от того, что мне говорят и о чем меня спрашивают, и еще большую – от того, что мне надо отвечать.

Чем ближе я подхожу к ним, чем упорнее пытаюсь встать в один ряд – тем больше становится видно, что мы сделаны из разного теста. В буквальном смысле – внутрь меня вмешан какой-то серый, пупырчатый, незнакомый им материал, и они сначала вглядываются, пытаясь разглядеть, что я такое, а потом вдруг отшатываются и бросаются прочь, торопясь обратно в свои миры.

Этот материал, что внутри них, и материал, который внутри меня, не вступают в реакцию – не смешиваются, не льются друг в друга, и в глазах у них не блестит огонек узнавания. Они задают вопросы, все ближе и ближе подбираясь к тому, о чем я не хочу говорить – а когда неизбежно вонзают нож, то в лицо им брызжет не кровь, а серая тягучая смесь.

72.

Я работаю, хожу и ищу, и мимо меня несутся целые поезда чужих жизней. Иногда они притормаживают, и я вижу усталые лица в ярко освещенном вагоне – пара сидит, напротив друг друга, а между ними туда-сюда скользит газета, брошенная на стол.

По правде говоря, я не люблю, когда город поворачивается ко мне этой своей стороной – стороной тошнотворных деталей, чем-то, что обязательно будет биться о замкнутое пространство.

В вагоне им душно, но им и в голову не приходит думать, что их переносит откуда-то куда-то – и однажды они смогут, наконец, выпрыгнуть на прохладную платформу и оглядеть то место, куда они столько времени ехали.

Большинство из них проводит всю жизнь в этих вагонах, а я наблюдаю, чуть приблизившись к стеклу, как мигает и горит внутри желтый свет. Освещая привычное пространство комнаты, сморщенное лицо их матери, что сидит в кресле в углу, расползшиеся и разодранные страницы книги, которая лежит сверху на серванте. На самом верху серванта.

Мне запрещено входить в эти движущиеся вагоны, да я бы, наверное, и не смог. Я иногда вижу страдание через свое маленькое окно и злюсь потому, что войти туда нельзя, а вагоны только проносятся мимо.

Поезда отличаются от обычных освещенных окон и квартир тем, что они движутся во времени. Я наблюдаю, как мазками проходит время, и мне удается заметить его быстрое течение – больше складок на коже, больше белых пятен с неровными краями, на теле и в памяти. Треугольник морщин вокруг носа и рта обозначается резче.

Вагон несется вперед, и я замечаю, как меняется в их жизни то, чего не замечают они сами. Я ощущаю, как поезд немного подбрасывает на стрелках, как звенят колеса, как все плешивее становится пятно на ковре. Как все труднее становится освободиться от того, что когда-то было, и перестать туда возвращаться.

Все то, что когда-то уже было и прошло, накладывается одно на другое – всплески вдохновения, радостные возгласы, внезапно открывшиеся двери, телефонные звонки, которых не ждали и которых ждали очень давно – все те кирпичи, которые терпеливо складывались одни на другие, и из которых состояла жизнь. А я – я был только наблюдателем. Тем, кто взял и приподнял оконную шторку, и случайно увидел скорую перемотку событий – и кадры, летящие один за другим. А потом ему стало неловко, и шторку он предпочел опустить.

73.

Я шел мимо и заметил афишу. Теперь их совсем не осталось – наверное, не успели отодрать. Перед забором, где она была, виднелись следы шин – какая-то большая машина стояла перед ней, и афишу просто не было видно.

Она была наполовину разодрана, но все равно видно его лицо.

Я думаю про него иногда. Не потому, что на него работал, был у него в штабе и даже немного знал его лично. Я тогда не был поисковиком, был просто обычным молодым человеком с идеями. Идеи, как потом выяснилось, были не те, и их лучше было оставить при себе.

Когда он ушел из мира, в мире все равно осталось что-то от него. В мире все равно тянется его след, и его присутствие все еще ощущается, людьми, с которыми осталась в этом мире его часть.

Я думал о нем. Я думал о его лице – прошло много времени, а я все еще смотрел на его лицо. Я думаю, как получилось так, что он там, а я здесь. Все должно было быть наоборот. Он должен быть здесь, а я должен быть там – проскользнуть, как мышь, как самая последняя мышь, живущая в самом последнем, рассыпающимся от времени сером доме, между камней, исчезнуть в узкой дырочке, протолкнуться в коридор, где бы никто и никогда меня не нашел. Я должен был исчезнуть, уйти, я должен был знать, куда и как убраться, я должен был обогнуть угол улицы, и оттуда это меня, а не его, должны были забрать, скрутив мне руки за спиной.

Это я должен был бы пропасть, как пыль, как дождь, как следы от дождя в городе, состоящем из серого камня, в никуда. Высохнуть и испариться. А не стало его. Его не должно было не стать. Он должен был бы жить. Все – все, кто живут в этом городе – все это знают.

Он смотрит на меня оттуда, со своей афиши. Наполовину разодранной и свисающей, но это неважно. Смотрит – и мне с моим капюшоном, вечно надвинутым на лоб, и руками, засунутыми в карманы, неловко смотреть ему в глаза.

Он смотрит весело, как будто знает, что никуда не исчез. Когда кто-то уходит, все навсегда помнят, какой у него был слом воротника, какая складка была в уголке его губ, как он смеялся,

как он складывал руки, как говорил. Как шутил. Он говорит, ничего ты не понимаешь. Я никуда не исчез так же, как не исчез забор, не исчезает трава, не исчезает газон, не исчезает трамвай. Все идет, все движется в привычном порядке. За одним днем приходит другой, а потом третий, и я все еще здесь, просто ты, поднявшись вверх или спустившись вниз, или пялясь без толку на забор, меня не видишь. Но это твоя проблема, говорит он, не моя. Я ничего не боюсь, говорит он. И тогда не боялся тоже.

Я киваю. Я смотрю прямо ему в лицо. Почему-то плакатам, когда они говорят тебе что-то, веришь больше, чем людям.

Потом я подхожу и аккуратно соскабливаю афишу с забора. Надо будет скатать ее и засунуть в ближайшую урну. Я соскабливаю тщательно, очень тщательно, чтобы ничего не осталось. И не потому, что я не хочу, чтобы его лицо – и его имя – ассоциировались со мной.

По-моему, мы проиграли, ты знаешь, говорю я ему внутри себя. Ты никогда в это не верил и, наверное, не веришь и сейчас. По-моему, мы проиграли, и я в этом виноват.

Я, а не ты.

Но я все еще здесь.

Что это значит?

74.

Мне вдруг приходит мысль – а что если он вырастет и спросит, почему я перестал работать на человека на афише. Почему я сдался.

Он вырастет. Очень скоро. Это всегда так бывает – все происходит скоро. Вырастет и будет задавать вопросы – сначала несложные и короткие, а потом те, на которые я не смогу дать ему ответа. Я буду стараться, стараться сказать хоть что-нибудь, чтобы он понял, но он все равно будет хмуриться и смотреть на меня осуждающе.

Я шел и старался не думать о том, как всего того хорошего, чем я хотел для него быть, будет недостаточно – я уже знаю это, я вижу, как он сидит на подоконнике, подтянув колени, и наблюдает за моей спиной, которая все уходит и уходит вдаль, и в конце концов ее поглощает туман. Он будет щуриться, напрягать глаза, когда город замкнется за мной, как щит, и защитит меня от его горячего, обиженного взгляда.

Трус ли я, трус ли, трус ли. Я задавал этот вопрос городу, задавал его крашеным столбам и почтовым ящикам, задавал его скамейкам и вывескам, задавал его закрытым ларькам и открытым решеткам, через которые стекала вода.

Трус, конечно, но я хотел их защитить. Я хотел, чтобы они не оказались в опасности из-за меня. Хотел, чтобы вокруг них стоял невидимый забор, за который, в случае чего, они могли бы скрыться.

Можно было бы, конечно, сказать, что кто-то сделал этот выбор за меня. Или что-то внутри меня сделал этот выбор за меня. Выбор закрыть рот. Выбор отступить в тень. Выбор оставить его там одного, на месте казни. И это совсем не так, как с людьми, которых я не смог спасти. Там, внизу. И совсем не так, как со мной самим.

– Это не так, – сказал бы кое-кто, кто иногда шепчет мне в ухо.

Слушай, хочу сказать я ему. В последнее время меня не берет усталость. Она должна взять меня, укутать, может даже свалить с головой, но она все равно не берет – я чувствую в себе что-то крепкое, что способно ей противостоять, что-то, что уворачивается от нее, когда я иду по городу.

В последнее время мне во всем видится присутствие чего-то большего. В том, как по ночному небу бежит дым. В том, как заканчивается день. В том, как она начинает плакать – лежит на спине и читает книжку, подняв ее над собой, и слезы текут не вниз, а вбок – от уголка глаза к виску. Некоторые капают на подушку. Некоторые исчезают в волосах. Мне хочется привалиться к ее боку и посмотреть, что она читает, и стереть слезную дорожку пальцем – иногда я так и делаю, и

рассматриваю буквы, а целые фразы не рассматриваю. Она дышит в том же темпе, что и он – горячая грудь поднимается, немного опадает, потом поднимается опять. Иногда она потягивается, переворачиваясь с одного бока на другой. Я смотрю на нее внимательно, но так, чтобы она этого не замечала.

Иногда мне хочется попросить у него, человека на афише, прощения. Я знаю, что он его не примет. Что принимать уже некому. Но все же. Ты не трус – город не говорил этого, но я почувствовал. Ты не трус, но тебе надо кое-что понять. Ты пока не понял, но потом поймешь, и тебе еще много шагов придется пройти, прежде чем ты поймешь. Ты не понимаешь пока – я опустился на скамейку на берегу и стал слушать, как плещется вода – что остро далеко не там, где тебе кажется, что остро. Надо продолжать дальше. Тебе надо двигаться. Вот что говорил мне город.

Я уже вижу наш дом – и сразу, одним глотком – вода дошла до самого затылка – меня наполняет беспокойство. Почему?

Мне хотелось бы отскрести от себя все это, быть чистым – и идти вперед так, чтобы ничего не мучило. Чтобы я закрыл эту дверь, на которой написано «приходит в голову», раз и навсегда – и больше ничего не приходило мне в голову. Хотя бы некоторое время.

И потом – это только говорят, что отпускать мысли просто. Мне всегда сложнее всего давалось отпускание мыслей о ком-то – пока шел, я в буквальном смысле цеплялся за мысли, как за дверную ручку неправильной формы, как за вбитый где попало гвоздь. Цеплялся и ранился. Мысль – я не знаю, это кто-то сказал мне или я сам придумал – но мысль может тянуть вниз и назад, мысль может останавливать и подталкивать вперед, мысль имеет вес, и опускает мою душу вниз, к желудку, к асфальту, вниз, и каждый шаг становится все тяжелее. Мысли это то, что отравляет меня изнутри, и то, отчего мне иногда кажется, что лучше бы жить в другом мире, в другом теле, в другом мне.

75.

Я помню тот день, когда уходил из его штаба. Как перестал работать на человека на афише. Вернее, с ним – никто не работал на него, все работали с ним. У меня был пропуск, и мне надо было его сдать. Положить в специальную коробку, в которой они лежали. Коробка была как стеклянный ящик с отверстием – опустить туда можно, а достать уже нельзя.

Я видел его в тот день. Он со мной не разговаривал, я даже сомневаюсь, что он видел меня – или знал мое лицо. Я был только один из многих, которые каждый день заходили и уходили. Как, в общем-то, и сейчас.

Он прошел в другой стороне комнаты – обычная рубашка, обычные штаны. Что я мог ему сказать? У меня было такое чувство, что как только я повернусь к нему спиной, как только я повернусь и начну шагать к выходу, он меня увидит. У меня было чувство обрубания веревки, измочаливания ее, до волокон, чтобы почти уже совсем ничего не осталось. Что я разрываю что-то внутри себя, изо всех сил тяну его в разные стороны, чтобы оно наконец разорвалось.

Мне все равно. Я могу делать эту работу, потому что мне ужасающе все равно. Так долго мне было плевать на всех, кроме себя, так долго мне было все равно, пропаду я в город или вернусь домой. Так долго я думал, что если я пропаду в сочленении улиц, если я превращусь в облако пороха на углу у постирочной, если я уплыву, как облачка дома, наверх в сторону решетчатых окон, если меня не станет, если не станет ни имени, ни глаз, ни ног, ни мышц, ни старания, ни мыслей – да кому какая разница. Что я один могу изменить, я это только фигура, я это только очертания, я это только силуэт – один силуэт в огромном городе силуэтов.

76.

А потом у меня перестало получаться. Прятаться в собственное безразличие, в то, что у меня нет мяса, я просто набор очертаний. Мне было все равно, и это позволяло мне жить. А теперь у меня есть ради чего жить, и это не позволяет мне отвернуться и сказать, что тот момент, когда я резко вытащил пропуск из кармана и опустил его в стеклянное отверстие, ничего не значил.

Мне показалось, что он тогда повернул голову посмотрел на меня – прямо на меня – с другого конца комнаты.

Он не смотрел.

Я уже тогда знал, что он не остановится ни за что.

Я уже тогда знал, что я... не могу выговорить это слово.

И почему город должен помогать мне, думаю я зло. Ведь я этого не очень-то заслуживаю. Я никогда не заслуживал этого, и все же город меня покрывал. Покрывал все мои несовершенства. Мои ночные скитания. Мои попытки и мои дороги. Мои руки, засунутые глубоко в карманы, и прищуренные глаза под козырьком кепки. Покрывал мою усталость и мое отчаяние, когда, редко, но все же бывало, я не мог найти тех, кого искал. Я не знал, что они сделают, если я не найду. Я никогда не спрашивал.

Он заслуживал этого гораздо больше.

Он заслуживал этого – как они говорят – милости и благословения – гораздо больше.

Чем я.

Я обвел комнату взглядом – в последний раз. Там были крашеные стены, этот самый стеклянный ящик, столы и стулья – ничего особенного. Обычная комната. Только люди необычные. Когда люди связаны чем-то, это сразу видно – поэтому, кстати, так легко искать людей по родственным связям, или по тому, с кем они близки и кто им дорог. Это как сверкающая, светящаяся сеть – всегда знаешь, куда идти следующим. Если у человека таких связей нет, то уже куда сложнее, потому что он, как и я раньше, является одинокой черной точкой. Но таких очень мало. Если не родственники, то хотя бы как здесь, где всех их держит вера.

А тут они были связаны. Все. И мне нравилось тут, нравилось так, как мало где нравилось – хихиканье поднималось к потолку, руки протягивались через стол, все иногда переводили глаза на него, потому что он был центром всего – и далеко за пределами этой комнаты, может, даже за пределы этого города.

Некоторые люди имеют свойство занимать и красить собой пространство, и оно все, какое большое бы ни было, оказывается занято ими. Они имеют свойство расширяться и расширяться и занимать место и у тебя в груди тоже, и я знал, что даже когда я выйду, я не смогу его стрясти, не смогу от него избавиться.

Девушка, которая сидела и что-то писала за столом, и хмурилась – очки сползли на нос – подняла голову:

– Уже уходите?

– Да, – ответил я. – Ухожу.

Это, наверное, единственный раз, когда я шел, полностью закрыв глаза. Я никогда не закрываю глаза, пока не ложусь в кровать, а особенно не закрываю, когда иду – мало ли что может случиться. Я не делаю эту ошибку, потому что делать ошибки мне дорого обходится.

Но слезы жгли, и я шел, закрыв глаза, и со мной ничего не случилось.

Со мной ничего не случилось.

77.

Засунув афишу в мусорку, я иду дальше. Быстро, не оглядываясь. Я чувствую, что внутри меня бьется что-то, что хочет выйти наружу. Оно большое, но одновременно легкое – я представляю его как комок из серых перьев, который мечется внутри меня туда-сюда. Из груди в живот, из спины в горло, немного передохнуть, а потом снова начинает бить мне в ребра, и они дрожат и гудят. Мое тело не дает ему вылететь, и я думаю, как жаль иметь узкое горлышко, из которой оно никак не может выскользнуть. Подожди, думаю я, сможешь выйти во сне. Я буду ворочаться, переваливаться, подминая одеяло под себя, а ты сможешь выскользнуть – под покровом ночи, пролететь у меня между губ и потом в створки открытого окна.

Что ты все стучишь и не даешь мне покоя, я разве соглашался носить тебя в себе? Разве меня кто-нибудь спрашивал?

Я думаю о том, что происходит внизу. Иногда мне смешно от мысли, что меня будут судить. Иногда мне от нее страшно.

Мне даже интересно, что они подумают, если возьмут и выложат в одну линию все, о чем я когда-либо думал и все, что я когда-либо делал. Будут ли они складывать хорошие дела в одну сторону, а плохие в другую? А нейтральные куда – отбрасывать подальше, в специальную корзину, которая почему-то напоминает зеленый мусорный бак? Делал ли я по одному хорошему делу, чтобы покрыть каждое плохое? Думал ли хорошую, чистую мысль – например о том, как он смотрит в потолок, когда открывает глаза – на каждую мысль грязную, о запрещенных картинках на ячеистых экранах, о груди, розовато-белой, которая колыхалась, пока она, придерживаясь за перила, спускалась вниз?

Плечи мои чуть заметно опускались, и я прятал улыбку в краю рта. Нет, грязных мыслей было больше. Я никогда не удивлялся чьим-нибудь прегрешениям – может быть потому, что не было ни одного дня, ни одного маршрута, ни одной улицы, которые давали бы мне так легко отвернуться от собственной черноты.

Это будет не тот суд, на котором так уж интересно присутствовать. Мне так кажется. Наоборот – представитель обвинения, со сморщенным в многовековую гримасу лицом, может быть, где-то даже обросший шерстью, и защита, со своим золотым диском, который сполз немного назад на лысине. Я избегаю взгляда судьи.

Я стою там, скособочившись на одну сторону, как ученик, которого в неподходящий момент вызвали к доске. Изучаю, как за учительским столом идет по подоконнику толстый грач. Не то чтобы я не хотел там быть – просто подхожу к этому как к обязательной процедуре.

На весы все закидываются и закидываются гирьки. Ни обвинение, ни защита ничего не пропускают – досматривают мой багаж, который я накопил с того момента, как вышел туда, до того, как пришлось уйти. Вытаскивают мои вещи одну за другой. Я стараюсь не думать о ней – мысль о ней все по-другому красит. Ведь что этот суд такое, как ни странная ситуация. Все ситуации в какой-то мере странные – эта не страннее других.

Что-то подсказывает мне, что я смогу продолжать идти потом. Когда и это закончится. Может быть, я даже смогу выбрать дорогу – пошагать куда-нибудь еще, и никогда больше не прекращать идти.

78.

Они, конечно, знают, что я работал на него. Но терять меня вот просто так им не хочется. Гораздо проще заставлять меня искать информацию, чем ее из меня доставать.

Я потянул на себя дверцу садового ящика, как только дошел. В сквере никого не было – только мокрые скамьи, мокрые скамейки и такие же мокрые листья. Я пришел сюда, как обычно, быстрым шагом, заложив руки в карманы, особо не оглядываясь по сторонам, с того момента, как соскреб афишу – некогда было.

Бумажка лежала, заложенная между коричневатыми от времени страницами книги в красной обложке – примитивный революционный памфлет, подогнанный точно, точнее, чем крышка гроба.

Прежде чем мы заселились в квартиру, я поверил все стены, полы и отверстия в стене. На предмет того, где что можно было поставить внутрь. Я проверил также потолки, подоконники, и за батареями. Я отодвинул холодильник, я пошарил за кухонными ящиками, я лег на пол и прижался близко-близко, самой щекой к доскам. Нигде ничего не было, но время от времени я процедуру повторял, на тот случай, если вдруг одна стена начнет звучать не так, как другие.

В этот раз они решили вложить в революционный памфлет, вернее, манифест, вернее, конституцию, вернее, постулат, вернее, ту книгу, которая задумывалась как единственная и в итоге была откинута как ненужная. Не просто так, наверное. Не без всякой задней мысли.

Фото было женщины – сильно накрашенной, и которую можно было бы назвать красивой, если бы не осклабившееся, хищное выражение ее лица, черты, которые могли бы быть чертами

царевны, а время сложило их в птичий клюв, которым она клевала все то, что предлагалось ей по жизни.

Я знал, куда отправиться, чтобы искать таких женщин. Я даже примерно знал, зачем она им понадобилась, потому что такие сороки, или галки, которые собирают все блестящее, но сами редко попадаются, обычно обладают информацией, которую редко может дать обычный поисковик.

Я сложил бумажку вчетверо и положил в карман. Выпрямился. Боковым зрением мне показалось, что за кустами было какое-то движение.

Я повернул голову и всмотрелся. Голые ветки. Мусорные баки. Ничего.

Надо было идти, потому что я знал, где ее искать.

79.

Город лежит, разрезанный вдоль, с севера на юг, на моей ладони. Можно полосовать еще, и получатся куски – каждый брать и подносить очень близко к глазам, рассматривать, что там внутри. Вытягивать по одной жилы его шоссе, переворачивать, проверяя, не завалялось ли чего там, где серыми и золотыми пиками утыкаются в небо памятники.

По пути с севера на юг проходит жизнь – отец-основатель, наверное, очень забавлялся, когда составлял этот маршрут. Прыжки через скакалку, подобрав юбку у колен, на самом севере – ограда детского сада такая высокая, что через нее не удается заглянуть и понять, что произошло сегодня там, во взрослом мире. Чуть ниже – скрученные самостоятельно сигареты, когда аккуратно, пальцами придерживают бумагу, раскатывают на крошечном столике лист, подсыпают туда табаку, щепоткой набрав его из кармана. Потом, примериваясь, насыпают еще немного, не спеша заворачивают обратно и подносят к тонкому краю зажигалку. Прикурить и затянуться, не закашлявшись, шикарно – и сквозь дым смотреть на лицеистку напротив, тоненькую, в топе на завязочках, тяжелых ботинках и с независимым видом. Ей только что исполнилось шестнадцать, и она специально не отводит взгляда. Ну конечно.

Еще ниже, самый центр – это клубы, толпа на входе, майка, залитая алкоголем, и взметнувшиеся вверх руки. Зайти просто так, схватить за плечо и поцеловать какую-нибудь, которой могло оказаться сколько угодно лет, у которой могло быть какое угодно имя, у которой мог даже быть бойфренд, которого я в сумраке не заметил, было обычным делом – когда-то. Музыка покачивалась в ряду прозрачных маленьких склянок, которые стояли позади бара, я смотрел, как дрожит в них жидкость, и в голове у меня пело и плыло. Я видел только обтянутое белой майкой плечо, пока очередная сидела у меня на коленях, обхватив рукой за шею.

– Как тебя зовут? – она наклонилась к моему лицу очень близко, но в глаза не смотрела – качала головой в такт музыке.

– Никак.

Выпив, они всегда цеплялись за меня, держались так крепко, как будто их сейчас, прямо в их блестящих перьях и с сумочками, которые они вечно забывали в сортире, снесет с поверхности земли. Мне нравилась близость их кожи, то, как блестели в темноте их глаза, как мягкие волосы щекотали мою шею, но это их всегдашнее желание не просто нравиться, но кому-то принадлежать – от души раздражало. Зачем так хотеть приткнуться к кому-то, о ком еще вчера ты и понятия не имел – думал я ожесточенно, щелкая зажигалкой. Почему, когда ночью тебе сверкала одна сторона медали, и ты польстился, наутро ты должен заглянуть и за другой бок, и похвалить, и даже погладить, чтобы она решила, что нравится тебе вся, и плохая, и хорошая?

Мне нравится только плохая, хотел сказать я. Мне вполне достаточно одной стороны.

Ровно там ее и надо было искать – в самом центре, в этом клубе, за задней дверью, где была лестница, которая вела на подпольный этаж. Задымленный танцпол, шесты, вокруг которых крутятся плотно сбитые и блестящие молочным блеском тела. Напряженные перекрученные мышцы и тонкий слой жира. Капельки пота, серебряные ожерелья и блестки, которые остаются в уголках

глаз и под платформами. Она должна была крутиться там, механически, без интереса, уцепившись одной рукой за шест, по кругу, по кругу, и не видя перед собой ничего, кроме черной пустоты. Глаза расфокусированы. Волосы свисают по обе стороны лица, закрывая его почти полностью.

Я видел ее так четко, как будто она на самом деле была передо мной. Но, когда зашел, я поначалу не стал спускаться вниз, а присел за стойку. Лошадка на карусели, гладкая потная спина. Карусель. Карусель.

– Ты что здесь делаешь, приятель?

Здоровенный детина, в пиджаке, который ему явно мал. Похож на того, кто был на чердаке. Но не он. Нет, не он. Присел рядом со мной и заговорил как будто бы случайно. Пробил стену молчания, которая обычно окружает меня, когда я хожу по городу. Но я-то знаю, что просто так ее не пробивают.

Я достаю из кармана купюру и кладу ее на стойку. Он смотрит на меня внимательно. Цепь на толстой шее блестит в темноте. Тут никогда не зажигается свет. Если зажегся свет, это будет означать, что заведение закрылось.

Он смотрит так долго, что я почти уже спрашиваю, нравлюсь я ему, что ли. Этого не стоит делать, но просто из той части меня, которой всегда хочется все опрокинуть.

– Нужно чего? – спрашивает он.

Двумя пальцами придвигает купюру к себе. Она исчезает в его кармане.

– Да просто осматриваюсь. Зашел выпить.

Он мне не верит, и я знаю, что он мне не верит.

– Девушка нужна?

В этот момент музыка меняется, и бахает так, что у меня почти закладывает уши. Мы оба оглядываемся на танцпол, где – даже в такой час, в любой час – полно народу. Майки и блестящие платья, тонкие каблуки и ремешки, звенящие серебряные браслеты, наушники и даже одна мотоциклетная каска.

Я прикидываю. По его виду почти точно понятно, что искать самому он мне не даст. Спуститься вниз, скорее всего, тоже. Тут у них происходит что-то такое, что он не хочет, чтобы я увидел, но он не знает, что мне наплевать. Он не знает, что конкретно мне нужно. Еще не знает.

– Девушка нужна, – говорю я утвердительно. – Не... не отсюда.

Я киваю на танцпол.

Он никак не реагирует. Только большие руки, я вижу, упираются в брючные колени.

– Нужно что-то... особенное? – спрашивает он, слегка откинув голову.

Я отпиваю из своего стакана. Пиво уже как-то успело стать теплым, и теперь на языке горький противный вкус.

– Нет, я одну конкретную ищу. Работает здесь.

– Какую?

Я думаю, что сказать. Он не спрашивает зачем. Он только спрашивает, какую.

– Черные волосы, ниже плеч. Густые. Мускулистая... такая. Скуластая.

Уже по первым двум словам я вижу, что он знает, о ком я говорю. Но, к моему удивлению, он почти сразу качает головой.

– Она не здесь. Давно ее не видел.

– Давно? – переспрашиваю я.

Он мнется и хмурится еще сильнее.

– С неделю. – говорит он, подумав. – С неделю ее не было. На свою смену не вышла.

Врет или нет? Защищает ее?

– Когда у нее смена?

– По вторникам. И пятницам. – Он говорит, по-прежнему смотря на танцпол, а не на меня. – Во вторник ее не было.

– А вниз можно спуститься посмотреть?

– Можно, – он едва заметно кивает. – Можешь пойти.

Не вызывается пойти со мной. Надо же.

– Вы ей звонили? – спрашиваю я. – Писали? Знаете, где она живет? Почему перестала приходить на работу?

– Много ты вопросов задаешь.

Я молчу. Он качает головой.

– Я не знаю адреса. Никто тут... не знает.

– Что, просто пропала, что ли?

Он внезапно хлопает огромной ладонью по коленке.

– Ты спрашиваешь, я отвечаю! Не знаю я ее адрес. Тут никто не знает ничей реальный адрес, ты что, не понимаешь? Звонить может и звонили, но она не пришла во вторник, и все.

– А раньше она пропадала? – я отхлебнул еще пива.

– Нет. – он покачал головой. – Раньше не пропадала.

– Давно она тут работает?

– Несколько лет. – Он прищурился. – Одна из... ну, старожилов. Года три, наверное.

– И никогда не пропадала?

– Нет.

Он вдруг вздохнул – коротко и резко.

– Иди. Смотри. Тебе же надо.

И я пошел.

Я знал – каким-то вторым зрением, шестым чувством, как знал на чердаке – что ее там нет. Уже нет, хотя она там и была, была совсем недавно – там еще был ее запах, ее вещи, ее резинки для волос в ящике стола. Она еще была там, и что-то важное для нее было. Поэтому мне надо было спуститься и посмотреть.

Я поднялся, прошел, не спрашивая, где дверь – рядом с туалетами. Большая черная металлическая дверь. Толкнул. Она оказалась незапертой. Я пожал плечами и стал спускаться по винтовой лестнице вниз. Лестница была черная, стены тоже были черные, только одна лампочка вверху.

Когда я спустился, все было так же – шесты, серебряный глиттер, крутящиеся фигуры. Клиентов было мало, танцовщиц, как и в прошлый раз, когда я тут был, три. С этими можно уйти в кабинки. Не она. Не она. И снова не она.

Я обогнул танцпол и заглянул в дальний угол, где раздевалки. Охраны тут не было, только бармен, у которого в данный момент были заняты обе руки, и он не смотрел в мою сторону.

Я скользнул за перегородку. Все как в обычной раздевалке – скамьи, зеркала, стойка, заваленная баночками, кремами, чем-то капроновым, парики, висящие на стене, костюмы, кисти, бинты. Один бинт в крови, но крови немного. Туфли на огромных каблуках, которыми, если дать по лбу, и убить можно.

Времени было мало. Кто-то мог и зайти. Я наугад потянул на себя ящик в дальней левой стороне. Почти наугад. Я знал, что он ее, еще до того, как дотронулся до ручки.

Презервативы. Пластыри. Бинты. Трусики, еще одни, какая-то одежда в пластиковом пакете. Таблетки, но мало, в блистере осталось только три. Я посмотрел какие – название было мне незнакомо. Но похоже, что рецептурные. Нет, все не то. Я нетерпеливо отодвинул ее вещи в сторону, выдвинул ящик до конца. И нашел.

Кулон. На тонкой серебристой цепочке. Явно серебряный, и задвинут в дальнюю часть ящика. Она забыла его тут, забыла, хотя не хотела оставлять – не было времени забрать, что ли? Она рискнет вернуться за ним – я знал, что вернется, хотя возвращаться не следовало. Когда оставляешь где-нибудь часть себя и уходишь, возвращаться обычно не стоит – по той же самой причине, по которой ты ушел в первый раз. Но она вернется, и я это не одобрял.

Все было сделано. Моя работа практически закончена, надо только дать им информацию, и убираться отсюда. Я запустил пальцы во внутренний карман, аккуратно вытащил оттуда кольцо с ящерицей, завернул его в пластырь, потом засунул в пластиковый пакет с другими мелочами, и опустил пакет в ящик.

Задвинув его, я выскользнул из-за двери и насколько мог быстро пересек зал. Я чувствовал взгляд бармена на затылке, но не оглянулся. Тот, в пиджаке, ему объяснит.

– Ну как? Нашел? – спросил он, когда я вернулся к стойке. Мой стакан пива все еще был там, но сделать еще глоток что-то не тянуло.

– Никого нет.

– Я же говорил.

– Она тут с кем-то дружила? – спросил я.

Он фыркнул.

– Дружила? Тут никто ни с кем не дружит. Все работают.

Это я знал. Когда спишь за деньги, или продаешь что, заводить дружбу особых резонов нет.

– Мне надо идти.

Он пожал плечами, поднялся с барного табурета и, даже не кивнув, не посмотрев в мою сторону, исчез в толпе с другой стороны бара. Я пожал плечами, и стал, сталкиваясь с людьми на танцполе, плечами, руками – одна девица даже попыталась обнять меня за шею и увлечь за собой – пробираться к выходу.

Ну у меня и работа, конечно.

Работа как работа.

80.

Она пропала, и это меня не очень удивляло. Логично – она что-то подозревала, она где-то подставилась, где-то сделала неосторожный шаг.

Люди пропадают отовсюду. Когда я иду по городу, я почти вижу, как это происходит – но иногда, моргнув, я не знаю, могу ли верить собственным глазам. Я готов был поклясться, что мне навстречу шла фигура в черном пуховике – край у него дергался, потому что двигалась она неровно, подпрыгивая на каждом шагу. За плечом я услышал рев сирены и повернулся, фигура дернулась вбок и назад, а когда я, отпрыгнув, отряхнул брюки и снова посмотрел в ее сторону – ее уже не было. Ветки не качались, и не рябила вода в луже, только по поверхности безучастно плыл кленовый лист, и мне показалось, что он, как и я, уставился куда-то и не видит того, что должно там быть.

Люди пропадают, когда спускаются вниз, и исчезают, когда поднимаются вверх – вот они взялись на ручку турникета, ударили ладонью в металлическую дверь, провели ей по грязной резиновой ленте – но в вагоне их нет, и нет ни у одного выхода, и нет в поезде, который только подходит к платформе. Наверное, они испаряются даже из своих собственных квартир, только я этого не вижу.

Толпа течет по улицам, извиваясь, а я думаю о том, что если из-за моего плеча исчезнет один человек, то этого никто не заметит. Я думаю, что если все они думают об одном и том же, то разве важно, кого наказать – можно выдергивать волоски из этой толпы, ждать, пока она поредеет, и ломать их по одному. Толпа все равно будет – пока на доске достаточно фигурок, это равно толпа. Это не страх гонит ее вперед, не желание жить – городские толпы гонит вперед что-то другое, что-то, что бьется в сердце города, тот ритм, в такт которому я иду.

Толпу, настоящую городскую толпу, уставшую, злую и потную, которая никуда не влезает, цокает языками, взвивается ругательствами и окриками – я не люблю, и в нее не вмешиваюсь, если только мне не понадобилось зачем-то в самую середину этого водоворота. Представляю себя крупинками корицы, которые вмешивают в желтоватое и клейкое тесто – за деревянной ложкой они сначала проходят круг, потом еще, а потом и совсем исчезают. Оказавшись там, я почти всегда жалею – начинаю преть, тянуть шею, стараясь разглядеть, где у толпы край, и толкать острым локтем в чужие бока. У толпы есть только одно преимущество – анонимность. Она двигается как единая куча, так же думает, говорит и живет. Спорить с ней так же глупо, как спорить с волной, что несет тебя к берегу, чтобы ударить о камни и снова откатиться – зеленая соленая волна.

Иногда я готов поклясться, что в моей голове слышится целый гул голосов, я слышу и чувствую, как они спорят и вскрикивают, как раздаются отдельные фразы, и я даже узнаю интонации – это та ее подруга? Это тот, с которым мы разошлись, не обменявшись и словом? Или это просто

я сам складываю у себя внутри какофонию, и никаких странных мест, куда можно заглянуть, нет – это просто частичка безумия, прицепившегося где-то по дороге, вируса, который я подхватил, сам того не зная – вползает мне внутрь, поднимается, как уровень красного, как температура, начинает звучать?

В конце концов, когда в толпе много голосов, лучше всего пристроиться сбоку, смотреть в мутное стекло, автобуса, и ловить обрывки разговоров, и так же легко их отпускать, потому что ни один из них не касается тебя.

Я задумался – чем еще заразил меня город? Да чем угодно. Может, чем-то опасным, что уже живет во мне, но еще не пустило ростки. А может, просто укусами, красными точками, которые завтра пройдут. А может, чем-то, что уже просочилось в мою кровь. Что-то я провожу насквозь, а что-то остается внутри.

Обычные прохожие, продавцы, агенты недвижимости, бездомные, съежившиеся под грязными одеялами, даже женщина, которая сидит, вцепившись обеими руками в свою тележку, под автобусным табло – вдруг все они вдруг сорвутся с места и побегут? Побегут, потому что не хотят тоже исчезнуть. Не потому, что любят бегать – кто вообще любит эту накопленную боль, эту полоску, пульсирующую в ноге, вставленную в самое неудобное место. Глухой хруст мышц и сухожилий. Щиколотка, неудобно подвернутая, которая никак не хочет вставать на привычное место. Колено углом оно смотрит чуть в сторону, и надо не доверять ему слишком, не висеть на нем, на тонкой-претонкой резинке.

Они побегут больше за другим – или от другого. Ощущение побега. Избавления. Единый ритм, в котором город раскачивается туда-сюда. За тем, что если нестись вперед, то молотилка начинает вращаться – нехотя, медленно, но оборот за оборотом в ней сгорает ярость, сгорает грусть, сгорает досада, сгорает разочарование. Есть бежать, уезжать, убираться отсюда, то в ней хорошо горит прошлое, пока ноги тоже горят, спереди, где отчаянно работают сгибатели бедра, снова и снова выталкивая корпус вперед.

Когда я иду, молотилка тоже работает – но колесо поворачивается неспешно, проплывая над моей головой на каждом обороте, и я успеваю рассмотреть, что уходит ему в жерло. Все закручивается и исчезает медленнее, и я успеваю пройтись по нему пальцами до того, как у меня отберут очередное чувство.

Она плакала, скрючившись на подоконнике – окна закрыты, но был виден край тучи, случайно заползший в наш двор. Один из многих разов, когда я не мог ее утешить – я просто стоял рядом и смотрел мимо нее в окно, где туча все пузырилась и чернела. Я не хотел видеть, но все равно видел, как трясутся ее плечи, и я знал, что она спросит: «Как мы теперь будем жить?», и я вдруг обозлюсь на нее, и стану смотреть на тучу еще более ожесточенно, как будто мой взгляд может пробуравить в этой туче, в самом ее центре, золотистого цвета, дыру.

– Почему ты так торопишься забыть? – спросила она как-то. – Я иногда у тебя спрашиваю что-то, и у меня такое чувство, что ты ничего не помнишь.

– Кто сказал, что я тороплюсь, – я засунул руки в карманы, поглубже. – Просто забываю. Всегда есть, чем заполнить старое. Так разве не лучше?

Она молчала.

– Может, кое-что стоило бы и сохранить.

– Воспоминания убивают, – сказал я тогда. – Ты знаешь, да? Воспоминания убивают.

Забывать стало моей работой – то, что я видел, то, что я сделал, то, что я узнал, и то, что я выбрал. Я делаю это профессионально, как на конвейере. Как только мне подают очередной громоздкий пакет на этом бесконечном конвейере, очередное белое лицо, которое смотрит на меня в изумлении со слегка приоткрытыми губами; очередные глаза с ужасом, который плещется внутри; очередной срывающийся голос и синяки, которые кровоподтеками алеют под кожей; очередные сжатые костяшки, и подрагивающие ресницы – я сразу начинаю забывать. Работаю я быстро – сначала заворачиваю все это слой за слоем в пленку, прозрачную, но с каждым оборотом все туже и туже. Потом набиваю чем-то еще, кладу карту сверху на карту. Иногда воспоминания

надо разрубать, крошить на такие мелкие детали, чтобы они уже не складывались в единую картину, и чтобы сложнее было помнить, как было на самом деле.

Этот конвейер работает быстро – не успеваю я завернуть пакет и подтолкнуть его вперед, как уже подъезжает следующий. Когда я закрываю глаза, я вижу только белый туман, а где-то там остался лежать отрезанный кусок прошлого.

– В конце концов, это просто тяжело, – она ничего не говорила, но я все равно начал раздражаться. – Я не могу с собой таскать всю коллекцию воспоминаний. Так и шага не сделаешь, если сесть на скамейку и начать вытаскивать «почему случилось то, почему случилось это».

– А что плохого в том, чтобы запоминать важное?

– Важное я помню. Не волнуйся.

– И когда у меня день рождения?

Я назвал дату.

– Неправильно!

– Ну значит на следующий день.

– Правильно!

Она засмеялась, запрокинув голову назад.

– Столько лет вместе, а все еще не знаешь.

– Да ладно, мне только две попытки надо было.

Она снова засмеялась и пихнула меня в грудь.

81.

Если я однажды исчезну., то он будет забывать меня по частям. Как картинку, которую закрыли рукой и надо перечислить как можно больше деталей того, что на ней было. Самые внимательные перечисляют все, до цветов, а он будет то вспоминать мое лицо во всех деталях, то натыкаться на белое пятно. Как будто был я – а потом меня закрыли рукой, сразу всего, целиком, и теперь не вспомнить. Я склонился – и вот меня снова нет, и на моем месте в памяти оказывается пустота. То, как я смеялся, то, сколько мне лет, то, как я выгляжу со спины – тот мужчина, что идет впереди, мог бы быть мной, а может, это и есть я.

Цвета уйдут первыми. Потом, наверное, мой запах и мои привычки – легко переставить вещи и забыть, где я их ставил. Потом то, что я смотрел и слушал – она по привычке куда-то не туда сохранит папку, и та канет в неизвестность. Потом одежда – все черно-сине-серая, от нее избавиться будет нетрудно. Потом то, какой у меня ужасный почерк – хотя это, как и мой смех и привычка закладывать карандаш за ухо, вполне имеет шансы задержаться.

Она наверняка не будет садиться на то место в кухне, где обычно сидел я, и спать с той стороны кровати. Не будет пользоваться моим одеялом – может, даже выкинет его или отдаст на соседской распродаже,.

– В места, которые занимали люди, не обязательно сразу пытаться прилаживать других людей.

Так бы она сказала.

Но иногда я все равно думаю, что место рядом с ними долго не будет пустовать. Это как слова в комиксе, которые забыли вписать в облачко. Там должна была быть реплика, но ее забыли напечатать, и ты вписал ее туда сам, чтобы не ждать, когда в следующем издании поправят ошибку.

Пустота не живет в городе долго – пустые места рано или поздно заполняются сами.

82.

Город слегка коснулся меня. Она иногда так делает, когда хочет дать мне мысль, дать новое направление движения. Не могу объяснить, как это бывает, но как будто пальцы прикасаются к спине между лопатками.

Я вздохнул.

Мысль, которую он дал мне тогда, была про скорость времени. Про то, что если я так уж ловко обращаюсь с предметами на своем конвейере – натягиваю перчатки, хватаю их не глядя и начинаю накладывать на них слои других, более счастливых дней, крепко заматываю то, что не хочу вспоминать, закрываю его внутри, придерживая пальцами. Если все так уж быстро проходит, и я иду к следующему повороту, надеясь попасть на улицу, на которой никогда не был, то кто сказал, что те же самые воспоминания не будут приезжать снова и снова?

Кто-то забывается сразу – силуэт в балконном проеме, скрещенные на груди руки, наклоненная голова, так, что сверху видно только затылок. Черные фигуры в назначенный час включают лампы, дергают за занавески, и занавес закрывается перед ними, но на фоне они все равно пляшут, поставив чайник на железный треножник и усевшись вокруг стола. Пляшут их руки – что-то сдвигают, берут, подцепляют за самый краешек, пробуют пальцем, облизывая его, пока другие не видят. Пляшут плечи и бока, туда-сюда раскачиваются талии. Я иду и смотрю, как в высоких окнах зажигается свет, как спичечные головки то сходятся – поцелуй, то исчезают.

Нельзя сказать, что я их забыл. Просто я знаю, что они и сейчас живут ровно там, где я их оставил. Это я ушел, смылся с картинки, и они нашли этому какое-то объяснение – не все ли равно, какое? Я всего лишь щелкнул ногтем и опустил их, как оливки в перевернутую пирамидку бокала, обратно в собственную историю. Они скоро там проспиртуются, пропитаются и уже не всплывут – будут болтать за кухонным столом, переругиваться, а потом щелкнут выключателем и так и забудут про меня, как будто еще одного стула там никогда и не было.

Я усмехаюсь. Иногда надо признать, что чужие истории без твоего участия станут только лучше.

У меня ни минуты нет, чтобы остановиться – я занят поиском того, во что бы завернуть свою боль, чтобы оно меньше болело.

– Смешно, – как бы говорит город. – Ты думаешь, что тебе нужно больше времени, чтобы жить, а на самом деле больше времени на то, чтобы забыть уже прожитое.

Он неправ.

83.

Автобус ведет прямо к нашему дому. Мне надо возвращаться – передать информацию, и потом, я отсутствовал и так уже слишком долго, и уже начало темнеть. Я торопился вернуться и вышел в двух остановках от дома, нашел почтовый ящик – в определенном месте, определенного цвета. Я так давно на этой работе, что знаю их все наизусть. Ящик напротив закрытого на ночь кафе, и пустые окна блестят черным. Я засовываю внутрь руку и опускаю туда бумажку. На секунду мне кажется, что что-то там, внутри, тыкается мне в ладонь – как влажный нос собаки. Но я вытаскиваю ладонь – она пустая, и на ней ничего нет – ни следа зубов, ни влажного пятна от носа и горячего дыхания. Ничего. Бумажка исчезла внутри.

Почти все уже закрылись – через квартал от нашего дома только одна витрина была освещена, если не считать бара на углу. Свадебный салон. Полностью прозрачные двери.

Я помнил его, потому что мы с ней были там один раз. Я помню, как она зашла, оглядела ряды сатиновых, кружевных, атласных, крепдешиновых, с корсетами, подвязками, шлейфами и торчащими подолами платьев, потянулась провести по ним рукой, но рука не дотянулась до ткани. Она отвела руку, повернулась и сказала:

– Уйдем?

Мы ушли – вышли из стеклянных дверей еще до того, как продавщица успела сказать «здравствуйте».

Мы уже прошли два квартала, я спросил:

– Слушай, а почему?

Она втянула голову в плечи.

– Не знаю. Какое-то странное место. Как магазин... гробов. Как будто гробы этим шелком выстилали. А потом на платья пустили.

Она скривила край рта.

– И оформлено так... Без фантазии. Без любви. Без вкуса. Просто ряды вешалок. И свет, в котором выглядишь как моль! Кто придумал этот белый свет, не желтый, а белый, как в операционной? Или в больницах по ночам такой бывает.

Или еще кое-где, подумал я. Но об этом знал только я.

Свет они, как я теперь увидел, заменили – белый и правда отпугивал клиентов, и теперь витрина переливалась бриллиантово-желтым, и большое зеркало, которое виделось через стекло, сияло, окруженное с трех сторон лампочками поменьше.

В салоне кто-то был, что меня удивило – девушка в дальнем краю, которая стояла перед другим зеркалом, в глубине. Другая, постарше, ползала вокруг нее на коленях, чтобы подоткнуть булавками подол.

Девушка показалась мне знакомой. Я пригляделся. Нет, это не жиличка, которая на дне двора как в стакане посреди ночи. Но я все равно ее где-то видел – где? Причем недавно – эта шея, эти высокие скулы, сильно выпирающие ключицы и манера слегка горбиться, а потом выпрямляться.

А потом я вспомнил. Ну конечно. Невеста того хлыща из лифта, молодчика в черном узком костюме. Я пару раз видел, как они вместе поднимались по лестнице, даже видел ее силуэт – этот же, что сейчас – в их окне. Я подумал и решил зайти. Незаметно. Не то чтобы мне хотелось рассмотреть ее поближе, но что-то притянуло меня в этой огромной освещенной витрине, которая единственная еще светилась на абсолютно темной улице.

– Так поздно, – говорила консультантка, и продолжала ползать.

– Извините, – отвечала другая.

Голос у нее был такой странный, что я даже вгляделся, откуда стоял, в ее лицо. Ей как будто стоило больших усилий выговаривать слова, выжимать их из своей худой груди. Они вылетали по одному, как листки из принтера – плоские, совсем без выражения. Она была на огромных каблуках, и стояла на них, не сгибая ноги и слегка покачиваясь. Одна рука отставлена в сторону, чтобы не потерять равновесие, плечи сильно, почти слишком сильно, отведены назад. Консультантка одной рукой держала коробку с булавками, а другой крепко взялась за подол, и подтыкала то тут, то там, дергая его. Работать было неудобно, и она тыкала куда попало, то потянув, то отпустив край платья, то с явной неохотой распуская там, где было слишком коротко. Она елозила по полу, ворчала и в конце концов уселась по-турецки, наклонившись вперед, к самому краю платья. На невесту она не смотрела.

Та стояла неподвижно. Трудно было сказать, замечает она это постоянное дерганье или нет – глаза ее смотрели вперед, в зеркало, но я был почти уверен, что там она ничего не видит.

Платье было совсем простым – в свете ламп оно серебрилось и лилось вниз. В нем не было ни пышности, ни корсета, ни вышивки – только этот блеск серебра. Молодое лицо, но худое и какое-то темное – темные волосы, темные глаза, сильно впавшие, с глубокими тенями под ними. Губы красивой формы, но совсем бескровные. Платье не висело на ней, нет – оно вполне себе сидело, но все равно выглядело трафаретом, приложенным к ней случайно. Руки упали по бокам, и волосы, сухие и тонкие, но объемные, как куст. Я подумал, что она выглядит уставшей, даже больше – она выглядит изможденной. Все сошлось – и блестящие лампы, и красота, пробивающаяся через усталость, и этот сдержанный, переливающийся блеск ночной реки. Но связи между ее телом, лицом и платьем не было – и три субстанции так и болтались внутри пробирки, вначале просто вода, потом масло с его жирными разводами, а потом пузырящаяся шапка красного мусса, которую напрасно взбили – только край заляпали. Глупо.

Я рассматривал ее и думал – так, наверное, выглядели раньше самые красивые девушки племени, которых решали принести в жертву. За которых, тем не менее, никто не заступился, когда их решили привязать к камню и развести вокруг огонь. Или закрыть в подвале. Или закопать заживо. Они обводили отчаянным взглядом всех, кто был вокруг, останавливались на каждом лице. Посмотри, что они со мной делают – ты же любил меня однажды, или говорил, что любил.

Посмотри, это всего лишь мое тело, и мои запястья, а теперь они перевязаны веревками. Не отворачивайся, я же здесь, и здесь, и я все чувствую – каждое слово, каждую ноту, шевеление каждого отдельного листка на деревьях. Все стало таким четким, и даже тогда, когда мое сознание гаснет, когда сама я гасну, когда всю меня проглотила боль – даже тогда я все еще чувствую. Я останусь с тобой, понимаешь? То, что они сделали, остается в мире. Только кажется, что про это все забыли, и время накрыло меня и погребло под собой. Но я все еще здесь. Я даже могу переселиться в нее – такую же, совсем такую же, как я. Красивую. С ней никогда не случится то, что они сделали со мной, но все равно я заставлю ее сердце болеть. Я-то – летала везде с ветром и знаю теперь, что мы связаны – чем-то глубже, чем род, и крепче, чем воспоминания. Мы – я тогда, она сейчас – связаны красотой. И тем, какой опасной кажется красота тем, кто на нее смотрит. Щурится, вглядывается и передергивает плечами. Она красивая, и она понимает то, чего не поймет никто другой, чего даже ты не понимаешь.

Красотой все хотят обладать. Не просто обладать, а спрятать и присвоить. Она сама притягивает к себе внимание, и взгляды сходятся на ней, как лучи. Мы с ней, этой девушкой в платье, связаны взглядом посторонних, вожделением незнакомцев, ладонью, которая ложится на голую ляжку. Мы связаны нечистым желанием, раскаленным, лижущим, от которого не лестно, а хочется отшатнуться. Мы связаны тем, что превращаем их в псов, и они, рыча, бьются за нас, как за кусок мяса. Я видела очень близко их глаза и зубы – ничем не лучше, чем у собак.

Страдание не растворяется просто так в мире. Видишь, я рассказываю тебе свою историю, рассказываю, потому что нашла тебя и потому, что ты услышал. И она – не услышала, а почувствовала. Она знает, что вокруг груди у нее сжимается тугой провод, и ей хочется выйти из тела, потому что сквозь многих, очень, очень многих времен она чувствует тяжелый проворот этого колеса.

Кого-то снова принесли в жертву.

Я слушаю все это, и мне хочется побыстрее отвязаться. Не то чтобы я не любил натыкаться на голоса и слушать их истории. Она говорит яростно, не останавливаясь, потому что хочет, чтобы кто-нибудь вспомнил – и вот, я, в уголке салона, как припозднившийся клиент, оказываюсь самым подходящим приемником.

Странно все устроено в том мире – почти такой же беспорядок, как и в этом. Те, кому полагается мирно лежать в семейных склепах, прогуливаются по улицам как ни в чем ни бывало. Те, кого помнит только песок, усаживаются рядом и начинают говорить, просто, как бездомный на скамейке в парке, или полубезумная женщина с тюками на автобусной остановке. Та, чьи слова не услышали, ни за что не уйдет, пока их наконец не скажет.

Ну а она – она просто попалась мне случайно, потому что я смотрел туда, где стояла спиной ко мне худая фигура, а другая, комковатая, копошилась у ее ног.

Я выхожу из салона, никем не замеченный, иду в сторону нашего дома. Зачем переселяться, спрашиваю я у голоса, хотя он и не летит за мной. Во-первых, куча работы. Будучи внутри, ты стиснут их собственным характером, и в этой шкуре быстро становится жарко – ни туда, ни сюда. Во-вторых, почти наверняка досадно наблюдать, как весь твой вековой опыт летит в трубу, потому что они все равно, примерно как овцы, которые бросились с обрыва, совершают те же самые ошибки. И толку, если ты не можешь их удержать. И толку. В-третьих, одно расстройство. Я понимаю, что отпустить то, что произошло, нельзя, и поэтому голоса вроде этого все еще здесь, носятся, но не звучат.

И зачем она вселилась? Кому от этого стало лучше?

Я, сердито засунув руки в карманы, иду по направлению к дому. Я мечтаю навечно остаться в том моменте, когда одна моя нога уже поднялась от земли, а другая еще не опустилась. Это как лететь – не касаться того, кем ты был до, но и не войти в того, которым ты будешь. Шаг позволяет мне побыть подольше в этом моменте. В моменте, когда никакие голоса и никакие истории, включая мою собственную, меня не догнали. Момент, когда я могу позволить себе не помнить, кто я такой.

84.

Слов иногда так много, что мне надо уйти от слов. Когда я иду, они жужжат у меня в груди, переливаются, выстраиваются во фразы и снова пропадают – когда я ухожу, я всегда хочу выбросить одним движением, одной разматывающейся лентой что-то яростное. Чтобы хлестнуло по щеке, как бич, чтобы по ступенькам прыгало, как резиновый мяч. Я уже пробовал заталкивать слова, свои и чужие, внутрь, чем-нибудь их заливать, как кремом покрывают слегка подгоревший, но еще не успевший остыть пирог. Внутри него слов становится не слышно, и я могу просто шагать, кивать сам себе и на секунду, всего только на одну секунду в моей голове становится совсем пусто.

Потом слова снова начинаются – от них труднее избавиться, чем от белобородого или соседки с первого, или от комара, который в темноте все подлетает и подлетает совсем близко к лицу, садится на щеку, на веко, на ухо, и ты все бьешь и бьешь себя ладонью по физиономии, а он все не отстает.

Внутри меня роятся груды слов – и, когда я что-нибудь вспоминаю, их становится еще больше. Иногда я никак не могу найти нужное слово, а иногда я нашел нужное, но не решаюсь его произнести. Я редко думаю о том, как слова встанут рядом друг с другом – не встанут, так подровняю, носками в одну линию, желтой краской нарисованную на деревянном полу. Пока они все в одном облаке, пока я иду и мой взгляд устремлен вверх, всегда лучше вверх, чем вниз, они не могут меня достать – я окружен ими, я как в облаке пчел, которое никто не видит, но ни одна пчела меня не тронет – они просто будут лететь рядом, пока я не сяду и не стану смотреть на реку. Они не любят, когда я долго остаюсь на одном месте. Еще и поэтому я так много хожу.

85.

Моя злость колет и чешется, как аллергия, заставляет меня подпрыгивать на ходу и дотягиваться до коленки, до лопатки, чтобы хоть немного поскрести горящие там пятна. Город никогда не добирается так глубоко – не хватает протяженности, достаточного количества кварталов, которые все были бы построены в одну линию. Может быть, когда он отберет все, я останусь и без тела – чистое намерение, которое все еще летит над тротуаром, сгусток того, о чем я думал, пока шел. Но сейчас – мне приходится сворачивать, и мысль моя меняется, и ветер начинает дуть мне вбок, а не в спину, и я запахиваю покрепче куртку, и шагаю дальше – легкий, но не бестелесный.

Кто-то сказал мне – может, пассажир в автобусе, что идет с юга на север? Голос в церкви?

– А что будет, если избавиться и от твоих... прогулок. Если я скажу тебе, что ты больше не сможешь ходить?

Вдох – воздух вошел через раздутые ноздри в легкие и мигом вылетел, не успев дойти до солнечного сплетения, и мне пришлось жадно вдохнуть снова.

– Тогда можно считать, что меня больше нет.

Он медленно кивнул.

– Есть то, что нельзя рисковать отнимать у людей. Даже у таких, как ты. Это слишком большой кусок. Мяса и крови не хватит, чтобы нарастить еще. Ты просто держишься за что-то движущееся, а другие – за что-то статичное. За вещи, за голоса, за собственные иллюзии. Человеку надо за что-то держаться. Чего-то держаться. Вот и все.

86.

– Что-то вы поздно сегодня, – консьержка возникла у меня на пути, как поставленная куда не надо уличная тумба.

– Я всегда поздно. Так поздно, что иногда даже рано.

Я предпринял попытку обойти ее, но она не дала.

– Вас тут... девушка ждет.

Я крутанулся на месте.

– Девушка?

– Ну... – она замялась. – Женщина. Какая-то странная, по правде говоря. Я ей сказала на скамейке вон там посидеть. Вон она. Правда в темноте плохо видно.

Она показала в сторону темной кучи, которая примостилась на скамейке в дальней стороне двора.

– К себе таких пускать не хочу.

«К себе» – видимо, в каморку в десять метров, где она обычно сидела.

– Хотя я уже собиралась уходить, а вас нет, так что...

– Вы ей сказали, что я тут живу?

Она помотала головой.

– Ничего я ей не говорила. Она пришла. Описала вас.

– Спросила по имени?

– Нет. Описала просто, и говорит – я его подожду, можно мне тут посидеть. Я говорю посидите. Говорю, не знаю, он еще тут живет или нет, я не знаю. Я его не видела. Ну, – она наклонилась ко мне и понизила голос. – Чтобы ей намека, понимаете, не давать. Я ж не знаю, кто она такая.

И тут в ее глазах мелькнула мысль, что это может быть моя любовница. Я прямо видел, как она мелькнула – и пропала. Так, как будто мне показали эту внезапную догадку. Но, к ее чести, она почти не замедлилась, а продолжала говорить.

– А она смеется – можете себе представить? Смеется! И говорит, да живет он тут, живет, я его подожду. Я говорю, ждите, если хотите, я не знаю, живет он тут еще или...

Куча тем временем поднялась со скамейки и двинулась в нашу сторону.

– Здрасти. – сказала консьержка, когда она подошла совсем близко.

– Здрасти. – сказала куча. Обращалась она явно ко мне. – Хе. Хе. Есть у вас минутка?

Вот черт.

Неприятный, каркающий голос. Не старый и не молодой, но больше все-таки старый, потому что явно сел и охрип. Такой голос бывает у тех, кто давно прокурил все голосовые связки. Волосы длинные, черные и почти полностью закрывающие лицо, джинсы, недостаточно грязные для уличной попрошайки, но все-таки грязные. Куртка размера на три больше и огромная тряпка, похожая на плед, накинутая сверху. Ноги мускулистые. Я наклонился и вгляделся ей в лицо. Оно было чем-то вымазано – похоже на краску, но я все равно заметил на щеках золотистый глиттер.

В жизни черты у нее были не настолько вороньи, как на фото – видимо, она специально осклабилась. Хотела побольше досадить тому, кто снимал. Или меньше быть похожей на себя? Морщины от носа к уголкам рта были не такие глубокие, а овал лица при таком свете казался нежнее и более округлым. Только глаза были те же – сильно запавшие, очень темные, отчаянные. Отчаянные до такой степени, что это становилось опасным.

Я кивнул консьержке.

– Мы... отойдем. Тут, недалеко. Спасибо за помощь.

Та пожала плечами.

Я быстро прикинул, куда можно пойти, чтобы не подслушали. Выходило, что почти никуда, потому что тут повсюду квартиры, и кто-нибудь, не считая консьержки, что-нибудь да услышит.

Я крепко взял ее руку повыше локтя и потащил к выходу из нашего многострадального дома. Спиной я чувствовал взгляд консьержки.

– Зачем вы сюда пришли? – спросил я, когда я уже почти подтащил ее к дверям. Свободной рукой нажал на кнопку, которой они открывались. – Вам нельзя здесь находиться.

– Хе. – сказала она хрипло, и наклонилась ко мне. Пахнуло алкоголем, причем застарелым, дня так два. – А вы думали, вы один можете кого-то найти?

Я остановился. Я прямо-таки замер. Мы уже вышли на улицу, и идеально было бы посидеть в какой-нибудь машине или отойти туда, где нас никто не увидит, но таких мест тут поблизости не было.

– Вы тоже людей ищете?

По ней было непохоже, что ищет. Да и с работой в клубе это не очень вязалось. Но, может, искала в прошлом, или знала кого-то, кто искал?

Она усмехнулась еще раз.

– У меня есть связи.

Надо было шевелиться, поэтому я повел ее, не выпуская ее предплечье из своих пальцев, в сторону парковки. Она шла послушно, чуть покачиваясь, но с уверенностью человека, который привык уверенно обращаться со своим телом, и мышцы у него работают автоматически, даже если он пьян, под чем-то или наполовину спит.

– Вам нельзя, – сказал я. Мы почти дошли до парковки, где было – относительно, только относительно, всегда все относительно – безопасно. – Вам нельзя здесь быть. Вы что, не знаете?

– Я кулон забыла. – сказала она с сожалением. – Если за ним вернусь, они меня и накроют. Хе.

– Вам нельзя... – опять начал я. – Я-то вам зачем? Я только ищу. Вам не я нужен.

Она подняла глаза. Волосы с обеих сторон лица придавали ей сходство не то с утопленницей, не то с привидением, которое гуляло по старому замку уже до такой степени долго, что и ему это осточертело. Парик, решил я. Почти наверняка парик. Как и все накрученные поверх ее тренированного и крепкого тела тряпки.

– Я была как вы, – сказала она. – Почти как вы. Потом перестала. Стала... там работать. Стабильнее. А была как вы. Такая же.

– Да? – сказал я.

– Ага.

– И зачем вы пришли? Утащить меня с собой?

Она пожала плечом.

– Вас ведь уже предупреждали? И меня предупреждали.

– Откуда вы знаете, что меня пре... – я осекся.

Конечно, она знает. Что за глупые вопросы я задаю.

На парковке никого не было. Машины, темнота. Гладкий асфальт, блестящий после недавнего дождя.

Она стряхнула мою руку со своего рукава, уже куда менее пьяным и куда более резким движением. Будет драться, подумал я. Будет пытаться отомстить за то, что я хорошо выполняю задания. Или за то, что нашел бинт, пропитанный ее кровью, и ее кулон. В числе прочего.

Но ошибку допустила она. А не я. Поэтому меня и послали ее искать. Ошибку допустила она.

– Вы курите?

– Нет.

Она достала из-под куртки зажигалку и пачку сигарет. Поморщившись, вытащила одну, вставила в рот и закурила.

– Мм, – сказала она, затягиваясь в темноте. – А зря.

– Что вы хотите? – спросил я.

– Поговорить. – Ее сигарета мерцала в темноте. – Посоветоваться. Куда деться, чтобы меня не нашли.

– Я не знаю, куда.

– Ну да.

Ее лицо не было видно, только силуэт.

– Только если уезжать. И то. Надо быстро. Где вы были все это время, что не уезжали?

– Улаживала дела. – Она опять затянулась. И закашлялась. – К-хе. Я не могу уехать быстро. У меня тоже, как и у вас...

– Ти-хо.

Она замолкла.

– Поисковик из меня был средний, – сказала она равнодушно. – Я находила, потому что резвее тогда была. А у вас талант. Таких, как вы – мало.

Она глухо засмеялась.

– Штучный, что называется, товар.

Я и сам знал, что я штучный и что я товар, тоже, но слышать это от кого-то другого было неприятно.

– Но меня же вы нашли.

– Повезло.

– Приятель из клуба дал наводку, да?

Она даже не попыталась отпираться.

– Да.

Конечно. Сдал меня с потрохами, как только это стало можно. Или сразу же, как увидел.

– Вы должны знать, как мне выбраться. – сказала она, затягиваясь. – Вы должны мне подсказать.

– Должен? – спросил я у темноты. – Это я вам должен?

– Должен быть выход.

– Зачем вы им понадобились? – спросил я.

– Узнала кое-что, чего не должна была.

– Понятно. На работе?

– Через работу.

Это да. Через работу она много чего могла узнать, особенно учитывая то, что большинство девочек там, где она работает, еще и приторговывают. Когда у тебя много клиентов, чего только не узнаешь.

– Ну как? – спросила она, потому что я молчал.

– Что как?

– Есть мысли?

Мысли. Еще как есть мысли. Я бы даже сказал, что слишком много мыслей.

– Давайте обмен. – сказал я. – Я высказываю несколько предположений, вы отвечаете на мои несколько вопросов. И вам полезно, и мне полезно.

– Каких вопросов?

Я подумал.

– Кто на меня напал, например.

Она хрипло хихикнула в темноте.

– Вы думаете, я знаю? Это не у меня надо спрашивать. Это вам надо спуститься вниз и найти. И то. Вам скорее всего скажут только, что вы полезли на их территорию и получили, что заслужили.

Это я и так знал, так что вопрос пропал даром.

– Сколько? – спросил я.

– Что?

– Сколько у меня есть времени?

Она затянулась – почти задумчиво. В последний раз. Стряхнула пальцами пепел, отставив сигарету в сторону.

– Если задания у вас еще будут, то все неплохо. Недели еще может. Даже месяцы.

– А если нет?

– Дня три, и убирайтесь. Как можно быстрее. Исчезайте. Берегите их только. Они вряд ли... попадут под удар, но как знать.

Она выкинула сигарету.

– Давайте. Высказывайте свои предположения.

Я коротко вздохнул и стал высказывать.

Когда я высказал все, она кивнула.

– Вы ведь знаете, что у меня есть оружие? – спросила она.

– Знаю. – кивнул я. – Чувствую.

– И вы мне ничего не сказали?

– Против меня вы его не используете. – сказал я. – Во дворе рикошетит, тут слишком громко. И толком стрелять вы не умеете. Практики нет.

– А вы умеете? – спросила она.

– Сносно. Давно не приходилось.

– Идите. – сказала она. – Разворачивайтесь и идите. Они не засекут, мы говорили не очень долго. Может, вас и пронесет. Но если заданий не будет, исчезайте. И не вздумайте вступать с ними в переговоры. Ваша голова, конечно, ценная, но их они не пожалеют. Ясно вам?

– Да. – сказал я.

Мне было ясно.

87.

Я повернулся и зашагал обратно к дому.

Даже если она выстрелит мне в затылок, думал я, то это ей не поможет. Пуля застрянет в воздухе, застрянет в городе, застрянет во мне, и будет совершенно неважно, выстрелила она в меня или нет. Ведь дело не во мне. На самом-то деле дело не во мне.

Когда я вернулся, к моему удивлению, свет у консьержки еще горел.

– Вы что домой не уходите? – спросил я, заглянув к ней.

Она сидела и задумчиво смотрела прямо перед собой, подперев подбородок кулаком.

– Да вот думаю. Понимаете. Думаю.

– О чем думаете?

– Да о чем. Все уезжают. Вы не замечали? Почти все уехали.

– Так уж и все? – спросил я.

– Из семьдесят второй уехали. С третьего этажа, пацан у которых, уехали. Хлыщ этот, невеста у которого, собираются уезжать. Как свадьбу сыграют. Ну или не свадьбу, какая теперь свадьба...

Она вздохнула.

– Наверное, и билеты уже купили.

Отца семейства с третьего я сам видел. Я сверху наблюдал, как он тащил свой чемодан по двору, потому что тот производил такой шум на каменной кладке, что слышно было не хуже тех вечеров, когда пара, которая раньше жила напротив соседки на первом, включала радио на полную громкость и оставляла открытым окно. Остальных не было видно, и он тащил чемодан один, и суетился, и запихивал его в такси, и костюм жал ему в подмышках, и лицо у него было красное и злое, потому что никто не вышел ему помочь, даже консьержка не помогла подержать дверь. Все только смотрели из окон – я увидел у стекол пару лиц.

Примерно в то же время испарилась жиличка, которая жила у громогласной дамы.

– Да она давно уж выехала. Приезжала сюда только вещи забрать. Хорошая девушка.

– А что тот? Которого мы с вами нашли?

– Ой, даже и не говорите. – она махнула рукой. – Из квартиры еле выходит. Еле на ногах держится. Я продукты ему у двери оставляю, в прошлый раз суп вот принесла, хоть бы поел чего...

– И как?

Она пожала плечами, по-прежнему смотря в пространство.

– Забрал вроде. Все поет. Все так же.

Интересно, там ли еще тот, у которого воет собака, и тот, что с запонками в виде самолетов. Может быть. Хотя воя в последнее время не было, что могло означать все, что угодно – что собаку увезли, например. Или стали давать что-нибудь, от чего она спит весь день. – Мне надо идти.

Она молча кивнула. Ничего не спросила про ту женщину, я заметил.

– Вы тоже идите. Не всю же ночь тут сидеть!

– Да. – она кивнула, все так же, не отрывая подбородок от руки. – Всю не буду.

Еще немного, и она что-то мне скажет. Или о чем-то меня спросит. Но н молчала и выглядела такой погруженной в свои мысли, что, казалось, меня и не замечала.

88.

Я аккуратно перешел двор.

То место, где он был – посередине – я, как всегда, обошел. Его все обходили, хоть контуров уже не было видно. Их хорошо оттерли. Не знаю, это консьержка постаралась или пришлось вызывать специальную службу, или дождь, снег и смена сезонов ничего от него не оставили. Я так и не выяснил, кстати, что произошло с его женой. Я только знал, что из госпиталя она так не вернулась. И я ни разу не видел, как в ту квартиру заходил, из чего я мог сделать вывод, что с того дня, как ее вынесли оттуда в последний раз, она так и стояла пустая. Где он теперь лежит? Они вместе теперь? Почему я об этом думаю? Аккуратно ставя носки ботинок, я обошел пятно.

В нем – этом невидимом круге на каменной кладке – как будто пересекались линии разных жизней, примерно как накладываются друг на друга кольца дорог. Где-то они лепятся рядом, почти вплотную, где-то уровни переходят друг в друга, и машины проплывают, одни сверху, другие снизу. В этом дворе сталкиваются люди, которые никак не должны столкнуться, как будто нарочно – а другие, наоборот, всегда оказываются на почтительном расстоянии, хотя вроде бы должны, просто должны друг на друга налететь. Получается ли так специально или линии сами путаются? Некоторые нитки намертво прилипают друг к другу, пропитываются кровью, которую отсюда всю уже смыло.

Информация. Вечно она валяется везде лоскутами, а потом приходится ее собирать и сшивать. Из той, что дала женщина на парковке, не было понятно вообще почти ничего. Только то, что я прошел на чью-то чужую территорию, искать то, чего мне явно не следовало искать. То, что в подвале, по сравнению с этим просто припрятанный стыдный секрет, но, если вытащить это на свет, не такой уж и интересный.

Пока шел, я думал – жаль, что шагов оставалось так мало, и времени подумать толком не было. Неплохой стратегией было бы выяснить, что там такое, а потом выменять знание об этом на нашу сохранность. Пока они меня не искали – в этом я был уверен. Я только сегодня, час назад, опустил в ящик белый плоский конверт. Я сказал ей все, что мог. Я шел по этой линии, ставя ботинки один впереди другого, как по канату. Кажется, я уже думал про канатоходца? Или нет?

89.

С определенного момента эта мысль – мысль о конце пути – начала меня преследовать. Она бежала за мной и увязывалась везде, куда бы я ни пришел. Я думал, что конец пути где-то внутри города, или в другом месте, где-то внизу; про наверху я не думал, это казалось мне смешным. Но у моих путей не было ни начала, ни конца – я только менял стрелку, но поезд продолжал идти. Иногда я старался, как мог, сбросить скорость, тормозил, тормозил, и из-под колес бежали искры, и я хотел было передохнуть, но не мог – вся моя жизнь была бегом этого поезда, он трясся днем, трясся ночью, даже во сне я слышал дребезжание вагонов.

Когда я хожу, у меня немного пропадает это чувство, что я не могу остановиться, не могу пальцем притормозить картинку и подумать. Когда я хожу, то как будто бы впадаю со своим поездом в резонанс, в синхрон, мы теперь оба бежим вперед, оба двигаемся. И на ходу мне легче.

Я очень плохо представлял себе конец пути. Меня это беспокоит – будет ли он похож на те станции, что уже были, или это только тоннель, чернота в окнах без конца? Они заберут меня? Что они со мной сделают? Или конец отличается только тем, что чернота будет всегда, вначале я буду думать, что это тоннель, а потом черным станет все – и снаружи, и внутри?Что будет, когда мозг отделится от тела? Что будет, когда мысли будут течь отдельно от боли? Что будет, когда голос внутри скажет назидательно – вот посмотри, во что ты влип, парень. Я же тебе говорил.

Часть седьмая. Наружу

90.

Вали, сказал мне внутренний голос. Беги. Я два раза предупреждать не буду.

Я не получал никаких записок, никаких писем или телеграмм. Но вот уже дня три новых заданий не было, и это значило... значило.

Иногда – по крайней мере в тех жизнях, которые я видел и за которыми наблюдал – бывает момент, когда герой выходит на передний край сцены, чтобы произнести свой монолог. На него падает луч света, а он стоит там один.

Никто не выходит на пятно рядом с ним. Ничья рука не протягивается из темноты и не ложится ему на плечо. Никто не предлагает ему стул. Он стоит там, на сцене, на подоконнике, окруженный пустотой, и думает – что мне делать? Он кружил, кружил, кружил между спальней и кухней, домом и работой, настенными часами, прикрепленными чуть криво, ремешком, который врезался ему в запястье, стеклянным циферблатом, прикрепленным к самой высокой башне. Он крутился в этих часах, а потом взял и застыл. Жил, жил, жил, а потом настало время для прыжка. Привычная рутина катилась и катилась, вела его вперед, а потом вдруг расступилась.

– Как думаешь, мы выберемся?

Она спросила это, не глядя на меня. Волосы падали ей на лицо, закрывали с двух сторон. Она только что уложила его в кроватку, и он сразу же заснул – поймал сон, как ловят что-то, что летит в них, и сразу, сомкнув веки, обернулся им и довольно засопел. Сон обнял его с обеих сторон и забрал к себе. Иногда по ночам она подходила посмотреть, как он дышит. Иногда подходил я. Иногда я просыпался в панике и вдруг думал, а вдруг его нет в квартире, вдруг он куда-то исчез, вдруг я не смогу его отыскать, вдруг, пока я спал, и она спала, кто-то открыл ключом дверь и тихо прокрался на цыпочках, и теперь его нет. Я поднял голову от чемодана, в который укладывал вещи. Всего один чемодан. Больше нельзя.

– Выберемся.

– Мы успеем? – спросила она просто.

– Успеем.

– Не опоздаем? – больше утвердительно, чем вопросительно.

– Нет.

– Хорошо.

Я обнял ее – и мы покачались из стороны в сторону, как пара подростков, которые только что познакомилась на дискотеке и неловко прислоняются друг к другу – он не знает, куда деть руки, поэтому держит их почти на весу, стараясь не касаться ее спины.

– Я все боюсь, что времени не хватит.

Кожа у нее была очень холодная. Я обнял ее покрепче и прижал к себе. – Или именно нашему дому не повезет.

– У нашего дома склад драгоценностей внизу, – я улыбнулся, хотя теперь я даже улыбался как тень. Ходил как тень, собирался как тень, улыбался как тень. – Нашему дому повезет.

– А мне кажется, что наш дом это пороховая бочка.

– Ну...

Посылка хлыща и его крики, раскачивание белобородого у окна, то, что я забрал у консьержки запасные ключи от нашей квартиры, которые она, надо сказать, сильно не хотела отдавать, но все же отдала.

Кто-то воюет, высматривая жильцов в ночи. Кто-то воюет, стоя на подоконнике. Кто-то воюет, крадя чужие ценности и думая, что она заслуживает их больше. Кто-то воюет, забывая о прошлом. Кто-то воюет сам с собой. Кто-то старается не воевать, но в итоге все равно воюет. Кто-то.

91.

У меня и до этого были дни, когда заданий не было. Были даже целые недели. Рано или поздно они все равно приходили, белые конверты в слегка мокром ящике для книг в парке. Или они были заткнуты за водосточную трубу. Или подложены в рассохшиеся ступеньки лестницы у заднего входа в дом. Мне особо не важно было, где они были. Все равно найти их мог только я.

Но что-то странное было именно сейчас, в этом молчании. Если задания не приходят, значит, что-то поломалось в этой цепочке коммуникации. Либо с той стороны – заданий нет, либо с этой. То есть с моей. То есть они перестали мне доверять.

Может, дело в той женщине. Разговаривать с теми, кого я искал, в мои обязанности не входило, но я не знал, зачем искал, а следовательно, ничего рассказать ей не мог. Мы и говорили-то всего несколько минут.

Стрелки движутся назад, а не вперед, и время надо мной издевается – вот такое у меня было чувство. Оно специально то останавливается и замирает, заставляя себя ждать, пережидать, выжидать, прикидывать, когда оно наконец опять понесется, то куда-то пропадает и ворует у меня целые часы и дни.

– Ну ты как, идешь?

Я иду.

92.

Путей, как сбежать из города, было несколько, и ни один из них не был безопасным. Нас не то чтобы могли остановить – могли задержать, а задерживали сейчас всех и кого попало, особенно не разбираясь.

Можно было сделать это с воды, и я долго думал об этом, но в итоге все-таки выбрал в пользу большего расстояния. В смысле за минимальное время нам надо было покрыть максимальное расстояние между нами и городом, и не оказаться запертыми где-нибудь, где нас могли бы накрыть. А на воде все-таки был шанс, что нас бы догнал катер, и тогда деться нам было бы некуда. И потом, тех, кто рискнул бы отвести судно, торговое или рыболовное, за пределы пристани в ночи, было совсем мало, и по вполне внушительным причинам – это было строго запрещено. Найти того, кто мог бы нарушить запрет, было непросто. Хоть я и искал, и обходил пристань и доки рядом специально, долго шел по набережной и осматривал суда одно за другим, в поисках такого, которое могло бы нам подойти. Я не нашел. И чем больше я думал про воду, про то, как два белых следа расходятся в темноте, тем меньше эта идея мне нравилась.

Были еще, понятно, поезда и машины. Воздухом было закрыто, совсем невозможно, поэтому поезда и машины – я выбирал между первыми и вторыми, прикидывал, высчитывал, что лучше. Будь я один, я не выбрал бы ни то, ни другое – попытал бы какой-нибудь безумный способ вроде велосипеда, просто потому что велосипедистов в городе было завались, и никому не пришло бы в голову, что очередной велосипедист с портфелем на спине и в куртке от дождя, натянутой на голову, на самом деле совершает побег. Поэтому самое безумное могло бы и сработать.

Комбинация поезда и машины выглядела самым надежным вариантом. Сильно, очень сильно осложняло ситуацию то, что мы уезжали с ним, но по-другому было нельзя. Все дело было в камерах и кадрах. Удачность нашего побега зависела от камер и кадров и того, сколько длится дубль. Иногда наводишь камеру на человека, а он как будто не попадает в кадр. Как будто должен был бы попасть в объектив, но постоянно оттуда уходит. Или ставишь камеру там, где она ловит случайных прохожих, но фокус в том, что она делает фото с определенной регулярностью. И, если ты пройдешь в нужный момент, достаточно быстро, то только твой силуэт останется на фото, на тебя не успеют навести, ты не отпечатаешься на ней. И ты на ней не останешься.

Это то, что нам было нужно. Избежать кадра. Не остаться на камере. Быть между снимком в 2:43 и снимком в 2:46. Что-то вроде того.

Нам надо было не попасться сразу в нескольких смыслах.

И, что сказать, тут пригодилось, что я так хорошо знал город. Не попадаться на радары было в некотором смысле моей специализаций. Странно, какие навыки иногда приходится осваивать – кажется, они тебе нисколько не понадобятся, а потом оказывается, что только они и были тебе нужны. Навык крайней концентрации, например. Навык замечать, не куда едет автомобиль, а куда скользит мышь, когда перебегает тротуар и скрывается в щели между домами. Иногда то, куда делась мышь, заметить гораздо важнее.

93.

Я все еще думал про поезда и машины, и еще про то, как проскользнуть между кадрами, когда шел по мареву из дождя – огни поднимались и опадали, на тротуарах валялись груды тряпок, полуразлагающихся пакетов с едой, черные груды, спрыснутые дождем.

И тогда я вдруг подумал про церковь, где мы его крестили. Про ее высокие своды, про холодный камень. Я думал про нее, кем, когда и куда она была построена, куда – в небо или куда – вглубь, я имею в виду. Иногда мне кажется, что церкви построены куда-то вглубь города, вглубь себя.

А потом, среди мыслей про церковь, мне вдруг пришла одна – белая рыба в косяке черных, которые плыли и плыли теперь через мою голову.

Что можно просто попросить.

Попросить, и все. Четко сформулировать свое желание. Может быть, мне удастся вытянуть ту соломинку, которую я хочу вытянуть, а не короткую? Может быть, та сила, которая позволила мне стать поисковиком, та, которая уберегла меня тогда на чердаке, та, что не позволила задохнуться в подвале, та, которая постоянно охраняет меня, и ее, и его, та, которая разговаривает со мной в час ночи, та, которая ведет меня по темным улицам во время атак, та, которая никогда меня не подводила – она и выведет нас – из города?

Может быть, мне надо было только в один, последний раз ей поверить? Может быть, надо было подчиниться ей, потому что до этого я только надеялся на нее, и она никогда не подводила, но прямо я у нее ничего не просил?

Но у меня было очень важное желание. Самое важное.

И можно было попросить.

Можно, конечно, полагаться на себя или на город, и не тратить силы на то, чтобы тянуть из воздуха невидимые сети. И, если тянуть, если попросить очень сильно, не нарушит ли это какого-то невидимого, заведенного порядка, в котором нельзя просто так получить избавление? Получить то, что ты хочешь.

Мне вспомнились те, кто сидят на длинных скамьях, сложа руки на коленях, и смотрят вперед, и шевелят губами. Иногда я прищуриваю глаза и представляю, что над головой у каждого из них болтается табличка, где указано их желание, а снизу то, что они сами сделали, чтобы оно стало реальностью. И еще – что-то вроде силы, с которой они верят. Если сила большая, то табличка светится, а если небольшая, то мерцает, загорается и снова гаснет, вроде мигающей светодиодной лампы. Так, по крайней мере, было бы куда понятнее.

Мне пришлось опираться на чувство, которое лежит еще глубже, чем мое вечное желание идти – маленькое, притаившееся там чувство, спрятанное под тугой и вечно напряженной мышцей. Пришлось его выковыривать и скрести пальцем. Оно совсем не росло, как бы я ни старался – иногда появлялось, а иногда я сердился, что представляю такую ерунду, и заталкивал его обратно. Просить, как они все просят, со своими табличками и движениями губ – я что, такой же?

Я подумал о них – и подумал о том, ярко ли горит моя лампочка, или только мигает, как бы лениво давая знать, что я чего-то хочу. Вывеска у придорожного кафе, которое работает всю ночь. Дрянной кофе льется в высокие белые кружки, на блюдечки ложатся жирные треугольные куски торта. Бекон немного пригорел и не шкворчит, а недовольно шипит, когда его перекладывают с противня на тарелку.

Что может предложить это мое ночное кафе? Что я сам могу предложить?

Мусор украшал улицы разноцветными гирляндами, и город мне не отвечал. Я осторожно обходил использованные хлопушки, куски ткани, свернутые в комья, почерневшую банановую кожуру, бумагу от содранных рекламных плакатов. Притягивать желаемое из воздуха оказалось не просто.

Надо было начать представлять раньше, чем оно придет. Представлять себе весь план в мельчайших деталях, и, как игрок в шахматы, проверять их ход за ходом – каждый шаг, каждый метр, все, что может пойти не так.

Хуже было то, что поначалу я представлял себе н только лодки, машины, поезда и велосипед, а еще, другое, целый каталог путей, которые все неслись и неслись у меня в мозгу – автобус, такси, пешком, несколько способов транспорта, под чужими именами, договориться с кем-то, но получиться ли? В этом и плюс и минус моей профессии – я всегда находил путь, но только для себя одного. Я пробовал свою схему шаг за шагом, находил дыру – проваливался в люк, возвращался назад. Пробовал следующую – опять. Нога ступает в пустое пространство, нас могут поймать, остановить, спросить документы – возвращался назад.

Вперед. Назад. Вперед. Назад.

Идеальная комбинация была где-то , точно была, в поле вероятностей, вверху, где вечно никого нет. Она плавала где-то там, в эфире, и мне никак не удавалось ее схватить – каждый раз я ловил и вытаскивал не то. Не то, не то.

Наверное, где-то упаковывают и ее сейчас. Идеальную, готовую схему побега. То решение, которое мне так нужно. Ту удачу, которая мне так нужна. Тот момент, что между 2:43 и 2:46.

Закрепляют крест-накрест желтым скотчем. Прокатывают по специальным рельсам. Ставят специальные галочки в специальных графах. Она скоро покинет фабрику, за вереницей других, таких же блестящих идей – они по очереди подъезжают к краю и вываливаются прямо наружу.

94.

В итоге я попросил. Я знал, что помощь придет – не знаю, почему, и не знаю, откуда, но, видимо, я так привык доверять своему чувству направления, что просто послал этот сигнал – вышел в наш двор один раз вечером – звезды были четко видны на небе, ночь была пустая и звездная, и во дворе никого не было, и я посмотрел, и я вспомнил о том, самом первом вечере, когда я зашел к нему в квартиру, и стоял у него за плечом. Том вечере, с которого все началось. И я смотрел на звезды и не задавал вопросов. Я просто пожелал. Яркая вспышка. Сигнал вверх. Взлетание против гравитации. Падающая звезда. И я проснулся в три утра. Сразу со всем планом в голове, от начала и до конца. Оно сработало, и я даже не удивился. Я просто скосил глаза на темное небо за занавесками – поблагодарю, когда мы отсюда выберемся, ладно? Скажу спасибо и даже подарю тебе цветы, если хочешь. Подарю тебе что угодно. Хотя я уже подарил тебе часть себя, или даже себя всего? Так или иначе, у тебя есть часть меня, и всегда была. А сейчас – только бы мы выбрались. Только бы.

Наши чемоданы были уже собраны, поэтому долго думать не пришлось. Проблема была в том, что уезжать надо было прямо сейчас – что-то говорило мне, что уезжать надо прямо сейчас. Я разбудил ее. Она проснулась очень быстро – мгновенно, ее блестящие в темноте глаза уже смотрели на меня.

– Что? Кто-то... пришел?

– Еще нет, – сказал я. – Но надо ехать.

– Прямо сейчас?!

– Да. Слушай меня.

Я объяснил ей, что надо делать и где мы встретимся. Его я взять не мог, учитывая то, что мне предстояло сделать.

– Прощаться не будем, – сказал я ей быстро. – Встретимся через полчаса. Ты все поняла?

– Я поняла. – она кивнула.

– Его лучше привяжи к себе чем-нибудь. В слинг или еще куда-то.

– Я соображу. Иди. Я почему-то подумал, что она так давно не говорила мне этого одного короткого слова. «Иди».

95.

Я заранее приметил и улицу, и машину, и способ – я знал, что она всегда там стояла, и знал, что марка достаточно популярная, чтобы она не привлекала к нам внимания. Я не очень умел это делать, но владелец, сам того не зная, мне помог – там было открыто окно. Только чуть открыто, с самого верха, но этого мне было достаточно.

Ключи мне были не нужны, и уже секунд через сорок мотор заурчал, и я вывел машину со стоянки и повел в сторону нашего дома.

В ней почти не было личных вещей – прекрасно. Только перчатки и солнечные очки, и рекламный проспект, рекламирующий отель у моря. На обороте проспекта был номер телефона.

– Садись.

Она стояла на углу, вжавшись в стену ровно так, как я ей сказал, чтобы не попасть в камеру.

Она села. Я на переднем сиденье, они вдвоем на заднем.

Пока мы ехали, я думал. Я мог бы думать о городе и о том, что сейчас происходит – мы отсюда уезжаем. Но эта мысль не укладывалась, не отпечатывалась у меня внутри, и город с его ночными улицами скользил и скользил мимо меня. Я мог бы думать о дороге впереди – я знал, наперед продумывал маршрут. Я знал, где можно проехать мимо заброшенного поста, где между домами, а где надо ехать кружным путем. Я знал задворки города, север, почти всю его изнанку, но машина все равно шла как будто сама собой – я только чуть-чуть трогал ее, а больше было не надо.

Нам никто не попался по пути – одни фары, вторые, но была такая глубокая ночь, что они промелькнули и пропали, и мы даже не успели разглядеть марку, а тем более номер. Тот час ночи, когда спят даже те, у кого бессонница. Тот час ночи, когда даже ночные сторожа дремлют, прикрыв глаза рукой.

Страх за свою жизнь обнажает тебя до существа. Убирает все то, что ты так настойчиво пытался присвоить, все то, что ты так настойчиво пытался к себе приклеить. На лоб, к рукам, к спине. Но все равно остается только хребет, линия жизни, линия позвоночника, снизу вверх – внутри тебя. Остается только подступающий холодный воздух. И боль. Или и боли нет?

Почему я думаю, не страшно ли умирать? Я же веду машину. По пустому ночному городу, и довольно быстро, но не так, чтобы превышать скоростной лимит. Почему я об этом думаю? Я одернул себя и вернул обратно в сознание, вставил обратно, как в рамку.

– Скоро приедем? – спросила она с заднего сиденья.

– Да. – сказал я. – Минут двадцать еще. Мы встретились глазами в зеркале. Она кивнула – медленно, как в замедленной съемке.

96.

Мест, где можно было перейти границу, было несколько. Везде были пограничные пункты, это понятно, но был один, где нам бы не задали слишком много вопросов, и где не надо было бы часами сидеть и ждать, пока нас пропустят. И где даже в такое время не было бы сотен людей – сколько из них просачивались на ту сторону, а сколько возвращались?

Если ты останешься тут, то твою душу в конце концов выдоят до конца, подумал я, выбираясь из машины. Вся радость уйдет из нее, как вода из высыхающего фрукта. Останется только масса, материя, комок мышц.

Машину я оставил так, чтобы ее не было видно. Я наклонился проверить, не осталось ли в ней следов или отпечатков, или пятен, по которым могли бы сказать, кто именно ей попользовался. Мысль толкнула меня в лопатку – расставание, с человеком ли, городом или старым собой – всегда сумерки. Впереди ночь.

Никто другой этого не знает, но знаете вы двое, те, кто расстаются – впереди ночь. И вам обоим предстоит пройти через нее в разные стороны, отдельно друг от друга. Идти надо будет одним, но поначалу вы постоянно будете знать, что та, другая сторона тоже идет, там, в тумане, как на другом берегу волшебной реки. Вы будете почти чувствовать ее движение. И чем дальше вы удаляетесь, тем меньше.

По другую сторону ночи вас ждет что-то другое. И когда вы выйдете наружу, туман оставит след на вашей коже. Но ночь – эту ночь – надо еще пережить. И непонятно, что хуже– знание о том, что ночь впереди, или необходимость через эту самую ночь пройти, не оставив в ней следов.

– Пошли, – сказал я. И подал ей руку.

97.

Стоять в очереди все-таки пришлось.

– У вас ребенок? – спросила женщина на входе, как будто на груди в слинге могло бы быть что-то другое.

– Да.

– Сколько ему?

Она назвала возраст.

– И к кому вы едете?

Я сказал.

– На сколько?

Я сказал.

– А документы у вас есть? – спросила женщина.

– Конечно. Все в наличии.

Она взглянула на документы – не читая, только посмотрела – и вид у нее стал скучающий.

– Проходите. – она кивнула в сторону стеклянной будочки в дальнем конце зала. Я видел там очередь, но совсем небольшую – всего два или три человека.

Страх собирается в больших количествах, как ядовитый газ. Я подумал это, пока мы шли к очереди – я с одним маленьким чемоданом, который она вынесла и я засунул в багажник, а она с ним, надежно дремлющим у нее на груди. Мы шли не очень быстро и не очень медленно.

Мы подошли к окну все втроем. За нами теперь никого не было.

Дядька за стеклом взял документы, которые я ему протянул.

– Пока не удается найти вас в системе. – сказал дядька. Он вглядывался в экран и хмурился. – Но по ночам у нас бывают перебои. Боюсь, вам придется подождать.

Спиной и почувствовал, как она напряглась всем телом.

– Поищите еще раз. Он поднял на меня глаза. Глаза были водянистые, рыбьи, почти ничего не выражающие, кроме усталости. Аптечная склянка. Корвалол. Обезболивающие.

– Поищите еще раз. – повторил я.

Он кивнул, и пальцами снова набрал что-то на клавиатуре.

Я на секунду закрыл глаза. Всего на одну секунду. Ну пожалуйста. Пожалуйста.

– У нас ребенок. – сказала она из-за моего локтя. – Может, вы нас пропустите? У нас все-таки ребенок. Ему еще и года нет.

Дядечка только потряс головой, и продолжил вглядываться в экран.

Столько лет работы. Столько найденных людей. Столько моего труда и моих стертых ног. Столько его рыданий и ее слез. Столько шагов. Столько окон. Столько дней.

Некоторые сами делают свой шаг вперед.

Некоторым не позволяют его сделать.

– Я не могу вас найти.

В скольких системах я не находился, интересно? И в скольких системах находился? И скольким системам от этого было лучше?

Я чувствовал, как мелко дрожит ее плечо. Я скосил глаза. За ней никого не было, только вдалеке компания из трех женщин с огромными чемоданами обступила ту, что задавала вопросы на входе.

– У тебя бумажка есть? – спросил я ее вполголоса.

– Какая бумажка?

– Какая-нибудь. Любая.

– Да.

Она выудила из кармана куртки листок, сложенный вчетверо, и показала подбородком на ручку, лежащую около окна, в котором дядечка все еще всматривался в свой экран.

Тон у него изменился.

– Возможно, надо кое-что проверить, господин... эээ...

Я всмотрелся в него. Я достаточно хорошо уже его разглядел, но все равно всмотрелся хорошенько. Когда тебе нужна информация, надо всматриваться в людей. Потому что надо отличать то, что тебе про них кажется, от того, что они никогда не скажут.

Я взял ручку, развернул бумажку и стал писать. Первой строчкой написал имя. Второй строчкой несколько слов – слова были длинные и сложносочиненные, но рука у меня не дрожала. Третьей и четвертой строчкой я написал, что предлагаю. Пятой, что за это хочу.

Подумал и приписал адрес. Обычный городской адрес – индекс, город, улица, дом, и квартира. Адрес я приписал на всякий случай. Имени должно было хватить.

– У меня есть дополнительные документы.

Я сложил бумажку вдвое и пододвинул ее в прорезь между стеклом. Она вздрогнула за моей спиной.

– Что это такое? Что ты делаешь?

Она прошептала это так тихо, что он не услышал.

– Что это такое?

Он взял листок двумя пальцами и развернул. Прочитал первые две строчки. И замер.

Спина у него резко распрямилась и выгнулась под рубашкой, как будто кто-то ударил его железной дубинкой по пояснице. Шея резко стала длиннее и почти вся показалась из выглаженного, но уже успевшего смяться воротничка.

Секунд десять мы смотрели друг на друга через стекло.

Потом он опустил глаза обратно на бумагу и еще раз пробежал ее глазами.

Дрожащими пальцами – я видел – он сложил ее, положил в прорезь под стеклом и подвинул ко мне.

Наши документы, которые все еще лежали перед ним на столе, он закрыл, и теперь смотрел на обложки. Не задумчиво, а как бы даже тупо – как человек, который застыл на месте и не замечает ничего вокруг.

Потом – внезапно – он вскинул голову.

– Подождите с ребенком вон там. На стульях. – он кивнул ей на белые железные стулья у стены. – А вы – пройдемте со мной.

Она коснулась рукой моей руки – повыше локтя.

– Подождите. – сказал я. – В туалет сходите. Вон он, белая дверь. Иди.

– Но...

– Иди.

Она медленно – очень медленно – развернулась и пошла.

Я обвел глазами зал. Очереди по-прежнему не было. Три женщины с чемоданами все еще препирались с той, что на входе.

– Пойдемте. – сказал он из-за стекла.

Я обернулся. Он смотрел на меня все теми же рыбьими глазами, но только теперь что-то острое появилось в них. Теперь они стали больше блестеть – как металлический отблеск в глубине воды.

– Чемодан берете с собой.

98.

– Как вы узнали? – спросил он без предисловий.

Мы оказались в комнатке – такой маленькой, что с двумя стульями и большим столом, который был туда втиснут, сложно было развернуться.

Я прислонился спиной к стене.

– Так вы согласны или нет?

– Откуда вы узнали? – спросил он опять.

– Да какая разница. – я пожал плечами.

– Я мог бы сдать вас прямо там.

– Да. – согласился я.

– Повезло вам, что очереди не было.

– Да. – опять согласился я.

– И что у нас не все... – он замялся. – Камеры работают.

И видеозаписи никто не просматривает, добавил я про себя. Но это уже не называется словом "повезло". Это называется другим словом.

– Так откуда вы узнали? – спросил он опять. – Отвечайте, времени мало.

– Давно она заболела? – спросил я вместо этого.

Он посмотрел на меня так, как будто хотел сжечь.

– Несколько месяцев. – голос такой тихий, что почти как шелест.

– Состояние плохое?

– Да. На лбу у него выступили капельки пота.

– Почему лекарства не можете найти... официальным способом? Ей должны полагаться.

– Не выписывают. – он помотал головой. – Или выписывают, а потом их нет. Уже нет. Все кончились. А новых не завозят.

Он облизнул губы.

– Нигде не достать. Нигде... их нет. Ни по договоренности, нигде.

– Я знаю, где есть. Я вам несколько вариантов дам. Адреса, людей. Как достать. За день-два можно все получить, что вам нужно.

– А откуда я знаю, что вы не врете? – он коротко посмотрел на меня, потом уставился в стол, опершись на него обеими руками.

– Я же написал вам. Ее имя. Диагноз. Ваш домашний адрес. Думаете, стал бы я врать?

Он жевал нижнюю губу и не смотрел на меня.

– И вы хотите, чтобы я вас пропустил?

– Да.

– Без отметки?

Я пожал плечами.

– Можете записать, как будто отметка есть. Потом скажете, что система дала сбой.

– Это противозаконно. – пробормотал он.

– Можете записать без отметки, как будто нас тут вообще не было. Если спросят, такие границу не проходили. Ваше слово против ее.

Я имел в виду ту женщину, которая задавала нам вопросы. Но он и так это знал. Но – и тут мне снова повезло – у меня были основания предполагать, что та женщина его поддержит.

Он повел головой – справа налево.

– Это вообще ваши документы? – спросил он внезапно. – По которым вы едете. Ваши паспорта?

– Вас это волнует? – спросил я.

Он опять пожевал нижнюю губу. Потом поднес руку ко рту, как будто собирался погрызть ногти, но тут же резко отдернул, и опять уперся в стол.

– Из-за вас я могу потерять работу.

– Но она будет жива. Если вы лекарства найдете. Вам же нужны лекарства.

Мы молчали. Он молчал, и я молчал. Секунд десять. Двадцать.

– Диктуйте. – сказал он в конце концов.

– Вы нас пропустите?

– Диктуйте. Говорите. Где их взять?

Я прикрыл глаза, чтобы было легче сосредоточиться. Комната все же была очень маленькая, и дышать в этих крашеных стенах было непросто.

Я говорил быстро, но не так, чтобы он не успел запомнить. Я знал три потенциальных источника – препарат был редкий, и в городе его было действительно мало, даже у тех, у кого он был, он был в дефиците, но я был почти уверен, что с двумя из трех можно было договориться. На крайний случай. Как будто бывают другие случаи.

Крайний – значит стоящий ближе всего к бездне.

Я говорил недолго. Минуты две. Вопросов он не задавал.

Только один раз сказал:

– А... дорого?

Я назвал цену у всех трех. Сказал, кто скорее всего согласится.

Он коротко кивнул. Не так дорого, чтобы он не мог себе это позволить.

– Нам надо выходить. – сказал он, когда я закрыл рот. – Держите ваши документы.

– И?

– Подойдите к окну снова, когда очереди не будет. Если уже нет, подходите сразу. Быстро. Как только выйдете, сразу же убирайтесь как можно дальше от границы. Машина... – он назвал номер. – На стоянке самая дальняя. Чем дальше вы будете, тем лучше. Ясно?

– Ясно, – сказал я. – И еще.

– Да?

– Я оставил свою машину. В лесу. Тут рядом.

Он нахмурился.

– Где?

Я сказал, где.

– Я понял.

Он коротко кивнул и вышел, не притворив за собой дверь.

99.

Она сидела и ждала меня на железных стульях. Он тоже смотрел на меня, и глаза у него были открыты – невозможно огромные любопытные глаза. Она вынула его из слинга, прижимала к груди и качала – туда-сюда, туда-сюда.

– Баю баю, баю баю.

– Ну как?

Лицо у нее было бело-серое, с серыми тенями под глазами и на висках. Куртка свисала с плеч, молния расстегнута наполовину. Джинсы собрались морщинами на коленках.

– Пошли. – сказал я. – Быстрее.

И снова мы были у окна одни.

Он забрал у нас документы. Посмотрел в мерцающий экран. Поклацал клавишами. Взял печать. Опустил печать. Отдал документы обратно с обычным, скучающим видом. Обычный сотрудник, которому по долгу службы приходится не спать по ночам.

– Проходите.

Мы прошли.

Я взял ее за руку, чемодан был в другой. Мы вышли из здания, открыли двери на улицу и оказались в темноте, освещаемой всего одним фонарем – парковка, где стояло штук шесть машин.

– Пошли. Не останавливайся, – сказал я и направился к самой дальней, вишневого цвета.

– Но как...

– Пошли.

Три минуты спустя мы уже неслись вперед по абсолютно черной дороге. По две стороны от нее высились деревья, не очень густая лесополоса – снега не было, и видно было голую холодную землю, на которой только-только показалась трава.

– Который час?

Она сказала.

Ночь еще не прошла, но надо было выжимать на полную.

Я посмотрел, сколько осталось бензина. Не полный бак, но нам хватит. Времени останавливаться и заправляться нет.

– Как ты это сделал? – спросила она.

– Что?

– Его. Убедил. Как ты его убедил?

– Предложил ему кое-что, от чего он не мог отказаться.

– Что?

Я не ответил.

– Ты шпион? – спросила она вдруг. – Ты работал шпионом? И поэтому мы не находились у него в системе?

– Я работал поисковиком, – сказал я.

– Что значит поисковиком?

– Это значит, что я искал людей, которых мне поручали искать. Мне приходили задания, кого надо было найти, и я их искал.

– Как приходили? К нам домой ничего не...

– Не к нам домой.

– И с этими людьми... – спросила она. – Когда ты их ... находил. С ними что-то... делали? Тебе самому... надо было с ними разговаривать?

– Нет. Не самому. Я только искал. А делали или нет, не знаю, – сказал я.

– Не знаешь?

– Не знаю.

Я еще прибавил скорость. У меня было странное ощущение – глупое, но странно реальное – что весь город сейчас гонится за мной, за нами, как гигантский воздушный демон. Как чудовище в мультике, которое вдруг заполняет собой весь экран, а мы по сравнению с ним очень маленькие. Как путники, за которыми летит песчаная буря, как лодка, вдали от которой движется цунами.

Как будто все то, что я видел в городе, все то, чем он был для меня, все, что я любил, теперь летит и гонится за мной, за этой машиной, которая уже начала дрожать от скорости, на которой она очевидно никогда не шла раньше.

– А что, если машину отследят? – спросила она. – Ту или... эту.

– Не отследят. Это его машина, – сказал я.

– Кого – его?

– Того пограничника.

– А.... – она осеклась.

– Он ничего не скажет. Никому ничего не скажет. А сильно прессовать его вряд ли будут. Нас там не было.

– А... камеры?

– Не было. Они не все работают, а на тех, что есть, нас нет.

– А женщина?

Я поморщился.

– Он ее убедит ничего не говорить.

– Почему?

Я только покачал головой в темноте.

– Надо доехать до утра. Потом найти, где оставить машину. И ехать дальше. Но это не проблема. Я найду. Главное, чтобы нас не догнали по дороге.

Он вдруг проснулся и издал резкое «ууууу!», которое так же резко захлебнулось в воздухе.

– Я думала, не получится, – сказала она. – Я думала, что это все.

– С тобой бы ничего не случилось, – сказал я зачем-то. – Ты ничего не знаешь. Не знала.

– А теперь знаю? – спросила она.

– Уууууу, – он снова подал голос.

Ууу, подумал я. Город, все мои сны и все мои мечты, несется за нами. Завывание ветра. Пустота в боковом зеркале, и в зеркале заднего вида тоже. Вот уж точно – ууу.

Надо прибавить скорость.

100.

Мы приехали, когда только-только наступил рассвет.

Этот город был не похож на тот – чистые улочки, совсем узкие и почти безлюдные. Общая сонность, которая никак не передавалась нам. Открытых магазинов тут почти не было, да и открытых окон пока что тоже – было слишком рано.

– Надо переодеться, – сказал я. – Надень что-нибудь другое. И кепку. Шапку. Что-нибудь.

– Зачем?

– На всякий случай. У тебя же есть смена одежды?

Она смотрела на меня с удивлением.

– Ну да. Конечно есть.

– И вещи где-то придется оставить.

Теперь уже в ее взгляде была паника.

– В смысле оставить вещи? Ехать просто так? Без ничего? Мы уже оставили квартиру. Еще и вещи?

– Да, – согласился я. – И вещи тоже.

– Зачем?

Я объяснил, и она недоверчиво покачала головой. Пока она рылась в чемодане в поисках других джинсов, футболки и кофты, я подумал про ключи. Ключи были не важны – зачем ключи от того места, куда никогда не вернешься? Но мне все равно хотелось их выкинуть. Пусть даже символически. Опустить их в почтовый ящик, в мусорный бак, бросить в решетчатый люк посреди мостовой. Попрощаться с прошлым, чтобы не остаться в нем.

Я подумал и достал из бокового отделения чемодана конверт. Пустой белый конверт, такой же, в каких я получал задания.

Я вложил туда ключи. Марка уже была. Заклеил. Написал адрес.

– Кому это ты их отправляешь?

– Консьержке, – сказал я. – С приветом.

– Заберет себе всю мою посуду, – сказала она.

– С медвежатами.

– Зато будет беречь.

– Думаешь?

– Да. Она любит красивые вещи.

Я улыбнулся одним уголком рта.

– Почему ты никогда не говорил мне ничего? – спросила она, переодевшись и натянув шапку на голову.

– Нельзя было говорить. Опасно.

– А теперь ты почему начал?

Я развернулся, и резко крутанул ее к себе за плечи и поцеловал ее.

Я так давно не целовал ее нормально. Не целовал ее вообще. Целовал, конечно, по ночам и по утрам, когда уходил, но давно не целовал ее посреди дня, с целью, с намерением. Давно не целовал ее поцелуями, в которые что-то вложено.

– Я тебя люблю, – сказал я. – Все почти закончилось. И я тебя люблю.

Больше, чем город, подумал я про себя. Хотя я любил город больше, чем себе можно было вообразить, любил так, что никогда не уставал от него. Любил верх и низ, любил балконы и пролеты, любил уличный гул и красные флаги, любил крыс и мышей, любил грязь и достоинство,

любил слезы, которые выступали на его лице после черных ночей. Любил метро, которое всегда приходит вовремя, даже когда останавливается вся ветка – а потом, как кровь, опять начинает по венам бежать. Я любил все это так, что это стало мной, и я стал им, и в городе теперь больше меня, чем во мне самом. А во мне теперь должно начаться что-то новое.

Хотя аромат города все еще у меня на коже – после последней ночи, проведенной вместе.

– Далеко тут вокзал?

– Минут тридцать пешком.

– Это далеко, – пожаловалась она.

– Дойдем. Не волнуйся. Сейчас на улицах-то еще никого нет.

Держась за руки, мы дошли до вокзала. Все было таким четким вокруг, таким светлым и резким, как качающийся воздух над костром, и я все видел все это как через дрожащую прозрачную массу.

Вокзал был совсем небольшим – табло с объявлениями на первом этаже, там же касса, где дремала, положив голову на руку и закрыв глаза, билетерша. Белые волосы падали ей на глаза. С первого взгляда она мне не очень понравилась.

– Подожди на втором этаже, ладно? На стульях. Вон, там лестница.

– Ладно, – она выпустила мою руку и стала медленно подниматься вверх.

Минут десять – и я поймал какого-то паренька, который торопился, схватившись за лямку своего рюкзака, мимо вокзала.

– Эй! Эй!

Он остановился. Быстро, насколько мог, я объяснил, чего хочу, и почти силой всунул ему в руку деньги. Я знал, что он не откажется, но он все равно посмотрел на меня с изумлением:

– А сами-то почему не можете взять?!

– Не могу, – сказал я. – Возьми, что останется – себе оставишь.

– Ладно. – он все еще хмурился. – Ладно.

Ровно через три минуты он вернулся с билетами.

– Спасибо! – сказал я.

Он пожал плечами, надвинул кепку пониже на лоб, дернул за лямку своего рюкзака и пошагал дальше.

– Что ты так долго? – спросила она, когда я, наконец, поднялся наверх – хорошо, что лестницу не было видно из окошка кассы – и сел рядом с ней.

– Меры предосторожности. – сказал я.

– Какие? Тут такой маленький вокзал, что никого не бывает.

– Как подойдет поезд, будут.

– А скоро подойдет? – она зевнула. Он безмятежно спал у нее на груди.

– Скоро. – сказал я. – Меньше часа. Можно даже взять булку с сосиской.

– О! – она оживилась. – И ты возьмешь?

– Уже.

Я нагнулся, вынул из рюкзака пакет, полиэтиленовый и еще горячий, и передал ей.

– Ты лучший мужчина на свете.

Она откусила от булки и, пока жевала, закрыла глаза.

– Ага.

– Делиться не буду.

– Да и не надо, – я улыбнулся. – У меня еще две есть.

Я жевал булку и думал. Никто не знает нас здесь. На вокзале почти никого не было – пассажиры входили, уходили, приходили. Там, где мы сидели, нас не было видно заходящим в вокзал.

– Теперь ты мне все расскажешь? – спросила она, жуя.

– Что именно?

– На кого ты работал. Что вы делали. Где они находились. Сколько там людей.

– «Мы» – я выделил это слово, – ничего не делали. Не было никаких «нас». Я всегда работал один. И... у них есть название, но это не настоящее название. Как вывеска. Фальшивое.

– И что ты про них знаешь?

– Много чего. Это длинная история.

Подумал и поправился:

– Отдельная. Отдельная история.

– От чего?

– От нас с тобой. Как-нибудь тебе расскажу, если захочешь знать.

– А почему не сейчас?

Ее тяжелая голова лежала у меня на плече.

– Длинно, – сказал я. – Сил нет. Все еще и начинается тогда, когда я тебя еще не встретил.

– Так давно? – спросила она. – Столько лет?

– Да, – я старался не двигать головой и плечом, чтобы она не соскользнула. – Они вначале к тебе присматриваются. Потом только... выходят на контакт. Если можно так сказать.

– И у тебя был... как это называется... связной?

– Когда-то был, – сказал я.

Я подумал про скелетообразную фигуру с длинной белой бородой, раскачивающуюся у окна. Подумал про консьержку, с ее передником и руками. Подумал про желтую кожу и обеспокоенные глаза. Про кулон на тонкой шее. Про белое платье в луче фонаря. Про другое белое платье, неаккуратно подоткнутое булавками по всему подолу. Про запонки в виде самолетиков и начищенные ботинки. Про стертые ступеньки лестницы. Про собачий вой.

Потом думать стало больно, и я перестал.

– Был. Потом не было. Потом связных отменили.

– Это все очень интересно, – она зевнула. – Правда. Интересно. Только я очень спать хочу. И чем больше ты говоришь, тем неправдоподобнее это кажется. Это точно все было?

– Я сам не знаю. – сказал я. – Ты спи. Пока поезд не подошел. Пока можно.

– Спать?

– Да.

Она кивнула, не отрывая голову от моего плеча.

Я так много не смогу ей рассказать – и не потому, что не хочу, и не потому, что она не поверит. И даже не потому, что я научился забывать и прогонять страшные воспоминания все дальше по конвейеру, чтобы они не возвращались ко мне жить. О нет. А просто потому, что когда придет поезд, это станет неважно. Новые события будут накладываться и накладываться, как карты в колоде, и к тому моменту, когда мы зайдем в поезд, это перестанет иметь значение. Только бы поезд пришел по расписанию. Только бы он пришел.

Я поглядел на часы под крышей вокзала. Оставалось немного.

101.

Очень скоро в нашей квартире будут жить люди, которые про нас, нас с ней, никогда и не слышали. И не услышат. Они поменяют планировку, переставят мебель, переклеят в конце концов обои в местах, где те отвалились. Ничего от нас не останется, кроме вида из окна, и подоконника, на который она клала руку и ставила чашку, и воркования голубей, которое я иногда слышал по ночам. Ничего не остается – даже ложки, даже шпильки. Даже самой маленькой иголки, которая завалилась между досками паркета, потому что старый, рассохшийся паркет, по которому так звучно стучат ее каблуки, они тоже перестелят.

Ничего не останется.

Я прямо видел это, видел так, как будто это происходит на самом деле – я вернулся в квартиру на рассвете, и стою на том же самом месте, из которого сделал первый шаг вниз, и занес уже палец, чтобы нажать кнопку звонка – но вдруг понял, что это другой дом, другая дверь, другие люди там, внутри. Что жизнь, которую я когда-то жил, и комната, где я проснулся только вчера, уже не существует.

Дверь мне открывает незнакомая женщина, и откидывает со лба крашеные волосы, и хмурится, глядя мне в лицо.

– Что вам нужно? – спросит она хрипло, и за спиной я вижу наш коридор, только стены у него теперь окрашены в другой цвет, а там, где раньше была дверь в его комнату, висит красная бахрома. Пахнет горелым хлебом и кофе из пакетика.

Мой первый инстинкт – пройти мимо нее, потеснив плечом, в нашу комнату. Но крашеная стоит в дверях и смотрит на меня все с той же враждебностью, и за ее спиной из комнаты доносится писклявый, высокий детский вопль.

– Я... – начинаю что-то говорить, но она закатывает глаза, секунду думает, а потом захлопывает дверь перед моим носом.

– Ходят тут всякие... идиоты.

Из-за двери я слышу, как она говорит кому-то заткнуться.

– Никто. Просто ошиблись дверью.

Но я не ошибся дверью. Вся моя жизнь была за этой дверью – была она, которая передергивала плечами на кухне, натягивая свитер повыше. Был чайник, который свистел нам обоим. Была чашка с мишкой и воздушным шаром. Были голоса соседей на лестничной клетке. Была медная ложка для обуви – она вечно то заваливалась в старые ботинки с высоким голенищем, то со звоном падала на пол и будила ее, хотя я старался, как мог, когда уходил, вести себя потише.

Что если это шутка, просто я пришел не в свое время? Что если это меня искали, а не я искал? Это не я пропал из квартиры, а просто вернулся слишком поздно, так поздно, что там уже жили другие люди?

Я просто ушел однажды вечером – бывает же так, ушел, и меня не стало, я умудрился пропасть, как люди на фотографиях, которых я искал, и несколько людей, конечно, могут вспомнить меня по имени, и ее, и его, но только вот имя не сходится – но каждый раз другое. В каждых новых свидетельских показаниях другое имя. И другой возраст ребенка. И профессия тоже другая.

Кем я был, чем занимался, куда ходил и зачем.

Надо было спросить у крашеной, давно ли въехали. Давно ли они сделали тут ремонт. Слышали ли стоны и охи, и собачий вой. Давно ли красили лестницу. Почему единственное, что они не сменили – это входную дверь.

Но я никогда больше не подойду к той двери. Двери, за которой будет другая жизнь.

102.

– Пошли. Объявляют посадку.

– Ммм?

– Пошли.

Поезд еще не подошел, но надо было идти.

На платформе никого не было. Ничего не объявляли по громкой связи. Никого не искали, и ничью фамилию не объявляли, чтобы они срочно подошли к кассе или окну информации. Над платформой висела одна камера – я позаботился о том, чтобы отойти в ту сторону, где она нас не захватывала.

Скорее всего, они все еще проверяют один за другим пограничные пункты. И потом, я мог бы и остаться в городе, у них нет точного способа это проверить – если машина вернулась на прежнее место, то сложно будет понять, кто именно пользовался ей в последний раз.

Поезд подъехал, и мы сели. Никого не было в тамбуре, никто не проверял у нас билеты. Чемодана у нас уже не было – только ее рюкзак, поменьше, и мой, побольше.

Я почему-то подумал – абсурдную, смешную мысль – что можно было бы бросить монетку между поездом и платформой. На счастье. Или не монетку, а кольцо с ящерицей, если бы я не оставил его в том бинте. Металл расплющат колеса поезда, и превратят его, хрупкое, в кусочек металла и раскрошенный камень.

Когда мы сели – в вагоне было мало народу, человек пятнадцать, и ряды пустых кресел, обычный междугородний поезд – он проснулся и заплакал. Он плакал так громко и так сильно, что она бросила рюкзак на сиденье, взяла его на руки и стала ходить туда-сюда по проходу, прижимая его к груди.

– Ну-ну, ты что.... Ты был таким молодцом, не кричал, не плакал, ну ты что, ну, ну, ну, тише... Тише...

Поезд тронулся.

103.

– Ну теперь-то можно поспать, – сказала она удовлетворенно, когда он наконец успокоился. – Мм. Кресла тут не очень удобные.

– Это да.

– Долго ехать?

– Часа четыре. Пять.

– А потом на другой поезд?

– Да. – сказал я задумчиво.

– И мы будем ехать на поездах, пока не доедем до края земли? Переходить с одного в другой?

– Да, – сказал я опять, и посмотрел в окно, где летели поля. – Примерно так. Теперь все.

– Все? – переспросила она.

Глаза ее говорили – у нас нет почти никаких вещей. У нас он, маленький и беззащитный. Что мы будем делать, говорили ее глаза. Что мы будем делать, потому что только что мы оставили позади все, что имели, и отправляемся теперь туда, где не имеем ничего. Мы только две фигуры, примостившиеся на самом краю листа, два туриста, которые в полуденную жару зашли в придорожное кафе. Только никто не знает, что у них нету дома.

– Все, – повторил я.

Я смотрел в окно и думал. Я знал, что те, кто будет меня искать, кто уже ищет, остаются в прошлом. Я знал, что город все-таки отпустил меня, выпустил из пальцев, хотя до последнего в это не верил.

Как иногда передергиваешь плечами под пальто и выходишь из чего-то, проходишь сквозь, и только потом замечаешь, что оно кончилось. Так кончается иногда горе – тебя незаметно выносит на берег, и ты лежишь, хватая воздух ртом, и слаб шевелишься в полосе отлива.

Ничего не было за нами. И, когда мы будем переходить из одного поезда в другой, а поезда будут шуметь по рельсам, качаться, никак не кончаться, никогда не будет кончаться место на земле, никогда не будет кончаться место на шахматной доске, и с нее невозможно будет упасть. Никогда не будет кончаться место, куда мы могли бы пойти.

Раньше я думал, что у всего есть граница – у нас с ней есть граница, у города есть граница, у моей жизни есть граница. А потом я стал думать, что границы всего на свете находят друг на друга. О чем бы ты ни думал и где бы ты ни жил, оно всегда касается чего-то другого, а то, в свою очередь, касается еще чего-нибудь.

Я смотрел за скользящие за окном поля.

Не могу дождаться, пока выйду с платформы, держа ее за руку, и его тоже – ему к тому моменту будет лет пять, наверное, и он будет выкрикивать слова, которые точно нельзя говорить на публике. И не будет помнить ничего из того, что сейчас было. Ни дом-колодец, ни пятый этаж, ни подслеповатое небо. Ни запах города. Запах города останется только во мне.

И я не могу дождаться, когда выйду с платформы.

Не могу дождаться, когда сделаю свой первый настоящий шаг.

Люба МАКАРЕВСКАЯ

Небесные провода

Кровь вытекает
из меня
заполняет
собой
всю комнату
все пространство

Когда я смотрю
сцену в «Часах»
где
Кларисса/Стрип
рыдает на кухне
она говорит:
– У меня было
одно лето
с ним.

У меня с тобой
было три
лета

Не слишком ли
физиологичным
становится
мое письмо?

Не слишком ли
физиологична
смерть?

Когда мы
жадно
смотрим
на нее
в глазах
мертвой
птички

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах «Дружба народов», «Транслит», «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», «Волга» и др. Вошла в шорт-лист премии Bookscriptor в жанре «современная проза». Автор нескольких книг стихов и прозы. Стихи переводились на испанский, итальянский, польский и английский языки.

Я думаю
как вспыхивает
предвесенняя
дорога
саврасовский свет
зимний овраг

Горизонт
прежде чем
погрузиться
во тьму
потерять
в ней
свое тело

И чем
стану я
когда потеряю
тело?

Частью
пустоты
частью
языка
или только
слюной
на твоем
языке.

***

Мне всегда хотелось
написать
свидетельство
выжившей
и чтобы ты
прочитал его

Раньше чем
механика смерти
коснется тебя

Ее усердие
стирающее
сирень
и все языки
кроме
голого языка
скорби.

***

Пазолини
и какая
горькая ласка
между нами
словно
на вилле
отвратительного
герцога

Если я
рождена
для твоих
рук
в этом
мраморном
дворце
весны
и смерти

То скажи
зачем мы
миру?
брошенные
на доски
как священные
животные
распятые
от шерсти
до самого
алого сердца.

***

Можно ли
жалеть
об опыте
любви?

Голова
вся
в кудрях
и ужасе
заглядывает
в окна.
А тело?

По окрестностям
белое белое

лицо
Мадам де Ламбаль

Кто платит
большую
цену –
кто любит
или кто
видит?

Расскажи
мне
стирая
мое присутствие
в мире
языком
словно могилу
снегом.

***

Из каких
недр
ты собрал
эти волосы
кожу
обветренную
русским морозом
алые губы
песенку
про Рио-Риту

В огне
моей памяти
на ее
подкорке
в голубом
чулане
детства

И крошится
мир
как крошится
снег
когда Медея
входит
в пустую
комнату
горящую
от желания.

***

Спят любовники
и кожа
их спит

Спят снега
и вой
их спит

Тихо смерть
в санях
несется
и горит

Все хрусталь
кроме
того как
дышу
тебе в лопатки

Дальше
взрыв
конечно
и разведенные
по углам

Слова
причастия
тела
их память
друг
о друге

***

Мне нравится
только лежать
когда я легче
перышка
мертвый
солдатик
воробушек
синичка

Что я
такое?
позвоночник
грудь
глаза

не понимаю
свой пол
свой биологический
вид

Знаю только
что я впечатана
в снег
в смерть
и легче
любого
обещания
исчезаю
из мира.

***

Множество
наших мертвых
мы носим
в нагрудном
кармане

За секунду
до сна
пробуждения
они приходят
к нам

Там где
сходит
снег
как одежда
кожа с костей
ты видишь
голую землю
как мой
позвоночник

И длинное
эхо смерти
висит
в заряженном
птичьем
воздухе
тянется
между нами
небесными
проводами.

Катя СИМ

ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКАНОВ

Повесть

Глава 1

Карл Ельевич рассказывал, как тысячу лет назад, в Персенбурге, в католической купальне рухнул потолок.

Илья мыл ноги в алюминиевом тазу. Взгляд его утыкался то в деревянные балки, то в безволосый живот Юрика, в мягкой ложбинке которого лежала Софина голова. Закончив, Илья вышел из парной в выстуженный предбанник, закутался в край занавески и прислонился к дверному косяку.

Всё-таки не показалось – началось. Луна растёт, становится больше и ярче каждые сутки.

Илья жил на даче в Рождествено с апреля. Юрик, его бывший одногруппник, обитал здесь третий год и никогда не ходил за ворота – даже за водой до колонки. А когда приезжали Софа с Карлом Ельевичем, за ними, как за баржей – чайки, слеталась толпа. Илья в такие ночи не спал – лежал с закрытыми глазами, пока за стеной шумели голоса и звенела посуда. Сейчас, к началу сентября, почти все гости разъехались. Остались две женщины – они здесь были весной; имён Илья не знал: мужчины звали их «дамы», а спросить самому Илье казалось чем-то непозволительным. Бабушка Эльза никогда не задерживалась – привозила на катере хозяев дачи, выкладывала пакеты с продуктами и торопилась уехать.

– Нехорошо задерживать лодочника, – говорила бабушка Эльза.

Ветряные трещотки молчали. Самое время для сна – но Илья не мог лечь, не узнав, увезёт ли его Карл Ельевич в город утром. А гости, похоже, собирались шуметь до рассвета. От свитера Юрика, висевшего в предбаннике на гвозде, пахло овсянкой и солёной тканью, которая долго лежала. От этого запаха Илье вдруг стало спокойней. Был ли запах на самом деле, или Илье хотелось, чтобы свитер пах именно так?

– Во время войны в Японии было довольно много сообщений о странных смертях. Причём все – исключительно в городах с развитой инфраструктурой. На телах людей вмиг проявлялись рваные раны, как от звериных когтей. Несколько очевидцев сообщали о пантере с тигровыми полосами – она проступала из воздуха, замирала в метре от человека – и тот падал замертво.

Илья вернулся в парную. Карл Ельевич рассказывал свой вариант перевода истории из «Торговцев» Надина Шетти, наверное, для двух «дам» – потому что и Софа, и Юрик его слушали по несколько раз за неделю. Воздух парной обжигал. Рука Ильи замерла у занавески.

– Можно? – спросил Илья Юрика, и не надеясь, что тот ответит. Обитатели дачи с ним почти не разговаривали, но будто любили. А Юрик – не любил.

Катя Сим родилась в Самаре в 1991 году. Стихи публиковались в журналах TextOnly, «Цирк "Олимп"+TV», «Флаги», на сайте «Полутона», портале «ГРЁЗА», в антологии «Воздух чист… Книга русской и французской поэзии» (Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2018), в альманахе «Чёрные дыры букв», в поэтической антигазете «Метромост» (Нижний Новгород), самарских изданиях. Куратор региональных литературных акций. Лонг-лист Премии Аркадия Драгомощенко (2019). В «Волге» публиковались стихи (2022, № 1-2).

– Я думал, Строителям не бывает жарко, – Юрик дёрнул занавеску так, что часть колец слетела.

До конца света оставалось шесть дней, и даже если получится доделать скафандр по записям Главного – Илье всё равно нужно отыскать мастерскую. Он только надеялся, что мастерская – в Самаре, а не где-то ещё.

– Может, мы лучше возьмём рыженького? Можно? Ну, пожалуйста!

– Нет, Софа, его, к сожалению, не можно. Юрик тут живёт.

Карл Ельевич появился на собственной даче только через неделю после того, как бабушка Эльза в апреле привезла Илью. До того у Ильи, даже с помощью Главного, никак не получалось вспомнить лица бывшего доцента кафедры философии, хотя они с Главным даже закончили первый курс в СаГа и собирались с Карлом Ельевичем издать совместную книгу с двумя разными переводами «Торговцев». В сарае он отыскал коробку с журналами – в подшивке рецептов торчала закладка-газета – на Илью половиной лица смотрел сердитый, седой, полный в щеках мужчина, а внизу крупными буквами было написано «Ель». Трогать чужие книги, кроме пачки самиздата с трактовками «Торговцев» за авторством Юрика и Карла Ельевича, Илья опасался, но в конце марта у него всё же получилось, не без волнения, вынуть газету – сердитый оказался, как и предполагал Илья, бывшим президентом по фамилии Ельцин. Илья не стал заново придумывать, как выглядит Карл Ельевич, и с тех пор в мыслях о нём всё так же всплывал портрет Ельцина, только с надписью «доцент Карл Ельевич».

Настоящий доцент был худой и сутулый, с листьями от веника на груди, рукой в гипсе и длинными перечными кудрями, липкими от мёда.

Софа была некрасивой будто специально – блестящий прыщавый лоб, глаза навыкате, широкий рот со смазанными и обветренными губами; подбородок Софы свисал, как у цыплёнка.

– А он точно-точно Строитель? Никогда мне не нравился, – она ткнула пальцем в Илью, – Обезьяньи руки и подбородок. И он слишком огромный, метра два точно, а у нас небольшой дом.

Под взглядом Карла Ельевича Софа неожиданно смутилась и замолчала, поудобнее устраиваясь на животе Юрика.

– Может, есть какой-нибудь другой Строитель?

– Только этот, – в Илью опять ткнули пальцем.

– Но, Карл Ельевич! Какой из него Строитель? Илья, скажите, вы кушаете по-человечески? – она повернулась к Илье.

– Нет, – осторожно сказал Илья, ведь он не мог знать наверняка, ест ли Главный, когда занимает его место.

– Но спите? Мы все видели, как вы с закрытыми глазами лежите, но кто знает, вдруг спите, а не дело делаете.

– Не сплю, – и ведь почти не соврал.

Сознание бережно хранило отголоски воспоминаний о человеческих снах, где Илья был капитаном космического корабля, бегал в булочную за половинкой ржаного, плавал в аквариуме сквозь резиновые трубки и погибал с армией у стен Города Фей. Сейчас, во время того, что называется сном, одно тело, покинутое сознанием, оставалось в постели, а тень другого перемещалось в мастерскую, где ждал своего часа скафандр.

– Бабушка Эльза считает, что Илье лучше остаться на даче, – сказал Юрик.

– С каких пор эти вопросы решает бабушка Эльза? У неё есть для этого компетенции? – рявкнул Карл Ельевич.

Лучше бы они поговорили об отъезде в город наедине, но возможности не было. Он боялся, что Карл Ельевич потребует объяснить трактовки Шетти или продекламировать тезисы – без Главного он бы запнулся на первом слове. Но Карл Ельевич спрашивал, хорошо ли с ним обращаются, где Илья спит и как переносит утренние прогулки. Илья очень хотел отсесть от него подальше, потому что изо рта Карла Ельевича пахло чем-то кислым и старым, как из плохой банки в погребе. Он отвечал покорно, думая – а вдруг Юрик или бабушка Эльза уже сказали правду? Вдруг Карл Ельевич разочаруется и передумает его забирать в Самару? Юрик вот разочаровался. Юрик

и бабушка Эльза вышли на него как на первого переводчика и интерпретатора Надина Шетти, а переводил и трактовал тезисы Главный, который в последние месяцы появлялся слишком редко, чтобы Илья мог сказать хоть что-нибудь вразумительное.

Но Карла Ельевича Илья вместо Главного будто бы не смутил – он пообещал, что завтра к вечеру за ними приедет катер.

***

Илья лег на постель, не снимая штанов и толстовки. В спальне, забитой матрасами, было привычно тесно. Он закопался в одеяло с головой и попытался заснуть, чтобы успеть хотя бы полистать схемы. Едва Илья взял записи со стола, как его разбудила возня. Рыжий Юрик, пыхтя, перекатывался по развалам матрасов и тёрся конопатым животом о живот Софы. Это, конечно, называется сексом, вспомнил Илья. Перемешиваясь с некрасивой Софой, Юрик дурнел сам: его строгая полнота плыла и дряхлела. Нос и щёки его надулись и сделались вишнёвого цвета.

Назавтра Илья, Карл Ельевич и Софа уже плыли по Волге на катере до Самары. Карл Ельевич сразу скрылся в кабине у лодочника. Илья уткнулся лбом в лавку на палубе, пытаясь одновременно спрятаться ниже и вытянуть шею, пытаясь хотя бы взглядом ухватиться за берег. Софа молчит, катер качает – вот-вот перевернётся, и он умрёт. Единственный шанс спастись – держаться за твёрдую синюю перекладину. В горле сдавило, тошнота подступила к языку, пальцы сами нащупывали шершавую древесину лавки, ноги елозили по мокрой палубе в поисках опоры. Главный не появлялся больше полугода. Илья был совсем один.

Никто не вышел его провожать, даже Найда, заволжская лохматая дворняжка. Найда каждый день забегала на участок, выпрашивала остатки ужина и позволяла себя гладить и трепать по бокам. Ещё весной Илья соорудил ей кормушку, прикрыв от непогоды старой фанерой. Перед отъездом он отломал кусок фанеры и спрятал в карман потёртых спортивных штанов.

– Могли и перелететь, – сказала Софа, и от её голоса страх и тошнота тотчас отступили, – Вы сами писали в трактовках, что Строители умеют летать. И Карл Ельевич тоже так полагает, – она вытянулась на лавке и уткнулась Илье в плечо. Ветер трепал Софину косичку, сальноватые волосы лезли ему в лицо.

– *«Избегай леса, гор, и большой воды»*, – повторил Илья пятый тезис. Мотор взревел, и катер поплыл быстрее. Илья вцепился в лавку, но не опустил голову, продолжая всматриваться в убегающую полосу острова. – Строители – точно умеют. Но у меня пока ни разу не получалось.

– Цитируете Шетти! Это замечательно. Хотя бабушка Эльза и Юрий Михайлович считают, что делать скафандр – это неправильно и что Вы что-то намудрили с толкованием тезисов. А вот Карл Ельевич полностью Вас поддерживает.

Через пять минут Илья сбежал в кабину – вечернее солнце оказалось злым. Софа осталась на палубе. С каждым мгновением Илья чувствовал, что мастерская становится ближе. Когда катер причалил, он был уверен – скафандр по эту сторону реки.

В половине восьмого киль катера врезался в мокрый песок. На волнорезе толпились люди с рюкзаками, а рядом лежала огромная чёрная собака. Она растянулась на бетоне и высунула длинный розовый язык. Вдруг из толпы со свистом вырвалась искра и хлопнула над головами. Илья и собака подскочили в один миг, и Илья тут же прижался к Софе и Карлу Ельевичу.

Илье купили фисташковый рожок у лоточницы напротив «Пивзавода», а потом усадили в такси и привезли в дом – деревянный, с облупившейся голубой краской, с глухим забором, и уложили спать.

Глава 2

Илья открыл глаза и обнаружил себя лежащим на тёмно-зелёном спальнике с подкладкой в красную клетку. На полу валялась тетрадка, которую он выронил из рук, когда его разбудили

вчера днём. Лампочка под потолком широкой и единственной квадратной комнаты мерцала и потрескивала.

Жёсткий скафандр, почти законченный и выкрашенный в ярко-оранжевый, стоял на овощном паллете в углу комнаты. Он крепился к грубо сделанной деревянной арке, похожей на дверную коробку, за рукава и сапоги. Илья с облегчением отметил, что люк в спинке скафандра закрыт. Вдоль стены тянулся железный стол с десятками ящичков, заваленный отвертками, пилками, трубками и обрезками тонкой тканевой фольги. Рядом был стеллаж с книгами и тетрадями – какие-то слова были выведены старательно, хотя чуть напряженно, другие было вовсе не разобрать; но и те, и другие к концу строки сваливались друг на друга, как домино. Над столом висели часы с отколотой минутной стрелкой. Десять минут после полуночи.

Илья встал, подошёл к окну и начал сдирать газеты, которыми были заклеены стёкла. Нужно было озаботиться этим ещё весной, но его всегда будили раньше. Окно оказалось заделанным выходом на балкон. Илья дёрнул на себя дверцу форточки – ручка осталась в руке, а окно не поддалось. Илья взял со стола плоскую отвёртку, поддел раму и надавил, открыл окно и перелез на уступ с короткой ржавой оградой, едва достающей бедер. Половина балкона оказалась завалена отсыревшими досками, бывшими дверцами и облезлыми ящиками и мешками. В одном из мешков были битые тарелки и статуэтки, в другом – сырой и склизкий комок из книг, к которым прилипла связка маленьких перцев.

А вокруг трещал Океан. Он был пёстрый и злой, с миллионом воронок и вспышек. И он наступал. Всё верно, Надин Шетти так и писал – Океан наступает.

Илья покрепче схватился за раму и запрокинул голову – отсюда казалось, что он – рыбка, смотрит из иллюминатора затонувшего корабля на вихри, которые бушуют вокруг.

Илья сковырнул с подоконника десять копеек и протянул их Океану.

Надин Шетти, 1986. «Когда торговцы белыми ладонями», IIX. Океан» (пер. Главного)

Давным-давно жили на земле великаны. Они были такими высокими, что могли руками ловить птиц, что летали высоко в небесах.

Людей (в оригинале перечисление, populus, log, народ более точно, но – «великаны» здесь giant, хотя обладают признаками народа по контексту. Прим. И.О.) в те времена не было. Да и как они могли появиться, если великану ничего не стоило раздавить человека (populus, мн.ч., могли раздавить человечество), как букашку? (вольности. Dor-bug – жук-навозник. Прим. К.Е.).*

A long time ago there giants lived on the earth. They were so tall that could cautch birds by their hands, that flew high in the sky.

Bahut samay pahale prthvee par diggaj rahate the. unhonne aasamaan mein oonchee udaan bharee.

(Несмотря на то что Надин Шетти – хиндустанец, урождённый бихарец, он провёл на родине всего месяц после рождения, после чего с матерью переехал в Ирландию, откуда, после её смерти в 1989 – в Эшер, Англия. К сожалению, документов о его настоящем имени не сохранилось. При усыновлении получил имя Джеймс Оливер Мерсер. Единственный и любимый приёмный сын домохозяйки Аниты Мерсер и Зельмана Мерсера, директора Эшерской младшей школы. Прим. К.Е.)

Судя по всему, целый корпус поэм Шетти были написаны на английском и пословно переведены на некое подобие хинди, скорее всего, с помощью онлайн-переводчика. В биографии Шетти огромное количество белых пятен, но в доказательство того, что Шетти не владел хинди, можно привести отрывок из письма к Анне, его школьной подруге (пер. Илья Обитин).

Я разозлилась, получив эту записку, мы тогда здорово поссорились. Спустя годы жалею об этом, но теперь ничего не поделаешь. Но вы ее почитайте, она правда противная.

(Facebook, личная переписка с Анной)

Я смотрю на провалы, на то, как прорези света падают в твою кожу и рассыпаются в ней. Ты рассказывала, твоя прабабушка работала в доме терпимости – и я завидую тебе, ведь ты знаешь свою историю и хранишь во вздохе шепчущую черную мать – она сидит в поле и обтирает лоб тря-

пищей, смоченной слюной. Мои мучители не дают мне ни моего языка, ни моего цвета – пока мой народ гложет глину, я одет в английскую плаценту бесплодной домохозяйки. Библиотекарь, старый Эдди, не даёт мне книжки по хинди – отчим запретил, я должен учиться французскому, как мои однокурсники. Что ж. С каждым Jamais, вылетевшим из моего рта, Сент-Девид охватывает пожар – ведь времени нет. Jamais – и форт загорается в сто, тысячный раз – столько, сколько я пожелаю.

Лампочка затрещала и хлопнула. Илья, сглотнув – давно он не делал этого, да и не был уверен, что в этот раз получится – перегнулся через перила балкона и погладил то, что сейчас было очертаниями ближайшей воронки. В этот раз воронка сопротивлялась сильнее обычного – он едва смог ухватить вязкий, будто вымученный цоколь новой лампочки-груши. Она, и правда, походила на сморщенную, кособокую грушу, – такие дают старые, передержанные деревья.

Поменяв лампочку, он торопливо заклеил окно, провожая монетку – та застыла у вертикального берега, вдруг резко качнулась, блеснула ребром и унеслась, подхваченная бегущей воронкой, крошечной, будто кухонной.

– Будет ли лампочка работать?

Главный бы точно рассердился, если бы услышал бормотание Ильи. Конечно, она светится. Иначе просто и быть не может – с подарками Океана.

Работал Илья только во время сна. Перед работой он обязательно не меньше чем полчаса читал записи Главного – схемы по скафандру и переводы и трактования «Торговцев» Шетти. Судя по записям, собирать скафандр Главный начал два года назад, в октябре две тысячи шестнадцатого года.

Илья перевернул страницу. Уставился на лист в клеточку со схемой гермошлема и тщательно прорисованными гофрированными трубками. Смял.

Илья не понимал большую часть написанного. Не понимал – даже с такими аккуратными картинками. Неужели это действительно писал он сам?

Часть шурупов, гаек, отвёрток, прокладок были подписаны и аккуратно лежали по баночкам и коробкам. Запасные трубки и шланги – в герметичных пакетах, в больших ящиках. Но многое было просто свалено в кучи по ящикам – обитатели дачи всегда будили Илью раньше, чем он успевал разложить всё по местам после работы.

Илья был зол на Главного. На того, первого, Илью. Главный думал, что предусмотрел всё – кроме того, что скафандр придётся доделывать не Главному, а тому, что от него осталось – глупому, маленькому огрызку.

Долго злиться Илья, конечно, не смел. Он поднял тетрадь, поставил на стеллаж и подошёл к углу, служившему кухней.

Илья присел на корточки, открыл крышку голубого чайника и понюхал – вода протухла, хотя Илья вновь не понял, есть запах или он только его вспоминает. Рядом, на электроплитке с двумя конфорками лежала коробка чая в пакетиках и банка кофе. В углу стояли две коробки с говяжьей тушёнкой. Если бы он смог вынести её из мастерской, отдал бы половину бабушке Эльзе – она о них много заботится, и на свою пенсию покупает продукты.

Илья набрал в чайник свежей воды. В раковине обнаружилась тарелка и ложка – единственный столовый прибор в мастерской. Ножей и вилок не было – как минимум, Илья так и не смог их найти.

Чайник не успел закипеть. Илья насыпал кофе в кружку прямо из банки и залил тёплой водой, мутной, как запотевшее зеркало. Пыльный вкус даже не задержался во рту. Может, чувствовать вкус – привилегия первых, или, хотя бы, не спящих? Или второе тело – не совсем настоящее, и оно нужно только для того, чтобы собирать скафандр, пока основное – спит?

Илья поёжился. Хорошо, что Главный не слышит, что он думает о еде и других пустяках, а не разбирается, как присоединить кислородный баллон. Главный Илья был бы им недоволен.

Илья вернулся в комнату, взял со стеллажа пузатую тетрадь, похожую на цветастую больничную карту. Записи ручкой шли вперемежку с вырезками из газет и журналов и распечатанным на принтере текстом.

Юрик на даче не ругался и не шпынял Илью, только когда заставал его за чтением «Торговцев».

«Неправильно ждать инвалидом. Береги своё тело. Только вынужденно входи в машины; срезай волю чужого случая. Избегай леса, гор и большой воды – всё, что больше тебя, тебя и сотрёт».

Илья и берёг. Луна упадёт восемнадцатого сентября, в девятнадцать тридцать два. Луна упадёт, и тогда populus поглотит Океан Наступивший.

По расчетам Главного, скафандр должен был быть завершен к середине мая. Сейчас – двенадцатое сентября. Илья боялся, что не успеет закончить его за несколько дней.

Позавчера он, наконец, разобрался с герметиком и промазал швы на скафандре. Настроил регулятор давления. Через два дня останется нанести свинцовую сетку и обшить гермошлем фольгой. Главный сделал пометку: «от ветра». Будет ли в Океане ветер? Присоединить баллон – и, наконец, всё.

Илья погладил себя по шее, потом по щекам, потом – по рукам, по каждому пальцу, и только тогда успокоился. Высунуть кончик языка и прикусить, а указательный и средний пальцы сложить в ложбинку на горле (во сне – без пульса).

Часы показали половину второго. На даче Илья пытался спать днём, урывками – но днём его в любой момент могли разбудить. Днём что-то делать было опасно, поэтому днём в мастерской Илья только читал. Что если не успеть выдернуть из розетки паяльник или выключить воду? Илья бы не стал рисковать – ни пожаром, ни разоблачением, если ненароком затопит соседей. Они были там, точно был дворик с качелями и песочницей, окно напротив с одеялами на верёвках. Сон скрывал их от взоров Ильи так же, как скрывала явь от них Наступающий Океан.

Соседние дома были старой постройки – такие могут быть только в центре, недалеко от больницы Пирогова, хоть это он знал, и это должно сильно облегчить поиски – ведь Илья никогда физически не был в своей мастерской.

Через мастерскую неторопливо прошла Софа в халате с полотенцем на голове. Она была почти невесомой, прозрачной; прозрачность шла Софе, она делала её интереснее. Запахло тушёной капустой. Софа прошла сквозь стену рядом с окном. Раздался глухой всхлип – и будто бы снизу. Заиграла неприятная музыка. Софа снова вошла в мастерскую сквозь стену, держа в руках две бледно-салатовых супницы.

– Илья, Вы капусту хотите? – Софа включила свет.

Рывок. Он открыл глаза, ощущая себя карандашом, который грубо швырнули в пенал.

– Давайте.

Он бы всё равно не заснул.

Илья лежал на диване. Колючее одеяло без пододеяльника болталось в ногах. Комната, в которой его вчера поселили, была длинной и узкой. Бумажные обои местами отходили от стен, но это ничего – в его мастерской обоев вообще не было. На потолке, со стороны окна, от угла расползалось коричневое пятно. Стул, диван, лакированный двустворчатый шкаф с зеркалом на дверце – для Ильи, привыкшего спать на полу последние лет десять, мебели было слишком много. Илья заметил, что под шкаф подложена книжка. С потолка перед диваном низко свисал оранжевый бумажный плафон. Софа пригнулась, нырнула под плафон и уселась Илье на голенища.

– Можно музыку выключить?

– Это же Цой, – Софа грубо всунула ему супницу. Есть обычную еду Илья, конечно, не мог, но супницу взял. Вдруг Софа разозлится, если не взять? Софа стянула халат с плеча и оголила правую грудь. – А вы, Илья, разве «Кино» не любите?

Она оголила вторую грудь, но медленней и будто сердито. Грудь была длинной, со смазанными сосками.

– Илья, а вы можете сделать меня Строителем?

Илья не мог. Второй тезис запрещал спасать других. Но ведь Шетти, когда придумывал эти тезисы, не был знаком с Софой. Её, некрасивую, было жалко.

Софа, не дожидаясь ответа, навалилась на него всем телом и уткнулась шеей Илье в лицо. Илья не без усилий отставил супницу на пол и укусил Софу. Посасывая ранку, он думал, что спа-

сти Софу было бы правильно, но спасать нужно как бы не до конца. Слизывать её кровь оказалось несколько обременительно. Илья с интересом пожамкал одну из длинных грудей. На ощупь – носок, в который насыпали гречки. Софа сидела на нём верхом, а Илья недоумевал, как же так получилось.

– Карл Ельевич спит, – прошептала Софа и начала перебирать волосы на груди у Ильи.

Это он зря спит, подумал Илья.

– Кстати, вы похожи на грустную мышь. У вас глаза такие, близко посаженные. И снулый нос.

Его гладили по плечам в россыпи серых веснушек. Илья вытянул голову и заглянул в зеркало. Зеркало отразило его дряблый живот и мягкие, губчатые ягодицы. Софа и его сделала некрасивым.

Из-за стены раздался стук, такой глухой, будто стучали через подушку.

Сбросив Софу, Илья сел на кровати.

– Не обращай внимания, это на кухне, – Софа вновь попыталась залезть на Илью, но тот выскочил в коридор.

– Не топай! – Софа побежала за ним. – Полы скрипят! Карла Ельевича разбудишь!

Илья стукнул по выключателю и толкнул дверь, оклеенную полосатыми обоями.

На полу, рядом с ведром и швабрами, сидел подросток – девочка или мальчик? – в спортивном костюме, держа ложку и опустевшую супницу. Лодыжки были закованы в кандалы, цепь от которых шла к дальней стенке кладовки. Подстилкой служила зимняя куртка. Вторую, жёсткую и безразмерную, подросток примостил за спину, сидя в ней словно в пещере.

Илья схватился за лоб. А ну как и его закроют в кладовке? Может, Карл Ельевич тоже, как и бабушка Эльза, вдруг решил, что скафандр последователям Шетти ну совсем ни к чему? И ведь действительно – за все часы, пока он в Самаре, они ещё ни разу не говорили о Тезисах... Главный бы разобрался сразу. Он был умный, не то что Илья.

– Ой, точно, – Софа пробежала взглядом по полкам и повернулась к Илье, – покормить – покормила, а воду забыла.

Она ушла на кухню и вернулась с пластиковой бутылкой.

– Пей осторожно, вода из холодильника, – Софа протянула подростку бутылку и потрепала его по голове. – Долли, поздоровайся. Это дядя Илья. Он будет жить с нами.

Подросток кивнул.

– Смотрите, какой молодец, – похвалила Софа. Куртка-пещера напомнила Илье картинку с вертепом – он видел такую в одной из книжек в доме на острове. Вспомнив католиков, он бросил взгляд на потолок. На вид крепкий, но кто его знает.

– Почему ты в кладовке? – спросил Илья и тут же притих – вдруг спрашивать не разрешается.

Подросток сделал несколько быстрых жестов – будто вязал на спицах; сложил руки в домик над головой и кивнул. Софа нахмурилась.

– Плохо! Илья, вы поняли, что Долли имел в виду? Нет? Карл Ельевич узнает, какой ты лентяй, – сказала она и повернулась к Илье. – Понимаете, у Долли нет никакого права произносить слова. Каждое слово, – она строго посмотрела на Долли, – нужно сперва заработать.

– Заработать?

– Карл Ельевич считает, что детям слишком легко достаются слова. Вот, например, стул и солнце. Они не понимают связи между коробком спичек и слишком большими туфлями.

Из комнат донёсся храп. Илья поёжился. Он надеялся, что храпит Карл Ельевич, а не другой подросток, например, с антресолей.

– И, конечно, битьё. Все эти законы – Шетти писал, что законы о ненасилии когда-нибудь приведут нас в новый фашизм. Вы так не считаете?

– Конечно, Шетти прав, – сказал Илья.

– Ударьте его, пожалуйста. Вы же не хотите, чтобы он вырос фашистом?

Илья легко пнул Долли в бедро.

– Теперь ему можно разговаривать?

– У Шетти написано, что он вынырнул в слово в девять лет, но испугался, услышав, о чём говорят птицы – и стал говорить о себе. Другим он рекомендовал – точно помню, сожрать свой язык до четвертого поцелуя. Вам хочется поцеловать Долли?

– Наверно, не хочется...

Конечно, ему следовало бы быть хорошим гостем и ответить, что ему хотелось бы поцеловать её, а не странного подростка из шкафа, но на всякий случай Илья прикусил язык.

– Тогда не спрашивайте ерунды.

Глава 3

С утра в туалете Илья наткнулся на мятый конверт с квитанцией за свет, на пятьдесят пять тысяч семьсот рублей, на имя Карла Ельевича. Конверт лежал в кипе газет в тряпичном кармане с бисерной вышивкой стрекозы, прилаженном к туалетной двери на кнопки. Так Илья узнал, что живёт в Ленинском районе, на улице Арцыбушевской.

Зря Карл Ельевич не платит за дом. А если к Карлу Ельевичу придут судебные приставы и увидят Долли?

Илья засунул квитанцию в задний карман спортивных штанов.

Коридор освещал мягкий утренний свет, доносившийся с кухни. Илья, осторожно перебирая тапочками скрипучие половицы, шёл по спящему дому. Семь утра – на даче все уже час как проснулись.

Прямо за входной дверью начинался коридор, а по его правой стороне шли три спальни**.** Илье постелили в той, что напротив кухни. В дальней обитал Карл Ельевич. На ручке двери в среднюю спальню висел колокольчик, привязанный за тонкой красную ленту.

Илья постучал и приложил ухо к двери. Колокольчик звякнул. В спальне что-то упало с глухим стуком, раздалось недовольное бормотание, но почти сразу стихло. Илья стал стучать дальше. Колокольчик заливался. Наконец, Софа высунула растрёпанную голову в щёлку двери.

– Ночь, – она зевнула лягушкой. – Идите к себе, Илья, – причмокнула после «ль».

Илья вытащил счёт за газ из кармана и немного сбиваясь, рассказал Софе про приставов, не забыв намекнуть, что сегодня ему обязательно нужно поговорить с Карлом Ельевичем по поводу поисков мастерской. Софа забрала конверт и пообещала со всем разобраться, как только проснётся. Потрепала Илью по волосам, провела пальцем по его переносице и захлопнула дверь.

Это был настоящий дверной лабиринт – три спальни, гостиная, – четыре двери, а ещё семь – в кухню, кладовку, маленькую кладовку, душевую, туалет, и две потолочные антресоли. Лестница на второй этаж оказалась заколочена досками. В кухне тоже была россыпь дверец и ящиков, набитых посудой и разномастными ложками.

Книжки в гостиной пахли капустой. Илья погладил шершавый корешок «Приключений Пиноккио». Книжки были расставлены в шкафу по размеру и будто присыпаны сахарной пудрой – белой и липкой.

Он бродил по дому и, кажется, разбудил Софу – а та разбудила Долли и отправила обоих принимать душ, а сама начала готовить завтрак. Долли ступал осторожно, ссутулясь и будто крадясь, не издавая ни звука. Под огромными босыми ступнями Ильи половицы беспощадно покачивались и пищали, как если бы он шёл по живым мышам. Проснулся Карл Ельевич – из кухни, под шкворчание и звон посуды, доносился негромкий спор о булавке – нужно её носить на халате, или ни в коем случае.

Илье казалось, что вода тёплая, но Долли дрожал и скрипел зубами, поэтому Илья выкрутил кран горячей на полную. Душевую заволокло обжигающим паром, только Долли всё равно было холодно. Он стоял на краю поддона, сцепив ступни, покачиваясь и бормоча.

Софа распахнула дверь душевой.

– Зеркало запотеет, – она сердито помахала рукой, разгоняя пар. – Сегодня занятий у Долли не будет, Карл Ельевич ушёл на работу.

С ней был незнакомец в блестящей вишнёвой рубашке и соломенной, не по сезону, шляпе-федоре. Так ли выглядят судебные приставы? Незнакомец поздоровался с Долли и спросил Софу, правда ли, что Илья – настоящий Строитель.

– Правда, – сказала Софа, – только он не летает. А я с детства мечтала летать.

– Если я захочу полетать, то полетаю с крыши «Терры».

Долли стал бормотать громче воды, бьющей о железный поддон.

– А по губам? – её рука отпружинила. На Долли, наверно, не действуют Софины прикосновения – Долли как был красивым, так и остался. – Опять не промыл голову, – она запустила ему в волосы пальцы и дёрнула. На пальцах, действительно, осталась пена, мелкая, как от супа.

– *Дельфин! Треугольник, полив!* – показал жестами Долли, – как минимум Илья полагал, что он имел в виду именно это.

Ноздри Софы стали большими. Она похлопала Долли по щеке.

– Ничего не понятно. Кира, может, вы объясните, зачем Долли слова, если он ими неправильно пользуется?

От Софиных рук к воротнику Кириной рубашки тянулись по воздуху чернильные нитки-щупальца.

– Мне бы по поводу кухни, – оборвал её Кира.

– Что опять с кухней?

– В вашей части дома она хотя бы есть... Нет, что плиту купили – спасибо, я хотя бы не бегаю к вам по десять раз. Но две конфорки? Я, мать, давно не студент, чтобы так жить. И микроволновку с телевизором нужно поставить. Я десятку плачу, считай, за одну только кровать. Ноутбук – свой, чайник – и тот свой. Стирать к вам хожу – тоже не дело. Вот плюну и съеду в общежитие. Мы же нужны друг другу. У вас – отличный дом, а я – отличный сосед, – он подмигнул.

– Зачем вам телевизор, Кира? Вы только что сказали, что у вас есть ноутбук.

– Иногда нужно просто упасть в кресло, взять пульт и отключить голову. А ноутбук без интернета. Триста рублей занять хотел, на модем положить.

– Могу только сто.

– Мне нужно отчёт до вторника отослать. Отошлю, денег перечислят – и сразу отдам.

– Ну, сто пятьдесят.

– В этом месяце, мать, я могу подать на грант по смене поэтического метода. Я всё расписал – в этот раз метод на восемьдесят тысяч! Не на десятку! Тоже нищебродски, но, если одобрят – построим веранду, как в нормальных домах. А потом я вас покину и к морю, в солнечный Красноярск, – Кира раскинул руки. – Я буду скучать по вам. Только обоснование осталось выслать вместе с отчетом. А то год придётся ждать, чтобы снова подать. Понимаешь? Целый чёртов год! Восемьдесят умножаем на двенадцать, итого девятьсот шестьдесят тысяч; минус двести сорок в год, это я наизусть помню – получится минус семьсот двадцать тысяч рублей.

Софа закусила губу.

– Кира, я этих сегодня к вам отправлю. Эльзе достались билеты в Костёл, а она отдала нам. У нас сегодня, между прочим, юбилей, – добавила Софа.

Кира присвистнул.

– Долли, ты приготовил подарок? – весело спросил он. Глаза Долли стали круглыми, как монетки. Он наклонился вперед, охнув; нога соскользнула с бортика душевой, но Илья успел подхватить Долли под руку. Долли отошёл за дверь и, ссутулясь, обхватил себя за плечи, будто кутался в невидимое полотенце.

– Мальчики, мойтесь. Кира, пойдёмте, – Софа легко подтолкнула его в сторону выхода, – будем кормить ваш интернет.

Илье совсем не понравился голос Софы.

– Но микроволновка нужна в ближайшее время, – сказал Кира перед тем, как они с Софой вышли из коридора в тамбур, прикрыв дверь – голоса стали еле слышны.

Лицо Долли, и так красное от горячей воды, пошло пятнами. Он закрутил краны и откинул с лица мокрые пряди. Вода втянулась в слив – сам Илья бы сделал это чуть осторожнее, придерживая поток пяткой – замечал ли Долли, что трубы всегда звучат неприлично?

Долли стянул со змеевика сразу два полотенца, быстро вытерся одним и бросил его Илье, а сам завернулся в сухое. В коридоре раздался грохот и визг. Софа пронеслась мимо душевой, громко ругаясь и непонятно к кому обращаясь – отвечать Илья не решался.

– Он занимается творчеством? вот пусть им и занимается, а не кухней, и деньги ещё занимает! Дома война со всем, что окружает, всё через жопу, вот это самое! В ванную заходишь – он за тобой лезет, вперёд тебя ногу задирает! Дай то, дай другое!

Долли отвели в кладовку.

Завтракали на кухне вдвоём с Софой.

Несмотря на опасения Ильи, за столом Софа весело болтала и даже положила Илье двойную порцию омлета. Илья сделал вид, что ест, а вот какао с молоком действительно выпил.

– Илья, представляете, – Софа хлюпнула дымящимся какао, – сегодня Карл Ельевич поведёт меня на орган, а я о косяк в прихожей всю левую ногу ниже коленки ободрала, – сказала она, – как назло, на самом видном месте. А хотела платье надеть. Я так редко платья ношу. Как думаете, мне подойдёт платье? Я оденусь и покажу – а вы скажете, только честно, идёт или нет.

Платье Софе не шло.

– Очень идёт, – сказал Илья, разглядывая длинную алую водолазку в блёстках и складки на животе.

Он вдруг представил Софу в своей мастерской. Как она входит в скафандр, покачиваясь, словно медуза в море.

Софа достала из холодильника тюбик и протянула Илье.

– Намажьте.

Он присел, хотя с его ростом это помогло не слишком, и поводил ладонью с зеленой, шершавой мазью по Софиной лодыжке. Софа клюнула Илью в макушку.

– Безобразно, Илья. Где половина волос?

Она выдвинула ногой из-под стола корзинку с овощами, взяла тыкву, похожую на гигантскую грушу, и надела на неё целлофановый пакет. Стянула полотенце со спинки стула и разложила на полу; поставила тыкву на полотенце, открыла бутылку с маслом и полила – пакет сверкал, переливался тысячей крошечных треугольников, кухню заполнил жёлтый – тыква, масло, Софины маслянистые пальцы, которыми она сняла трусы, росинки на кудрявом лобке. Софа села на тыкву.

***

Проём в тамбуре, ведущий в левую половину дома, был заколочен фанерным листом.

Софа шла впереди Ильи. Она опять переоделась в домашний халат с булавкой на нагрудном кармане. Илья не мог вспомнить, была ли булавка ночью. Софа вела Долли, держа стальную цепочку от кандалов за карабин.

Деревянный двухэтажный дом на треть просел. Илья, выходя, пригнулся, чтобы не удариться о косяк – они будто выбрались из подвала. Вязкий запах тушёной капусты остался внутри. Полуденное солнце полоснуло по коже – горячо, но и только, хотя Илья не решился бы выходить днём, не укутавшись.

Взгляд тут же упёрся в глухую стену соседней трёхэтажки. Стена из бурого кирпича поросла диким виноградом – он наполовину засох, кое-где оборвался и торчал неряшливыми клочками. Со стороны улицы асфальтированный двор был огорожен высоким забором; на калитке висел замок. Канареечный, с резными белыми наличниками, дом был похож на пряник. Через двор, от дома к задней ограде тянулись бельевые веревки, почти как за окном во сне, Простыни и полотенца покачивались на ветру. На одной из верёвок тоже висел ковёр. Над оградой вставала стена

из высоченных клёнов – Илья, если бы точно не знал, что дом находится в городе, решил бы, что позади лес.

Софа дёрнула на себя цепь. Долли полетел с крошечного крыльца, зацепил табуретку у соседской двери и растянулся по земле. Софа остановилась.

– Извините, – сказал он, не поднимая головы. В его волосах, до сих пор влажных, запуталась ветка с пожёванным кленовым листком.

– Иди сюда, – Софа раскинула руки и поманила Долли. Долли, чуть помедлив, шагнул к Софе. Она улыбнулась и смахнула ветку с его волос.

В левую половину дома вела железная дверь в рамке из монтажной пены – она смотрелась приклеенной. Может, уже и там, за порогом, проявится Океан? Илья поднял табуретку и вернул на место упавшую с неё тёмную каменную пепельницу в виде головы голубя.

Софа нажала на ручку – было открыто.

В комнате, широкой и светлой, были распахнуты все окна; тюли на леске сдвинуты под самый край. Кровать в дальнем углу усыпана подушками. Трёхъярусная и отчаянно пыльная люстра-торт стояла на подоконнике; единственная голая лампочка висела под потолком. Кухней служила раковина и стол с чайником и электроплиткой с двумя конфорками, такой же, как у Ильи в мастерской.

Шкафа не было – две рубашки, шляпа, полосатый шарф и пальто умещались на дощатой вешалке, прибитой к стене, а бельё низкой стопкой лежало на прикроватном стуле. Стена над кроватью была оклеена плакатами с Майклом Джексоном и красивыми девушками в купальниках.

У входа на коврике стояли две пары туфель – лаковые мужские, с длинными загнутыми носами, и женские, растоптанные и крошечные. К стене, почти у пола, было приделано чугунное кольцо, на котором висел гаражный замок.

Кира качался в кресле-качалке и курил, стряхивая пепел от сигареты в пепельницу, которую держал в руке. Пепельница тоже была точь-в-точь как на входе, с головой голубя, только из белого камня. Маленькая кудрявая женщина в очках потягивалась на ковре, в гнезде из подушек, и тоже курила. У кресла-качалки стояли три бутылки с шампанским. Кудрявая женщина смеялась чуть лающе и что-то быстро говорила, но замолчала, стоило гостям войти.

Из-за дыма Кира казался прозрачным, – если сейчас дотронуться до него, пальцы точно уткнутся в спинку кресла.

– Кира, – Софа хлопнула дверью, – это вы виноваты, – она выставила вперёд содранную ногу.

– Я? – Кира затушил сигарету и всунул голубя кудрявой женщине.

– Это вы меня разозлили.

Кира махнул рукой.

– Разозлить возможно только того, кто сам этого хочет. А синяк смогу залечить. Столбов, мужик, который мне сейчас спину лечит, пару штук показал. Я, конечно, не умею, как он, в одно касание снимать боль. Там всё дело в силе намерения...

– Забирайте, Кира!

Софа пристегнула карабин к кольцу у пола, убрала ключ в карман с булавкой и хлопнула дверью.

– Никогда не здоровается, – сказала Кирина гостья. – Привет, Долли! Много слов выучил? – она привстала с подушек и потянулась. – Его жалко на самом деле, – сказала она Кире. – Я всё время думаю – а вдруг на его месте была бы моя дочь? – она отхлебнула шампанское из бутылки и фыркнула, брызнув пеной на ковёр и подушки.

– Галина, твою мать, – Кира хлопнул себя по коленке. – Бери тряпку и вытирай. И Илье налей!

Галина скорчила рожицу, но тряпку взяла. Илья опустился на край ковра.

Галина взяла со стола кружку, плеснула шампанское, едва успев отхлебнуть лишнюю пену, и протянула Илье. – Одобрили! Не восемьдесят тысяч, конечно. Но и сорок – целая куча денег! Кир, это ведь тот Строитель, правильно? Ему разговаривать разрешают?

– Кто ж ему запретит... Долли, и тебе сегодня можно, пока Софа не видит, – он откинулся в кресле. – Отмечаем!

Илья залпом выпил шампанское. Какое тяжёлое, оказывается, у него было тело – после шампанского стало намного легче. Галина, пролаяв, снова налила ему чашку. Долли молча стоял, прислонившись к стене и сложив руки в замок.

– Долли, тебе шампанское не дам, уж прости, – рассмеялся Кира, – Софа со мной тогда знаешь что сделает?

Галина потянулась к пачке сигарет у Киры в кармане. Кира легко хлопнул её по рукам.

– Тебе жалко? Ты теперь сорок тысяч в месяц получаешь.

Кира накрыл пачку ладонью.

– Сорок – это подачка. Но сегодня я добрый, бери, – он подкинул пачку – Галина поймала её на коленки.

– Что отмечаете? – спросил Илья, удивившись своему голосу – тот будто звучал из другой комнаты.

– Кира – поэт, – быстро сказала Галина. – Шесть лет назад его взяли в государственную программу поддержки.

– С сектантским названием «Зелёная дорога». Почему она, черт возьми, непременно зеленая? В сосновом лесу? И какого черта я должен переть через лес?

– А меня не берут.

– Да там всё просто. Нужно только расписать метод работы, чтобы получать поэтическое пособие. Если метод одобрят – отчитываешься раз в квартал. На что деньги потратил, что написал. Деньги раз в месяц перечисляют. По написанному – смотрят за год. А смету составляют исходя из метода, что указываешь в заявке. Если метод за год не дал результатов – выпинывают. Там комиссия...

– А Кира – седьмой год в программе!

– Ага. Только я долбоящер. Вот Недецкий правильно заявку оформил. И сразу на сто тысяч. Второй год в Адлере загорает, а я в Самаре торчу. Потому что я написал в первой заявке, что собираюсь стать как русские Рембо и Буковски. Пить и смотреть на женские... ну, не совсем, как Рембо. Вот мне и дали десятку. На что написал – столько и дали. Я и сейчас хочу, да только комиссия сейчас не привечает алкооптики. Да и рифму им подавай... Хотя не знаю точно, тут за месяц уже повестка меняется... А я, дурак, тогда обрадовался.

Илья подсел к подушкам. Галина опять наполнила его чашку.

– У меня Руслан получает двенадцать тысяч, – сказала Галина. – А ты зажрался.

– Стоп, какой Руслан?

– Муж мой, Кира. Доброе утро.

– Так был же Тимур?

Галина цокнула языком и хихикнула.

– Тимур был два года назад. Ты каждый раз спрашиваешь. Он – мудак, и отец Ангелины. И он вообще не работал. А Руслан – дружинник. Он – работает.

– Мент? Серьёзно? Нет, мать, ты серьёзно? О чём можно с ментом разговаривать? Ты же поэтесса! Менты, тоже мне... В институте у меня было три уровня деградации – это Егорка, Аркашка и Олежка. Так менты – это Олежка, но в предпоследней стадии. Приходит он такой со службы, и говорит – дай пожрать. Ты ему курицу и сложное стихотворение. А он такой – непонятно. Приходит на следующий день – ты ему мясо и стихотворение средней сложноты. Опять непонятно. На третий день – буйабес и стишок, плохонький такой, про девушку, которая гуляла в саду из роз и плакала над каменным сердцем юноши своего. А он такой – вот это понятно, вот это – хорошо, и уже за неделю готова плохонькая поэма. Часть первая – как девушка гуляла в саду из роз и плакала над невинно убитыми полицейскими. Часть вторая – как полицейский гулял в саду из роз и плакал над невинно убитыми полицейскими. В третьей части все превращаются в розы, стишок снова становится неплохим, а менту опять становится непонятно. И круг этот не разорвать...

– Ага, только мне всю жизнь в лицо плевали именно интеллигентные тряпки, – сказала она, – нет, я тебя в виду не имею. Ты, скорее, исключение, – она задумалась. – А военные и полицейские

как раз ни разу слова плохого не сказали. На руках носили. Цветы дарили. От мужчин мне, знаете, не разговоры нужны. А ваши интеллигенты даже не знают, как доставить женщине удовольствие. Зарылись в книжки и пишут о том, как перекатывать камушки. И выясняют, у кого камушки интереснее.

Илья рассматривал свои коленки. Он вдруг явно ощутил, что за его спиной стоит Главный.

– Порноактрисе Саше, – Кира ткнул пальцем на стену с плакатами, – нужно много качаться, чтобы работать там, где она работает. Так и интеллигенту – нужно много читать.

Илье хотелось поговорить с Галиной и Кирой. Он открыл рот и тут же закрыл – Главный опустил тяжёлую ладонь Илье на макушку.

Телу стало легко. Он не чувствовал больше ковра под собой.

– Илюха, вот ты читать любишь?

Вопрос застал Илью врасплох. Он молча пожал плечами. Главный, может, любил. А Илья читал только схемы к скафандру, и немного «Торговцев».

– И правильно. Вот и я не люблю. Нужно. Но не люблю. Видишь, только одна книга на столе? Марк Косонри. В двадцать седьмом эмигрировал во Францию. Писал исключительно сказки. А остальное – на прошлой съемной квартире. И пару книжек скачал на ноутбук.

– Электронные книги совсем не то!

– Ты мне заявку скинула? Я посмотрю и поправлю. В следующем году точно возьмут.

– Отклонят. Я не вписываюсь в форматы, – сказала Галина. – Я видела, кто там председатель отборочной комиссии. Константин Мухин. И я не вынесу этих ваших комиссий. Письменно – было бы можно, но так... А если меня станут ругать? Я им отвечу. Ой, как отвечу. Потому что это меня ругают, а не просто стихи... как вы можете разделять? Ведь стихи – и есть я. Я пишу, что чувствую, не пытаясь что-то доказать ни читателям, ни комиссиям... Но читатели всё равно меня благодарят. Сами находят и благодарят. Я не собираюсь подстраиваться и писать в заявке неправду. И мне плевать, насколько мои стихи звучат ново, если от них люди смеются и плачут... Вот сейчас я пишу «Песню русалок». Это поэма о женщинах.

– Балда ты, мать. А про русалок лучше Марка Косонри никто ещё не писал. В «Морском дереве», например, которое пожирало русалок.

– Да что мужчина может написать про русалок? В моей поэме русалка сидит на дне и считает зёрна граната.

– Гранат растёт в море? Полная чушь.

– Это не чушь! Я же говорю, зёрна граната! И она их не ест, а нанизывает на бусы!

– С косточками?

– Кира, ты идиот? Илья! – Галина вдруг вскочила, уронив кружку – но Кира на этот раз ничего не сказал. Кира сам застыл в кресле-качалке и, кажется, не дышал вовсе. – Ты же летишь!

Илья опустил глаза – он и правда парил в метре над ковром, поджав под себя ноги. Илья обернулся – Главный исчез, а Долли всё так же молча стоял, прислонившись к стене, и хмурился – с его девочкиным лицом это смотрелось забавно.

– А Софа утверждала, что Илья не летает, – Кира вмиг оказался рядом. Он поводил ладонью под ним, пару раз задев по ногам. – Он лёгкий, такой лёгкий, будто облаком вмазался!

– Это надо отметить, – Галина нырнула под письменный стол и вытащила коньяк.

Илья час катал хохочущую Галину по комнате, хотя, может, и дольше, – Кирины настольные часы шли немного медленнее, чем нужно. Галина висела на нём, обхватив шею руками. Илья в очередной раз оттолкнулся от пола и взмыл под потолок. Галина болтала ногами, хотя Илья предпочёл бы, чтобы она не делала этого – он терял равновесие и пару раз едва не расшибся. Кира растянулся на ковре, как кот, тянул из чашки коньяк и улыбался. Кира не переставал улыбаться, даже когда Галина зацепилась за белую тюлевую занавеску, сорвала её и надела на голову.

– А ты, Илюха, – спросил Кира, когда Галина у самого пола спрыгнула на подушки, а Илья так и остался висеть в воздухе над ним, – как мои арендодатели? Тоже веришь во всю эту чушь про

конец света? Хотя что я спрашиваю – Софья Анатольевна рассказывала, что ты какого-то индусского чудика переводил, переводил, да и сам поверил...

– Поверил, – сказал Илья.

– Я тут по–подумал, – Кира, икнув, поднял указательный палец, – что Анатольевна, похоже, сама не особо верит. Иначе чего сто пятьдесят рублей зажимала, если помирать скоро?

– Можешь не верить, – Илья почти огрызнулся. – Дай выпить, – он пролетел над коньяком, протянул руку и взлетел с бутылкой. Коньяк пах шоколадом, но, почему-то, опять с ноткой капусты. Интересно, он представляет себе эти запахи, или Строители всё же способны их ощущать?

– Что я Анатольевне скажу...

– Да какая разница! – воскликнула Галина. – Она что, указ? – она встала и отобрала у Ильи бутылку. Та оказалась пустой. – Нужно ещё. Пойдем.

– Вместе? Ключ от кольца у Долли у Софы.

– Ну, Долли оставим тут. Он никуда не денется.

– А если денется?

До бара ехали на такси – минут семь, но Илья успел запутаться в поворотах. Кособокие деревянные домики перемешались с ветхими двухэтажными каменками и коробками новостроек. Илья всматривался в мелькающие дома, но чувствовал, что автомобиль удаляется, едет в сторону, противоположную мастерской. Он ёрзал на сидении, пытаясь спросить Киру, куда именно они едут, но не решался нарушить молчание – водитель, лысеющий, лет пятидесяти, смотрел исподлобья, сжимал руль и стучал кулаком по клаксону, выкручивая громкость радио на полную, едва кто-нибудь пытался заговорить. И то и дело косился на занавеску в кудрях Галины.

Кира одолжил Илье пальто пыльного цвета – пальто оказалось мало и стискивало плечи. И рукава были тесные, короче нужного на пол-ладони. Галина замотала Илью своим длинным рыжим шарфом и отдала крошечную серую шапку с косичками и помпоном. Шапка с трудом держалась на его толстых, как проволока, отросших до подбородка, волосах, задираясь на макушку. Солнечные очки – Кирины – тоже узкие, давили на переносицу и за ушами. Илья чувствовал себя великаном.

– Софа как-то упоминала, что Строители могут плохо переносить дневной свет, – задумчиво произнёс Кира, рассматривая Илью.

– Я не сгорю, или что-то в этом роде, – буркнул он в шарф. – Просто днём, от солнца, будет довольно больно. Дело в том, что мы привыкли работать, только когда спим. А спать проще всего ночью.

– Вот мы и не хотим, чтобы тебе было больно, – сказала Галина перед выходом, приподнялась на цыпочках и поправила на Илье шапку, которая тут же снова сползла.

– А ты уже встречался с другими Строителями? – спросил Кира.

– Никогда, - покачал головой Илья. – Я думал, может, Карл Ельевич тоже Строитель, но он об этом не говорит... Но я уверен, где-то они наверняка есть. Не так уж мало людей, надеюсь, читало «Торговцев». Лет десять назад я хотел сделать сайт, посвященный Надину Шетти, но не получилось – побаиваюсь я этих компьютеров. Но у меня был ЖЖ, там я писал про Шетти...

Такси остановилось. Водитель грубо ткнул в панель счетчика. Счётчик показал сто двадцать четыре рубля. Кира, сидевший спереди, обернулся.

– Давай пополам.

– Что? – Галина округлила глаза. – Илью тоже заставишь платить?

– За Илью как раз заплачу. Потому что он наш... в общем, в любом случае, у него по понятным причинам нет денег.

– И у меня их нет! Мы живём на двенадцать тысяч, которые приносит Тимур! Ты знаешь, сколько стоят учебники и тетради? А я не могу работать, мне нужно писать! И меня, в отличие от некоторых, не поддерживает никакая программа.

Кира, тихо ругаясь, всунул таксисту две сотни – сдачи у того не нашлось. Они втроём выбрались из машины. Илью мгновенно обдало тёплым, жгуче-пряным ароматом, напоминающим

запах горчичников. Такси привезло их к кукольному кирпичному городку в башенках и трубах.

– Это пивзавод, – сказала Галина. – Мне нравится, как пахнет солод. Жалко, что готовое пиво совсем не такое.

– Дрянь, – Кира закурил и тут же сплюнул на тротуар. – Мой товарищ из Энгельса говорил, что в Самаре есть три запаха. Это пивзавод, «Шоколадка» и ещё по трассе после Красной Глинки таращит торфом, как из сортира, уже лет тридцать. А я не уверен, какое из этих трёх мест воняет сильнее.

В баре рядом с пивзаводом, «На дне», музыка оглушала с порога. Бар ощущался тесным, хотя заняты были только два столика у окна.

– Сегодня вторник, кто все эти люди? – ворчал Кира, пока заказывал пиво у барной стойки. Он взял кружку светлого и понюхал, почти нырнув носом в пену и сморщился. – Отец, ты краны вообще моешь? – кинул он бармену. – Как в разливайку сходил. Илюха, беру тебе тёмного. Вдруг повезёт.

Илья отпросился в туалет, заперся на щеколду, стянул шарф с носа и умылся холодной водой. Виски пульсировали; писк в ушах начал нарастать. Илья облокотился на крошечную раковину и чуть её не свернул. Он быстро, насколько смог, убрал руки, шагнул назад, поднял глаза и увидел Главного.

Тот смотрел на него из зеркала – такой похожий и такой другой. Илья забегал взглядом по потолку, боясь заглянуть в отражение и увидеть, как Главный разочарованно качает головой. Зажмурившись, он включил воду, вновь сполоснул лицо, открыл глаза и посмотрел прямо перед собой.

Главный смотрел равнодушно. Взгляд его скользил по туалетным плакатам, по картинке с подмигивающей девушкой-ящеркой, а до Ильи ему совсем не было дела.

Илья пропустил момент, когда отражение выпучило глаза и залилось криком. А потом сорвалось и исчезло. В зеркале хорошо просматривалась вся туалетная комната, но больше не было отражения Ильи.

Илья протиснулся в щёлку, опасаясь открыть дверь полностью – нельзя, чтобы кто-то заметил, что он потерял отражение. В баре музыка перекрывала все звуки. Никто из посетителей не смотрел в сторону туалета – значит, крика не слышали.

Кира махнул рукой – они с Галиной заняли стол в самом дальнем углу бара. Илья протиснулся к ним между тесно расставленных тяжёлых столов и стульев. Кира уткнулся в мобильный, пока Галина громко спорила с кем-то по телефону, накручивая на палец занавеску-фату.

– Так, быстро передала трубку отцу.

В углу музыка звучала чуть тише. Кира пододвинул Илье две поллитровых кружки с тёмным пивом.

– Я говорю, приеду – когда приеду. Покорми Ангелину и сделайте с ней историю. Что? Карты. Ты что, карту ребенку не нарисуешь? Руки есть, нет?

Перед тем как сделать глоток, Илья повел носом, надеясь унюхать солодовый запах, как снаружи, у пивзавода. Пиво пахло пивом. Он сделал глоток – голове стало чуть легче.

– Нет, ты посмотри, – Галина потрясла зажатым в кулаке телефоном, – без меня вообще ничего не могут.

– А тебе не надо домой?

– Нет! – рявкнула Галина, закинув телефон в крохотную сумку. – Я не придаток к ребёнку. И не смей начинать.

Илья допил кружку, взял вторую и, пошатываясь, вышел со «Дна» на крыльцо.

Небо, глубокое и синее днём, к вечеру затянули низкие, пыльные облака. Илья снова зарылся в шарф. Солнце щипало переносицу и запястья, но почти что не больно.

Дорога резко уводила вниз, к Волге. В паре шагов от бара, перед окном с надписью «Пиво» толкалась шумная очередь человек в двадцать. Все держали в руках пустые пластиковые бутылки и канистры. Вниз по дорожке тянулись палатки с сушёной рыбой.

Он шёл к реке. Вниз, по пологому спуску, мимо забора из красного кирпича. Берёзы нависали и давали холодную тень, но закончились, едва начавшись, и Илье пришлось петлять между тесно прижавшимися друг к дружке автомобилями на стоянке. Он дошёл до причала, подпрыгнул, перелетел бетонную ограду справа, и несколько шагов пробежал по воздуху, мягко приземлившись на холодный мелкий песок, пыльный и серый.

Его окликнули почти сразу. Он знал, что зовут его, хотя и постоянно забывал свою фамилию, потому что, стоило этому голосу прозвучать, как Главный встал за его спиной и вновь опустил ладонь на плечо.

Глава 4

– Илья?

Он обернулся.

– Вот это ты постарел!

Она тоже была великаншей – ростом с Илью, едва ли не выше. Худая, с темными короткими волосами, в цветочном маленьком платье, похожим на Софин халат; с крупными ладонями и ступнями и длинными пальцами на ногах с голубым облупившимся лаком. В левой руке она держала бежевые туфли, похожие на каноэ.

Он знал, что такое каноэ – это так удивило Илью, что он почти позабыл о великанше.

– Доброе утро! О чём задумался? – она нависла над ним, закрыв спиной солнце, проступившее из-за туч. – Совсем не рад меня видеть.

– О каноэ, – ответил Илья, – Рад, – быстро добавил, пока Главный не успел одёрнуть. – Они как-то связаны с коробком спичек, но я никак не могу вспомнить, извини, – великанша взъерошила свою крошечную чёлку.

– Точно, – она сдула волос. – Ты говорил, кто родился здесь, лет до двенадцати мечтают построить плот и пройти по Волге, как по Миссисипи. После двенадцати – мечтают переплыть её без страховки. Но почти никто никогда не решается.

Илья кивнул.

– Это Саша, – шепнул ему Главный на ухо. – Вы почти десять лет не виделись.

Илья поднялся, стряхнув песок с пальто. Даже босиком великанша была на пару сантиметров выше Ильи.

– Говорил, точно, – соврал Илья и подумал, как, наверное, глупо выглядит в крошечной шапке с косичками. Главный чуть надавил пальцами на плечо. «Только бы не закричал». Илья зажмурился и стряхнул его руку с плеча.

– Извини, –повторила Саша, и Илья вдруг вспомнил, как во время их встреч она извинялась каждые пять минут, – Очень милая шапка. Погуляем по пляжу? Я как раз освободилась с работы, – она нырнула в рюкзак и вытащила мобильный. – Ой, ты страницу вконтакте снёс? Я не знала, прости! Это мило, – Саша фыркнула, снова нырнула в рюкзак, вырвала лист из блокнота на пружине, что-то написала на нём и всунула Илье в карман пальто. – А я сейчас в спорттоварах работаю, – она широко шагнула – её пара шагов почти заменили бы мост через Волгу. – Там такие клёвые штуки. Ты видел настоящий компас? Я в них почти не разбираюсь, но компасы точно клёвые. Ещё крутилки всякие, колёса, гантели... Я не могу работать за компьютером. У меня голова кругом идёт, когда я не могу потрогать то, с чем работаю. Когда разбираю товары в зале, обязательно кручу колёса на подвешенных к стене велосипедах.

Илья разулся и подхватил кроссовки за шнурки. Они шли вдоль берега, ловя на ноги края набегающих волн. Ступни немели – к ним точно привязали по холодному мячику. Наверху, по мощёной набережной, гуляли люди, но сам пляж был пуст – только у буйков плавали, визжа, двое мальчишек, и в кустах у волнореза засел рыбак с удочкой, буханкой хлеба и пластиковым ведром.

Небо затрещало и прорвалось, как простыня. Звук настиг и теперь падал. Илья поднял глаза

и увидел низко летящий самолёт. Главный упал на песок и закрылся руками. Илья мог только надеется, что Саша этого не увидит.

– Самолёт? – как можно ровнее спросил Илья, посматривая на Главного – тот по–собачьи копал песок, пытаясь зарыться. – Над городом? – голос всё-таки дрогнул.

– Недавно сделали дополнительную траекторию на посадку. Так перепугалась, когда впервые услышала.

– *«Как место, откуда я вышел на звук атомной бомбы от раннего мусоровоза».*

Саше понравился Шетти. Она спрашивала, а Илья почти с удовольствием слушал, как Главный рассказывал, что Шетти, издав одну книжку, погиб всего в девятнадцать лет – в Индии. Точно известно, что он прилетел туда пятнадцатого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года, и пытался читать проповеди и притчи на улицах, а через неделю его тело нашли в Мумбаи, в Дхарави, избитое и измученное.

Главный вновь упал на песок.

Саша, кажется, начала мёрзнуть. Она пробежала вперёд по пляжу, пританцовывая, едва не споткнулась о Главного и покружилась на пятачке, оставив вокруг Главного кольцо из длинных великаньих следов.

Главный лежал на песке, прижав руки к бокам, и смотрел вверх, пока белый след от самолёта не растворился в небе.

После он встал с песка как ни в чём не бывало и шагал вровень с Ильёй. Илья старался, чтобы Саша шла ближе к воде, а сам держался справа – отражение то исчезало, то появлялось, и ему совсем не хотелось, чтобы Саша это заметила.

Темнело без звёзд – Океан опустился ниже, почти проявился – пух Сашиных волос касался его крайней границы, за которой вспыхивали и затухали маленькие рыбки воронок. Сегодня он тих. Может ли Наступающий молчать так, как молчат у постели умирающего? Если времени нет, то нет его только для Шетти, Строителей и Океана – сколько же раз Наступающий будет забирать этот пух?

– Мы ему не разрешим, – Главный поравнялся с Ильёй, лизнул в ухо, топнул ногой – и пропал, унося Океан, и пусть Илья знал – они всё ещё рядом, зримое небо над головой покрывали обыкновенные серые тучи – какие Илья и хотел наблюдать.

***

Саша вошла в прихожую, повесила ключи в деревянную ключницу и вышагала из каноэ. В её движениях совсем не случалось углов, но не было и круглых, яблочно-женских перетеканий – дуги шагов, незавершенный круг – полунаклон и чуть поднятые носки, чтобы войти в домашние тапочки, чуть, но не робко, а сколько необходимо, сдвигались ящики в кухне. Холодильник причмокнул дважды, легко – может, так целуют детей, когда те уходят гулять во двор на пару часов?

– Есть макароны, – хмуро сказала Саша.

– И половинка яблока – заметил Илья, она стыдливо о ней не упомянула.

Из дальней комнаты донесся писк и стук, будто по полу гарцевал конь. В кухню вошёл кролик. Правый глаз у него отсутствовал, а уши волочились по полу, как две старые ленточки. Он по-собачьи принюхался, уткнулся Илье в носки, взобрался по специальной дощечке на мягкий стул, а со стула, по такой же дощечке, на подоконник, чихнул и прищурил здоровый глаз.

– Его зовут Помба, – сказала Саша. – Он уже старый.

Их отражения не уходили из темнеющего окна. Если он покормит Сашу, она перестанет хмурится?

Пообещав вернуться спустя полчаса, Илья вышел к ближайшему супермаркету. Длинные тени людей переливались с тенями домов, деревьев и кочками света, и сейчас не было ничего проще сделаться невидимкой – тень кивнула и легла около лестницы, будто послушный пёс; отражение он оставил в слабо освещённом углу витрин.

Два охранника в форме ходили по торговому залу, но Илья для них стал совсем неинтересным – их взгляд опознавал в нём не более, чем комара, залетевшего с улицы. Илья прошёлся вдоль цветных стеллажей, закинул в штанины две курицы, банку кофе и насыпал под свитер целый ворох шоколадных конфет. Уже на выходе из магазина он вспомнил про Помбу, пробрался к стойке с картинкой кота, рассовал по карманам пакетики с кормом. Дважды его задевали плечами поздние покупатели; девочка с тоем на руках выбирала опилки для лотка и наступила Илье на ногу.

Илья замер у рамок, и, чуть помедлив, подался вперёд.

Рамки, конечно, заверещали – охрана бегала мимо Ильи, пытаясь понять, в чём дело. Усталый парень, хмурясь, вглядывался в мониторы. Илья перегнулся через прилавок, взял с полки позади кассира большую бутылку виски, и, уже без страха оторвав пакет из стопки, покинул звенящий, идущий волнами супермаркет.

– Здесь были ракушки, поэтому и получилось плавать – заметил Главный. Тень вернулась охотно, слизывая с шуршащих листьев, опавших на лестницу, цвет.

Илья прошёл арку между домов, низкую и длинную – ветер гулял в ней, точно в трубе. Пищала сигналка авто; неосвещённый двор жил и гудел – Илья прошёл мимо компании на площадке с качелями; мимо стаи собак, спящих на куче песка; у низкого окна первого этажа, опершись пальцами на подоконник, стоял дедушка в белой кепке и негромко разговаривал с другим старичком; его сосед едва высунулся из приоткрытой форточки – Илье сперва показалось, что дедушка говорит со своим эхом на оконном стекле.

Саша жила под небом, на последнем, восемнадцатом этаже. Ступенек Илья насчитал четыреста тридцать две – когда спускался, и четыреста двадцать восемь – когда поднимался. Океан совсем близко – что ему стоит поменять пару-тройку ступенек, особенно если почти никто не станет считать – уже сосчитанному и представленному сложней сделать подкидыша. Курган, который бабушка Эльза звала Царёв, был в количестве двух – один, два, – Илья загнул указательный и средний пальцы. Илья это видел и потому знал наверняка – Софа на даче почти соглашалась, но точно не могла посмотреть – Юрик уверял, что это полная чушь, но это только потому, что он был ответственным за продукты в доме и ему приходилось много считать – банки с тушёнкой, тарелки, ложки – все эти счеты укрепляли только один курган, потому второй и находился в подвешенном состоянии.

Илья выгрузил пакет на стол. Саша, кажется, перестала хмуриться – она убрала в морозильник одну курицу, поменьше, и начала обмазывать большую – макала мизинец в банку с горчицей. У Ильи заныло в паху – резко и пугающе взросло, как он не ощущал много месяцев или лет – он забегал глазами, надеясь спросить совета, но Главный только посмеивался. Пока Саша занималась курицей, он попытался взлететь – и почти свалился со стула. Чтобы отвлечься, Илья открыл пакетик и выдавил кошачий паштет в Помбину оранжевую пластиковую миску.

– Вообще-то ему нельзя корм для кошек, – сказала спина Саши, да так, что от голоса-полуауги вновь потянуло в паху. – Тем более, это паштет из кролика.

Помба ел кролика, и ему было вкусно.

– Шетти описывал случаи каннибализма у индийских кольчатых попугаев, – сказал Главный, подперев рукой подбородок. В «Торговцах» из этого следует двадцать девятый тезис. А всё дело в игре.

Саша включила духовку, вымыла руки и повернулась к Илье.

– Что за игра?

Её глаза не блеснули, только прикрылись.

Кролик перебрался на подоконник и улёгся на влажное полотенце у приоткрытой форточки. Он сыто сопел, то и дело вздрагивая от шорохов за окном.

– Игра двух мальчиков, которые умели вселяться в птиц. Они вселялись в попугаев, играли, и в конце игры один обязательно поедал другого. Они играли до старости, и никогда не менялись ролями.

Главный явно ей нравился больше – сколько знает, а Илья, к стыду своему, не помнил ни тезиса, ни игры.

– Став совсем дряхлыми, они решили один раз поменяться – и старик-каннибал, которого в этот раз съели, умер по-настоящему.

Саша и в этот раз плавно сменилась в лице – Илья видел, как коснулся её губы вкус старого попугая. Она скользнула взглядом по курице в духовке, обернутой фольгой.

– Кошмарная сказка, – строго сказала она, но улыбнулась.

Помба потянулся и поднялся на задние лапы. Он повернулся спиной, курчавой и серой, в катышках, как овчинное одеяло, вытянул крылья и бросился в темноту.

Илья думал, что Саша станет кричать. Саша опустилась на пол, неловко поджала под себя ноги и прикусила большой палец.

– Я спущусь и найду его.

Саша точно смотрела не зло.

– Это ты открыл форточку, – сказала она. – Я ведь её никогда не открывала. И гости не открывали – ко мне давно гости не ходят.

Илья не помнил, чтобы он этого делал – очень глупо со стороны Саши было его обвинять.

– Он вернётся, – Сашины плечи вздрогнули. Опершись о край стола, она поднялась, и легко надавила Илье на живот.

– Я спущусь и найду его, – повторил Илья, в один прыжок оказался на подоконнике, и вылетел вслед за сбежавшим Помбой.

Глава 5

Наступивший короткий крик оборвался.

Илья больше не слышал ни голоса Саши, ни шум машин.

В бесцветных, как старая плёнка, сумерках двор смотрелся иначе. Илья парил почти у земли, над кустами засохшей мальвы, над газоном и скамейками – едва задевал полами брюк, как они рассыпались.

– Помба, Помба, – позвал он.

– Помба у Девочкиного Сада, – отвечали Илье. Вокруг него кружили четыре крошечные жёлтые канарейки.

– Нужно лететь за дом, – звенели они.

Илья вслед за канарейками влетел в многоэтажку. Она разорвалась и посыпалась, словно пакет с мелкой солью, и сошла береговой волной, оставив пыль-пену и возвращая цвет. До краёв горизонта росли низкие апельсиновые деревья; Илья спускался ниже, и они стали вишней в цвету. Когда коснулся ногами земли – вокруг уже были заросли шиповника и ноготков, а верхний ярус замер на сливе.

Сад окружал – по левую сторону только что вырос куст мальвы, но тут же настала сирень – и всё пахло так белобрысо и недостаточно, что Илье вновь хотелось дышать – если бы он только мог.

Канарейки метрах в трёх от земли складывали крылья и падали, отпрыгивая мячиком от земли и раздуваясь – вмиг перед Ильёй возникли пятеро одинаковых человечков-бочонков, на тонких птичьих ногах. Клювы выглядывали из-за бород, окладистых, жухло-жёлтых; из лысин торчали то ли перья, то ли хохолки.

Илья засмеялся.

– Ты чего смеёшься, не смейся, всё очень серьёзно. У нас обрыв линии передач. Муравьиные тени почти всё перегрызли. Они считают, что им самое место в саду – Черепаха Борис их поддерживает, а в Саду и так тесно.

– Кто тут? – спросил детский голос где-то рядом и сверху. Илья поднял голову – в ветках из слив сидели маленькие ноги в штанах, белых носках и крошечных голубых сандалиях на застёж-

ке. Ноги заканчивались ремнём, тела не было – ни рядом, в кроне, ни под деревом, в россыпи переспелых ягод.

– Полу-Ребёнок, – поздоровался Канарейка. – Этот Строитель ищет Помбу.

– Не хватало мне неприятностей от Черепахи. Строитель, как тебя там?

– Илья...

– Илья, ты можешь представить кусок, хоть ма-аленький такой кусочек сада без линий электропередач? Вот и я не могу. А ведь во всём виноваты жуки. Муравьи эти, комарьё, клопы зелёные – те, которые думают, что светлячки и живут в пнях с гнильцой. Где живёшь, такой и станешь. Я говорю – Сад только для важных смертей. А они говорят – мы тут больше тридцати лет, мы первые пришли. Но в самом деле-то – кто их считает?

– Тут, кажется, везде сад.

– А я о чём? Их тут, по сути, здесь вообще быть не должно! Саша их даже не помнит – разве что стрекозу, она живёт в коробке от киндер-сюрприза и никому не мешает, – Полу-Ребёнок спрыгнул с дерева. – Раз пришёл, поможешь новые провода вешать. А то без рук особенно не повесишь.

– Мне нужно забрать кролика, – сказал Илья.

– Вот давай не сейчас, – Полу-Ребёнок топнул ногой, – а вы что стоите? – крикнул он Канарейкам. – Мне кажется, или я один здесь пытаюсь хоть что-нибудь починить?

Канарейки наперебой начали щебетать – так быстро, что и не разобрать.

– Тихо! – вдруг шикнул Полу-Ребёнок. Все разом застыли. Из глубины сада доносился мягкий хруст, точно некто перебирал в ладони сухую листву. – Кланяйтесь, кланяйтесь, – Полу-Ребёнок суетливо опустился на коленки; Канарейки вслед за ним согнули лапы и опустили клювы. – Илья, ну же, – поторопил Полу-Ребёнок, и Илья послушно склонился.

Сливовые деревья расступились, пропуская мужчину. Не считая полицейской фуражки, он был абсолютно гол.

Он был волооким, с покатыми бёдрами и мягким животом. Грудь и живот до самого низа пересекала тонкая дорожка рыжеватых кудрей. Его губы, совсем юные, маленькие и пухлые, были чуть приоткрыты.

– А я тебя всюду ищу! – он ласково улыбнулся, подняв ладони – за спиной Милиционера сомкнулись кусты и сливы. Он подошёл к Илье, взял его подбородок в маленькую ладонь и повертел. – Две курицы! Ты подумай. Я сам родился с весом в две курицы. Да, я прекрасен. Почти идеален, – он отступил назад и потянулся, как деревце. – Этот живот, – он погладил себя, – мягок, как на нём сладко спать. А волосы, - он взял руки Ильи и провёл по кудрявой дорожке, – их можно перебирать час за часом и не надоест. А как я жарю картошку! Вы, молодые, не ели такой картошки – на сале, сейчас мультиварки и прочая ерунда для лентяев.

Милиционер рывком поднял Илью, сгрёб в охапку и посадил на плечо.

– А как я силён. Поставь троих гопников передо мной – двоих столкну лбами, а третий сам убежит, позовёт четвёртого – я подниму динозавра из недр, я подожгу динозавра и запущу в четвёртого огарком берцовой кости.

– Товарищ Милиционер, – Полу-Ребёнок поднялся с коленей, – Вы – мудры и прекрасны.

– О, как я прекрасен и мудр! Это ты верно сказал, – он снял Илью с плеча и поставил на место.

– Муравьиные тени изгрызли все провода. Без электричества сад будет дичать, – сказал Полу-Ребёнок. – Илья, подними сливу и дай Товарищу Милиционеру. Попробуйте, какая кислая!

Милиционер надкусил сливу и тут же выплюнул.

– Саботаж, – и вздохнул так печально, подняв волоокие глаза к кронам, уже полусухим и карликовым – теперь они стали не выше отцветших кустов мальвы, сквозь которую пробивались колючие стебли крапивы. – И пускай тени жуков старше, самая важная смерть – бесспорно, моя.

– Разумеется, Товарищ Милиционер, – пискнули Канарейки.

– Не слушай его, – прошептал Полу-Ребёнок Илье прямо в ухо. – Весь Сад согласен, что я – намного важней.

По небу, в сторону электрических башен направлялся жужжащий рой. В эмалированной кастрюле с картинкой пиона, держась за нитки, запряжённые в жучиную тучу, сидел Черепаха Борис.

– Саша плюхнула его в суп, когда ей было три, – фыркнул Полу-Ребёнок. – Он думает, раз самый старый, то самый главный в Саду. Да Саша даже не плакала, только тыкала вилкой!

– Я умер куда интересней, – закивал Милиционер. – Как-то вечером у нас закончился кофе. А я не могу без кофе с утра. Мой тогдашний коллега, сержант Денисов, не мог без капельки коньяка – ну, это с утра, а уж вечером! – но я почти идеален, потому вовсе не пил. Иванов вообще бабник, а я до женитьбы и женщин не видел – стоило мне подойти, как они кутались в чачваны и вуали, прикрывали стыдливо даже кончики пальцев. А как женился, вдруг обнажились – как я испугался, повсюду горгульи – груди волочатся по земле, зубы гниют, и ни одна ласкового слова не скажет. Я спросил сержанта Денисова – они все такие? Он распахнул рубашку, а там следы от когтей, пахнут так, что пришлось заткнуть нос рукавом. Это что, говорит, ты на плечи мои посмотри – а плечи пурпурно-укушенные, и зуб из кожи торчит. И подумал я – как хорошо мне, как повезло, что зубы моей жены ровны и чисты, и ни один не выпал в меня. Я подарил ей горшок с петуньей – а потом ещё один, и так каждый день – по горшку, чтобы утонула в цветах и не видела этих ужасных химер, что, оказывается, бродили совсем рядом...

– Товарищ Милиционер, – воскликнул Полу-Ребёнок, – я и подумать не мог, что вы так хороши!

– Конечно, сынок, но не перебивай. Так вот, тот вечер выдался удивительно тёплым для ноября... Погодите, кого ещё принесло? Подходите, присаживайтесь – я веду рассказ о самом печальном дне.

Главный не стал присаживаться.

– Что ты здесь делаешь? – рассержено сказал он Илье.

– Пришёл за Помбой, – ответил Илья.

– И чинить провода, – сказал Полу-Ребёнок.

– Мы берём кролика и уходим, – Главный дал Илье подзатыльник.

– Кто вам его отдаст, – улыбнулся Милиционер.

– Помогут починить – отдадим, – сказал Полу-Ребёнок. Канарейки закивали. Главный спрятал лицо в ладонях.

– Дался тебе этот кролик. Ладно, – он присел на корточки и обратился к Полу-Ребёнку: – Веди, показывай, что нужно делать – только быстрей.

– Провода мы починим, – робко сказал Илья. – А, когда уйдём, тени жуков их опять перегрызут.

– Перегрызут! – воскликнул Милиционер. – Обязательно перегрызут, они до того охотники.

– Значит, их нужно прогнать.

***

Опорная башня ЛЭП походила на ногу колосса. Сливовые деревья под ней плодоносили, и были куда выше и сочнее собратьев вдали, но и те по сравнению с башней казались мелкой газонной травой. Милиционер сорвал сливу и с удовольствием съел.

Помба стоял, облокотившись на металлическую балку, и скучающе чесал себя по рожкам, похожим на два древесных сучка.

Илья насчитал за два десятка зверей и птиц. Гигантский попугай, весь какой-то иссохший, бродил между ними, приставая с просьбой дать бутылку воды то к двум одноглазым котятам, которые пытались незаметно подергать Помбу за крылышки, то к длиннотелым зубастым ящеркам, которые устроились прямо под гудящими и пока целыми проводами.

– Когда выступаем? – наперебой спрашивали собаки у Канареек.

– Нужно дождаться рыб, – в который раз терпеливо повторял Полу-Ребёнок. – Летите-ка на верх башни, – крикнул он Канарейкам. – И следите. Враг скоро прибудет, он не должен застать нас врасплох!

– Придут они, как же, – недовольно сказала старая кошка. – Сидят себе на отшибе, им и дела до нас нет.

– Кто бы говорил! – пролаяли из-за кустов.

– Спокойно, друзья мои, – громко сказал Милиционер и поднял ладони. – Рыб я позвал – они не смеют меня ослушаться.

По Саду прокатился звук охотничьего рожка. Главный сидел на большом камне – Илья заметил, как скривилось его лицо.

– Рыбой воняет, – пояснил он, поймав взгляд Ильи.

После запаха появились и сами рыбы. Они шагали степенной процессией – их было более полусотни. Их пёстрые рваные плащи развевались по ветру, словно флажки.

Из глубины серого неба раздался раскат грома.

– Майор Гупия прибыл! – он снял треуголку из газетной бумаги. – Караси предали нас, Товарищ Доблестный Милиционер. Они говорят, съеденное не считается.

– Как предсказуемо, – Милиционер вздохнул.

– Нас становится мало, – обеспокоенно сказал Полу-Ребёнок. Гром прогремел ближе, принеся с собой ветер. Старушка с кошачьими лапами поёжилась.

– Теней много, но они только тени, – Милиционер поднял указательный палец. – Им ни за что не выстоять против нас.

Илья пододвинулся ближе к камню, на котором сидел Главный.

– Из-за твоей прихоти мы нарушаем тезисы, – тихо сказал Главный. – Ты думаешь, вернёшь кролика, и получится посмотреть на Сашину грудь?

Илья густо покраснел.

– Может, даже потрогать. Мне бы тоже хотелось. Это будет не так, как раньше. Саша чем становится старше, тем красивей – наверное, когда её волосы поседеют, а кожа сожмётся, мы впервые за много веков увидим, как Венера выходит из пены морской.

– Ты был с ней знаком?

– Да-да, мы же встречались год, а потом она за мента вышла.

– Их полчища! – раздался сверху слабый крик Канареек.

Гром прокатился над линией передач. Звери и птицы притихли. Котята перестали дергать Помбу за перья и теперь жались друг к дружке. Полу-Ребёнок молча вручил Илье мухобойку.

– Нам нельзя участвовать в битве, – шепнул Главный Илье.

Черепаха Борис спускался с гремящего неба в упряжке из тысячи роящихся туч.

– Птицы, вперёд! – скомандовал Полу-Ребёнок и Канарейки, едва спустившиеся на землю, взлетели навстречу жукам.

Они влетели в ближайшую тучу, пропахав её, словно лыжню, под крики «Ура!» втягивая жуков в открытые клювы. Но вдруг туча обозлилась, выгнулась, и по тигриному бросилась на птиц. Жуки пожирали Канареек, словно стирая ластиком – от крыльев и клюва до пузатой солнечной сердцевины.

Поднялся гам. Тучи жуков спикировали к подножию башни, прямо в толпу зверей. Майор Гупия сбросил плащ, поднял плавники и рыбы, свистя и улюлюкая, ринулись на врага.

Один рой летел в сторону Ильи. Он стиснул мухобойку и приготовился отбиваться, как его закружила толпа. Ящерки выбрасывали длинные языки-ленты, прорежая жучиные тучи. Попугай и несколько куриц прыгали по кронам деревьев, ловя жуков на лету; деревья тряслись, сливы падали вниз и их тут же давили лапами.

Милиционер, отбившись от ближайшей тучи, подбежал к башне, зажал мухобойку в зубах, залез вверх по опоре и теперь встречал налетавших жуков, стоя на балочной перемычке метрах в пяти от земли.

Илью схватили за руку и потянули прочь из кишащей толпы.

– Берём кролика и валим! – крик Главного почти съели жужжащие тучи.

Помба нашёлся быстро. Здесь он выглядел больше, размером с доброго пони. Он дрожал, свернувшись клубком под зарослями белой сирени. Увидев Илью, сжимающего мухобойку, и растрёпанного Главного, он округлил глаза и быстро-быстро заговорил:

– Они меня звали, давно звали. Но кто ж думал, что оно так обернётся? Не заставляйте меня драться! Нас всех сожрут!

Главный присел на корточки и дал кролику подзатыльник.

– Полетели домой, – сказал он. Помбу уговаривать не пришлось. Главный вскочил на его спину и помог забраться Илье. Но их заметили.

– Они убегают! – Полу-Ребёнок бросился к ним через толпу рыб и редеющих туч, но поздно. Помба выскочил из-за кустов, разогнался и прыгнул – в прыжке расправив голубиные крылья, и в пару взмахов оказался высоко над полем битвы.

– Стойте!..

– Не смотри вниз, – наказал Главный Илье. Илья, сидевший позади, уткнулся Главному в спину и зажмурился.

Жужжание почти стихло. Внизу послышался лязг и громкий всплеск.

– Черепаха захвачен! – радостно вопил Полу-Ребёнок.

Илья не выдержал и обернулся.

Тени жуков проигрывали сражение. Из тысячи туч осталось не более двух десятков. Ящерицы с раздувшимися, как воздушные шарики, животами всё ещё слизывали подлетавших жуков. Милиционер размахивал мухобойкой – вокруг него собралось больше половины роя.

Строй рыб был прорежен – маленькие краснопёрки склонились над тем, что осталось от Майора Гупии. Аквариумный Сом, утерев глаза плавником, поднял с земли плащ майора и прикрыл им обглоданный рыбий хвост, воткнул мухобойку и повесил на неё газетную треуголку.

Кролик ушёл в крутой разворот – Илья вцепился в спину Главного, едва не сползая вниз.

Жукам спешила подмога. Небо, будто парад истребителей, прорезало полчище карасей – в шлемофонах, в грозно сверкающей чешуе, по которой, треща, бегали искры. Они долетели до самой вершины башни, и, огибая её серпантином, снижались, выбрасывая молнии.

– Надо вернуться! – прокричал Илья. Он свернул шею, силясь рассмотреть, что происходит внизу. Закричал Милиционер, поймав мухобойкой разряд – ток озарил его, а, когда свет ушёл, Милиционер всё ещё держался за балки, а по его телу расползались красные прожилки, будто древесные веточки.

Но Помба уносил их всё дальше и дальше. Криков было уже не слыхать, только вспышки и громовые раскаты говорили о том, что бой продолжается. ЛЭП тянулась докуда хватало глаз, провода были оборваны и слабо искрили. Сливовые деревья сменились яблонями, и, чем дальше от башни, тем они становились мельче и хлипче.

Наконец, посреди Сада показалась многоэтажка. Помба приземлился во двор, на площадку у Сашиного подъезда. Главный и Илья слезли со спины кролика. Помба встряхнулся, втянул крылья, уменьшился до обычных размеров и прыгнул Илье на руки.

В этот раз Илья не считал ступеньки, а просто легко перелетел вверх по пролётам. Оказавшись у Сашиной квартиры, он нажал на кнопку звонка. Железная дверь была выкрашена в голубой. Илья почесал Помбу за ухом и попробовал отковырять каплю застывшей краски. Из квартиры раздались шаги.

Бледная, как кусочек картона, Саша выхватила кролика у Ильи и спустила на пол, и бросилась обнимать Главного и покрывать поцелуями его макушку, щёки и нос. Она взяла ладонь Главного и потянула его вглубь лабиринта квартиры.

– Посиди на кухне, – бросил Главный Илье. Илья покраснел, но кивнул. Он вошёл в кухню, прикрыл форточку на щеколду, и, подперев подбородок, уставился за окно, пытаясь высмотреть Океан в светлеющем рассветном небе. Но Океана не было.

Глава 6

– Вчера супермаркет ограбили, – сказала Саша, не отрываясь от мобильного и жуя бутерброд. – Прямо у моего дома, представь?

Она пододвинула чашку кофе к Илье и поцеловала. Главный ушёл ещё на рассвете. О чём они разговаривали с Сашей? Удалось ли Главному потрогать на Сашину грудь? Конечно же, удалось, в отличие от Ильи.

– Нам нужно уйти, – сказал Главный перед тем, как захлопнуть входную дверь. Но Илье уходить не хотелось. Сегодня ему снилась пантера с тигровыми полосами.

Главному не нравилась Саша. Он шутил и смеялся, но тот взгляд, которым Главный смотрел на Сашу, был очень знакомым – так же смотрел на Илью Юрик. Как на глупую муху, как мог бы смотреть великан на разбросанную под его башмаками не слишком интересную деревню. Но Главному придётся смириться – Илья теперь обязательно возьмёт Сашу с собой, в скафандре вполне хватит места – может, её даже получится сделать Строителем, и тогда для неё надо будет приделывать второй кислородный баллон.

– Мне нужно на работу. Мы работаем по субботам, – чуть виновато сказала Саша. – Если хочешь, можешь остаться. Компьютер есть.

– Мне тоже нужно идти, – ответил Илья. – Но я зайду вечером, – добавил он, увидев, что Саша прикусила губу. Илья видел, что ей очень нравится Главный – но как же ему разговаривать с Сашей, если Главного рядом не будет?

***

На улице было слишком много людей.

В витрине магазина напротив мелькали отражения прохожих и автомобилей. Илья вглядывался в стекло, но Главный не появлялся. Он попробовал подойти ближе – тормоза взвизгнули, машины захлебнулись гудками, Илью грубо схватили за шиворот и потащили назад.

– Мужик, ты пьяный? – компания подростков смотрела на него немного обиженно. Подростки душно и вязко пахли. От запаха сводило зубы. Илья ощущал привкус железа на нёбе. Подростки крепко держали Илью под руки и отпустили, только когда загорелся зелёный.

От витрины Илья не отражался. На этот раз дождавшись зелёного сигнала, он прошёл ещё два перекрёстка и понял, что заблудился. Главный прожил в Самаре целую жизнь, но для Ильи город был совершенно чужим – он не знал, куда ведут повороты улиц, дворы были ему незнакомы. Высотки пугали – любой из этих домов мог в любой момент начать падать прямо на него, каждый балкон мог обрушится; каждый порыв сентябрьского ветра мог сорвать тяжелые ветви дворовых тополей и уронить ему на спину; каждый автомобиль могло выбросить на обочину, по велению Наступающего Океана, и любой проходящий мужчина мог поднять с тротуара кирпич, и его голова треснет, точно арбуз, сваленный в зелёную клетку.

Он бродил по городу много часов. Солнце подходило к зениту и пока не щипало кожу, но это только пока. Вдалеке маячили тёмные облака, но над городом было ни тучки. Илья приметил тенистый маленький двор и решил ждать темноты.

***

Илья очнулся в ковре. Ковёр висел на бельевой верёвке, и он кутался в него, сам сидя на табуретке – будто сушил гигантские тяжёлые крылья.

Кажется, пока он спал, успел начаться и закончится дождь.

Лицо покалывало от солнца. Илья не стал шевелиться – голова болела сильнее. Вот начнёт жечь – может, тогда он встанет...

В окне напротив мелькнула тень. Тут же хлопнула дверь, и визг Софы раздался прямо над ухом.

– Нашёлся!

Тяжёлый ковёр сбросили с плеч. Софа взяла Илью за руки и дёрнула на себя – на миг он вновь сделался лёгким и смог подняться.

– Ну же, быстрее в дом, – Софа тянула его за руку через двор, через крыльцо и коридор, усадила в кухне на стул, набросила на него одеяло, включила газ и поставила чайник. – Карл Ельевич верил, что вы не собрались сбегать обратно на дачу, что вы решили поскорее найти мастерскую и точно вернётесь к нам, – Софа налила чай, насыпала в чашку четыре ложки сахара и всунула Илье. – Так согреетесь, сегодня ночью резко похолодало... – она стянула с него кроссовки и обула в тёплые, но тесные тапочки. – Долли, представляете, даже не попытался нас предупредить. Он, конечно, получил своё наказание. Но каков Кира! Я ходила звонить на почту, а у него выключен телефон. Я уже всё на свете успела подумать! Между прочим, даже то, что вы решили научить быть Строителем эту Галину, но Карл Ельевич меня успокоил, напомнив тезис...

На пороге кухни показался Карл Ельевич. Он был в пальто и пах одеколоном. Он подпирал щёку толстой книгой в белой обложке. Под шеей, на щеках и подбородке были рассыпаны красные точки. Под носом виднелся порез.

– Что это? – бросил он, кивнув на Илью.

– Он спал во дворе, – быстро сказала Софа. – Ему нужно согреться...

– Строителю. Не нужно. Греться! – рявкнул Карл Ельевич.

Софа отобрала у Ильи чашку, торопливо помыла.

Карл Ельевич сел в кресло, расставив ноги, и открыл книжку.

– «Великаны сражались, земля тряслась», – прочитал он медленно, с выражением. – «И в это же время жила на земле маленькая улитка. В те времена улитки ещё не носили раковин. Она боялась великанов больше, чем птицы и звери – ведь первые летали высоко, и могли укрыться в горах, а у зверей были быстрые лапы, и они могли легко убежать.

Она ползла, пока перед ней не возникла река.

– Может, за этой рекой нет великанов! – воскликнула улитка.

Её услышала корова и перенесла через реку. Но и за рекой был великаний приют. Ползла улитка, ползла, пока не добралась до моря.

– Может, за морем я спрячусь от великанов! – воскликнула улитка.

Её услышала чайка. На спине чайки улитка перелетела море. Но и за морем жили грозные великаны. Летели они, летели, пока перед ними не раскинулся океан.

– Может, за океаном я спрячусь от великанов!

Но чайка была не в силах перелететь океан.

Её услышал пролетавший мимо альбатрос.

– Перелезай мне на спину, и я вмиг перенесу тебя!

Чайка причитала, пытаясь отговорить альбатроса и улитку от верной погибели.

Но не получилось.

Они летели три дня. Альбатрос стал уставать, но посреди необъятных солёных вод вырос остров. Они приземлились, отдохнули ночь и полетели дальше.

На этот раз летели четырнадцать дней. Альбатрос совсем выбился из сил, но посреди океана показалась скала. Они приземлились, отдохнули три ночи и полетели дальше.

Летели они уже тридцатый по счету день, когда альбатрос из последних сил произнес:

– Скоро появится остров! Смотри внимательно, – наказал он улитке. – Он крошечный, омываемый девятью волнами, поэтому его легко пропустить.

Улитка весь день вглядывалась в океан, но тщетно – острова не было видно. И тогда подумалось улитке – альбатрос для меня и сам – будто остров, да и спят же утки в озере на воде? И так ей хотелось отдохнуть от бесконечного полёта, что, поразмыслив, она закричала:

– Остров!

И альбатрос, ослепший от ветра и соли, опустился прямо на воду, где их тут же накрыли океанские волны.

Очнулась улитка на дне морском – нет её верного друга, воздушного альбатроса. Только плавают, играются разноцветные рыбки в резных окошках кораллового дворца. Подхватили улитку рыбки, закружили, и повели к царю Океанов.

А царь Океанов и сам был великаном. Он восседал на троне из икринок и перебирал в ладони пять камушков-голышей. Долго перебирал – уже и икринки превратились в мальков, а мальки – в серебристых рыбешек, и теперь они щекотали хвостами его прозрачную кожу. Потянулся Царь, зевнул, и рыбки уплыли, рассыпав икринки в трон – и тогда Царь Океанов обратил внимание на улитку.

Как услышал Царь Океанов про мир над водой, так сразу решил его завоевать. За невольную помощь он подарил улитке раковину.

– Этому домику, – сказал Океан, – не страшны и полчища великанов.

Посадил он улитку на спину сома и велел тому донести её до земли.

Земные великаны, и правда, обходили раковину стороной. Улитке так понравился подарок Океана, что она стала носить домик с собой, и уж никто более не вспоминал, что раньше улитка обходилась без раковины. А Царь вышел из океана с бесчисленным войском и погубил великанов. Его подданные – тритоны сбросили хвосты и превратились в людей, каких мы с вами знаем.

И какой в этом Тезис?»

– А где Царь Океанов?

– Что? – встрепенулся Карл Ельевич. Он даже забыл поругать Илью за то, что тот его перебил.

– Тритоны превратились в людей. А куда делся сам Царь?

– Спаслась ли улитка? Бабушка Эльза и Юрик полагают, что нет. Она ошиблась три раза – в первый, когда пыталась спрятаться. Во-второй – сотворив остров, которого не могло быть. А в-третьих – кто вернулся на землю? Улитка или её мертвая тень, утопленница в саркофаге без плоти и голоса?

Илья снова мотнул головой.

– Помнишь, как мы вместе переводили Шетти? Ты тогда был совсем мальчишкой, а над твоей головой бушевал Наступающий. Жаль, что тебя отчислили. Я пытался уговорить кафедру этого не делать, но меня там самого не слишком-то любили.

Илья снова мотнул головой.

Карл Ельевич схватил его за волосы, выволок в коридор, потащил в ванную и окунул головой в таз с замоченным бельём.

Илья вспомнил. Главный почти умер здесь, в этом самом тазу с водой и невкусной лавандовой пеной. В тот раз Карл Ельевич говорил совершенно иначе – он размахивал руками и громко ругался. Строителю нужно уметь задержать дыхание, но тогда он хотел дышать больше, чем быть настоящим Строителем, это было его единственным желанием, едва Карл Ельевич опустил его голову в кусок проявленного Океана.

Карл Ельевич резко вытащил голову Ильи из воды, и он, отплёвываясь от пены, протирая глаза, вышел прочь.

Софа стояла у ванной со шваброй и тёрла полы. Илья растерянно посмотрел по сторонам.

– А я Долли наказала.

Наверное, его лицо оставалось злым, потому что Софа тут же добавила:

– Если хотите, можете сами придумать, как его ещё наказать.

– Это обязательно?

Наказать Долли не вышло. Илья до вечера провалялся в постели, мечась от спальни в доме Карла Ельевича к мастерской и обратно. Задержаться ни тут, ни там надолго не получалось. Он брал книгу с полки в мастерской; она тут же падала сквозь его неуклюжие, прозрачные пальцы. Выходило открыть – строчки убегали и смазывались, переливались с листа на лист.

В спальне Софа поила его горькой водой из стакана, которая скрипела на языке, даже когда он лежал на спальнике в мастерской. Софа нависала над ним, пуча глаза и прикладывая палец к губам.

К вечеру Илью перестало бросать. Он окончательно пришёл в себя как раз когда Софа скармливала ему, несмотря на запрет Карла Ельевича, миску куриного супа. Илья опасался недовольства Карла Ельевича, но отказать Софе не смел. Софа сидела на краю дивана с ложкой, зажатой в кулак. Илья полусидел на подушке, но диван всё равно был ему короток.

В коридоре громко затопали, и в спальню ввалился Кира, держа в охапке плащ, шарф и шляпу, и сразу стукнулся головой о плафон.

– Мать! Анатольевна! Я всё сделаю, только выслушай... – он запнулся, заметив Илью. – О.

– О, – повторила Софа, встав. – Кира, дуйте отсюда. Я вам суп на голову надену.

Кира попятился и врезался в Карла Ельевича, показавшегося в дверях. Вещи посыпались на пол.

– Кыш! – и Кира, подхватив шляпу и плащ, побежал прочь, спотыкаясь и на бегу выпутывая ногу из шарфа. – Что ему опять надо? – он выглянул в коридор.

Пока Карл Ельевич отвлёкся, Софа засунула миску с недоеденным супом Илье под подушку.

– Эльза в гостиной, – выплюнул он.

– Она же собиралась оставаться на даче до конца? – Софа опустилась на край дивана.

– Она пришла поговорить с Ильёй, – раздражённо сказал Карл Ельевич.

Илья подумал, что Карл Ельевич наверняка заметил и супницу под подушкой, но почему-то ничего не сказал.

Илья поднялся на пару ладоней от пола. Выше не мог – тело было тяжёлым, его тянуло к земле.

– Как красиво, – выдохнула Софа. Карл Ельевич удовлетворённо кивнул.

Илья прикрыл глаза, на миг оказавшись прямо перед скафандром, и тут же рухнул на пол.

– Давай, давай, вставай. Вовремя он простыл... Очень вовремя! Софа, помоги ему встать. Эльза ждёт.

Софа встала с дивана и присела на корточки рядом с Ильёй.

– Всё в порядке, – сказал Илья. – Просто не удержался.

Илью проводили в гостиную. На диване сидела бабушка Эльза. Она разложила чашки в блюдцах, чайник, вазочку с конфетами и торт на журнальном столике, который до этого стоял у стены. Горку ручек и карандашей она сложила в газету и убрала на сервант.

Илья в первое мгновение и не узнал бабушку Эльзу. Брови, светлые, как и кожа, маленькая улыбка и короткие, всегда чуть влажные кудри делали её похожей на вдруг состарившегося ребёнка. Теперь брови превратились в две тёмные и сердитые галки, а волосы стали ярко-оранжевыми, зачёсанными назад. Вместо юбки и дутой жилетки на бабушке Эльзе было тёмно-зелёное платье под горло. Она держала чашку и блюдце маленькими пальцами, тяжёлыми от колец с камнями.

– А это не сервиз из серванта? – прищурилась Софа. – Он же для красоты!

– Мне шестьдесят два года, – отмахнулась бабушка Эльза, – и шестьдесят третьего дня рождения я могу не застать. Так почему бы не отметить сейчас? Для таких случаев и существуют сервизы.

Карл Ельевич нехорошо побледнел.

– А Шетти был мужчиной, – бабушка Эльза взяла конфету из вазочки. – И он бы понял, если бы узнал, что у меня день рождения.

– Но у тебя день рождения в... в... – задохнулся Карл Ельевич.

– В начале апреля, – подсказала бабушка Эльза и засунула конфету в рот. – А сегодня – ещё один. Что тут непонятного?

– Ты в таком... виде... – Карл Ельевич проглотил слово. Илья так и не понял, чего Карл Ельевич злится. Бабушка Эльза хоть и стала сердитой, сейчас выглядела как женщина со старой открытки – только добавить зонтик с рюшами и маленькую собаку.

– Илья, подойди к бабушке, – она похлопала по дивану, приглашая его сесть рядом.

Илья не шевелился.

– Можно успеть найти мужа за день? – задумчиво сказала бабушка Эльза, открыла коробку, взяла пластиковый нож и начала резать торт.

– Илья, иди к Эльзе, – бросил Карл Ельевич, и Илья тут же очутился на диване. – У вас десять минут, а потом попрошу до свидания.

– Можете не утруждаться, – сказала бабушка Эльза. – За Ильёй я приеду завтра к пяти.

Карл Ельевич фыркнул, развернулся и вышел из гостиной.

– Давайте-ка побыстрее, – сказала Софа Илье перед тем, как выйти следом за Карлом Ельевичем.

Илья немного нервничал. Он никогда не оставался с бабушкой Эльзой наедине. А ведь только бабушка заступалась за него на даче, один раз даже наказав Юрика – хотя Юрик впадал в ярость довольно часто, а один раз даже сломал Илье нос.

– А какой тезис ты нарушила? – быстро спросил Илья.

– Пятнадцатый, – пожала плечами бабушка Эльза.

Бабушка отрезала кусок торта, положила на блюдце и поставила перед Ильёй. Илья не притронулся к блюдцу.

Он, правда, чувствовал себя ужасно неловко – он точно выбежал бы за Карлом Ельевичем, если бы тот не позволил остаться. И, конечно, не стал бы брать торт.

– Скажи, Илья, – бабушка не стала настаивать и забрала блюдце себе, – ты понимаешь, почему я настаиваю на том, что тебе лучше остаться с нами? И почему у нас возник спор, где единственно известному Строителю находиться?

– Год назад я решил, что часть тезисов неверно переведена, – осторожно начал Илья. Он знал, что второй, седьмой и одиннадцатый тезисы из записной книжки в мастерской отличались от тех, что были в напечатанных «Торговцах» у ордена, но до сегодняшнего дня про другие тезисы никто не упоминал. – Я полагаю, что возможно пережить Океан Наступающий в физическом теле.

Бабушка Эльза на все ответы Ильи только хмурилась, и спустя всего несколько минут резко встала и вышла, заявив, что вся их компания – непроходимые идиоты, и хлопнула дверью.

Илья не помнил, как познакомился с бабушкой Эльзой, хотя та утверждала, что знала его ещё школьником, и что именно у неё он впервые прочёл английское издание Надина Шетти.

Они с Софой лежали в её комнате на широкой кровати. Карл Ельевич вновь ушёл куда-то в ночь, строго-настрого запретив Софе кормить Долли ужином, завтраком и обедом.

– Вообще его раньше звали Данилом, – Софа зевнула. – Долли. Карл Ельевич сказал – для глупого мальчика нужно глупое имя. Пять лет назад. Мы только познакомились. Карл Ельевич считает, что материнство – это эгоизм. А ты как считаешь?

Она уткнулась Илье в подмышку и уснула, не дождавшись ответа. Он почти не ощущал Софиного дыхания, – будто она тренировалась не дышать даже во сне.

Спустя полчаса он потыкал Софу в плечо и убедившись, что та крепко спит, выскользнул из-под Софы и вышел из спальни. Звякнул колокольчик – Илья тут же поймал его в кулак и осторожно прикрыл дверь.

Глава 8

Весь следующий день он бродил по улицам, но вместо мастерской набрёл на многоэтажку, где жила Саша. Он запрокинул голову – по небу плыли перистые облака. До вечера оставалось пара часов, и он решил зайти в магазин. В прошлый раз Саше понравилось, когда он принёс курицу – и она наверняка будет ждать, что он и сегодня принесёт что-то подобное.

Илья попытался подпрыгнуть, чтобы перемахнуть через ограду вокруг газона – но не смог взлететь. Он запнулся и растянулся на газоне, расшиб лоб и ободрал ладони.

Дойдя до магазина, он вновь попытался оставить отражение и тень дожидаться на улице, но они, не обращая внимания на его просьбы, шли за ним.

Илья набрал полную корзинку продуктов под нехорошим взглядом охранника, и попытался хотя бы не расплатиться на кассе, но кассир вежливо напомнил ему о деньгах. К счастью, Софа с утра всунула Илье триста рублей.

– Я тебе говорил, – Главный догнал его у Сашиного подъезда. – Странное место. Раковины то появляются, то исчезают. Тут опять не чувствуется Океан. А ты должен искать мастерскую.

– Ты же сам знаешь, где она, но почему-то не говоришь, – пожал плечами Илья. Он вошёл в дом. Пакет, что он нёс, оказался довольно тяжёлым. Илья потянулся к кнопке лифта, но Главный стукнул его по руке.

– Даже не смей, – сказал он. – Поднимайся по лестнице.

Лететь не получалось. Шагать по ступенькам было трудно – Илья отдыхал через каждые два пролёта. Главный шёл позади, упираясь Илье в затылок.

– Есть женщины, – говорил Главный, – которые и знать ничего не хотят о Наступающем. Скажи им, что игра в ладушки – это способ поболтать со своим мёртвым дедом на пиру духов, так они сразу заохают и вытолкают тебя из квартиры. А есть такие, как Саша – у них тоска по воде, они тянутся к ней, напиваются, но сами воду не делают. Ты их можешь наполнить, раздуть, точно бочку, и любоваться, точно Нарцисс на своё прекрасное отражение.

Саша ждала их. Она смущённо взяла у Ильи пакет и почти поцеловала – Главный высунулся вперёд, перехватывая Сашины губы.

– У тебя есть таз? – спросил с порога Илья.

Илья, разуваясь, споткнулся о велосипед в коридоре. С утра велосипеда не было. Илья набрал в таз воды, скинул туда носки и засыпал порошком. Саша заварила чай, поставила на стол вчерашнюю курицу и долго жаловалась на клиента, который в третий раз пытался вернуть купленную палатку, которую сам же прожёг огромным булыжником, который для ночного тепла предварительно нагрел в костре. Помба посапывал у Ильи в ногах, свернувшись клубком.

– А ты знала, что ладушки – это способ поболтать со своим мёртвым дедом на пиру духов? – вдруг сказал Илья. Главный округлил глаза и нехорошо захихикал.

– Никогда не слышала, – Саша продолжала спокойно пить чай и, кажется, вовсе не собиралась выталкивать его из квартиры. – Илья, а ты умеешь кататься на велосипеде? Сегодня из гаража забрала. Он давно без дела стоит.

Илья попытался вспомнить, но Главный его опередил:

– Умею, – ответил он.

– Тогда покатаемся завтра? – обрадовалась Саша. Илья почувствовал, как вздрагивают его коленки. Главный продолжал противно хихикать. – Если у тебя нет велосипеда, могу взять второй у соседей!

Илья шлёпнул себя по коленкам и, огрызнувшись на Главного, посмотрел Саше в глаза.

– Завтра Конец Света, – медленно сказал он. Саша рассмеялась, её звенящий смех сплетался с хохотом Главного. Помба недовольно вскочил и отсел подальше. Илья встал со стула, опустился перед Сашиными ногами в простых синих джинсах и обнял её лодыжки. – Завтра Конец Света, – повторил он серьезно, – в семь вечера, тридцать две минуты Луна начнёт спускаться и коснётся Земли. Океан выйдет из берегов и переродится – он смешается с воздухом, и уже не будет ни воздуха, ни воды – только зияющая пустота и огарки когито, которые вскоре исчезнут, – договорил за него Главный, переставший судорожно хохотать.

Саша сидела, не проронив ни слова.

– Я – Строитель, – добавил Илья. – Шетти писал, что такие, как мы, могут создать... Как бы тебе проще объяснить, – сказал он, хотя сам едва ли сейчас понимал, о чём Главный ему злорадно шепнул на ухо. – Я такой не один, хотя других в нашем городе, судя по всему, нет. Мы можем пе-

режить Наступающий, если можно так выразиться, нематериально... Но я, кажется, догадался, как это возможно сделать в физическом теле. Между прочим, я могу взлететь.

Взлететь не получилось.

– Илья, напугал, прекращай, – пробормотала Саша. Илья попробовал взлететь ещё раз, но только подпрыгнул.

– Ничего не получится, – Главный покачал головой.

– Получится! – Илья обиженно сощурил глаза. – Как я, по-твоему, за кроликом летал, забыла? – Пойдём, – он подхватил растерянную Сашу и повёл в ванную. Вытолкав Главного, он запер дверь на щеколду, и, наконец, поцеловал Сашу самостоятельно.

– Ты тоже станешь Строителем, – сказал Илья и опустил Сашину голову в таз.

Главный стучал в дверь, Саша вертелась и булькала, точно рыбка, шкворчащая на сковороде. Илья держал её крепко, пока она не обмякла в его руках и Океан не прекратил волноваться.

Главный снёс дверь, толкнул Илью и вытащил Сашу, стиснув её грудь и хлопая по спине. Мыльная вода вылилась из неё, но она не дышала – значит, получилось, она надолго задержала дыхание – дольше, чем смог бы Илья?

– Не получилось, – хмуро сказал Главный. – Отнеси её в спальню.

Илья положил Сашу на кровать и укрыл одеялом. Помба прыгнул к хозяйке и уткнулся носом под бок.

– Идём, – поторопил его Главный.

***

В этот раз Илья не плутал – пара кварталов, и Главный вывел их точно к дому Карла Ельевича. На пороге маячила Софа в своём вечном цветастом халате: на карман в этот раз были приколоты сразу три булавки. Илья подумал, что одна наверняка для халата, вторая про запас, а третья на случай, если первые две предадут. За ночь она как будто выцвела вместе с обоями в коридоре: кожа на лбу натянулась, обозначив мелкую сетку морщин, плечи подрагивали с той же частотой, с какой мигала лампочка в коридоре. Некрасивые губы потрескались, как если бы Софа кусала их на сквозняке.

– Карл Ельевич ушёл. Мы поругались из-за Тезисов. Я спросила, можно ли спасти двоих в одном скафандре. Карл Ельевич говорит – нет. А я говорю – Шетти ничего не писал про двоих. Значит, можно попробовать.

Софа, неожиданно резко толкнув его в спину, повела по длинному коридору на кухню. Они прошли мимо кладовки, дверь в которую была распахнута настежь и покачивалась от сквозняка. Внутри лежал Долли на куче тряпья, не привязанный, и спал, тяжело дыша и вздрагивая во сне. На его руках-веточках проступали фиолетовые синяки. Он стал совершенно прозрачным – сквозь его тельце, казалось, просвечивался деревянный пол со всеми его сколами, будто дом уже впитывал Долли в себя, как тряпка впитывает разлитую воду.

– Мне всё равно на Долли, – сказала Софа, усаживая Илью за кухонный стол и ставя перед ним две давно немытых и липких чашки с чаем. – Он не Строитель. Карл Ельевич держит его из жалости – а жалость убьёт нас всех до единого, когда Океан придёт.

Она протянула руку и коснулась щеки Ильи. Пальцы были холодными и влажными, как лягушачья кожа.

– Возьми меня в скафандр. Я буду очень тихой – как обои на стене. Как эта трещина на потолке в форме птицы. Я каждый день считала эти трещины, и ни разу не сбилась – их триста шестьдесят четыре, а эта – сорок вторая. Я не буду дышать, сколько скажешь. Я могу долго не дышать. Я тренировалась – когда Карл Ельевич кричал, я считала секунды до ста двадцати семи – это рекорд. Когда Луна упадёт, Океан зальёт полы – а я их так старалась отмыть сама, и потолок и стены – я ведь сама их красила. Он и меня зальёт, и я тоже стану водой. А я хочу остаться Софой. Хочу остаться с костями и кожей, понимаешь? Хочу быть с тобой. Ты ведь не растворишься. Я не хочу быть Океаном. Океан – это когда тебя нет. А я есть.

Илья молчал. За стеной что-то скрипнуло – возможно, половица под телом Долли.

Илья встал, подошёл к кладовке и заглянул внутрь. Через мгновение рядом возникла Софа Лицо её не изменилось – она будто смотрела на привычную пыль под кроватью.

– Долли спит, – сказала она. – Или умер. Не всё ли равно?

Она наклонилась ближе. Её дыхание теперь пахло старой заваркой.

– Ты же возьмёшь меня с собой, правда? – Софа сжала его руку. На её ладони проступили капельки пота. – Можем жить вместе, если Конец Света не наступит. Вдруг... Киру я прогоню – он давно надоел. И Карла Ельевича...

Лицо Долли было спокойным, но под веками дрожали зрачки – может, сейчас он видел сам Океан, который уже начал наступать на него одного, без защиты скафандра?

Илья наклонился и поднял Долли с тряпья. Тело его оказалось лёгким, словно пустая куртка.

– Куда ты? – испуганно спросила Софа. – Оставь его здесь. Он всегда может уйти, если сам захочет. Видишь – я и цепочку с него сняла. Кто ж его запирает?

Илья не ответил. Он вышел из дома, держа Долли на руках. Воздух был тёплым, но в нём уже чувствовалась та особенная тяжесть, которая бывает перед грозой. Над крышами плыли облака – не белые, а серебристые, будто отполированные. Илья поднял голову и увидел Луну – она висела в утреннем небе, яркая, почти полная, готовая вот-вот сорваться вниз, как осеннее яблоко.

Илья обернулся – Софа стояла в дверях босиком, и теребила край халата. Долли лежал у него на руках, прозрачный и тихий. Илья собственной грудью ощущал его дыхание. И он пошёл вперёд по узкой улочке, заставленной старыми деревянными домами с резными наличниками и покосившимися крыльцами, шёл мимо длинного серо-зелёного забора. Между домами то и дело возникали проходы, ведущие во дворы, где росли тощие кривые деревья и висели верёвки с выцветшим бельём. Воздух пах древесной трухой и чем-то кисло-сладким – может, переспелыми сливами с соседского дерева.

Илья шагал медленно, бережно прижимая Долли к груди. Под ногами хрустели щепки и осколки стекла. Из открытого окна, с треском и шипением, доносилась давно забытая музыка – возможно, со старой пластинки. Кто-то кричал ему в спину, но Илья, не вслушиваясь, шёл и шёл.

Он свернул на соседнюю улицу. Здесь дома были повыше – двухэтажные, с балконами, обвитыми сухим соломенным виноградом. На асфальте лужи от недавнего дождя отражали Луну – она внимательно наблюдала за ним, выглядывая из каждого куска водяного пазла. Илья обходил их осторожно, боясь, что если наступит – это ускорит падение. Прохожие попадались редко – разве, старушка с сумкой-сеткой, мужчина в рваной куртке, курящий у подъезда. Никто не смотрел на Илью с ребёнком на руках. Может, не замечали. Может, видели, но делали вид, что не видят – так иногда делают в городе, чтобы не впутываться в чужие дела.

Долли пошевелился. Его пальцы, тонкие, будто иголки, кольнули Илью в пальто.

– Тебя когда Софа кормила? – спросил Илья.

Долли не ответил. Он, наверное, никогда не отвечал словами. Только жестами, которые никто не понимал.

Илья вышел на перекрёсток – шумный, с трамвайными путями. За спиной послышались шаги. Илья обернулся – никого. Только ветер гнал по мостовой обёртку от конфеты. Мимо проехала скорая – синий свет от мигалки полоснул ему по глазам. Илья замер, но машина не остановилась. Впрочем, они уже почти дошли до больничных ворот. В какое здание отнести Долли, Илья не знал, поэтому вошёл в первое, что попалось ему на пути.

Глава 9

Меня зовут Илья, мне тридцать шесть лет, и я оставляю за собой право произносить вычурные фразы. В долгих беседах с самим собой мы зачастую так и делаем – создаём неторопливые, красивые предложения, и произносим их, в фантазии расправляя спину; одетые не меньше чем

в твидовое пальто и не меньше чем для принцессы Дианы, специально для неё вкрапляя кусочки английских фраз. Но стоит нам открыть рот, как слова оборачиваются дурно пахнущей жабой, и вот уже и наедине с собой мы стыдимся выстраивать ложные (ну и пусть) словесные башенки. Там, где сидела принцесса лягушка – пусто, и больше никто не сидит.

Моим первым воспоминанием я тяну руку к люстре, сидя на тёплых, кудрявых, обезьяньих плечах. Мой дед был родом с Сахалина. Он брал конфету двумя пальцами за фантик и тряс над моей головой, будто дразнил котёнка.

– Мне было три, как и тебе, – рассказывал дед, – мать поехала в город и привезла мне ириску. Я положил её в рот и похвастался братьям. Сводным и старшим – они вчетвером скрутили меня, вытащили ириску изо рта и поделили между собой, – он хохотал, вспоминая. – А в другой раз братья сказали смазать глаза жгучим перцем – видишь, висит? – он указал на связку крошечных сушеных стручков, ярко-алых. – Сказали – я стану видеть как ястреб.

Перцы оплетали кухонные часы и никогда не покидали поста – я звал их Красным Змеем, ждущим кукушку. Во всех моих детских книгах упоминались часы с кукушкой, но по-настоящему таких часов я никогда не видел. Только у одноклассника, который жил в доме стиля, так называемого «сталинский ампир», который у нас не прижился – такие дома смотрятся павлинами среди кур, нашей серой третьестоличной эклектики, – в гостиной висели часы в виде скворечника, с дверцей и даже пружиной – только без птицы.

Дед говорил, а я качался, как на лианах – поймал конфету и съел.

Я часто думал, что все мои беды началось из-за этой ириски. Она досталась мне через игрушечный бой. Мне не лезли в рот несправедливые пальцы старших братьев, с чёрной каемкой сахалинской земли под ногтями. У меня не было ни братьев, ни сестер.

Здесь пахло лекарствами и немытым телом. Густой и тяжёлый запах падал на мои спину и плечи, заставлял горбиться и подгибать ноги – даже Долли, которого я нес на руках, пропитался, как вата, больничным воздухом и тянул меня к полу.

– Вы за мужчиной с носом, – мне постучали в спину, будто в квартиру. Носы были у всех, и я на мгновение растерялся.

За свою жизнь я ломал дважды один и тот же, левый, большой палец ноги. Палец заныл и сжался, как ёж, едва я переступил порог травмпункта. В те разы я рассматривал это же квадратное помещение и людей на сетчатых сиденьях вдоль стен.

Многие были пьяны. Они пучили свои наливные глаза с гноем в уголках и выпячивали щёки, колючие от лихорадки. Вокруг каждого из них был зловонный, тёмный пузырь, мыльно-рыбный. Пузыри сливались, пульсировали и глушили разговоры, превращая голоса в гул.

В спину стучал кто-то из них – прополз пальцами, и я передёрнулся от отвращения. Я не видел, но знал – рука в липком пиве и сукровице, вытертой, но не смытой.

Надин Шетти писал – всё, что больше тебя, тебя и поглотит, но я знал об этом и до Шетти. Я вырос в городе, в той благородной бедности, которую могла позволить себе учительница начальных классов с отцом от сохи. У нас была комната, ковры и балалайка в углу за шкафом, которую дед нашёл на помойке и почти починил. Треть стенки была забита книгами. К пятнадцати годам я прочитал их все, даже бесконечного «Петра Первого», и бесчисленное количество раз брал в библиотеке одну и ту же новую, красочную энциклопедию про НЛО.

Я присел на корточки и положил Долли на пол у закрытой двери в приёмную, постучал и пошёл к выходу.

В пять лет я увидел пожар. Это случилось ранней осенью, сухой и безветренной. Горела одна из тех деревяшек в старом городе, что были хилыми и ветхими ещё в девяностые. Покатая крыша выстреливала огни, а меня вели за руку по другой стороне улицы. Ночью я лежал в тёмной комнате, щуря глаза и заставляя красные пузыри, похожие на рыбные икринки, летать по потолку. И плакал. Я думал о том, как удобней будет сорвать со стены фотообои с лесом, на которые я наклеил нарисованных мышей, и где буду жить после. Друзей у меня не было – другие дети были беспросветно тупы, поэтому жить я решил в магазине напротив дома, который назывался «Ков-

чег». Меня манило это название, и я узнал его значение почти сразу – и дикое, иррациональное смущение начало сковывать меня, раннего атеиста, всякий раз, когда я вспоминал о том случае.

А летом я утонул.

Это было у дачи, в вечерней тихой реке. Я вбежал в воду, как в ванную, ожидая ровное, белое дно, а увидел тёмно-зелёное марево и струйки мальков. Я не плыл, я шагал вниз и вперёд, раздвигая воду руками, точно ветки в волшебном лесу.

Люди начали вставать со стульев. Они приближались, тянули ко мне руки – кто-то схватился за шарф, но я шёл и шарф соскользнул, как рыбка, и остался далеко позади.

Я закашлялся и в мой приоткрытый рот влился осиный рой. Осы жалили мои горло и грудь. Осиный комок взлетал вверх-вниз, качая меня в тёмной воде и убаюкивая. Про ангелов в семье не говорили, про них рассказывала соседка по общежитию, у которой были чесоточные ковры. Я увидел ангелов – точь-в-точь такими, как представлял – взрослыми и хмурыми, они кивали головами, тоже тянули ко мне руки и звали туда, где не будет моих мышей.

Я открыл глаза и увидел, как медленно и торжественно – хотя ещё не знал таких слов – ко мне приближалась Луна. Дед раздал последние хлопки по щекам, я что-то выплюнул.

Я прижался к деду и тогда понял, как зла природа, как стремится меня поглотить. Больше я не ходил ни на речку, ни к мосту через овраг. Зато я открыл для себя взлётную полосу поодаль от дач, из неровных бетонных квадратов, заросшую колосками. Я ложился на спину и всматривался в небо – ждал, когда прилетит самолёт, сделанный человеком, на полосу, сделанную человеком, но так ни разу не дождался. Самолёт представлялся мне большим ангелом, чем те, что хотели оставить меня в воде. Через неделю мама забрала меня в город и больше я никогда не видел той дачи.

Дед с дачи не вернулся, и с тех пор почти всё время я проводил у соседки, тёти Гали, пока мама работала. Я рассказал тёте Гале об ангелах, а она рассказала моей маме – мама тогда впервые выпорола меня. Мама была жёлто-кудрявой, вся в чёрном – женщина-оса, она совсем не давала мне мёда.

Меня дёрнули за пальто и скользнули водорослями по спине – я бегу, распахиваю дверь – они остались в воде, люди и ангелы, никто не сбежал за мной по лестнице, через шлагбаум и пост охраны.

Я знал, что успею – не могу не успеть, когда до мастерской всего три остановки, а до Наступающего еще целый час.

В школе я был выше других на голову, читал больше всех, но в школу я пошёл в восемь, и вот почему.

На пару недель перед школой у меня вдруг у меня начала болеть голова. Я хорошо запомнил тот день – в тот день я впервые остался дома один и сломал радио – по нему шла передача про крушение поездов. Я запаниковал – оказывается, поезда могли сходить с рельсов, а самолёты – падать. Человеческие ангелы тоже оказались злы. Я стал стучаться к соседке, но тётя Галя не открывала. Я тщетно сдавливал кулаками глазницы, пытаясь вернуть боль в пределы головы. Я вспомнил, что тётя Галя заваривала крепкий чай с сахаром от головной боли, подставил табуретку и залез в единственный кухонный шкафчик. Заварка нашлась, а вот сахара не было. Огня и газа я боялся, поэтому заварил чай горячей водой из-под крана; но чай не помог.

Голова болела несколько дней – я кутался в одеяло и спал, – и, однажды проснулся, а над моей постелью маячили тётушки, толстые и худые, тёмные, светлые, рыжие – но все кудрявые, похожие на пуделей всех мастей, как на дедушкиных открытках. Они наклонялись и заглядывали мне в лицо, трогали лоб, жалели и отводили глаза. В этот же день меня отвели в крошечную квартирку. Я помню кухню и старушку в платке, её пальцы, крутящие две палочки – хотя мама сказала, что палочки крутятся сами. Старушка сказала, что у меня в голове какое-то яйцо, мама охала и закрывала лицо руками.

– Ты сильно болен, – говорила мама, понижая голос до шёпота, и целовала в лоб.

В нашем доме появились свечи. Много свечей, юбок, платков. В доме стало странно пахнуть – мама говорила, это запах спасения; я ненавидел его, зная, что это пахнет плохо выполощенное хозяйственное мыло и застарелый пот.

– Вырастешь – многое станет известно, – качала головой тётя Галя. – Но лучше поменьше об этом.

Доктора я увидел только в школе. А с третьего класса, тайком от мамы и тёти Гали, стал делать прививки вместе со всеми. Я узнал, что могу умереть от ржавого гвоздя или укуса собаки. Тогда я впервые вспомнил деда – ведь, кажется, он единственный из семьи не желал моей смерти.

Меня разоблачили только к седьмому классу. Я, мальчик с последней парты, впервые подружился с Витей из параллельного класса. Это был целый месяц прекрасной весенней дружбы, когда я почти смог поверить в сладкий обман о безвинности и не смертоносном начале природы – Витя жил по соседству, у его отца был гараж, и там мы строили плот. Отец Вити был алкоголиком и автослесарем, а мать – пианисткой и бывшей дворянкой, поэтому, едва она узнала про плот, Вите запретили со мной дружить, – видимо, плот выдали за мою идею, хотя это было не так; а Вите надлежало держать пальцы подальше от молотка, ведь он учился в музыкальной школе.

Я приковылял домой и, промыв ранку на пятке, собирался ковылять за прививкой от столбняка, но меня с тоненькой медицинской картой в руках застали в дверях. Порвав карту, мама отходила меня ремнём, заперла в квартире и отобрала ключи.

Я плакал, я бился в дверь, обитую дерматином, кусал её – я не совсем не хотел умирать. Я баюкал свои мощные лодыжки, нюхал свечки и бросался от книги к книге, открывал последние главы и жадно читал, но вскоре меня поглотило отчаяние – я не мог прочитать их все перед неизбежной смертью от столбняка.

Я был заперт в доме четыре дня – и всё это время не спал. Я лихорадочно выбирал, кем стану, если ржавчина меня не убьёт.

Рано поняв, что мать глупа и плохо образована, я возненавидел невежество, ведь оно тянуло за собой раннюю смерть, и решил сделать всё, чтобы стать хотя бы отдалённо похожим на Витю. Да, я наблюдал за ним исподтишка, ведь он послушно со мной не разговаривал – так, я знал, что он отличник и победил на областном конкурсе пианистов и стал ужасно пухлым, хотя к его возрасту мальчишки, наоборот, вытягиваются. У Вити были коровьи глаза и мелкий, острый нос. Располнев, Витя стал похож на откормленного цыплёнка. Короткие пухлые пальцы сам Витя звал «гадкими» – а они такими и были.

Я записался в школьный хор, но через два месяца ушёл – я приходил домой, падал на диван и, не обедая, спал до вечера; здоровался с мамой, съедал ужин, и опять ложился, уже до утра. Так продолжалось до конца восьмого класса. Я пытался рисовать, но звери и люди выходили плоскими и кривыми, так что несколько недель, пока совсем не стало невмоготу, я рисовал одних только мышей, которые получались чуть лучше, чем всё остальное. И я опять пропал в болезненном и бесконечном сне.

Тогда я стал брать книги в библиотеке. Увы! Плебейское воспитание дало о себе знать. Едва унялось естественное детское любопытство, так стало сказываться отсутствие привычки – я редко мог вытерпеть более двух страниц в день.

Я утащил из библиотеки книжку про НЛО – мама и тётя Галя верили в инопланетян; стало быть, это было абсолютнейшей чушью, и книгу я мог спокойно читать. Её я и перечитывал – сотни раз, за едой, лёжа в ванной и перед сном.

Энциклопедии я не брал после урока естествознания о солнечной системе. Нона Борисовна рассказывала, что Солнце погаснет через миллионы лет. Я заткнул уши, отпросился в туалет и там вдоволь наплакался. Если не читать про движение тектонических плит – их, вроде, и не существует.

И всё равно до конца школы я оставался умней остальных детей. Витю же я считал не совсем настоящим человеком, ведь его успехи были как бы навязаны, а самому Вите, кажется, совсем не нужны – к тому же он повторял ноты, уже кем-то придуманные, а мои мыши, пусть и выходили криволапыми, были совершенно новым видом мышей. Это и ставило меня выше Вити и других детей, которым образование было дано с пелёнок, но в которых не сидел червяк сомнения; деятельных, но пустых. О, сколько раз я смотрел на плоды их трудов – они пели, танцевали, играли

и рисовали; кто-то с неохотой, по требованию родителей, другие – самозабвенно. Но ни с кем из них не шла смерть рука об руку; никто не видел, как близко к нам подобрался Наступающий Океан.

Моя первая любовь, новенькая одноклассница, закончилась быстро и совершенно бесславно. Я слагал плохие стихи – и сейчас помню; однако, я быстро закрыл эту лакуну. Аня была высокой, кудрявой и плотной – в стихах я обращался к ней Брунгильда, воительница.

Прозвенел звонок. Мы остались одни в коридоре – от физкультуры я был освобождён, а Брунгильда тянула время, чтобы зайти как можно позже других.

– Глаза, нельзя, Брунгильда, – я успел прочитать стихи.

– Баклажка, уехал, в пень, – и Брунгильда пропала, так и не пробудившись ото сна.

Я перешёл в выпускной класс, когда в нашем доме появился телевизор – наверное, позже, чем у многих других.

– Считайте меня дикарём, считайте, что я рос в тихой и почти сытой гавани – но я разбил телевизор через неделю, как разбил злое радио. Я избивал его молотком, мелькнула мысль этим же молотком приложить тётю Галю, которая отдала эту машину в наш тихий дом.

Я произнёс это вслух, тем самым вливая воспоминания в теперешний шаг, я раскинул руки и улыбнулся.

Я представлял Ельцина по обрывкам взрослых разговоров, похожим на Манджафоко, с чёрной бородой, тяжёлой, как и его фамилия – а он оказался седым и – это потрясло меня окончательно – безбородым, с гладкими, восковыми щеками.

Я не ходил в школу. Я смотрел новости.

Они смотрят новости и не разбивают этот Гермесов ящик. Значит, смотрят его в полусне – ведь только так можно смотреть без страха даже на собственный потолок, который совсем не защитит, только так возможно существовать в своём ненадёжном, единственном теле.

Книжка Надина Шетти – на английском – была у бабушки Эльзы, хотя для Вити она называлась мамой. Я никогда не видел таких старых мам. Письмо от бабушки Эльзы с просьбой прийти принёс почтальон, пока мамы не было дома – сомневаюсь, что иначе мама отдала бы его мне.

Дом был роскошный снаружи, а лестницы были не из бетона, а из какого-то гладкого камня. Я открыл дверь. Бабушка Эльза стояла в коридоре, пучила глаза, качала головой, улыбалась и беззвучно кричала, будто выпускала воздух из надувного мяча.

Она стояла посреди оборванных стен, в совершенно нищенской шали и тапочках, с растрёпанными седыми волосами и опухшим лицом. Бабушка Эльза была пьяна и, кажется, плохо понимала, кого позвала в гости.

Несколько раз, заходя к одноклассникам за тетрадками, я подсматривал за иной жизнью – за чистыми и светлыми квартирами, за усатыми отцами и причёсанными матерями с сережками, треугольными платьями и брошками; я гладил толстых котов и слышал пение канареек. Иногда меня кормили супом, и это были самые вкусные супы на свете. Они ненавидели свои скрипки и танцы, но умели играть и танцевать; они собирали самолёты и играли в футбол (хотя я и считал это пустой тратой времени).

Я возвращался и видел наши скромные стены, крашеные в тускло-зелёный, абажур из цветных ниток и вяленую рыжую белку на кресле; залезал в холодильник, брал яблоко (если было) и со злостью съедал. Это должно было достаться мне, я – настоящий; это я думаю, это мне, а не им, нужны и знания, и таланты, и светлые стены. Но потом я поднимал голову и расправлял плечи – они, дети безвольных теплиц, не могли ни знать, ни чувствовать того, что чувствую я. И это, опять же, ставило меня ещё выше.

Теперь я смотрел на изорванный, потасканный коридор и думал – насколько же тогда выше и величественней меня бабушка Эльза?

– Виталин умер, умер, – разобрал я фразу, которую она выдыхала снова и снова. Она махала правой рукой, будто смахивала пыль со стены – я не сразу понял, что она показывает на портрет. – Это Вальтер Беллер, мой прадед, – сказала она. – Он основал музыкальную школу в Саратове.

Виталин был совсем не похож на прадеда. Весь в отца. Ты видел его мерзкие пальцы? Толстые пальцы, пьянство и лень! Вальтер Беллер... он сейчас в гробу вертится! Викторин предал семью... великого предка...

– Что случилось? – я закрыл дверь и отвёл бабушку Эльзу в зал, усадив за круглый обшарпанный столик. Зал был выстужен – окно разбито, пианино изуродовано, в клавишах застряли щепки от поломанных стульев.

– Я пришла с работы, – сказала бабушка Эльза, – а Виталин пил с отцом. Они уже несколько лет только пьют и дерутся... А тут терпение лопнуло. Виталина выгнали из училища! А ведь я там преподаю...

Она нырнула под стол и достала трёхлитровую банку, разлила по кружкам вино и наполовину разбавила минералкой, протянув мне кружку. «По-гречески» – сказала она, но я не думаю, что греки пили такую кислятину. Тогда я выпил впервые – всего глоток, и это было отвратительно.

У бабушки Эльзы дрожали руки, вино залило стол, шаль и тахту. Она вытащила пачку «Явы», всё так же дрожа прикурила и затянулась, наполнив зал дымом и вонью. Она расправила шаль и потрясла коробком с бирюзовыми длинными спичками.

– Я пришла, а они кричат. И я – кричать. Что отцу нужно работать, а Виталину – учиться, а то они с отцом постоянно всякую чушь придумывали вместо дел. В этот раз спустили деньги на куриц. Четырёх несушек, ты можешь себе представить большую глупость? Они хотели держать их на балконе, а яйца продавать – а куры подохли от холода, тупицы гуманитарные. А после – я и сама не знаю, как это вышло, отец ему – хлоп – стулом, хлоп – по голове, а сам – в окошко! Хлоп – надежду нашего рода!

У подъезда моего дома стояла толпа ребят. Почти все были младше меня, притихшие и серьезные. Я зашёл в арку, протянул руку, нащупал металлическое колечко и вытащил из щели между кирпичами два ключа от комнаты, которая теперь служила только лишь мастерской – длинный круглый и плоский.

Я вошёл. Ребята стояли вереницей по серпантину широкой лестницы и смотрели наверх.

– Илья, Илья, – раздавалось то тут, то там. Я оробел, решив, что все эти люди зовут меня, но, пройдя до четвертого этажа, увидел – из квартиры выносят гроб.

Я перевалился через перила вместе со всеми, и смотрел, как лицо того, другого Ильи уносит лестничный водоворот.

Он качался, словно викинг в ладье – бледный, с ввалившимся подбородком и нелепой бумажкой на лбу.

Я вглядывался в его лицо, невольно ища свои собственные черты – находил, – и сам себе стал казаться игрушечным. Ребята начали спускаться вслед, а я вошёл в коридор и повернул ключ в замке.

В мастерской было пыльно, но намного светлей, чем когда я перемещался во сне. Скафандр был готов. Я развернул поддон, прикрутил кислородный баллон, подставил табуретку, залез в скафандр и закрыл люк.

Виктор ЛИСИН

Хочу от всего сердца поблагодарить свою жену Юляшку, дочку Алишу, и А.В, которые были рядом, когда мне было тяжело.

***

помню как бабушка говорила что за окном
висят люди помню как говорила что вся
квартира горит а папа говорил мне что у
бабушки кислородное голодание папа мне
говорил что бабушка уже очень плоха но
подходил и смотрел в это окно он смотрел
в окно он присматривался он принюхивался
и потом много ругался на бабушку ах а надо
были посадить бабушку на коленки ах надо
было погладить её по голове надо было
покачать успокоить нужно было придумать
для неё коляску колыбель бабушкамобиль
нужно было много сострадания и нежности
но кто я такой чтобы судить кто я такой я
просто маленькая унылая бабушка просто
глупая несчастная бабушка депрессивная
бабушка немощная и безвольная а ещё я

тоже папа

***

Ян Бобров сожги бобров
Яков Аист сожги всех аистов
Никита Птицин сожги всех птиц и
Семён Козлов сожги козлов

Убей в себе себя произойди
Стань Яков Безмятежный Иван Водичка
Стань Ян Космический Никита Голубой
Семён Гвоздичка

Виктор Лисин родился в 1992 году в Нижнем Новгороде. Публиковался в различных Интернет-изданиях, журналах «Воздух», «Волга», «Транслит». Лонг-лист премии Аркадия Драгомощенко (2014, 2016). Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2015). Премия им. Евгения Туренко в номинации «На взгляд впереди» (2016).

***

господи

как же хочется чтобы меня обняли и уложили
чтобы меня гладили по голове
поправляли волосы
крутили кудряшки
чтобы меня простили за всё что я сделал
потому что мне пора уже спать
чтобы иногда дверь в спальню открывалась
и папа улыбался
а мама обнимала папу
но всего этого почему-то я не помню
помню только
летающее по комнате привидение
странные шишки на руке
и как прабабушка умирала
как её живот раздувался
и она взлетала и опускалась
с грохотом на кровать
а потом исчезла

на 1 сентября
я представлял что к бабушке привязали ниточку
и я её несу на праздник
и она смеется в большом
банном халатике

странная
опухоль
так и не
прошла
и пожрала
моё сердце

***

маленький мальчик
трогает пальчиком
хвост змеи
из земли

***

Привет! Я постоянно дёргаю свои волосы на голове, как длинные ниточки из уродливого школьного пиджака. Я расчесываю кожу до болячек, маленьких, едва заметных болячек, потому что мне хочется верить, что я не один.

В зеркале я строю кривые страшные рожи,
показываю корову поражённою параличом,
то комара с изуродованным носом, то просто
жопу показываю на лице. Я так убиваю себя
раз за разом и наслаждаюсь убийством.

Но иногда я танцую с капучино медленный
интимный танец, слушаю жука-релоканта
на волосатой руке, делаю упражнения по
укреплению простаты ради бессмысленного
и тупого желания жить. Просто так, можно
сказать что по инерции. Можно сказать что
на ход ноги. Можно сказать, что это такое
какое-то искусство дибильное. Типа мужик
Дмитрия Александровича Пригова мастерит ночью в гараже.
Просто так, для себя.

Привет!

***

маленькая девочка
путешествует на папе
до самой смерти

***

мыши стали умнее
я положил стихотворения Василия Бородина
и поставил бутылку вина
возле их домика

мыши стали умнее
ни одна мышь не попалась
я выпил всё вино и крепко уснул
поджав хвостик между двух волосатых ног

***

черви
это пальцы гениального музыканта

грибы
это танцы его друга совершенного интроверта

а земля
как запах женщины

для которой музыкант играет и от которой
интроверт закрывается смешной
невыносимой шляпой

***

сказочный мир где аисты скидывают детей
с неба а пеликаны ловят их своими мокрыми
ртами сказочный мир где олененок использует
папу-оленя как рогатку и запускает светлый
искрящийся шар в пучину леса сказочный мир
где жук выедает пустоту вокруг деревьев
становясь больше деревом чем жуком и в
Новый год роща вылупляется и взлетает
о сказочный мир где очень маленькие люди
пишут очень большие сказки а очень большие
люди пишут хокку а больные люди вымерли
но камни помнят их биение сердца о сказочный
мир где водомерки разрывают всякие меры
длины и прыгают в речку где ловят крокодилов
за пушистые павлиньи хвосты свободные
умные крокодилы с настоящими улыбками
с глазами и бровками не против хвастовства
я разбросал здесь семена некоторые сильные
некоторые слабые но часть из них взойдет и
мы наконец окажемся дома

***

во время дождя
слабовидящий человек
случайно берёт с собой цветок
который откусывает ему голову

***

мама я всегда был горбатый
с самого детства
а когда приходил я поддатый
из горба доносилось что-то антисоветское

ах мама бессмертный я в мучительной боли
стою у могилы с лопатой
ложусь и встаю ложусь и встаю ложусь и встаю
как ночью на кровь прокуратор

***

стихи о смерти
написанные
кукушкой
петушиным
кровавым
крылом

ночью
прикованный
к кровати
плетями ужаса
издатель издал
звук напоминающий
петушиный крик

жена
встала
и полетела
в открытое

окно

***

я не очень дееспособный
по ночам мне снятся одноклассники
которые мордуют меня
а я просто хочу чтобы они полюбили меня
маленькую горбатую птицу
в коричневом пиджаке
оказалось я так и не смог
жить без их любви
лучшее время жизни
это время перед сном
потому что никто не трогает
меня палкой как мокрого жука под камнем
мне тяжело играть с Алишей
я ее очень люблю но не могу больше играть
я чувствую себя коричневым медведем
в маленьком пиджаке я сам себя
избиваю палками потом
хочу убить себя как жука
но я не могу у меня в мокром животе
копошится ребенок а верхом едет жена
она меня очень любит и мне помогает

я ее пригласил и она пришла в цирк
для таких как я должна быть особая палка
записался к психотерапевту расскажу ему
что я жук а потом медведь и что я очень устал
полюби себя жук-медведь скажет она наверно
а я не смогу заплакать потому что мужчины
мужчины-жуки и мужчины-медведи
не плачут а просто ждут сна
прекрасного сна
золотого сна

***

Воет воет виктор лисин над просторами полей
это воет виктор лисин бывший птицы соловей
кто теперь тебя ласкает птица-филин мой совух
думаю что я не первый их скорее больше двух.

Это верно догадался отвечает голос громкий
голос в то же время тихий и спокойный
Что за голос появился в депрессивной голове?
Это голубь говорящий на извилине в сове.

***

прозрачный месяц за окном
много снега
где-то слоняется в полуобморочном состоянии
Александр Сергеевич Пушкин

он сочиняет своё последнее
стихотворение

муха съела всё варенье
разрослась и стала ночью
продолжается паденье
ангелов в густую почву

Алиша спит
какая она красивая и свободная
волосы развеваются по кровати во все стороны
лежат где хотят

и она лежит где хочет
как если бы только она отвечала за ход истории
двигаясь по кровати

так и есть
она и есть

Новейшая История России

ветер задувает мою голову
и я проваливаюсь в страшный сон
я оцепенел от ужаса и лежу не двигаясь
как в гробу

мне снится
что Алиша несёт одна мой гроб
ей тяжело и она постоянно падает в снег
а гроб куда-то катится

наконец наступает утро
нужно заварить такой кофе
чтобы все мертвые
проснулись

Сергей ТИХАНОВ

РАССКАЗЫ ИЗ РАЗНЫХ ЦИКЛОВ

Из цикла «Круглый год»

***

Но вот что интересно. Если от 8 января до 8 марта два месяца, то это целых два бесконечных месяца, с крепким чаем, прозой Бориса Пастернака и французскими черно-белыми фильмами шестидесятых годов. А если считать, например, от 8 июля и до 8 сентября, то получается тоже два месяца, но в этом случае всего два месяца, всего-то-навсего два месяца с одинаково длинными абстинентными закатами, два метафорических месяца, которые проходят очень быстро, так быстро, что...

Из цикла «Шоссе энтузиастов»

***

Когда-то, очень давно, едва начинался снегопад, он – тут как тут – сразу воображал себя отшельником, Хозяином хижины. И стоило только повалить снегу, как он хватал первую попавшуюся книгу японских дневников (других книг у него тогда не было), наскоро заваривал ужасный чай в термосе (другого чая в природе тогда просто не существовало) и бежал на вокзал, чтобы успеть уехать на электричке куда-нибудь подальше.

Он удивился бы своим желаниям и устремлениям того далекого времени, если бы было можно собрать со всего света и разом предъявить ему открытки, написанные им в тех поездках, пропахшие свежим снегом, с неточными цитатами, неясными аллюзиями и каплями горького чая.

Сегодня сильнейший снегопад настиг его в трамвае. Он как раз думал, что хорошо бы написать что-то о... московском конструктивизме. Чтобы там каким-то образом появлялись Сергей Эйзенштейн, Александр Родченко и Александр Лабас. И чтобы обязательно принимали участие женщины, реальные или выдуманные – неважно, но каждой женщине будет соответствовать определенный конструктивистский квартал или отдельно стоящее здание (Дом Наркомфина, например). Назвать все это можно коротко и просто: Шоссе энтузиастов. Писать, как обычно, на

Сергей Тиханов родился в 1964 году в Новосибирске. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института. Публиковался в журналах и альманахах «Дирижабль», «Стрелец», «Уральская новь», «Крещатик», «Черновик», «Футурум АРТ», в антологиях «Очень короткие тексты» (НЛО, 2000) и «Нестоличная литература» (НЛО, 2001). В 2020 году вышла книга «Страшные сказки». Предыдущая публикация в «Волге» – рассказы из цикла «Круглый год» (2024, № 9-10).

открытках или на листочках календаря. Человек, всю жизнь выбиравший для себя муравьиные тропинки, должен был писать именно так: на открытках, календарях и еще на опавших листьях в парке «Сосновый бор».

После обеда снег прекратился и даже выглянуло слабое новогоднее солнце. Он оказался в чистой комнате с покрашенным масляной краской полом. За тюлевыми занавесками угадывалась арка Бугринского моста и где-то там же, рядом, предполагалась одноименная роща, с которой у него было связано много всего разного. На кухне кто-то швырялся кастрюлями и громко чертыхался. Но все это было уже совсем не интересно.

Хавско-Шаболовский жилмассив

В тот такой короткий, но, безусловно, счастливый промежуток, когда он уже видел ползающих повсюду огромных черных круглых жуков, но еще не видел устрашающих лиц на стенах, как раз на Новый год, у него случился роман с женщиной, жившей в одном из конструктивистских домов на Шаболовке. Естественно, он сразу же назвал ее Царицей Хавской.

Спать он уже давно не мог, и когда Царица Хавская успокаивалась, мирно посапывая на скрипучей тахте, он уходил на кухню и там сидел до рассвета, прислушиваясь к холодному ветру и наблюдая движение ночных теней за окном.

Запахов он тоже давно не чувствовал, и поэтому не мог сказать, как пахнет эта кухня. Может быть, у нее был несвежий, затхлый запах подвала или, наоборот, пахло чем-то праздничным – имбирным печеньем и ягодным чаем – он не знал. Но вкусы он пока разбирал и вкус поцелуев Царицы Хавской ему нравился. Вполне.

Из цикла «Обратный отсчет»

Совенок

В конце марта мама сшила игрушку «Совушка» и объявила, что теперь малышу нужно придумать имя, что совенок будет встречать его по вечерам и интересоваться, как он отработал и как себя самочувствует... В другое время он, может быть, и умилился бы трогательному рукоделью, но сейчас ему было абсолютно не до этого: с каждым днем ему становилось все хуже, каждое движение, каждый шаг причиняли ему все больше и больше боли, ему было трудно внятно говорить и его мучило, что окружающие не могут этого не замечать, все чаще ему хотелось свернуться калачиком и где-нибудь спрятаться. Он с ужасом ждал, что вот-вот начнет рассыпаться сознание, но сознание или держалось или разрушалось очень медленно, почти незаметно, сам же он развинчивался все быстрее и быстрее. И тут появляется совенок, которому нужно давать имя и каждый день им восхищаться – ну совсем не вовремя. Но больше всего его резануло по сердцу то, что теперь несколько месяцев, может быть, даже лет, после трудного дня его будет ждать только существо из тонкого цветного фетра. Он оказался никому не нужен, и встречать его никто больше не будет – никогда.

Утром отец потребовал, чтобы он убирал из ванной комнаты полотенчико и зубную щетку, на полотенцесушителе нужно было освободить место для зимних ботинок. – Да у меня жопа чище, чем у тебя лицо! – кричал отец, брызгая слюной. Он захотел плакать. Но слез не было.

26 марта 2026

Из цикла «Жизнь в девятиэтажках»

Моцарт ждал меня

Когда мы спросили, как же так получилось, что он не прочитал ни одной книги Германа Гессе, он помрачнел, закурил, сделал хороший глоток крепчайшего чая из ковшика и произнес: – Да, так уж вышло. Как говорится, что выросло – то выросло. Действительно, Сторож Сергеев приносил на Алтайку специально для меня синий томик «Избранного» с предисловием Сергея Аверинцева. Но только прочитать его у меня не получилось, в тот вечер я жестоко опешился. Книжку увидел Ромка Казуар, выхватил ее, стал скакать по всей караулке и орать, что непременно должен этого Гесса прочитать. Сторож Сергеев только руками развел – спорить с Ромкой Казуаром было бесполезно. Это все равно что возражать Дубровину в разговоре о театре «Красный факел», если еще не хуже. Причем мы оба знали, что книги читать, а в особенности немецкую философскую прозу, Казуар не станет. Зашвырнет «Степного волка» (в натуре смурня какая-то!) под ванну, и пролежит он там неизвестно сколько среди грязного белья. Ромка Казуар обожал слушать магнитофонные записи Михаила Жванецкого, а книжки читать – вот еще занятие, не для сильных духом людей, в которых постоянно сидит два кубика димедрола. Так все и получилось.

Немного помолчав, он продолжал: – Как вы справедливо заметили, я не прочитал ни одной книги Германа Гессе и даже примерно не знаю, в чем там суть и что происходит, но почему-то был уверен, что похождения Гарри Галлера заканчиваются словами «Моцарт, я иду к тебе». Так я и жил в таком вот заблуждении. И мечтал, что когда снова поеду к Мастеру Гансу, то пошлю ему открытку с этими словами. Вот так прямо и напишу: Моцарт, мол, иду к тебе. И вот незаметно прошло десять лет, и тут само собой сложилось, что я поехал в сторону Мастера Ганса. Встречаться с ним уже не особенно хотелось, но mail art, открыточки – это же святое, нужно было писать и отправлять. Я начал замечательный коллаж: использовал стихотворение Мандельштама «К немецкой речи» и изображение огромного готического собора. Но когда на всякий случай стал сверяться с первоисточником, оказалось, что «Степной волк» Германа Гессе заканчивается совсем другими словами, «Моцарт ждал меня». Так что коллаж я не закончил, открытку не послал, с Мастером Гансом не встретился.

– Словом, чай кончился, Араб-Оглы нет, жизнь не удалась, – закончил он, допив чай, – боюсь только, что эта путаница будет продолжаться еще очень долго!

В его словах звучала скрытая угроза, но ни к кому в отдельности он не обращался.

21, 22 июля 2026

Из цикла «Белая комната»

***

О том, что Аннушка купила подсолнечное масло, и не только купила, но и разлила, знают все, даже те, кто никогда не открывал Мастера. В этот день три года назад мы поступили проще: вовсе не стали его покупать. Может быть, просто забыли. А может быть, как мне хочется думать, торопились остаться вдвоем и такие обыденные вещи как душ или подсолнечное масло были для нас в ту минуту совершенно лишними.

У меня кружилась голова, и совсем не потому, что я только начинал осваиваться в резидуальном периоде со всеми его прелестями, нет, она кружилась от близости с Вами, от радости узнавания Вас, от, не побоюсь этого слова, счастья.

Она и сейчас кружится.

27 мая 2026

***

Дня через два после второй и последней встречи в Белой комнате он спросил Маленькую разбойницу, какое мыло лежит у нее в ванной. – Aquatel, - машинально ответила она и тут же с подозрением уточнила, почему он это спрашивает. – Smell of you, Baby, – ответил Синичкин и подумал, что когда-то мог свободно объясняться с людьми исключительно строчками из песен группы Rolling Stones, но неумеренным потреблением магического реализма довел себя до состояния, когда на ум приходили только строчки из детских стихотворений Валентина Берестова про кукол, плюшевых мишек и веселых матрешек.

31 июля 2026

Данил ФАЙЗОВ

буколика

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
по коломенским поймам

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
меж варягом и греком

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
меж борисом и глебом

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
спозаранку зевая

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
ветер носит и волки играют

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
на шелони на сити и калке

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
гарь несёт с заонежья

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
клятвы слушала клязьма

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
в струях волхова красных

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
чусовая стонала

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
над кирзовой игарской протокой

как бы долго мы нашу любовь ни пасли
кнут пастушеский щёлкал

Данил Файзов родился в 1978 году в Игарке (Красноярский край). Жил в Вологде, в 1998 году переехал в Москву. Окончил Литературный институт им. Горького. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Воздух», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый Берег», «Новый мир», «ШО» и др. Автор нескольких поэтических книг. В «Волге» печатались стихи и проза (с 2019 года).

это к родине милая тучной любовь
что ж она не проходит

***

первая встреча с бесславным прошлым
приходите
будет много хорошего

приводите семьи
детей и внуков
и супругов у кого
есть супруги

потому что со славным прошлым
повстречаться легко
его очень много повсюду
а с бесславным
трудно

приводите друзей
сокамерников или однополчан
у кого на плечах погоны
и тех кто носом в очаг

восславим бесславное прошлое
тех
кто
например
зачах

и тех кто славы не ждал
и тех кто её находил во врачах

бесславное как живое
в нём есть что-то от боли
отболит немного у плоти

это выставка просто демонстрация
ни за
ни против

***

у отца было правило
обязательно здороваться за руку
с любым знакомым мужчиной

вне зависимости от
того
как к нему относишься
и какие у него взгляды

это не руко- или нерукопожатность
это принцип
вполне благородный
демонстрация миролюбия и силы
миролюбие на первом месте

мне сложно представить
нынешнее соблюдение этого правила
для себя
лично
я знаком
представлен
достаточно большому
количеству негодяев

и я не знаю
соблюдал бы отец
это правило сейчас

матери проще

но она жива

***

стоит индульгенции просит
у мира большой человек
но мимо спросонья проносятся
каштанка муму и казбек

и лают и лают и лают
и лапу в ответ подают
скажи индульгенция проще
оплатишь собачкам уют

чтоб только полно было фарша
чтоб чашка не помнила дна
чтоб кличка не помнила фальши
не надо менять имена

***

никогда такого не было
и вот опять
Виктор Черномырдин

гомер разработал самый первый впн
и назвал его ахилл
на логотипе античный герой сидит
на черепахе
и
разглядывает свою пятку
злые языки говорили
что это мальчик
вытаскивающий занозу

катулл разработал впн
воробей
прыткий
высокоскоростной
но легкомысленный

вергилий разработал первый платный впн
и назвал его харон
на логотипе был изображён харон
оплата только картами харон
первый зонтичный бренд
успехом не пользовался

данте разработал впн вергилий
на логотипе изобразил круги
от падения камня в воду

сервантес разработал впн
и назвал его санчо
на логотипе был изображён
забавный толстячок
пожирающий паэлью из тарелки
смутно напоминающей
брадобрейский тазик

шекспир разработал впн
полоний
очень незаметный
бесшумный
но постоянно испытывающий
проблемы с подключением
одновременно с чувством вины

рабле разработал впн гаргантюа
обещал полную доступность всего
на логотипе
увитый гирляндой колбас
кабан
на гирляндах девиз
tabernae tabula cotidie renovatur

дюма разработал впн
миледи
на логотипе смущённый усатый гвардеец
протягивает незнакомке батистовый платок

флобер разработал впн
бовари
на логотипе
домино
замужним женщинам скидка 50%
при документально доказанном
факте адюльтера

стивенсон разработал впн
пиастры
тоже платный
на логотипе весёлый роджер
подписывающий декларацию о независимости
латинской америки от дряхлеющей испанской
империи

лев гумилёв разработал впн
великая степь
получивший широкую известность в
казахстане и монголии

виктор пелевин разработал впн
называется пустота
открывает доступ ко всем социальным сетям
но после использования напрочь стирает всю информацию
и даже память о пользователе
в сердцах людей

все эти программные продукты
были широко распространенные в прошлом
однако сейчас их упоминание считается
неприличным о обществе
особенно в присутствии лиц женского пола
и несовершеннолетних

художественные произведения
в которых упоминания этих продуктов обусловлены
творческим замыслом
требуется в обязательном порядке маркировать
надписью
обязательно прописными буквами
занимающей не менее трёх четвертей обложки издания
ВАМ ПОЧТИ НЕЛЬЗЯ

***

...там ко мне обращался
с дурными словами
коллективный принц на белом
коне
стой
налево
направо
ко мне
бестолочь
ну куда ты пошёл
ко мне

нарастал бурый рокот
роптали согласные
что говорить о гласных
перекрёсток бурлил
что там ему
поблазнилось

как порог бурлил
как перекат грохотал
трещал
в голове что в бюро находок
о трёх вещах:

наливном золочёном яблоке
разрешённой музыке на костях;

раздражённом гневливом окрике
мол нельзя же так при гостях;

сытом рублике сытном бублике
при серьёзных донельзя щах.

если хочешь
в любую сторону
кто мы такие

чтобы что-то тебе
запрещать

подражание бардам

все дураки но жив до сих пор портос
его встречают розами но что он не видел роз
он смотрит на розы и думает ну и что ж
роза топорщится и задаёт ответный вопрос
я смотрю на портоса он бодр и тверез
он видел немало роз

все дураки но идти в штыки не думают как арамис
на жемчуга дорогих девчонок у него ни вверх ни вниз
он розы видел портоса ругает
но не пойми за что
это цветы
похоже дюма заплатил
за проданное пальто

все дураки но кому-то уже полтос
он не играл в мушкетёров он был завсегда атос
он купил ненавязчиво ли или и
вы же читали что лилии завезли

все дураки за других стоят
один мудрец дартаньян
прокручивает свой роман назад
я рай описал или ад
а дюма залезает неспешно в чужой карман

***

останется черновик последнего времени
позёмка черёмуховых лепестков
курьеры разного рода-племени
выплывающие из зыбучих песков

нарастает калибр неугомонной ветоши
лопухи прорастают сквозь мутный текст
тебя доставили
а вот и нетушки
ты на складе
ты нет
ты есть

Андрей РУХЛИН

ВОЗВРАТ ПО БРАКУ

Рассказ

Я лавировал между стеллажами в поисках сраного розового топика уже пятнадцать минут. Господи, где же этот топик? Куда я его сунул? И ведь именно я его куда-то сунул.

Я пробил шэка[1] товара в базе – принимал его я. И принимал вчера. Всему виной этот ебаный лентяй Миша. Да-да, точно Миша. Это же он попросил меня налить ему воды, поговорить с ним. Он ведь третью смену подряд катает, без завтрака и обеда.

Отвлек меня этот Миша – вот я и сунул топик не пойми куда. Теперь еще штраф накинут. Вещи я не терял никогда, за это у нас отвечает дура Юлька. Однажды из-за нее я оказался в такой же ситуации, как сейчас. Она засунула куда-то купальник, а покупательница пришла за ним на наш ПВЗ аккурат за день до отъезда в отпуск. Конечно же, не в Юлькину смену. «Ну не успею я другой заказать, понимаете? Найдите его мне». Через полчаса приехала сама Юлька и таки нашла этот купальник.

Сейчас в зале собралась небольшая очередь – конец часа пик. Я чувствую, как люди возмущенно дышат и мысленно проклинают меня, прямо как я проклинаю сейчас все на свете. Особенно этот топик. Топик-10 моих оплошностей на работе. Ха-ха. Нахожу время шутить, а топик не нахожу. Возвращаюсь в зал.

На экране монитора горит бесполезная запись с камеры видеонаблюдения. Бесполезная потому, что камера не «бьет» в другую часть склада, где находятся ячейки с 414-й по 717-ю. А на 528-й как раз должен лежать топик. Должен, но его там нет. Запись лишь была доказательством, что главный дурак в ситуации – я. Я сунул розовый топик не на ту ячейку. Хотя камера подтверждала, что топик находится в нужной части склада.

– Извините, я пока не могу найти вашу вещь, принимал мой сменщик, поэтому найти тяжелее, – лгу я, чтобы не слышать лишние возмущения клиентки, но меня это не спасает.

– Вам за утерю вещей дополнительно платят или что? Не первый раз на вашем пункте мне что-то недодают.

Пока она возмущается, я успеваю выдать заказ мужчине с усталыми глазами – он пришел за подгузниками. Слава богу, подгузники я положил на нужную ячейку.

– Извините еще раз. Может быть, я вам просто переведу стоимость возврата утраченной вещи на вашу карту? – я одновременно продолжаю разговор с одной клиенткой и принимаю возврат у второй.

– Нет, так не пойдет. Я заказывала эту вещь себе, и я должна увидеть, что она пришла сюда. Может, меня обманывает продавец и присылает совершенно не то.

Если бы я не видел, как она выглядит, мог бы подумать, что передо мной стоит не женщина среднего возраста, а полоумная бабка. Но нет, это была вполне вменяемая женщина.

Приняв возврат и отправив его в коробку с такими же неподошедшими вещами, я возвращаюсь к проблеме топика. Впрочем, от этой проблемы я и не уходил.

[1] ШК – штрихкод

Андрей Рухлин родился (2005) и живет в Нижнем Новгороде. Учится на четвертом курсе в ННГУ им. Н.И. Лобачевского по направлению «Журналистика». Работает корреспондентом. Проза публикуется впервые

Бегу на склад. Там стоит неразобранная коробка с новоприбывшими вещами. Вроде как у меня в запасе еще полчаса, чтобы успеть ее разобрать и не получить понижение личного рейтинга в рабочем приложении (а вместе с тем и понижение зарплаты), но сосредоточен я на другом.

Глаза несутся по складу, словно кабаны, за которыми ведется охота. Они оббегают все полки в поисках чего-то розового. Сначала они цепляются за трусы, потом за платье куклы, за носки. Но топика нигде нет.

Какой же идиот. Еще раз я поговорю с Мишей – буду дураком на всю жизнь. К чему это условие? Ах, да и ладно. Где же топик?

Вот! Неужели нашел. Ячейка 628. Да, вот он – розовый топик в полоску. Глаза ловили его тяжело, словно тигра в клетку. Ха-ха. Прекращай шутить, дурак.

– Пожалуйста, ваш товар. Извините еще раз.

– Да, спасибо, но я от него отказываюсь.

В моей голове завертелась сцена из какого-то фильма. Вспомнить его название не было возможности. Наверное, это был собирательный образ всех вестернов, которые я когда-либо видел. Сцена происходит в баре. Бармен достает из-под своей стойки «винчестер» и разносит в кровавые ошметки голову какому-то клиенту. По всей видимости, бандиту.

Ох, как жаль, что у меня нет ружья, хотя передо мной настоящая бандитка.

– Извините, но ведь я вам предлагал сделать отказ. Возможно, вы не расслыш...

Она не дает мне закончить.

– Нет, я все верно услышала. Просто ваша работа – выдавать заказанные товары, а не терять. Только вы почему-то с ней плохо справляетесь.

Не хами ей, не хами ей, не хами ей.

– Все успешно, – рапортую я после того, как оформил «отказ».

Я стараюсь улыбаться, но улыбка получается саркастической. Клиентка в ответ недовольно фыркает и уходит, не попрощавшись.

В зале никого, и я могу спокойно доразбирать коробку.

Возможно, правы были мои родители, что отговаривали меня идти работать. Тебе всего семнадцать, говорили они. Зачем тебе работать, спрашивали они. Это было до того, как они узнали о моей зарплате (а получаю я почти столько же, сколько они). И это было после того, как они заявили мне, что в их доме ничего моего нет. Даже мой телефон, в общем-то не мой. Тогда я и сказал, что иду работать.

Конечно, работу я нашел раньше, чем случился разговор. Но судьба сложилась так, что мне не пришлось готовить сцену, чтобы сообщить родителям о своем решении стать пролетарием. Хотя стал я скорее рабом. Но теперь все равно, все одно.

Теперь я достаю из коробки заказы клиентов и «пропикиваю» их. Пик – и голос робота-женщины из колонки сообщает мне номер ячейки. Достаю тушь. Пик. 178. Достаю коробку с обувью. Пик. 214. Наклейки. Пик. 33. Сборник анекдотов про евреев. Пик. 5. Книга по психологии. Пик. 9. Одеяло. Пик. 64. Подушка. Пик. 64. Комплект постельного белья. Пик. 64.

Вместе с тем в голове не затихает шторм. Кровь льет в мозг. Мозг не может справиться с самотерзанием. Мысли бьются, как волны бьются о камни, или как психопаты бьются в истерике.

Как мог я потерять вещь? Почему положил ее не туда? Мало мне проблем с долгами из-за бракованных вещей? Система автоматически записывает штраф на того, кто принял бракованную вещь. Он, мол, ее и сломал. И сиди потом после окончания рабочего дня собирай видеодоказательства своей невиновности. Пока рассматривают одну твою попытку избавиться от одного штрафа, на тебя уже накидывают два новых. Штрафной круг Сансары. Воронка. Черная дыра, засасывающая тебя и не дающая выбраться. Из этой дыры нет выхода.

Из этих мыслей меня вырывает стук двери. Пришел клиент. Здравствуйте. Здравствуйте. Пик. Пожалуйста, ваш заказ. Списывайте. Все успешно. Спасибо. До свидания, хорошего вечера. И вам.

Возвращаюсь к коробке. На дне лежат книга, набор «Лего» и зеркало, в котором отражается мое лицо. Пик. Пик. Пик.

По дороге домой размышляю об очередном рабочем дне. О зарплате, которую завтра выведу себе на счет. И о коробке. Смотрю в темноту из окна такси и вижу на стекле свое отражение. Прямо как в зеркале. Опускаюсь на дно своих воспоминаний.

Переношусь в те дни, когда Юлька знакомила меня с ПВЗ и рабочим приложением. Это было до того, как мои будни превратились в череду механически повторяемых действий: открыть дверь, включить свет, включить компьютер, сделать скриншот с камеры видеонаблюдения, на котором видна твоя спина и как ты делаешь этот скриншот, затем отправить скрин в общую беседу и тем самым подтвердить свое присутствие на ПВЗ и уже только потом приступить к разбору коробок. Утром этих коробок бывает от десяти до двадцати.

Когда мы работали с Юлькой, я еще успевал читать книжку. Роман Буковски «Хлеб с ветчиной». Надо сказать, герой книги во многом был на меня похож (или я на него?), особенно когда устроился на работу.

Потом мы с Юлькой стали работать по одному. Так можно заработать побольше. И первую свою зарплату я потратил на набор «Лего» из серии «Криэйтор». Это был небольшой домик с красной покатой крышей. Уютный, надо сказать. И собирать его было уютно.

Детальки легко крепились одна к другой, и на моих глазах постепенно вырастал дом, который я купил себе сам. В детстве мне покупали такие подарки только по праздникам, а если я их просил купить просто так, меня сильно ругали и говорили, что я не знаю цену деньгам.

Я строил дом и загораживал себя от этих воспоминаний. Я купил себе набор просто так. Купил дом просто так. Пусть ненастоящий, но когда-нибудь будет и настоящий. Может, я его так же построю, только не из пластиковых кирпичиков, а из настоящих. Но пока дом был только такой. Мой дом.

Вот он – стоит на столе. Пожалуй, это все, что действительно наполняет мою квартиру смыслом. Родители уехали в отпуск. И со мной остался только этот дом. Любуюсь на него перед сном и ложусь спать.

Чтобы утром снова идти на работу.

В такси зачем-то открываю приложение маркетплейса и смотрю отзывы на свой ПВЗ.

«Продавцы НЕ ВЫПОЛНЯЮТ свою работу. Вещи ТЕРЯЮТ! Больше НЕ БУДУ приходить на этот пункт выдачи. Наплевали В ДУШУ!!! Нет никакого желания пользоваться данным маркетплейсом. Буду искать вариант лучше!» – оставила комментарий женщина по имени Александра. Интересно, зачем она выделила капсом свою душу? Неужели она настолько огромная, как думает Александра? А если огромная, не будет ли плевок в нее каплей в море?

На положительные отзывы внимания не обращаю, ведь рейтинг и так уже упал. А все потому, что я положил не туда сраный розовый топик. И ладно бы это была вина Юльки, но нет, этот отзыв я «заслужил» сам. Целиком и полностью.

Захожу в приложение «Менеджер», чтобы посмотреть, сколько коробок меня ожидает. Хаха, всего-то 29. Часть из них будет крупногабаритным товаром, а не коробкой с кучей вещей, но радости мало.

Выхожу из такси и по дороге до двери ПВЗ успеваю поставить водителю пять звезд. А дальше снова череда привычных действий.

Ключ. Замок. Дверь открыта. Свет. Компьютер. Переобуться. Камера. Скрин. Мессенджер. Беседа. Отправить. Нож. Коробка. Разрезаю. Пик... Пик... Пик... Пик... Пик... Пик... Пик...

Вторая коробка. Разрезаю. Пик... Пик... Пик... Пик... Пик... Пик...

Успеваю разобрать три коробки перед тем, как слышу стук двери. Сейчас начнется...

Здравствуйте. Здравствуйте, ваш куар, пожалуйста. А у меня по номеру. Диктуйте. Восемьдесят четыре тридцать три. Код заказа? Семьсот семнадцать пятьдесят семь. Два товара у вас? Да. Секунду.

Еб твою мать, а где же они? Неужели я опять что-то не туда положил? Ах нет, вот же, просто далеко запихнул. Черт, скоро превращусь в параноика.

Пожалуйста, проверяйте. Да не, я так заберу, спасибо. И вам спасибо, хорошего дня. И вам.

Четвертая коробка. Пик... Пик... Пик...

Снова стук двери.

Начинают валить с самого утра. Что-то странное.

Выдаю пять коробок с обувью и бегу дальше разбирать вещи. Но тут снова стучит дверь. Заходит девочка, показывает свой куар. Черт, да это же тушь, которую я принял пять минут назад. Выдаю. Отказ. Ох, как жаль, что нет «винчестера», как жаль.

Снова бегу к коробке. Но тут раздается мужской голос из зала: извините, мне ничего не подошло. Спрашиваю, не было ли брака. Получаю отрицательный ответ и отпускаю мужчину, а сам «запикиваю» обувь в коробку с возвратами.

Ох, у моей нации глаза навыкате, но в них нет никакого напряжения. Полное отсутствие всякого смысла! Да и мощи уже тоже нет. Эти глаза ничего не купят. Ни-че-го. И по-прежнему ничего не продадут.

Так я разбираю все двадцать коробок. В чате, между тем, полчаса назад написали, что едет уже новая машина с коробками. Мой пункт выдачи должен быть последним на маршруте. Решаю отправиться перекусить.

Стук двери. Миша. Ебаный Миша входит с тремя коробками.

– Ты чего, с меня решил начать? Привет, кстати.

– Да, ага. У тя, брат, там дофига просто.

– Как дофига? День же только.

– Я почем знаю. Штук десять коробок у тя.

– Да я только разобрал двадцать утренних.

– Понимаю, брат, но ничем не могу помочь.

Он уходит за новыми коробками.

– Мог бы не с меня начать.

– Да это ж бабки твои.

Против этого аргументов у меня нет. Мне действительно платят за прием новых вещей.

– Ты, может, водички мне нальешь? – спрашивает он, вернувшись с оставшимися коробками.

– Нет у меня водички, Миша, нету, – вру ему, чтобы он умчал поскорее и глаза мои его не видели. Да и чтобы не отвлекал он меня.

– Эх ты. Ну ладно, бывай.

– Пока.

Видно, сегодня я без обеда. Думаю об этом без обиды. Да и что обижаться? На обиженных воду возят, а Мише в воде я уже отказал, так что некогда мне обижаться.

И снова на складе раздаются «пики». Этими «пиками» можно заполнить мат всех русских людей на всех телеканалах страны. Эти «пики» колют меня прямо в сердце. Им не видно конца. И края тоже не видно. До края скоро дойду только я.

Новый клиент дошел до ручки. Дернул за нее. Дверь вернулась на место вместе с громким стуком – сигналом к моему выходу. Хотя выхода *отсюда* нет.

Нет спасения. Нет прощения. Я потерял товар. Снова. Мужчина пришел за упаковкой лапши. Господи, сейчас придется вешать ему лапшу на уши про сменщика. Прекращай шутить, ищи товар, придурок. Сосредоточься на лапше.

– Извините, сменщица, по всей видимости, положила ваш товар не на ту ячейку, я постараюсь его найти. Подождите, пожалуйста.

Параллельно принимаю заказ у второго клиента. Тоже потеря. Теперь меня ждут мужчина без лапши и парень без футболки. Без белой футболки. Найти такое еще сложнее, чем розовый топик.

Как мог я потерять столько товаров? И сколько еще подобных пропаж обнаружится? Просто

убийственная шутка! Всего один неудачный день способен так меня поломать? Всего один неудачный день! И на следующий я моментально из параноика превратился в того, кем боялся стать. В Юльку.

Что же я скажу клиентам? О, вот белая футболка. Да, не того парня, но скажу, что ее перепутал продавец на складе, а потом просто найду настоящую и положу ее в коробку с отказами.

Схема работает.

Осталось найти лапшу. Господи, что я творю?

Стук двери. Еще стук двери. Откуда столько людей? Откуда столько вещей? Как найти среди этого лапшу?

– Извините, я проверил штрихкод и почему-то вместо лапши вам прислали сборник анекдотов.

– Ну и сервис у вас!

– Извините, пожалуйста.

А теперь я не могу найти брелок. Не могу найти помаду. Не могу найти женскую сумку. На глазах появляются слезы.

Мама, забери меня отсюда. Мама, я больше не могу.

Сколько людей. Сколько вещей. Но нет ничего нужного. Среди этого мира вещей нет того, что нужно найти. Мир вещей такой большой, а я такой маленький. Почему-то я стал ниже. Не могу дотянутся рукой до верхней полки. До средней полки. Вижу только две нижних.

Почему-то я становлюсь меньше. А слезы текут по щекам. И я смотрю вверх. На стеллажи-исполины. Смотрю, как на непокоряемые вершины гор. Мне их уже точно не покорить. Мне до них не дотянутся.

Из зала доносятся возмущенные голоса: где же менеджер! зашла на пять минут, увязла на тридцать! где мои вещи? вы что, там уснули? мы будем жаловаться вашему начальству!

А я лежу, прижав коленочки к груди. Слезы перестали течь. Остались только сухие всхлипы.

Кто-то берет меня на руки. Я не могу разлепить глаз и увидеть, кто это. Чувствую, что меня несут вон со склада. Чувствую, что меня куда-то опускают. Сквозь мои закрытые веки больше не бьет свет. Вокруг тьма. А над собой слышу звук скотча. И злосчастный пик. Последний пик.

– Возврат по браку, – слышу я над собой.

Больше ничего не будет. Больше я ничего не потеряю. И меня тоже искать не придется. Я надеюсь заснуть и, проснувшись, оказаться в домике с красной покатой крышей. В домике у какого-нибудь одинокого моря. Соленого, как мои слезы.

Дарья ВАРЛАМОВА

***

Год начался со смерти,
самой обычной смерти.
Но словно от этого в мире
стало чуть меньше тверди,

словно земля под ногами
ходит теперь волнами,
там, где были дороги, –
темная топь меж нами.

Смерть очень не любит
крепкое и сплошное,
смерть – это какое-то
чудище кружевное,

что, обрывая нити,
бродит за шелкопрядом
и прогрызает дыры
между теми, кто рядом.

Смерть открывает течи
в ноющем моем сердце,
и во мне остается
меньше и меньше тверди:

с каждой своей потерей
дух мой, печалью скручен,
станет еще прозрачней,
станет еще текучей,

двинется струйкой сточной,
сонно, почти бесцельно,
в край, где поток молочный
льнет к берегам кисельным.

Знаю – пока не к спеху –
вытеку вся в прореху,

Дарья Варламова родилась в 1986 году в Москве. Окончила факультет медиа НИУ ВШЭ и сценарный факультет Московской школы кино. Автор нескольких книг на темы психологии, нейробиологии и др., экс-редактор порталов «Большой город» (раздел про образование) и «Теории и практики». Также писала для Republic, Colta, Snob и других изданий. Живет в Алматы.

а воды из каждой прорехи
соединятся в реку.

Песенка про зверей

Асе

Словно тени на грубой стене пещеры,
пощуриваясь от ламп,
стояли звери около двери,
целый лес из хвостов и лап –

Птеродактиль скучал по небу,
грыз гуаву австралопитек,
они чуда не ждали, ведь нас еще не было,
чтобы придумать ковчег.

И всё новые твари выходят из моря
и идут чередой к двери,
я не знаю, о чём они воют, но вторит им
грустный зверь у меня внутри.

И тому, кто над нами, пожалуй, виднее,
что во всем этом есть красота,
и что круговорот важнее
любого, кто стерт с листа,

Что, когда в мире что-то сгорает дотла,
горний свет проникает в зазор,
и мне хочется верить, что наши тела
складываются в узор,

И мне хочется верить, что наши дела
складываются в узор.

Только твари, так лихо скроенной
из несовместимых частей,
всё никак не подняться до этих стройных,
непостижимых путей –

Даже если порой повезет расслышать
их звенящую благодать,
я могу лишь выть, когда тот, кто дышит,
перестает дышать,

Я могу лишь зализывать раны любимым,
и бояться кровопотерь,
и тревожно подергивать лапами,
видя во сне эту дверь,

И живое, что робко сжалось
среди замыслов и костей,
гладить, пока оно есть,
не жалуясь
на царапины от когтей.

Сиринга

Я пыталась уйти от бури –
пыталась, честно,
от сырого шума, горячего тела,
брожения фруктов спелых,
от неловких ласк и бесчинных плясок,
от страшных сказок,
я хотела быть как скала, как ручей, как птица,
что парит над всем,
не падает,
не стыдится.

Но столкнулась с ним –
о, я ведь сразу его узнала,
вы столкнетесь тоже,
вы не скроетесь от него – даже не пытайтесь,
он не просто везде, он – всё.

Я бежала быстро,
но липкий хаос дышал мне в шею,
обвивались лозы, ягоды мялись под моими ногами,
и деревья как будто выпячивали корневища,
лился сок, разрастались тени,
пот стекал по телу,
и когда я вступила в воду, я поразилась,
как она чиста и спокойна,
и как мутно стало во мне, как темно и жарко,
когда коснулся
он меня...

Я тростник,
и теперь я знаю – всегда была им,
мы – тростник, что мыслит,
повязанный общей нитью,
собранный в свирель,
то, что нас напугает, но не убьет,
станет нашей песней,
будет течь, в каких-то тайных полостях рождаясь,
чей-то слух тревожа.

Интуиция

Д.

Если верить себе, для родов любви
нужно много слов,
а иначе всё слишком густо в одном намешано,
а истины
переходят одна в другую,
не оставляя швов –
как на картинах Эшера.

Если верить себе,
то вселенная обыденна и страшна,
но легко населяема смыслом, игрой и тайной,
жизнь случайна,
но биография ни одна
не случайна.

И дорога обратно
всегда короче, чем путь туда,
а из всех путей лучший – тот,
что делает жизнь страннее,
и селиться стоит лишь там, где течет вода,
чтоб просвечивать
и колебаться с нею.

И, когда под ногами зыбь, –
доверять волне,
чтоб пропитывала меня, как живая влага,
та прозрачность,
что возникает лишь в тишине
между тайным зовом и робким шагом.

***

То волшебство не дают на вынос –
звездное небо живет внутри нас,
в самых глубинах, на дне колодца
чтобы посвечивать и колоться,

Нету маршрута в него и нету
входа, но в самой кромешной тьме ты
тайную россыпь своих галактик
видишь без всяких духовных практик.

Кто прикоснулся к своей изнанке,
выйдет на путь безнадежно-манкий:

следом за зовом, в глубины сада,
в дикой стране, где уму не рады.

Следом за зовом, в сплетенье знаков,
где весь пейзаж глубоко инаков,
где в асфоделях тропа оленья
– в самую глубь, на свиданье с тенью.

И, поперхнувшись от звездной пыли,
ты ужаснешься – и мы там были –
тем, как от каждой простейшей вещи
в ночь разбегается сетка трещин.

Это конец твой и все же шанс твой –
миф предлагает тебе гражданство,
мажет на лоб твой волшебный ил, из
гущи которого мы родились.

Выйдя наружу, к дневному свету,
ты убедишься: наружи нету,
это твой крест и твоя отрада –
век свой прожить на границе сада.

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА «ОДЕССА. 80-е»

В Александровском садике

Живописец-модернист Борщик поспорил со скульптором Морозом, кто важней для искусства – Джотто или Сезанн. Для Мороза спор кончился нехорошо. Дело в том, что он всегда носил с собой небольшую хозяйственную сумку, в которой лежали молоток и зубило, как это принято у скульпторов. Когда у Борщика кончились аргументы, он схватил эту сумку за ручки и ударил Мороза по голове. Это произошло в Александровском садике, где они сидели на скамейке и пили кагор «Южнобережный» из одной бутылки – по очереди.

Мороз упал.

– Мока! – воскликнул Борщик, увидев неподвижно лежавшего в траве товарища. – Ты живой?

Поскольку Мороз не отвечал, Борщик взял его за ноги, оттащил в глубь газона и там присыпал палой листвой.

Был поздний октябрь. Вороны кружили в небе и каркали – то ли пытались привлечь внимание к преступлению, то ли прощались с Морозом, чья душа в своем движении вверх – к небесам – пересекла маршрут их собственного полета.

Борщик взял сумку товарища и пошел куда глаза глядят, прочь от страшного места. На Жуковского он спустился в подвальчик под «Бакалеей», где встретил монументалистов Сыча и Столпера. Они налили ему стакан шабского, и он, осушив его залпом, сообщил им, что только что содеял. Сначала они ему не поверили. Тогда Борщик, в качестве доказательства, показал товарищам сумку Мороза с инструментами, с которой тот никогда не расставался. Это был, конечно, неоспоримый довод, поэтому Столпер взял еще три стакана вина, чтобы они могли спокойно решить, что делать дальше.

Предложений было два. Первое: поселиться на даче Сыча за 16-й Фонтана и там провести несколько месяцев, сделав вид, что на момент совершения преступления Борщика в городе не было.

В это время продавщица Женя, протирая полотенцем мокрый прилавок, крикнула:

– Валя, ты мне за два стакана портвейна еще с прошлого раза должен, ты не думай, что я забыла!

– Курва, – сказал Борщик. – С такой спрячешься.

Поскольку первый вариант с дачей отпал, перешли ко второму: пойти в милицию и во всем сознаться, потому что чистосердечное признание облегчает наказание. В СССР это знал каждый пионер.

– Только подать это нужно профес-с-сионально, – сказал Столпер. – Чтобы с-следователь мог проявить с-снис-схождение, ты меня понял?

– Какое профессионально? – заметил Сыч. – У него лыко не вяжет ни хрена.

– Та вяжет у меня лыко, в натуре, – возразил Борщик. – Но мозг немного затуманен. Это – да. Я бы лучше завтра утром опохмелился и тогда уже пошел сдаваться.

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая Юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор семи книг прозы. В «Волге» публикуется с 1999 года.

– Верное решение, – одобрил Сыч. – Но текст сдачи нужно приготовить заранее. Пойдем в «Оксамит», там должны быть Аристов и Блюхер. Они тебе такое алиби придумают, что любой прокурор слезами обольется.

Поэт Блюхер и прозаик Аристов сидели в «Оксамите» и говорили о своем месте в мировой литературе. Перед ними стояли два стакана аллигатора, а между ними лежал на развернутой обертке аккуратно поделенный пополам шоколадно-соевый батончик. Блюхер долго не мог освоиться с новостью.

– Валька Моку убил? Да я же знаю Вальку, он муху не обидит! Если и убил, то только в порядке самообороны. Тот на него, а Валька ему сдачи. Ну и не рассчитал. В это я поверю. И потом, за что ему его убивать, ну подумайте сами!

– За Джотто, – угрюмо объяснил Борщик.

– Не болтай чепухой, – отмахнулся Блюхер. – Кто этого Джотто вообще знает?

– Ну, я знаю, – сказал Аристов.

– Ты – писатель, тебе положено. А я про милицию говорю. Ты знаешь, кто там работает? Урфин Джюс и его деревянные солдаты!

– Тогда надо прийти всем вместе и с-сказать: тот на него напал, по-пьяне, про Джотто ни с-слова, конечно, а этот отбивался, – предложил Столпер. – Мы с-свидетели.

Помолчали, обдумывая, потом Сыч сказал:

– Как-то неловко получается, все-таки Мока был очень тихим парнем. Такой не мог напасть.

– Сыч, ты такую поговорку слышал: мертвые сраму не имут? – спросил Аристов. – Это я в том смысле, что Моке уже безразлично, что ты про него скажешь. А Валю могут посадить лет на пятнадцать.

– Да-а, пятнадцать лет – не хер с-собачий, – согласился Столпер.

– Так, решено, выступаем свидетелями, – сказал Блюхер и поднялся с табурета. – Валя, не ссы, мы тебя спасем. В самом худшем случае год-два дадут, время пролетит – ты не заметишь.

Компания вышла на Карла Маркса и направилась, слегка покачиваясь от вечернего ветерка, в сторону Карла Либкнехта, где было отделение милиции. На углу они встретили скульптора Мороза. Тот стоял в сумерках сильно растрепанный и помятый, с приставшими к рубахе и брюкам листьями и окурками.

– Мужики, вы куда? – спросил он у товарищей.

– Вот, Вальку в тюрьму провожаем, – доложил Сыч. – Пойдем с нами, Коля, ты товарищ нам или кто?

– Я не могу, – ответил Мороз.

– А че так? – удивился Сыч.

– У меня голова болит, – объяснил Мороз.

– Вот такой ты товарищ – сказал Сыч. – На Вальку сейчас кандалы наденут, а у тебя голова болит.

Встреча с прекрасным

У Зины разошлась змейка в джинсах. Она поправилась в бедрах, и джинсы этого не перенесли. Зине было восемнадцать лет – время роста. Бабушка тогда посоветовала ей пойти к Лене в будку «Индпошива» под кирхой, он ей вставит новую змейку. Так она и сделала.

В будке помимо Лени, кроившего очередную пару брюк, был молодой художник Игорь Гербер, известный товарищам как Игорулик. Он сидел на краю стола, болтал ногами и курил.

При виде Зины, он сказал:

– Девушка, вот скажите, вы увлекаетесь искусством?

– Да, я увлекаюсь искусством, – не без вызова ответила Зина и покраснела от волнения. С ней еще так не знакомились.

– Я имею в виду изобразительным искусством, а не искусством в целом, – уточнил Игорулик и выпустил в потолок струю дыма.

– Увлекаюсь изобразительным.

– Тогда скажите мне, кто ваш любимый художник?

– Репин, – подсказал Леня, не отрываясь от кройки. – Картина «Приплыли».

– Леня, не подсказывай, – сказал Игорулик и снова обратился к Зине. – Нет, я серьезно. Может быть не один художник, а какая-то группа, или школа. Например, Барбизонская школа. Многим нравится.

– Я знаю барбизонский балет, – вставил Леня.

– Леня, – строго повторил Игорулик. – Не отвлекайся от работы.

– Мне нравятся импрессионисты, – сказала Зина. – Ренуар, Моне, особенно Клод Моне, Дега нравится. Его балерины. Сезанн нравится, но не весь. Некоторые вещи.

– Вот, теперь понятно! – сказал Игорулик. – Именно потому что вам нравятся импрессионисты, особенно Клод Моне и Дега, я хочу порекомендовать вам сходить на выставку молодых художников в худсалоне на бульваре. Знаете, где это?

– Знаю.

– Они сегодня открыты до пяти вечера.

– А вы сами художник?

– Да, я художник, и там есть мои работы. Моя фамилия Гербер. Игорь. Приятно познакомиться, а вас как зову?

– Зина, – ответила Зина и покраснела еще больше.

– Красивое имя, – сказал Игорулик. – Не часто встречается. Да, так вот там не только мои работы, конечно, это большая выставка. Настоящее событие. В Париже об этом бы все газеты уже написали, но у нас тут деревня, так что приходится заниматься саморекламой.

– Спасибо, – сказала Зина. – Я если буду там рядом, обязательно зайду.

– Зайдите, не пожалеете.

К концу этого разговора Леня кончил чертить мелом по разложенному на столе материалу и подошел к Зине. Та объяснила ему, что случилось, он посмотрел на поломку, сказал, что у него есть крепкая змейка YKK и проблема будет решена за пять рублей денег и полтора часа времени.

Зина вышла на улицу. Был полдень. Прозрачный сентябрьский воздух замер. Тени платанов застыли на израненном временем асфальте. Желтые пятна солнца слились со стенами домов.

«Как у Писсаро», – подумала Зина и тут же пожалела, что не назвала его в числе любимых. Она вздохнула, и чтобы убить даденные ей полтора часа, пошла неторопливо вниз по Петра Великого, потом свернула на Садовую, потом на Торговую, оттуда – на бульвар и через двадцать минут стояла у дверей салона перед афишей «Выставка молодых художников Одессы». В салоне не было никого, кроме пожилой женщины в черном костюме. При виде посетительницы она поднялась с низкого подоконника и радушно сказала:

– Проходите, милая, не стесняйтесь! А то, что посетителей нет, так даже лучше, никто смотреть не мешает. Проходите!

Вскоре после того, как Зина покинула Ленину будку, в нее ввалились два молодых человека: Паша Машковский и Саша Рисовский – художники. Они выросли на одном квартале с Леней и продолжали дружить, хотя с точки зрения профессиональной, пути их разошлись. Дружбу укрепляло то, что часть Лениной будки, отделенная от производственного помещения занавеской, могла быть использована для личных нужд. И друзья часто использовали ее, особенно когда им нужно было распить бутылку вина. Не пить же в подворотне! К тому же у Лени всегда были стаканы, что делало мероприятие практически полностью культурным.

– Вас только за смертью посылать, – сказал Игорулик при виде друзей.

– Мы задержались, потому что Паша решил поспорить с продавщицей, на каком основании

она у него требует документы при покупке алкоголя, если у детей такой бороды как у него не бывает даже в страшной сказке, – сказал Рисовский.

– Мы хоть пришли не с пустыми руками, – заметил Паша. – А что ты тут делал, трутень?

– Я не трутень, – возразил Игорулик. – Я послал на нашу выставку посетительницу. Так что хоть кто-то наши произведения увидит. И может быть, расскажет о них другим людям, а те – другим, и так постепенно-постепенно мы станем знаменитыми. Короче, открывай, говорить будем потом.

За занавеской Паша и Саша сели на продавленный диван, который стоял вдоль одной стены, а Игорулик на топчан – напротив. Паша открыл сумку и аккуратно разложил покупки на скамейке, которая стояла между диваном и топчаном. Помимо бутылки портвейна и двух бутылок алиготе на импровизированный стол легли кирпич ржаного хлеба, три сырка «Дружба» и пять конфет «Батончик соево-шоколадный».

Начали с аллигатора. Разлив, Игорулик поднял свой стакан и сказал:

– Ну, что пацаны, это наша первая большая выставка. Так что, как говорится, чтобы наша доля нас не цуралась!

– Давай, погнали, – согласился Рисовский и чокнулся с товарищами.

Не успели выпить, как из-за занавески показалась лохматая голова Борщика, за которым следовала его подруга Мина. У Мины были рыжие волосы, которые пребывали в таком состоянии, как будто бы Мину подключили к электричеству и волосы на это отреагировали соответствующим образом – встали дыбом, как иглы у дикообраза, сразу во все стороны.

– О, пацаны, я как знал, что вы здесь будете отмечать, – сказал Борщик. – Так что принимайте пополнение. Он поставил на скамейку бутылку Меришора, сел на топчан к Игорулику, а Мина тут же устроилась у него на коленях.

Борщик тут же налил всем по второму стакану алигатора, а себе, наверное, уже и не по второму, тут же предложив тост за успех нынешней и последующих выставок начинающих мастеров, и чтобы кураторы из Лувра и из Модерн-арта гонялись за их полотнами, как за полотнами того же самого Джотто!

Все с удовольствием выпили за предложенное, тут же налив по третьей со словами «после первой и второй – промежуток небольшой».

Через полтора часа Зина вернулась за своими джинсами. Но не джинсы были у нее в голове, а увиденное на выставке. Бог мой, она даже не представляла, сколько прекрасных молодых художников живет в ее городе! Какие они талантливые, какое у них должно быть блестящее будущее! У нее даже появилась мысль, что если бы она снова встретила того парня, который отправил ее на эту выставку – Игоря, она могла бы поинтересоваться, можно ли приобрести хоть самую маленькую, самую малюпусенькую из этих работ. Например, натюрморт с пионами Александра Рисовского. Розовые лепестки на его полотне были просто как живые!

Она вошла в будку с волнением. Леня стоял у своего стола и кроил очередную пару брюк, вырисовывая плоским мелком плавную линию сиденья.

– Все готово, – сказал он и отложив мел, достал с полки аккуратно сложенные джинсы. – Нитки, конечно, не фирменные, но тоже неплохие. Подходит?

Зина даже не стала смотреть на работу.

– Вы знаете, Леня, я была на выставке, о которой говорил ваш друг Игорь.

– Ну и как, понравилось?

– Очень! Я просто не могла представить, какие это талантливые молодые люди.

– Встреча с прекрасным состоялась, – сказал Леня.

– Да! Именно с прекрасным. Я даже запомнила имена этих художников, – сказала Зина. – Гербер, Рисовский, Машковский. Как бы я хотела встретиться с ними, познакомиться, может быть подружиться!

– Ну, это я вам мигом устрою, – Леня положил мел на стол и поманил ее рукой. – Идите сюда.

Зина прошла в рабочую часть мастерской, а Леня, откинув занавеску, сказал:

– Вот они все тут, знакомьтесь!

Сначала Зине показалось, что она находится в кладовке музея восковых фигур. Все помещение было завалено телами. Машковский и Рисовский сидели обнявшись на диване. Рубашка на животе Машковского разошлась и его белый живот лежал на коленях, как если бы он был беременной женщиной с поправкой на то, что живот его был не по-женски волосатым.

Напротив этой пары сидели трое. В смысле двое, а третий, точнее – третья, лежала у них на коленях, откинув руки за голову, как если бы была сражена внезапной пулей. Стол был уставлен пустыми, понятное дело, бутылками. Хор храпов, то сливающихся в мощное крещендо, то распадающихся на мелкие, в бурлящих завитушках потоки, сообщал зрительнице, что участники этой группы живы. Самый тяжелый и раскатистый храп был у Машковского. Самый тонкий, похожий не столько даже на храп, сколько на свист, был у Борщика. Женщина издавала звуки, которые начинались как вдох-стон и затем переходили в стон-выдох. Наверное, ей снился кошмар.

– Встреча с прекрасным, часть вторая, – сказал Леня.

Зина отступила на несколько шагов, приходя в себя, потом схватила джинсы, трясущимися руками достала из кармана пять рублей, бросила их Лене на стол и вылетела из будки.

Кассета Maxell Metal MX90

Витя Войцеховский купил себе кассетную дэку Akai со сквозным каналом и ферритовой головой и устроил оргию. Пригласил товарища Варелика, с которым они ходили на сходку менять пластинки, а тот привел девочек – Надюху и Фаину. Надюха была высокой, худенькой брюнеткой с короткой мальчишеской стрижкой и круглым татарским личиком. Фаина была маленькой, рыжей, веснушчатой.

Вечер начали с коктейля Войцеховского, который он делал из молдавского коньяка «Белый аист», кофейной настойки (кофейные зерна и водка) и пепси-колы. Обычно после бокала этого зелья девушки были готовы на все. Но в данном случае произошел сбой – Надюха объявила, что любит только Варелика и не станет трахаться с кем попало. В связи с этим между мужчинами на кухне произошел откровенный разговор, по итогу которого Варелик сказал хозяину хаты не без гордости:

«Чувачок, пойми, она меня любит. А у нас тут все по любви, верно? Так что бери себе Фаину и получай с ней свое удовольствие, она тоже неплохая девчонка».

Но прозвучало это как: «Чувак, Надюха предпочитает меня, и твой магнитофон Akai с ферритовой головой и светодиодными индикаторами ей до фени».

Они еще потанцевали под «Чери-чери леди», которую Войцеховский записал с пласта на кассету Maxell Metal MX90. Звук был обалденный.

Дальше Варелик увел Надюху в спальню, а Войцеховский остался с Фаиной в гостиной, чтобы быть поближе к Akai. Перед тем как лечь к нему на диван, Фаина сняла и аккуратно сложила свои брюки по стрелкам и положила их на спинку кресла, а сверху набросила белую блузку. Войцеховскому это понравилось.

Около одиннадцати Фаина сказала, что ей надо вернуться домой, и стала одеваться. Войцеховский проводил ее до такси и дал водителю два рубля, чтобы тот довез ее куда надо. Отъезжая, она помахала ему из опущенного окна.

Вернувшись домой, Войцеховский обнаружил, что Варелик и Надюха уже намиловались друг другом до немогу и теперь сидят на кухне и едят ложкой из кастрюли компот из яблок и абрикос, который мама сварила ему, когда приезжала с дачи. Когда Войцеховский сел к столу, Надюха спросила, понравилась ли ему ее подруга.

– Ниче, – сказал он. – Только какое-то у нее все детское. Ей бы немного мяса нарастить.

– Вот ты на ней женись, как порядочный парень, и нарасти, – посоветовал Варелик.

Когда все посмеялись, Надюха сказала:

– Витя, поставь музыку какую-то, а?

Витя пошел к магнитофону и обнаружил, что кассета Maxell, которую он оставил на нем, пропала. Он стал искать, сам себе не веря, что мог переложить ее куда-то и забыть, потом спросил Варелика, не брал ли тот ее. Нет, не брал. Наконец он выпустил наружу давно тлевшее в голове подозрение:

– Неужели Фаина сперла?

– Вот те нате, – сказал Варелик. – А ты на ней чуть не женился!

– Кассету жалко, – сказал Войцеховский. – В торгсине, между прочим, купил.

Бессонной ночью, пока Варелик с Надюхой продолжали за стенкой свои любовные труды, откуда только здоровье берется у людей, Витя решил найти эту Фаину и выручить свою кассету.

Вопрос, как ее найти, не стоял, потому что все искали и находили друг друга на Дерибасовской. И действительно, двух дней не прошло, как он ее там встретил. Она даже зарделась при его виде: от радости ли, от смущения – не поймешь. Ну, поговорили о том о сем, вспомнили былое и условились встретиться. Вот и все: процесс пошел, товарищи!

Фаина жила на Молдаванке. Входишь во двор – колонка, простыни на веревках, балконы по периметру, она – в конце двора, в беседке. С ней рыженький, как и она, мальчоночка лет трех. Твой? Она кивает и улыбается. Мальчоночка к нему подошел, смотрит на него, и такая у него надежда в глазах, что у Войцеховского даже сердце екнуло – чего это он?

Погуляли вокруг дома, на углу он всем приобрел по шоколадному пломбиру по 19 копеек. Они еще посидели на перилах, поговорили о том о сем: музыка, ей итальянцы больше всего нравились, особенно Челентано, еще про джинсы: ему – 505-й Левис, надеваешь, они на тебе как влитые, а ей – Лаки Брэнд.

Мальчонка, Борей его звали, весь, конечно, в этом пломбире перемазался. Она вытерла его и при этом улыбалась смущенно, мол, такая вот у меня жизнь. Он, естественно, спросил, когда они теперь снова увидятся. Она ответила, что едет в командировку в Тбилиси, у них там смежное предприятие, но оставила телефон и сказала, когда вернется.

– Ты там поосторожней, – сказал он. – Грузины, говорят, дикие люди.

– Южный темперамент, – согласилась она. – Но ты не волнуйся, я туда не первый раз еду. Так что имею представление.

– Ну, если у тебя там знакомые, тогда, наверное, не так страшно.

– Да, есть кое-кто, – кивнула она.

Ночью он лежал и вспоминал, как она своего Борю утирала и улыбалась ему смущенно. Что-то в этом было теплое, домашнее.

Через неделю он ей позвонил. Вернулась? Да, вот только вошла. Хочешь зайти? Ну конечно! Приходи в десять или даже в начале одиннадцатого. Борька уже будет спать и мама тоже.

В коридоре она обняла его как родного, постояла так с минуту, потом повела в свою комнату. В комнате разложенный диван, подушки, красный клетчатый плед, письменный стол у окна, трельяж в углу, кресло, на этажерке – книги, портативный двукассетник Sharp, и возле него с полдюжины кассет. Он сразу увидел свой золотой Maxell и даже засмеялся от удовольствия.

У него была с собой бутылка фетяски и, пока они пили, он спросил:

– Ну, как Тбилиси? Понравился?

– Да, веселый городок, – ответила она и улыбнулась, глядя куда-то поверх его головы, словно вспоминала что-то свое, его не касавшееся. Потом, заметив его взгляд, вернулась обратно.

– Ботанический сад очень красивый. Цветы тропические, лианы, бананы, фазаны ходят.

Любовью они занимались под музыку Адриано Челентано. Диван скрипел, Фаина стонала, зеленые и красные блики от светодиодов отражались на потолке, было хорошо.

Войцеховский проснулся, когда Фаина еще спала. Круглый будильник, громко тикавший на столе, показывал семь. Было солнечно, голуби ворковали за окном, кто-то набирал воду в ведро. Он неслышно поднялся с дивана, оделся, потом взял свою кассету и положил в задний карман джинсов. Миссия была выполнена. Он неслышно ступил из комнаты в коридор и увидел там мать

Фаины. Большая, с тяжелым отечным лицом, в просторной белой ночной сорочке она смотрела на него мутным взглядом. Рядом с ней стоял Борька.

– Ты что, уходишь? – спросил он.

– Да, дела, – ответил Войцеховский.

– А мороженое еще пойдем кушать?

Он не успел ответить, женщина подтолкнула мальчика к приоткрытой двери ванной.

– Шевелись, давай. Пока зубы не почистишь, никаких вопросов.

Когда они скрылись из виду, Войцеховский открыл дверь и спустился во двор. Здесь он осмотрелся и, увидев проход между двумя флигелями, нашел в нем дворовой туалет. Выбирая островки относительной суши в зловонной желтой луже с холмиками хлорки, он добрался до отверстия в бетоне, приспустил тугие Левиса и вздохнул с облегчением. В этот момент кассета выпала из заднего кармана и, упав в лужу, громко треснула. Он обернулся и увидел, как мутная жижа заполнила пластиковую упаковку. Он не стал поднимать ее, а только подтолкнул ногой в темное отверстие.

Через несколько дней он встретил на Дерибасовской Варелика, и тот сообщил, что у него есть для него хорошая новость.

– Ну, давай, наливай, – сказал Войцеховский.

– Мы с Надюхой вчера посмотрели на моем видаке «Эммануэль», и она решила попробовать с двумя.

– Ну, а я тут при чем? Я же ей не понравился.

– Она говорит, что она к тебе присмотрелась и типа привыкла. Ну и потом эта Фаина о тебе тоже хорошо отозвалась.

Войцеховский, помолчав с минуту, сказал:

– У меня для твоей Надюхи есть плохая новость.

– Какая же? – спросил Варелик.

– Ее подруга Фаина поехала в Тбилиси, привезла оттуда трипак и наградила меня. Так что я сейчас на излечении.

– А выглядит тихоня-тихоней, – сказал Варелик. – Ну, ничего, чувачок, не расстраивайся, трипак – не сифон. Саша со Среднефонтанской за сороковник тебя отремонтирует, будешь как новый.

– Уже ремонтирует, – доложил Войцеховский. – Но вы пока себе кого-то другого подыщите.

– Ну, чувачок, это не проблема, ты же понимаешь. Так что давай, выздоравливай.

– И ты не болей, – сказал Войцеховский. – Успехов!

Алина ВИТУХНОВСКАЯ[*]

Во имя лишь себя самой

Как церетелевские рыцари
Дома громоздкие в дыму.
И тут я поняла, что в принципе
Давно готова ко всему.

Как смыслы исчезают строем,
Лакая смрад цивилизла-
Ции, так я решив не быть героем,
Всё ж им была.

Внутри или снаружи клетки,
Став политическим субъектом,
Не для идеи проходной,
Во имя лишь себя самой.

Васнецовый джаз

Болотный, холодный, склизкий,
Тревожный как декаданс,
Порочный как крепкий виски,
Немой как один из нас,

Извилистый как траншея,
Как антисверхчеловек
К той анти-Гиперборее
Торопится новый век.

И капают слезы-листья
Из васнецовых глаз.
И Вася-Апокалипсис
Играл васнецовый джаз.

Алина Витухновская[1] *родилась в 1973 году в Москве. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дети Ра», «Новая Юность», «Дружба народов», «Волга» и др. Автор нескольких стихов и прозы. Лауреат премии «Нонконформизм-2010» и др. Живет в Москве.*

[1] Является участником женского общественно-политического движения «Мягкая сила», входящим в состав органа лиц, указанных в части 4 статьи 9 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», включённого в реестр иностранных агентов.

Кто всё знает наперёд

Кто всё знает наперёд,
Тот на свете не живёт.
Вот и я бы знал, да не жил,
Лишь небытие бы нежил.

О чём...

О чём я не думала никогда,
Чего нет в моём понятийном аппарате –
Бытие как благо,
Моральный императив,
Справедливость,
Розы,
Вообще цветы,
Природа
Как нечто гармоничное,
Гармония как таковая,
«Бог» был для меня не более чем метафорой
Надутой пустоты, глупости.
Никогда не думала о детях,
Советском автотранспорте,
Роковых женщинах,
О том, что должна познавать нечто в сравнении,
Быть довольна тем, что не инвалид.
Не думала о старости со стаканом воды,
О болезнях типа рака,
Государственных гарантиях,
Цветаевой,
Валери Соланас,
Тарковском,
Избегала (не понимала) чувства родства.

Думала часто о
Славе,
Ресурсе,
Власти,
Смерти,
Как о том, что символизирует очевидное –
Бытие будет длиться вне и помимо тебя,
Что, в сущности, обессмысливает всё.
Думала о вечной жизни,
Функциональности,
Комфортабельном одиночестве,
Как стать роботом и субъектом одновременно,
О красоте,
О другом лице,

Другом теле,
О возможности не родиться,
Об отмщении,
Об энергии ненависти,
Об отсутствии энергии вне глобальных целей,
Об астении суеты,
О суете астении,
О том, как никогда не соприкасаться с бытом,
Как подчинять.
Думала о страхе страха,
О страхе самой себя,
О бесстрашии, проистекающем из равнодушия,
О том, что мир скорее плох, чем хорош,

Иначе он был бы невыносим, невозможен.

Как в бабочке укол

Среди белковых ловких тел,
Косматых алтарей,
Пришел куда ты не хотел
И там заматерел.

Когда в уюте, не родясь,
Лелеял ничего,
Ты был уж в пионеротряд
Записан для чего?

Какой-то некропионер
И некроконвоир
Твоих не выдержал манер
И в ад благословил.

Ты сам из этих буратин,
Что в сказке до конца,
Держась за плети пуповин,
Уже в ремнях отца.

Не дай вам бог и садо ма
Здесь пуповина – плеть.
А рядом посох и тюрьма,
Чтоб жить и умереть.

А ты, придуманный не-бог,
Куриный злобный царь,
Белковых тел пустой итог,
Продумал до конца?

Вот этот род, вот этот дом,
Вот эту

У-
Ли-
Цу,
Что в ад закатится потом,
К кошмарному концу?

Посмотришь в ужасе и дрожь
Пронзит от бытия.
В зеркальном отраженье тож
Стоит другой, не я.

Вот чемодан, вот гроб, вокзал,
Субъектность в сундуке
Я миру в целом отказал,
Я вышел налегке,

Но потому я боле был,
Что боль не превозмог,
А просто взял и отделил
Импринтинговых ок.

Оков, инстинктов, родовых,
Привычек, лжи, рутин.
Где смрадно пляшут гробовых
Владельцы б/у ратин

Среди матерьи, что темна
Я сам заматерел,
А вы, вы так похожи на
Отцов и матерей.

Да что похожи, вы они,
Да, вы они и есть,
Нет в бессубъектности границ,
Подобий в ней не счесть.

И по подобию в аду,
Как лобио в крови
Как пулю в лоб в моем роду,
Пускали от любви

И истекали от нее,
На скатерть, на постель,
На паперть. Кружит вороньё,
Вдыхая сладкий хмель.

Льняная лень пустых людей.
Миллениум уныл.
Мертвец в коробочке идей
Как бабочка застыл.

И ты, пока как человек,
Выдавливал раба,
Попал давно во смерть как в снег,
В двуглавый свой герба...

Такой имперский символизм,
Набоковский прикол.
Весь человеческий трагизм –
Как в бабочке укол.

Я пойду другим путём

Если надо унижаться,
Чтобы выжить и дрожать
До ежа в игле ужаться
В отражении ножа,

Что для мести припасённый
Ты припрятав в неглиже
В мир беспомощный и сонный
Не воткнёшь теперь уже...

Если надо усмиряться,
Травоядно утекать,
Снова лгать и унижаться,
Унижаться, снова лгать.

Если не опять, а снова
Путь модерна повторять,
Если падшие оковы
Вновь на шею примерять,

Если, если, если, если
Ваш ошибочный весь путь,
Вашу жалобную песню,
Снова вместе затянуть,

То, пожалуй, я не стану
В эту ие-рар-хи-ю
Больше встраивать спонтанно
Жизнь и молодость свою.

Чтоб не слушать робкий ропот,
Что в отчаянье вплетён,
Модернистский свергнув опыт,
Я пойду другим путём!

Крик

Как Ло над бездною скакала,
Она манила словно власть –
Дитя Ничто и Капитала,
Часть речи и молчанья часть.

Здесь ей ничто нечеловечье
Не чуждо. И кровавый клык
Кроваво-чёрной русской речью
Захватывает под язык –

Она и хищница и жертва,
Нарци́ссиха и злой двойник.
И из божественного жеста,
Как зверь выпрыгивает крик...

Понты

Во дни сомнений и раздумий,
Хао́са, катастроф, хардкора,
В чреде чужих душе безумий,
В плену тоски и форс-мажора.
Средь дребезжащей пустоты
Лишь вы мои надежда и опора –
Понты!

Владимир ТРЕНИН

ДОЖДЛИВЫЙ ЯНВАРЬ

Рассказ

К Андрею подсела странная женщина в красном пальто и зелёном платке, она всхлипывала, бормотала, спрашивала и сама отвечала:

– Он ведь встретит тебя?

– Да.

– А если нет? Ты не будешь плакать?

– Буду... Но ведь он придёт, обязательно придёт...

Автобус завернул в лес, на незапланированную остановку, въехал в незнакомый рабочий посёлок. За окном мелькнула лесопилка, потом ржавая водонапорная башня, показались серые бараки и, наконец, бетонный короб остановки у сельмага.

Женщина упала ему на грудь и зарыдала:

– Мы точно приедем? Нельзя опоздать, немыслимо!.. Меня ждёт человек на конечной.

– Точно, – сказал Андрей. – Мы все будем вовремя на конечной.

Она прижалась к нему, шмыгала носом, а Андрей гладил её вежливо по плечу, успокаивал, как троюродную сестру на похоронах дяди. За окном валил густой снег, несмотря на середину апреля. Наверное, последний снег в этом году?

«К чему это видение?» – подумал Андрей. «Прогноз обещал солнце. Похоже, в апреле не будет больше снега, разве что в мае. ...Наверное, пора менять резину?» Он хмыкнул во сне. «Какая резина, что за бред? Во-первых, у тебя нет машины, а во-вторых – сейчас январь...».

Андрей проснулся от кашля матери за стенкой. На улице – дождь, будто и не зима вовсе. Как же хорошо, уютно, лежать под одеялом и слушать перестук капель по оконному отливу и знать, что никуда не надо идти. Он прочувствовал момент, поднялся, закурил, достал пиво из тумбочки, аккуратно поддел ключ, стараясь приглушить предательский «пшик». Мама ворчала, когда он пил, поэтому Андрей запасал пенное заранее, проносил к себе в комнату тайком, вечером на кухне опрокидывал кружечку, а основной объём добивал ночью, сплющивал пустую тару специальным прессом, заказанным в интернете, и также скрытно выносил компактный груз алюминия в портфеле. За отпуск он мог опорожнить несколько ящиков. На работе знали о его слабостях, коллеги шутили, якобы главный специалист изнашивает организм специально, чтобы его печень не досталась сильным мира сего. Развивали на перекурах версию о мировой закулисе, базе данных с генетическими двойниками, и о том, что каждый человек может являться потенциальным донором для какого-нибудь грязно богатого негодяя. Из Андрея получился плохой биоконтейнер для сохранения органов, он не соблюдал диет, любил шоколад, много курил, пил и сильно сдал, разменяв полтинник. На последнем медосмотре четыре года назад профпатолог поставил диабет, выявил букет болячек поменьше в самых неожиданных местах, распечатал список рекомендаций по диете и образу жизни на отдельном листе, который Андрей выкинул в ближайшую мусорку. Хорошо, что контора решила сэкономить и ежегодные профилактические медицинские исследования отменили, за отсутствием врачебного осмотра исчезли и проблемы.

Владимир Тренин родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Работает инженером-геологом. Автор четырех книг прозы. Публиковался в журналах «Север», «Дружба народов», «Урал» и др., в «Волге» печатались рассказы (2022–2026). Живет в Петрозаводске.

Лето случилось жарким, главспец Андрей Алексеевич Весёлый несколько раз терял сознание на работе перед двумя широкими мониторами с открытым профилем проектируемого пути. Раздражённый начальник вынужден был вызывать неотложку. Андрею делали укол, уговаривали поехать в больницу, пугали гликемической комой и скорой смертью, но тот всё равно писал отказ от госпитализации. Причина простая – в больничных тумбочках он не нашёл бы трёхдневного запаса пивчанского, да и курить в палате запрещено. Зачем лишать себя простых радостей жизни – сигареты и баночки пива, а больше ему ничего и не надо. Уверял, что не умрёт, на тот свет ему совершенно не с руки, нельзя ни в коем случае, он не может расстроить матушку, и самый главный проект его жизни ещё не закончен.

Андрей подошёл к компьютеру, двинул мышь. На огромном мониторе показался индикатор прогресса скачивания новой игрушки. Сел в широкое кожаное кресло, напоминавшее по форме трон Карла Великого, и долго смотрел на ленту загрузки. Он больше времени проводил за скачиванием игрушек и новых блокбастеров, чем за просмотром фильма или самой игрой, хотя компьютер, собранный по специальному заказу, предназначался именно для современной игры на высоких настройках. Он хвастался в конторе, что аппарат у него один из лучших в городе. Непонятно только для чего?

«Именно для этого» – все развлечения и зрелища мира тускнели перед медитативным бесконечным кино со шкалой загрузки. Лента вдруг ускорилась, скакнула на целый сантиметр вперёд, главспец вздрогнул от неожиданности.

«Вот это интрига, захватывающий сюжет», – усмехнулся он про себя.

Сейчас Андрей находился в отпуске, он всегда брал отпуск зимой, после новогодних праздников. Руководство это устраивало, январь – спокойный месяц, запарка начиналась ближе к весне.

Брякнул телефон. Он открыл приложение камеры электронного глазка на входной двери, срабатывающей на движение. У соседской квартиры пьяный мужчина долго боролся с замком, наконец открыл и ввалился внутрь. «Кеша нажрался, значит – наступили выходные». Иннокентий Рыбин, вихрастый сорокалетний брюнет трудился сантехником, и в пятницу вечером с товарищами по цеху они собирались в пивнухе «Красный лев», работающей до последнего посетителя. Андрей частенько его встречал там раньше после работы.

– Здарова, сосед! Разрешите-ка вашу кашу нашим хером помешать! Айда к нам, Андрей Батькович, пригубите ерша-ершовича от королей говна и пара! – орал Кеша с другого конца зала. Надо отдать соседу должное, он в любом состоянии обращался на вы. Андрей кивал ему, торопливо глотал кисловатый напиток производства местного пивзавода и покидал заведение. Компаний он не любил. В конторе ещё ладно, все свои, да и то начинают подбешивать, а здесь, нет уж, увольте-с. С возрастом Андрей стал и вовсе сторониться людей, в «Красный лев» давно не заходил, пил дома.

В квартире Иннокентия что-то с грохотом рухнуло: похоже, хозяин приземлился на паркет вместо дивана, промахнулся мимо посадочной полосы, как палубный истребитель в шторм.

Сосед жил долгое время с рослой крикливой блондинкой Ангелиной: ах, этот пронзительный стон по ночам! Страсть, как часто бывает, переросла в одержимость, Кеша оказался ревнивцем. Начались необоснованные предъявы, переросшие в ссоры; крики любви сменились шумом от скандалов и драк, всё по классике, только в синяках ходил Иннокентий – Геля занималась тхэквондо. После очередной особенно яростной схватки в конце осени они расстались, и Кеша пропал на некоторое время.

В начале декабря, поздним вечером, в квартиру Весёлых позвонили. Андрей распаковывал только что полученный новый девайс – видеоглазок на дверь, с возможностью передачи картинки на телефон.

Испуганная мама заглянула в комнату сына:

– Милиция, Андрюшенька. Тебя спрашивают. Ты ничего не натворил?

Странно, но законопослушный Андрей затрепетал и промелькнула липкая мыслишка про возможное преступное деяние: «Может быть, по пьянке накосячил и не помнит? Пиво недавно в

парке пил, нужду справлял на угол дома, вдруг кто видел и доложил, такое себе преступление, да нет, ерунда какая-то».

– Мам, ну ты чего?

Он накинул халат, вышел в прихожую.

– Капитан Сергеева, – представилась крупная миловидная зеленоглазая женщина в чёрной расстёгнутой болоньевой куртке и пушистом сером свитере.

Андрей внимательно изучил удостоверение, форма ей очень шла, потом посмотрел на гостью. Капитан Сергеева улыбалась. Он вздрогнул от пронзительного, изучающего взгляда и не сразу заметил молоденького сержанта за её спиной.

– Андрей Алексеевич, очень приятно, чем могу быть полезен?

– Есть пара вопросов по поводу вашего соседа Иннокентия Рыбина. Вы его знаете? Как он вам?

– Иннокентия? Конечно знаю, хороший парень. Спокойный, вежливый.

– Точно спокойный? Старушка из квартиры напротив сказала, что шумный.

– Да ладно. У неё самой телевизор молотит круглые сутки, вот кто людям спать не даёт. А что случилось?

– Рыбин поступил в больницу с ножевыми ранениями. Мы обязаны реагировать.

– Всё нормально с ним, живой?

– Не переживайте, жить будет. Значит, вы ничего не слышали ночью с 21 на 22 ноября?

– Ничего, – соврал Андрей.

– Спасибо... – Она замешкалась. – Андрей Алексеевич, вы меня не узнали?

– Нет, а должен?

– Я вас помню, мы вместе подавали последний звонок на выпускном для восьмого класса. Моя фамилия в школе – Зайцева. Аня Зайцева, помните?

Андрея словно ударили по затылку... и заиграла музыка, суета и гомон в актовом зале. Как это было давно...

– Весёлый! – он услышал строгий оклик завуча, седой высокой дамы с финской фамилией Хейкинен. Она держала за руку худенькую девочку с большими белыми бантами и зелёными глазами.

– Андрей, знакомься, Аня Зайцева из первого «Б». Аня – это Андрей Весёлый из восьмого «В». Андрей, тебе предстоит ответственное и почётное задание. Будешь подавать последний звонок.

Выбор завуча пал на Андрея, потому что он был единственным в белой рубашке, галстуке и новом чёрном костюме. Андрей не хотел наряжаться, но мама настояла. Раньше, выпускной в восьмом классе особо не отмечался, собрали параллель, грамоты вручили и по домам. Большинство его друзей не пошли в девятый, рассосались по техникумам и хабзайкам.

Анечка преданно и очень серьёзно смотрела на Андрея снизу вверх. Он подмигнул девочке, поднял её на плечо. Тогда он был сильным, ходил в качалку, это сейчас тяжелее банки пива не поднимает. ... Кровь прилила к лицу, он нёс Анечку по кругу, в её руке звенел колокольчик, школяры угорали, орали обидное вслед, дико гоготали, и Андрей чувствовал, как дрожала Анечка, крепко сжимала его шею, может испугалась высоты или криков. Понятно, что эти парни с заводской окраины сами мечтали бы пронести хрупкую зеленоглазую девочку на своих плечах, но всем видом показывали: «им западло ботва от завуча», он и сам немного стыдился порученной миссии. Неловкий момент с годами стёрся из памяти...

– Я бы вас тоже не узнала. Пробивала по базе имена соседей Рыбина и увидела необычное ФИО. Не так много в нашем городе людей с фамилией «Весёлый». ...Мне казалось, что вы выше ростом.

– Мне тоже казалось, – грустно улыбнулся Андрей.

Под её изучающим взглядом он чувствовал себя старым и уродливым. Как назло, недавно в прихожей новую светодиодную люстру прикрутил. Чем мешало винтажное бра с одной уют-

ной лампочкой на сорок ватт? Мало ему видите ли света, чтобы шнурки завязывать, зато теперь иллюминация в прихожей, как в операционной. Андрей представил себя со стороны в нелепом коротком халате: тоненькие бледные ножки, выпирающее брюхо, рыхлая землистая кожа, куперозная сетка на щеках, тёмные мешки под глазами, для полноты картины не хватало внезапного приступа кашля, какие с ним случаются в последнее время – кажется, что с мокротой выхаркиваются куски лёгких.

– Может, чаю? – предложил он.

– Спасибо, поздно уже, снизу ещё соседей опросить нужно, – она чиркнула на листочке. – Вот мой телефон, если что вспомните, звоните.

В этот же вечер Андрей достал с антресолей школьный альбом. Он долго разглядывал себя на групповом выпускном снимке, красивый юноша улыбался, но большие глаза таили странную печаль, под овалом с его фото – подпись курсивом: *А. Весёлый.* «Я, оказывается, был ничего».

Спустя неделю вернулся из больницы Иннокентий, бледный и похудевший. Столкнувшись с Андреем во дворе, попросил закурить, разоткровенничался, шепнул по большому секрету, что Геля хотела сделать ремонт, они вместе подбирали обои, краску, Кеша ухватился за эту идею, думал, что совместный труд поможет найти новый смысл в отношениях, кризис пройдёт, но слово за слово, опять началась перепалка. В пылу ссоры подруга Иннокентия собрала вещи и хотела уйти, Кеша же вцепился в неё мёртвой хваткой, и она пырнула его несколько раз новым ножом для резки обоев. Серьёзно покромсала. У врачей возникли вопросы, и Кеша сказал, что на него ночью напали неизвестные у пивной «Красный лев».

Иннокентий – молодец, не сдал свою любовь, парень действительно не самый плохой, в этом Андрей не соврал капитану Сергеевой.

Главспец Весёлый лежал, слушал дождь и ни о чём не думал. Странное ощущение, даже приятно, словно он достиг просветления, как буддийский монах.

После визита следователя он решил съездить до школы, тридцать лет не наведывался в те места. Семья Весёлых перебралась в новый район, когда он поступил в университет. Ностальгии по детству Андрей не ощущал и на вечера встречи выпускников не приходил, изредка узнавал с большим запозданием о смерти очередного одноклассника, умирали в основном парни, и не от синьки, а скорее от безысходности.

Школа почти не изменилась, только деревянные рамы поменяли на пластиковые. Деревья стали больше. Стадион огородили металлическим зелёным забором. На окраине школьной территории велись строительные работы, торчали бетонные пломбы с огрызками спиленных металлических труб. Трое мужчин: два молодых южанина и плотный седой бригадир пытались их выкорчевать отбойными молотками.

Когда Андрей проходил мимо, бригадир дал команду заглушить технику и попросил закурить.

– Третий день хреначим, вытащим не можем, – пожаловался начальник, затягиваясь. Помощники его сидели в сторонке на корточках. – Что за херабора тут стояла – непонятно. Какие-нибудь качели или турники, – предположил бригадир. – Но сделано капитально, на века. Сейчас на ЛЭП фундаменты жиже мастырят.

Андрей молча кивнул, не стал объяснять, что здесь когда-то находилась высокая эстакада. Во втором классе после уроков он сорвался с этой «хераборы» и очнулся только утром в своей кровати, увидел испуганных маму и папу. Старший Веселый из семьи ушёл позже. Оказывается, Андрей сильно ударился головой и его, ничего не соображающего, привели домой одноклассники. Попил чаю и сразу лёг спать. Почти сутки пропали из его жизни: вот он висит, бездонное весеннее небо над головой – миг – и перед ним глаза мамы.

Выйдя за территорию школы, Андрей прислушался к затухающему в тумане перестуку бетоноломов и подумал, что сюда он больше никогда не вернётся. Он решил пройтись пешком через лесопарк, где с товарищами в детстве играл в войну. Главспец брёл напрямки по мокрому пористому снегу, усыпанному хвоей. Лес терялся во влажной дымке, кое-где под деревьями валялись пустые бутылки на четверть литра, под одной раскидистой елью в два обхвата Андрей насчитал

пару десятков водочных мальков. Какой-то бедняга с завидной настойчивостью безрезультатно пытался вылечить свою тоску.

Извилистая речка Воронька переполнилась водой, испытала редкое для северных широт явление зимнего паводка. Андрей двинулся вдоль каменистого русла, пока не наткнулся на переброшенный на другой берег сосновый брус. Мужчина ступил на узкую обледеневшую поверхность, добрался до середины и понял, что дальше он не сможет пройти. Лёд, намёрзший на древесину, покрылся слоем влаги, и подошвы ботинок потеряли сцепление с поверхностью. Под ним бурлила тёмная маслянистая стремнина, пахнущая мазутом и гнилыми тряпками. Главспец застыл в позе канатоходца, начал по сантиметру сдвигаться назад, но с непривычки затекли уставшие ноги, задрожали от напряжения колени. Андрей подумал, что сейчас он рухнет вниз, ударится головой о гранитную глыбу на дне, течение затащит тело под размытые еловые корни, и найдут его, в лучшем случае, летом, когда спадёт вода. Усилием воли он унял дрожь в коленях и начал скользить назад, движения его напоминали лунную походку Майкла Джексона. Со стороны, наверное, выглядело очень смешно. Почувствовав под ногами твёрдую землю, он вернулся к дороге и вызвал такси...

Андрей взял ещё банку пива из тумбочки, поддел ключ и сделал большой глоток тёплой горьковатой жидкости: «Ведь в тот день, на реке, случилось самое большое приключение моё... Что же это за жизнь то такая?»

Он пил через затяжку, крутил бумажку с телефоном следователя, сохранённую под клавиатурой. «Смешной, пузатый инженеришка, ишь чего надумал. У неё другая фамилия... Но кольца-то нет? ...А вдруг? Лучше сделать и обломаться, чем не сделать и жалеть, так вроде говорят?» Мужчина закрыл глаза. Дождь шуршал за окном, гудел жёсткий диск, загружалась игра. Андрей тронул мышь, ожил монитор.

Он вздрогнул от внезапного сигнала. Приложение камеры электронного глазка прислало уведомление о движении у двери. Андрей открыл картинку. На лестничной площадке стояла женщина в красном пальто и зелёном платке. Она смотрела на него и не шевелилась. Андрей застыл, не в силах отвести взгляд от экрана. Печальная гостья подняла руку и помахала ему...

Утром Андрей долго не выходил из комнаты. Мама тихонько приоткрыла дверь и увидела его сидящим за компьютером. Он хрипел, закатив глаза, откинувшись на спинку обширного кресла. Скорая приехала через полчаса. Иннокентий Рыбин помогал водителю и фельдшеру вытаскивать носилки с соседом. Андрей Весёлый оказался очень тяжёлым хотя с виду и не скажешь.

Маргерит ЯНГ

Перевод с английского Микиты Неймана

От переводчика: *Маргерет Вивиан Янг (1908–1995) – американская поэтесса, прозаик, эссеистка и преподавательница творческого письма. Родилась в Индианаполисе, окончила Батлеровский университет, защитила магистерскую диссертацию по литературе эпохи Елизаветы I и Якова I в Чикагском университете и докторскую диссертацию в Университете Айовы. Преподавала в знаменитой Айовской писательской мастерской, Фордемском университете и Новой школе социальных исследований.*

Автор двух поэтических сборников, двух историко-утопических исследований, книги эссе и масштабного экспериментального романа «Мисс Макинтош, моя дорогая» (1965), приобрётшего сегодня статус культового. Её проза отличается барочной пышностью и поэтичностью. В Нью-Йорке Янг была видной и яркой фигурой Гринвич-Виллидж, входила в круг Карсон Маккаллерс, Трумана Капоте, Анаис Нин, Фланнери О'Коннор и Ричарда Райта.

Отдельное место в её творчестве занимает короткая проза – в сборник «Приглашая муз» (Young M. Inviting the Muses: Stories, Essays, Reviews. 1st ed. Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1994. 246 p.) вошли три рассказа: «Старик Джеймс» (См: https://kongresswpress.ru/oldjames), «Бабушкина нога» и «Покойницы». В них отчётливо прослеживается экзистенциальная тревога и трагизм эпохи Второй мировой войны. При этом первые два рассказа пронизаны тончайшей иронией, а в «Бабушкиной ноге» эта ирония выливается в чистейший гротеск.

РАССКАЗЫ

Покойницы

Леда расчёсывала волосы старушки. Они были редкими и безжизненными, белизна делала их почти прозрачными, но она плавно, ловкими пальцами зачёсывала эти тонкие пряди на проплешины. Всё равно что серебристый пушок на заиндевевшем камне.

Леда отступила на шаг, оглядывая плоды часового труда. Пожалуй, больше тут делать нечего. Нет, будет неправильно румянить лицо этой увядшей деревенской женщины. Так она выглядела куда естественнее: со всеми своими морщинами, плоской грудью и пугающе неподвижными ступнями в добротных ношеных башмаках. Ей куда больше шли эти крупные коричневые пятна на щеках и сложенных руках, похожие на следы от прелой листвы. В таком виде Господь сможет её узнать. В таком виде она и сама бы себя узнала – с искривлёнными костями сгорбленной спины и замершим трепетом сердца.

Пока Леда вглядывалась в свою подопечную, мыслями уносясь куда-то далеко, она услышала, как со стуком распахнулась дверь, и почувствовала, как ветер резанул её по плечам, словно ножом. Но она не пошевелилась. Напротив, вся подобралась, обратив своё внимание на старушку – такую хрупкую, такую одинокую, чья жизнь была так бесповоротно и окончательно завершена. А свёкру не мешало бы поумерить свой игривый пыл – как сейчас, когда он дышал ей в затылок, а в глазницах блестели глаза-самоцветы.

Ей хотелось лишь только, чтобы её оставили в покое.

– И чего ты тут торчишь, – бросил он, – в такой-то чудесный день?

– Чудесный? – отрешённо отозвалась Леда. Она смотрела на мух, застывших на потолке в свете дуговой лампы, и чувствовала сладковатый запах крови, повисший в спёртом воздухе. – Чудесный? А я и не заметила.

У неё не было времени выглядывать наружу – льёт ли там дождь или светит солнце. Не мешало бы напомнить ему, чем он здесь должен заниматься!

– Она готова, можно вывозить в зал, – отчеканила Леда.

– Чем же ты тут занималась целую вечность?

Боже милостивый, уж он-то сам успел сделать предостаточно. Более занятого человека свет не видывал: он то строил, то сносил дома, то надзирал за рабочими. Он и сам успел вскарабкаться по паре лестниц. А ещё одолжил деньжат Билли Хенери, который по весне отработает долг, покрасив ему амбар. А ещё съездил выбить должок с Андерсонов – те задолжали за аренду аж с прошлого Рождества. Одно, другое. Кстати, борова-то тогда из-под носа увёл именно Гай Андерсон.

– Потом сбегал проверить, как там дела на ферме, – вдохновенно добавил он. Он рассмеялся ей прямо в ухо, готовый выдать очередную шутку: – И какой сюрприз, думаешь, преподнесла сегодня утром наша гернзейка, а, Леда?

Леда пожала плечами. Её это совершенно не заботило. Она и так могла догадаться: речь наверняка пойдёт об очередном приплоде. Ей же хотелось поговорить о том, что было ближе и насущнее.

– К этой бедной старушке сегодня утром пришёл лишь один человек, – объясняла она, – её дочь-калека – в жизни у неё не сложилось. Та, у которой нет ноги. Она принесла астры, пришитые к бумажному сердцу. Других цветов у неё не будет. Самые обычные астры, какие везде растут.

Свёкор выразил сожаление, но отделался общими фразами. Джонам было не свойственно рассуждать о столь высоких материях. Они попросту не отваживались на размышления, как он частенько пояснял. Поэтому он лишь привычно покачал головой в знак огорчения.

– Таковы уж издержки нашего дела, милочка, – сказал он. – Ничего не попишешь. Но вот взять хоть ту гернзейку, о которой я говорил. Сегодня поутру она отелилась двойней, да только телята – чёрные как смоль. Надеюсь, ты-то не принесёшь Тому в подоле такой сюрприз, а, Леда?

Он вечно подшучивал над её положением, не стесняясь даже совершенно посторонних людей. И вот теперь решил сравнить её с гернзейской коровой, которая сорвалась и нагуляла телят на чужом пастбище.

– Но до чего же хорошенькие, Леда, и такие неуклюжие – как все новорождённые. А уж корова-то как гордилась своей проделкой! Наотрез отказывалась меня слушаться.

Леда невольно улыбнулась.

– И всё-таки, свёкор! К мёртвым нужно иметь хоть какое-то уважение, – напомнила она. – Нам не следует вести такие разговоры, по крайней мере, здесь.

– Вздор. Мёртвые нас не слышат. Мне, по крайней мере, с таким сталкиваться не приходилось. Том вот совсем крохой спокойно забирался в гробы. И твой малыш будет. Том ни капельки не боялся. Так и вырос без этого страха.

Он взял её под руку, и они двинулись к двери в зал, а он продолжал:

– Видела бы ты тех овец, Леда. Они паслись на склоне холма среди сорной травы и на этот раз подпустили меня совсем близко. Привыкнут к моим порядкам. Пока-то они понимают, что для меня ферма – такая же новинка, как и для них.

– Но только не для меня, свёкор, – отрешённо ответила она.

– Что, неужто он ещё не толкается? Неужели не чувствуешь, как внутри у тебя бьётся дитя? Ты не стесняйся, говори.

– Побойтесь Бога, свёкор, как же я могу – ведь на дворе только октябрь? Рано ещё. – Леда прислонилась к стене и вздохнула: – Пожалуйста, не донимайте меня сейчас.

Леде пришлось немало потрудиться. На сей раз на столе лежала молодая девушка – дикая и неловкая, точно жеребёнок на лугу.

Казалось, ей всё ещё хотелось вырваться, рвануть прочь, чтобы волосы развевались по ветру. Леда не судила её. Дикой юности так трудно даётся покой. Эта девица смотрела так, будто готова была в любой миг открыть глаза и спросить: «Ты ещё кто такая?!»

А потом ей непременно захочется подняться и промочить горло. В какой хмельной омут увлекла её эта длинная ночь! Всё как в тумане. Где же она всё-таки была? Вспомнить не удавалось. Ах да, теперь всё прояснилось. Торчала в салуне, плясала с Чарли, Джонни и Гарри. Со всеми ребятами! Кто-то бросает пятицентовик в автомат, и музыка гремит. А потом они коленца выделывают с Билли Стивенсом. Кругом хохот. Старый пёс слизывает пиво с пола. А под столами кабинок в корзинах спят младенцы.

«Ну я и сорвался, – выкрикивает чей-то громкий голос, – да как врезал ей! После такого она ко мне больше не лезла». Она затихает. Кто-то бросает в автомат ещё пятицентовик, и танцы продолжаются.

– Бедное дитя, – прошептала Леда.

Она слегка прикоснулась пуховкой с румянами к лицу покойницы.

Того и гляди удастся придать усопшей такой вид, будто сегодня вечером её всё-таки ждут танцы. Леда старалась не поднимать румяна слишком высоко, лишь притронулась помадой к губам, затем вывела тонкую дугу бровей. Потом – высокая причёска, щипцы для завивки желтоватых кудрей. И, пожалуй, капля синих теней. Субботний вечер как-никак, и девушка снова готова выпорхнуть, повеселиться с Чарли, Джонни и Джо. Оп-ля! Леда улыбнулась. Теперь она ощущала себя настоящей мастерицей красоты – именно к этому она всегда и стремилась. Она сделала всё, чтобы эта женщина выглядела безупречно. Вышло, в самом деле, ничего.

– Почти готово, – сказала она.

Свёкор, как водится, принялся оценивать.

– Отлично сработано, девочка моя, – сказал он. – Уж ты-то умеешь сделать так, чтоб всё выглядело как в жизни, умеешь? А как я сегодня намаялся – с этой больной ногой, да и вообще. – Он снял перчатки и бросил фартук на стул. – Неужто тебе меня ничуть не жаль? – спросил он. Он хромал из угла в угол, нарочито корчась от боли, точно мальчишка, играющий на публику. Ему хотелось, чтобы она обратила внимание на его больную ногу, на которую вчера на ферме наступил телёнок. – Один из тех, что она нагуляла, – пояснил он.

– Она как живая, свёкор. Того и гляди глаза откроет.

– Вряд ли.

– Она кажется такой умиротворённой. Будто никогда больше не произнесёт ни единого бранного слова. А только ласковые и добрые.

– Проклятый кран, – неожиданно воскликнул он. – Капает и тратит воду.

– Мне-то что.

– Ну, это, верно, оттого что у тебя голова другим занята. Что, не чувствуешь ещё, как толкается? Не чувствуешь внутри себя малыша?

– Побойтесь Бога, свёкор, да как же, ведь на дворе только ноябрь?

Но он-то знал: ребёнку уже пора толкаться. И ей следовало бы побольше бывать на воздухе, гулять на ветру. День стоял чудесный, луга повсюду пестрели первыми островками снега, а морозец едва прихватывал дыхание. Ей нужно чаще выходить из дому.

– Я и так гуляю, свёкор, каждый день, – вздохнула Леда, пока они поднимались по узкой лестнице в гостиную. – Можете спросить у Тома. Или у доктора. Но на улице холодно. Слишком холодно.

Ноги наливались тяжестью, голова слегка кружилась. Ей скоро рожать, определённо. Она ощущала себя двумя женщинами сразу – собой и кем-то ещё. И всё же сидеть не хотелось: сядешь – и, чего доброго, больше не поднимешься. По утрам ей даже с кровати встать было трудно,

Тому приходилось помогать. От кофе её тошнило. Свои волосы она давно не завивала. Сама себе казалась дурнушкой. «Сил нет даже руку поднять», – думала она. Ах, стать бы снова тоненькой! Свёкор вечно целовал её под веточкой остролиста над дверью у лестницы. Поумерил бы он свой задор!

Леда старалась ни на минуту не оставаться без дела. Останавливаться было нельзя. Теперь на столе лежал старик – долговязый (настолько, что для него пришлось сколачивать особый гроб), тощий-претощий и очень серый. Никто не вызывает такой жалости, как старый человек. Леда понятия не имела, кто он такой. Это мог быть любой старик: её свёкор, муж или сын. Какая, в сущности, разница. Кто-то нашёл его за городом, в старой лачуге: он сидел, сунув ноги в печную золу – сидел так весь день, и за день до этого тоже, – иззябший до того, что хрустел, точно сухая бумага. Тонкий, как бумага. Том взвалил его на спину и принёс, совсем как ребёнка. Но Леда не знала, чем тут поможешь.

– Разве что похоронить его с удочкой, – сказала она, – в старой дырявой шляпе.

Тем же вечером свёкор устроил в парадной гостиной рождественский праздник для всех окрестных бедных детей. Ей было слышно, как они галдят и перекликаются, играя в жмурки.

Но громче всех звучал его голос – он всем давал указания.

– А ну-ка без жульничества, кому говорю! – кричал он.

О, никаких подарков не предполагалось. Ни тебе карты мира, ни игрушечной железной дороги, ни корабликов, ни аэропланов, ни ружей, ни солдатиков. Ничего. Впрочем, Леда знала: он своего не упустит. Уж он-то отведёт душу, когда начнут тянуть гостинцы из мешка с сюрпризами. А потом будут раздавать попкорн и яблоки, и ей придётся помогать с угощением.

Но сейчас – лишь падающие из крана капли: кап, кап... И высокие тени, выстроившиеся вдоль стен. Мысли о яблоках казались далёкими, как весна. А весну она и вовсе себе не представляла.

Она отступила на шаг и посмотрела на незнакомца, на бледный отсвет его волос в полумраке. Он не мог слышать ни детских голосов, ни внезапной мелодии, что пробежала вверх-вниз по клавишам пианино, как холодок по её спине. А может, он так и не понял, когда именно погас огонь и остыла зола в этот мрачный декабрь, ветреный и такой тихий. Зато теперь она поняла. Теперь она знала наверняка. Леда отвернулась и тяжело побрела к лестнице, одиноко проходя под зелёной веточкой остролиста.

[American Prefaces, 1943]

Бабушкина нога

«Я буду танцевать на небесах!» – бодро заявила моя старая еврейская бабушка с носом, хищно загнутым, точно клюв стервятника. Как выяснилось позже, дело было на её смертном одре, возле которого уже вовсю толпились скорбящие. Для меня она всегда оставалась воплощением нетленного человеческого духа, и именно её историю – а точнее, историю её ноги – я и собираюсь рассказать.

Бабушку я совсем не помню – помню лишь этот стервятничий нос, пальто, подбитое перьями, а ещё то, что, по крайней мере поначалу, она обладала парой весьма целеустремлённых ног, которые таскали её по бесчисленным делам. По этой причине она, должно быть, чистейший плод моего воображения, собранный из обрывков призрачных воспоминаний. Всё, что я расскажу, основывается на сухих и неприкрашенных фактах, в этом я могу поклясться.

Я не помню даже её сына, моего отца, которого моя мать – особа гойского происхождения, причём скорее атеистка, нежели христианка, – неизменно величала «бывшим мужем». И это при том, что он уже много лет как умер, а ведь она так легко могла бы избежать этого двусмысленного

намёка сразу на два зловещих расставания – то есть не только на его кончину, но и на судебный развод, до которого дело непременно дошло бы, задержись он на этом свете чуточку дольше.

Она вечно сетовала на то, что судьба в отношении их обоих распорядилась совершенно наперекор их душевным склонностям. Когда они познакомились (а она всякий раз отсылала прочь экипаж с фамильным гербом и топала в благотворительный центр пешком, панически боясь, как бы её тайное богатство не раскусили так же, как и её тайное безумие), он преподавал музыку нищим лупоглазым детишкам, напрочь лишённым музыкального слуха.

Он носил нелепейший пристежной целлулоидный воротничок в жёлтых пятнах, как клавиши старого, облюбованного призраками пианино, – а поскольку денег на дантиста у него не водилось, а переднего зуба недоставало, улыбка его напоминала матери клавиатуру того же инструмента. И о, сколько в этом было щемящей жалости, сколько истинно человеческого! Уши его находились в вопиющей диспропорции с остальным телом, будучи до смешного огромными – не иначе как из-за его тончайшей восприимчивости к Баху и высоким материям. При всём этом он был в равной степени идеалистом и реалистом. Хороводился в злачных забегаловках для опустившихся актёров бурлеска, слепых жонглёров и покалеченных акробатов; его лучшим другом был владелец прогоревшего блошиного цирка, в прошлом – английский лорд; и он, отец, ни разу в жизни не переступал порога гостиной какого-нибудь богатенького сибарита. На самом деле его интересовало само человечество и заведомо обречённые идеи вроде Юджина Дебса и социализма. Стоит ли удивляться, что матушка была им совершенно очарована, ведь наша дорогая леди уже тогда находилась на верном пути к тому, чтобы окончательно переселиться в мир грёз, пребывая скорее вне своего тела, нежели внутри него. Лет эдак пятнадцать она провисит на полпути между небом и землёй, точно Магомет в своём гробу, хотя у врачей, разумеется, найдётся куда менее романтичное определение её умопомешательству. Кроме того, отец к тому времени уже успел обогнуть земной шар на одном из тех механизированных китобойных судов в поисках кита – а точнее, его амбры. Обстоятельство, право же, предостерегающее, ведь сама-то она уже успела влюбиться в бестелесную вечность и прочно сидела на лекарствах; однако ей виделся – или же мерещился – вольный ветер на его обветренных скулах. Он обладал таким разухабистым нравом, что немудрено было потерять от него голову.

К примеру, как она мне рассказывала, ему однажды довелось наблюдать слона, размножающегося делением надвое, – до чего безграничным, до чего трагическим было его чувство юмора. Он вечно декламировал вслух «Ошибки Моисея» Ингерсолла, даже когда единственным слушателем оказывалась канарейка.

Но во что же вылилась их супружеская авантюра? В мгновение ока он сделался богатейшим из богачей. И если прежде в сомнительных постоялых дворах его манили цирковые карлики и великаны – а ночами, пожалуй, и прекрасные блудницы, – то теперь его общество составляли известные аристократы и безвестные проходимцы из сомнительных замков.

Прежде он гонялся за китом, теперь же – гнался по всей Европе за куском средневекового кружева ценой в пятьдесят тысяч, но это другая история. Достаточно сказать, что как коллекционер он затмил бы всех, даже Брентано. Вкусы его были чрезвычайно эклектичны: любая вещь, лишь бы старинная и бесценная, ввергала его в дрожь, вожделение и безмерный восторг.

Так что моя мать, которая и сама была своего рода предметом искусства – причём изрядно запылившимся, – попросту раздвоилась, точь-в-точь как тот слон. Хотя теперь он мог составить ей хорошую партию, в их положении не осталось ни нищеты, ни поэзии.

Вот почему он и оказался выброшен на пресловутую свалку её истории в статусе бывшего мужа, а не покойного, ведь будь он мужем покойным, это было бы благородно и тянуло бы хоть на какой-то лавровый венок.

И всё же списать его со счетов – как фальшивую антикварную безделушку, досадное недоразумение – я не могу. Он был не только моим отцом, но и сыном моей парижско-еврейской бабушки – той самой оптимистки, которая на смертном одре заявила, во-первых, что будет танцевать на небесах, а во-вторых, спохватившись, добавила, что таки станцует и на моей свадьбе. А мне тогда

было всего три года, и детская служила мне надёжным укрытием, как горшок цветку. О, как жаль, что среди всех таинственных ветвей нашего путаного древа мне не суждено было узнать именно эту – парижско-еврейскую. Эту самую бабушку с бородавкой на носу и парой глаз, из которых один был настоящим, а другой – стеклянным и злобным. Ведь тогда, возможно, мне не пришлось бы, уподобляясь родителям, любить неодушевлённые предметы – вплоть до заборного столба – в качестве суррогата реальности. Статуи наподобие Венеры Милосской, старые пианино, искусство ради искусства.

То еврейское, что есть во мне – несмотря на всё, что выпало на долю этого народа, – было и остаётся великим здравомыслием и способностью к обыкновенному человеческому существованию. Иными словами, из самого непостижимого факта еврейских страданий и сопутствовавшего им расчленения мне удалось почерпнуть немало силы, даже находясь в пучине собственных слабостей. Настолько много, что временами возникает чувство, будто я – всего лишь жертва заговора амбициозных психиатров и фармацевтов-шарлатанов, какой была моя мать: те усыпили её, словно Спящую красавицу в стеклянной клетке, и продержали там долгие годы. И даже искусство бальзамировщика тут не потребовалось, поскольку она не была ни мертва, ни жива – просто спала.

Всё это, разумеется, было лишь прелюдией к провенансу бабушкиной ноги.

Моя дорогая маленькая бабушка – само воплощение беспечности (не сомневаюсь, мылась она тогда нечасто) – отправилась из Парижа в Нью-Йорк третьим классом. Оказавшийся по соседству беззаботный, но глубокомысленный поляк тут же её заприметил – до того она была весела, легковесна и одержимо простодушна. Тот факт, что мой дед, этот самый поляк, уже состоял в браке, бабушку, судя по всему, нисколько не волновал: ломать голову над отдалёнными перспективами было не в её правилах, в отличие, пожалуй, от него. В Бауэри, районе, где не принято задавать лишних вопросов – быть может, в том самом квартале, где подвенечные наряды кроят как раз те, кому свадебная роскошь не по карману, – они прожили как уважаемая чета несколько весьма правдоподобных лет. Он шагу не ступал за порог, не доложив, куда направляется и когда изволит вернуться. Жалованье отдавал ей, и всеми финансами заправляла она. Всё шло своим чередом. Но пару лет спустя ветреный поляк дал-таки маху. Отбыл обратно в Европу с какой-то туманной миссией – единственной и вполне благопристойной его целью был Париж, к тому же он обещал не только раздобыть икры для некоего генерала, но и привезти прекрасный гостинец моей бабушке – скажем, кусок душистого мыла. Однако, похоже, ему приспичило заехать на выходные в Варшаву, где жила та, другая женщина. Надо думать, и для неё у него был припасён кусок душистого мыла. Увы, роковое вожделение! Он нагрянул в Польшу точнёхонько в те дни, когда по кукурузным и пшеничным нивам валом прокатился погром. Двоедушного поляка растерзали на тысячи кусочков и усеяли им кукурузные поля – а может, просто оставили на съедение воронам. Как, скажите, его теперь собрать воедино – как его склеить в Судный день? От тела не нашли ни косточки. Всё это случилось задолго до нынешней привычки пересылать прах жертвы в коробке из-под сигар или обуви. Тем дело и кончилось.

В Нью-Йорке, на улице с гипсовыми невестами в витринах, на свет появился мой отец – с глазами своего отца и с тем самым, по слухам, трагическим чувством юмора.

Дорогая маленькая бабушка, сама непоколебимость, воплощение беспечности, стремительно окольцевала и схоронила ещё трёх или четырёх мужей, причём схоронила целиком, а последний, по слухам, и вовсе оказался патриархом, страдавшим занятным глазным недугом: он читал по-гречески и на иврите как-то задом наперёд.

Многочисленных мужей она кормила доходами от скромного ресторанчика под эстакадой надземки – никакой икры для генералов, зато вдоволь отменной домашней еды для «мальчиков». Захаживали туда исключительно «мальчики», как она их ласково звала: она знала их ещё мальчишками, так с какой стати ей отворачиваться от них теперь, когда они вымахали? Кем бы они ни выросли, они с уважением относились к её почтенному виду и знали, что никаких глупостей она не терпит. Она была для них матерью. Туда захаживали Билли Крот, разномастные бандиты, Джимми Бритва, всевозможные крупнокалиберные гангстеры, начинавшие как мелкая уличная

шпана – большинству из них суждено было быть закатанными в цементные блоки где-нибудь в Катскильских горах, словно эти горы служили им кафедральным собором, их личным Ватиканом. Участь их, так сказать, была предначертана самими звёздами: всех ждал билет в один конец, всем им предстояло быть замурованными, точно древним мученикам. Подумать только: их похоронят целиком, а мою дорогую бабушку, как и деда, лишь по частям! Какая, однако, ирония судьбы.

И всё же ей был уготован личный триумф – ей предстояло танцевать на небесах, сверкая юбками, лихо вскидывая обе ноги, в кругу своих многочисленных мужей, всех, кроме того, первого, оставленного на съедение воронам. Впрочем, то, как именно она угодила на небеса, само по себе явилось случайностью – сущей оплошностью правосудия.

Беда стряслась с лучшей из женщин. Моя дорогая маленькая еврейская бабушка, осевшая в Нью-Йорке парижанка, однажды переходила людную улицу в Бауэри, как вдруг тяжеленный грузовик переехал ей правую ногу. Так, во всяком случае, мне рассказывали папины родственники, которых моя мать и знать не желала как раз из-за подобной вульгарщины. «Какого чёрта она вообще забыла на улице?» – непременно сказала бы мать, учитывая её собственные ни на что не годные ноги, вечно спрятанные под кружевным покрывалом.

Бабушку пришлось немедленно везти в больницу, как она ни сопротивлялась. «Ах вы, вороны! – вопила она на людей, сбежавшихся к ней на тротуаре. – Стервятники!» И хотя боль была невыносимой, будто от тысячи игл, она наотрез отказалась ампутировать раздробленную ногу, как того требовали врачи. Иначе как бы она танцевала на небесах, со всеми своими мужьями, за исключением первого?

Решение об ампутации, пусть и скрепя сердце, приняли родственники, среди которых, надо полагать, был и мой отец. Пусть и задним уже умом, он прекрасно понимал, что идёт против её воли (даже когда она была в беспамятстве), да и против своей собственной. Но частичная целостность выглядела всё же лучше полного её отсутствия.

В соответствии со старинным обычаем бабушкину ногу с подобающей торжественностью захоронили в святом месте дожидаться воссоединения с остальным телом, когда оное последует за ногой в могилу. Утешившись подобной перспективой, бабушка смирилась с временной утратой. Она во всеуслышание объявила, что намерена прожить ещё долго и, как уже было сказано, сплясать на моей свадьбе. Она умоляла всех, следуя её примеру, не обращать внимания на эту потерю, благо она лишь временная – и как же она злилась, если замечала, что у окружающих глаза на мокром месте! Кого это они тут оплакивают, возмущалась она, её саму или её ногу? День-другой спустя (знай она заранее – ни за что б не поверила!) бабушка умерла на полуслове, прямо посреди шутки и загадки, которую как раз загадывала скорбящим, а те от души хохотали, поскольку такой женщины свет ещё не видывал.

Но теперь она была мертва. А потому, согласно древнему ортодоксальному обычаю, надлежало эксгумировать её ногу, чтобы предать её земле вместе с остальным телом, – иначе в Судный день она воскресла бы одноногой, а эта утрата, согласитесь, сильно спутала бы её загробные планы. Бедняжка! Неужто ей ни разу не приходило в голову, что ей и так уже недостаёт одного глаза?

Все раввины – побитые молью джентльмены в траурно-чёрном облачении, высоких шёлковых головных уборах и с тростями – отправились к могиле, где в коробке из-под обуви с Четырнадцатой улицы хранилась её нога. Однако, когда они вскрыли перепачканную землёй посылку, каково же было их изумление: внутри обнаружилось вовсе не то, что они искали – не многострадальная старушечья нога, а младенческая кисть, такая крошечная и синенькая, что сердце сжималось от жалости! Ничто в их религии не предусматривало подобной оплошности небесного правосудия. Насколько им было известно, в долгой истории еврейского народа – гонимого и битого с незапамятных времён – не находилось прецедента для такой катастрофы. Что же делать, о, что же делать?

И тут мой отец, этот великий знаток, наконец-то внёс сугубо практическое предложение. То, что произошло, настаивал он, вполне объяснимо, если взять в расчёт колоссальное число оплошностей правосудия и автомобильных аварий в Нью-Йорке – да и во всей Америке. Больница,

работавшая в спешке и страдавшая от нехватки персонала из-за эпидемии гриппа, к тому же озабоченная проблемами живых куда больше, нежели заботами мёртвых, попросту приписала конечность не тому телу. Исправить положение – пара пустяков, полагал отец, всего-то и нужно, что совершить разумный обмен: руку на ногу. И вот отец, с его непревзойдённой галантностью, которую не могла пошатнуть ни одна катастрофа, лично отправился в хранилище бесхозных конечностей на поиски той самой многострадальной ноги. Ему не нужны ни провожатые, ни слова утешения, объявил он скорбящим, потому что к подобного рода изысканиям ему не привыкать.

Однако то, что он там обнаружил, потрясло его не меньше, чем если бы перед ним вскрыли все гробницы древних фараонов с их золотыми саркофагами, букетами сухого папируса, скарабеями, символизирующими вечность, хрупкими ладьями и убиенными слугами.

Там громоздились бесконечные ящики с потерянными органами: десятки и десятки оторванных ног, оторванных рук, даже пара туловищ и несколько мертвенно-бледных голов, точь-в-точь как у Иоанна Крестителя. Как среди стольких потерянных ног опознать ту единственную, которая ничем, в сущности, и не выделялась, кроме того, что была правой и с шишкой на суставе? Отец, будучи дотошным исследователем, уж поверьте, не готов был удовлетвориться первой попавшейся ногой. Он браковал одну за другой по той простой причине, что на них не было шишки. И всё же в конце концов, как и во множестве других его поисков, терпение было вознаграждено: нашлась нога с шишкой – ровно такой, как он помнил. Правда, была ли то правая нога или левая, выяснить он не успел. Времени не осталось: он тут же упал в обморок. Не потому, что узнал ногу, а как раз потому, что не узнал; потому что она показалась ему чем-то не от мира сего – так он рассказывал долгие-долгие годы спустя, немного сконфуженно вспоминая, как спасовал в самый ответственный момент. Но он всегда надеялся на лучшее – особенно понимая, до чего эта нога необходима лучшей из женщин, чтобы танцевать на небесах в каком-то туманном будущем, когда земные печали закончатся для всех без исключения: для верхов и низов, для гоя и для иудея. Не было никакого смысла ломать голову над более мрачными раскладами: над тем, что нога эта с огромной долей вероятности никогда ей не принадлежала; что её собственная нога сгинула в больничной неразберихе; что её в любом случае размозжило до неузнаваемости; и что он не только прихватил чужую конечность, но ещё и левую вместо правой, которая так требовалась ей для безупречной координации, а в перспективе обеспечивала и весь вселенский миропорядок.

Со всеми подобающими ритуалами, под древние песнопения древних плакальщиков, в окружении восковых свечей, пред ликом всех ангелов небесных и проливающего слёзы Иеговы, нога моей дорогой маленькой бабушки была предана земле вместе с остальным телом на каком-то ветхом еврейском кладбище. Его местонахождение мне неизвестно, помню только, что располагалось оно в районе с оживлённым движением и частыми, совершенно неоправданными авариями. Достаточно сказать, что, где бы бабушка сейчас ни была, она пребывает там в целости... разве что с некоторыми оговорками. Для неё сделали всё возможное, чтобы там, на небесах, когда отгремит земная жизнь, полнота её радости ни в чём не уступала той, какую она знала на земле.

Вполне возможно, она и сейчас там танцует.

Наверное, не всякий способен разглядеть – как удаётся это мне – всю трогательность такого отношения к утраченной ноге и всю трогательность её поисков в больничном трупохранилище. Без сомнения, многим история бабушкиной ноги покажется одновременно жуткой и бессмысленной. Но когда я вижу, как целые города стираются в пыль под ударами фугасных снарядов, в памяти неизменно всплывает бабушкина нога и то, до чего она была ей нужна для полноты бытия; вспоминается сокровенность человеческого тела именно как тела целого и невредимого, пусть и не на земле, так хоть на небесах.

Неужели нам и впрямь стоит посвящать себя этому великому занятию – разрывать друг друга на куски? В каком-то смысле я ищу ту же потерянную ногу – да и всё человечество ищет именно её. Ищу доказательство того, что человеческий дух, как и тело, нетленны, что их невозможно уничтожить! Ищу потерянную ногу.

Валерий СИЛИВАНОВ

СОЧИНЕНЬЯ
(неясно чьи)

***

-1-

Василий Иванович Чапаев собрал красноармейцев:

– Мы должны научиться предвидеть будущее развитие событий! – громогласно прокричал он перед строем. – Это уже должно стать у нас ключевой компетенцией! Войти в ДНК нашей дивизии! Без сомнений, это должно стать драйвером ее развития! Как-то так примерно получается.

-2-

Иначе в жизни целей революции пролетариата не достигнем! Как ни вертись, не построим дивный мир! Разумеете? Развивайте ж сейчас эти скиллы! Прокачивайте!

– Ну и бред. Вот уж как! Болен? – беспокойно егозя, прямо спросил народ. – «ДНК»? Что это вообще?

– Что надо! – жмурясь, ответил мудрый Чапай. – Усвойте – вам дальше носа надо видеть!

***

-1-

Мы срослись со смартфоном, как сиамские близнецы.
Он коварно покорил меня.

Шустро забрался в мой мозг, как ужасный красноокий таракан.
Даже по ночам я часто просыпался, чтобы взглянуть на манящий экран.
И попал я в паутину, в дико зловонный океан.

Приидох во глубины морския, и буря потопи мя.

Однако, к моей радости, череда описанных ниже событий счастливо привела к разрыву этой страшной зависимости.

Как-то по пути на дачу проходил досмотр на входе в Белорусский вокзал. После довольно долгого стояния в толкучке народа оказался в начале очереди. Я положил сумку на ленту, чтобы потом забрать ее с другой стороны. Вытащил из карманов мелкие вещи, поместил их на лоток рядом с рамкой металлодетектора.

Валерий Силиванов родился в г. Первоуральске в 1972 году. Закончил Московский физико-технический институт. Автор палиндромов и анаграмм. Публиковался в изданиях: «Другое полушарие», «Журнал ПОэтов», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «НГ Ex Libris», «Черновик», антологии «Свобода ограничения. Антология современных текстов, основанных на жестких формальных ограничениях» (2014) и др. В 2011-м выпустил книгу анаграмм «Двуногие приматы! Гуманоиды! Привет!». Живет в Москве. Предыдущие публикации в «Волге» – «Анаграммы про жизнь на Физтехе в 90-е» (2021, № 9-10) и «Мудрец Кузьма и его эпсилон-окрестности (сказки о поэте и умильно-грустном сердце) (2024, № 5-6).

Вот тут вперед меня и протиснулся какой-то человек в капюшоне: «Опаздываю! У меня нет багажа!» Положил что-то на лоток рядом с моим мобильником, пробежал сквозь рамку, схватил то, что выкладывал, и мгновенно растворился в толпе. Я тем временем возился со своей сумкой – она застряла на ленте. Успешно вызволив ее, я повернулся к лотку и увидел, что моего телефона там уже нет. Очевидно, тот вор утащил.

Написал в пункте полиции заявление о краже. Там посмотрели записи с камер – похитителя по ним опознать невозможно. Лицо не попало – грамотно действовал.

И мимо идох, и се не бе, и взысках его, и не обретеся место его.

Нет шансов вернуть девайс. Печально до тошноты.

Там столько нужной информации: документы, книги, фото, видео, аудиотреки и прочее. Все пропало. Да и без связи мучительно жить. Блоги, новостные каналы, приложения! Случилась тут у меня с вами разлука.

Возскорбех печалию моею и смутихся.

-2-

Отправился на перрон ждать электричку. Вдруг появился какой-то нескладный чудак с росомашьими бакенбардами. Он визгливо спросил:

– Телефон нужен?

Нагло хихикая, показал мне мой родной аппарат со знакомыми царапинами на корпусе.

Я моментально узнал свою вторую половину.

– За три тысячи продам.

Я согласился с ликованьем. Выкупил свое сокровище.

Тут бойко подошел полицейский патруль и отвел нас в отделение.

Там я увидел сотрудников, которые принимали мое заявление о пропаже.

– Так что, вернули себе телефон?

– Верно, – ответил я, – мне повезло, хотя особо на успех не надеялся.

– Давайте протокол составим.

– Конечно, раз положено.

– Спасибо.

Сел в кресло, быстро написал, что продиктовали. Со смехом и хохотом.

– Можно идти?

– Куда? Мы вас задержим, – ровно произнесли стражи порядка.

– За что? Мой же телефон!

– Конечно, но вы точно знали, что он краденый. Сами ж заявление писали. Потом сообщили, что купили украденный у вас предмет. А за скупку заведомо краденого у нас уголовная статья. Мы вас арестовываем, глубокочтимый.

– Жуть. Мыслимо ли это?

– Помолчите! Буква закона. Сочувствуем.

– А гомункул, который мне его продал? – промямлил я в помрачении, тряся взлохмаченной головой.

– Он сказал, что обнаружил телефон на земле около помойки. Думал, обронил кто. Доказательств причастности к похищению нет. Мы его отпустили. Откровенно, не к чему было придраться. Нет оснований удерживать. А вам, прямо говоря, светит весьма весомый срок.

Потоцы беззакония смутиша мя.

Отсидел я в итоге несколько лет. В заключении отвык от интернета и гаджетов.

Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих: сеть сокрушися, и мы избавлени быхом.

***

-1-
Зимняя дорога. Снежинки. Луна.
Убегая от собаки, мужик поспешно прыгнул в автобус.
И пока закрывались двери, он умудрился отважно лягнуть зверя по морде. Как кобыла.
А псина схватила ногу зубами, и ботинок чудака остался у нее в пасти.
Собачка победно отнесла его башмак в сторону от остановки и села с лаем.
А ему не до улыбок. Слезы.
– Пакостное зло.
А что же делать?

-2-
– Я босиком по снегу не могу!
Пассажиры мрачно глядели.
– Возьми вот колбасу, – сказала какая-то бабушка. – Угости. Вдруг успокоится.
Мужик вышел.
Собака грозно порычала, но не бросилась.
Сразу приняла еду, отдала ботинок, и они потопали куда-то вместе.
Автобус медленно поехал.
И тут мужика внезапно осенило:
– Ты ведь вовсе не собака! Я тебя узнал. Скажи, ты Лена Данченко?

***

-1-
Познакомимся – в лаборатории института мы выращиваем органы для пересадки.
Сидим и спасаем тысячи людей на земле в день. Серьёзно.
Какие цены? Бесплатно.
Конкурентов – никого.
Мы не герои. Нет же, детки, нет.
Заметьте, от государства ничего не получаем.

-2-
А на какие ж средства?
Так ведь у нас ещё тайная сеть ресторанов.
Мы синтезируем человеческое мясо и предлагаем там вкусные блюда из него.
Клиенты платят нам огромные деньги.
К нам очереди.
Идут бизнесмены, артисты, политики.
Оппозиционеров много.

***

-1-

Ване установили дома приложение к компьютеру.

Рисует по голосовому запросу.

Искусственный интеллект.

Ваня почесал череп, посмотрел в окно, дал хитрое задание:

– Бутово в стиле Ван Гога!

Получив искомое, удивился:

– Похоже! Просто хорошо.

Вдруг он чихнул:

– АПЧХИ!

А программа живо-два выдала картинку.

-2-

А там неописуемый ужас. Какие-то люди. В углу – портрет доктора в пенсне.

Иван оторопел. Руки его задрожали, в голове помутилось.

Жалобно вскрикнув в испуге, он пошел к деду.

– И что ты попросил у алгоритма?

Ваня снова чихнул.

– Ха, по-моему, всем все ясно, – сказал дед. – АПЧХИ: Антон Павлович Чехов, Хоррор-Истории.

***

-1-

После службы в СС капитан Ульрих Фасмер очутился в первоуральском лагере для пленных. Как-то раз арестантов вели с собаками, и он узнал одну из них.

– Моя овчарка! А никак ее тоже пригнали из Германии. Чудеса какие-то! Вот ты, дорогая! Фюйть!

Он громко позвал:

– Кэсси!

-2-

И тихо сел средь льда.

– ФАС-мер! – горячо закричал конвоир и осекся.

Восприняв это как команду, узнанная пленным собака по кличке Тетка с радостным визгом прыгнула на Ульриха, жестоко повалила его и вонзила зуб в артерию.

– Фу! Стой уж, химера!

Так еле спасли в итоге.

***

-1-

У Лизы в ТикТоке двести подписчиков. А у ее подруги Лены – сто тысяч. Ей многие завидовали. Как-то во сне к Лизе пришла очаровательная тля в халате. С шармом приложившись к куреву, протяжно предложила:

– Твори большое благое дело – дави божьих коровок! А то они нас жрут вовсю. Непомерно страдаем. Мгла. Облегчи участь! Отколошматить, прихлопнуть супостатов и тварей в ответ на вред – это же реальное добро. Да чего тут – даю сто новых подписчиков за голову жука.

-2-

Утром во дворе Лиза увидела, как Лена пристально всматривалась в траву.

– А ты ж, очевидно, божьих коровок ловишь?

– Точно. Похоже, предложение от тли тоже поступило?

– Да. Кстати, а она всегда выполняет договор с тобою?

– Спрашиваешь. В прошлом августе эти жуки так и кишели кругом. Их тучи были. Тогда я и стала такой популярной.

На плечо Лизе доверчиво села божья коровка, и девочка грустно подумала:

– Что-то мне вдруг совсем перехотелось быть интернет-звездою.

***

-1-

Жена вернулась из поездки. Осмотрелась, вскричала в тоске и смятении: «Дома не мыто! Тут пыль! Не лентяи? Стыд.

-2-

Странно – и как вы здесь жили? Ну а самое удивительное для меня – зачем ты постелил скатерть вместо простыни?»

***

-1-

Врачи перед трансплантацией тихо сказали мне: «Учитывая клиническую картину, вам будет довольно тяжко. Госпитализируем вас вместе с женой в один бокс. А когда будете загибаться – она и поможет, и поддержит на месте».

-2-

Тут я угнетенно уселся на скамейке, точно птица воробей. «Незадача. Нет, медики, скажите, что за дела? Правда, где ж тут свобода?» И вспомнил анекдот: «Жены декабристов поехали за мужьями в Сибирь и испортили им всю каторгу».

Григорий БЕНЕВИЧ

ПЕРЕКРЕСТОК СУДЬБЫ

Отрывки из книги мемуаров[1]

Приход на Каменном в 1995 – начале 1996 года

Прежде чем рассказать о постигшем нашу общину накануне Страстной в 1996 году, нужно хоть немного поведать о том, что происходило в храме и в приходе незадолго до этого. Помню, что и в 1995 году, как и прежде, амвон храма время от времени предоставлялся для проповеди представителям самых разных взглядов. От крайне консервативно настроенных православных, обличавших Запад, масонов и вообще всех неправославных, до довольно либеральных, представлявших так или иначе «православие с человеческим лицом», которое было порой довольно эксцентричным.

В любом случае, при всех издержках, атмосфера была живая. Иногда, может быть, слишком живая на чей-то вкус, но всяко лучше, чем казенщина, проформа и мертвечина. Что до меня, то на фоне этой идейной борьбы я все более убеждался, что необходимо как-то сочетать и верность церковному Преданию, суть которого еще необходимо было выявить и понять, а не просто воспроизводить некие консервативные формы синодального или советского периода, и дух открытости и внутренней свободы от всяческих фобий, в том числе и в отношении Запада.

Из экзотического, связанного с о. Валентином, помню один рискованный поход, который мы с ним и с еще одним членом прихода совершили к небезызвестному лжемессии Виссариону (некогда милиционеру Сергею Торопу). Дело в том, что этот Виссарион одно время имел заметное влияние в среде творческой интеллигенции, которую как раз о. Валентин в немалой степени окормлял. Влияние Виссариона проникло и в Консерваторию, и много еще куда. Люди продавали свои квартиры и уезжали в «Город Солнца», что этот лжемессия основал в Курагинском районе Красноярского края.

Даже одна дама, то ли из нашего прихода, то ли просто из воцерковлявшихся им, оказалась среди таких последователей Виссариона и тоже собиралась продавать квартиру и уехать к нему. Ну так вот, о. Валентин со свойственным ему любопытством, с одной стороны, и чувствуя ответственность за опекаемых им – с другой, решил, когда возникла такая возможность, в один из приездов Виссариона в Питер, поглядеть, что это за явление, да и нас взял, чтобы мы помогли это понять и составили ему компанию в этом деле. Что сказать... вошли в роль, и этот Виссарион и его «апостолы» весьма талантливо. Не знаю уж, по какой системе они «играли», по Станиславскому, Брехту, Гротовскому или еще как, но если быть человеком впечатлительным с подвижной психикой и без твердой церковной веры, то можно запросто поверить во все это... В те веселые времена, когда экстрасенсы успешно завладевали по телеку вниманием миллионов, Виссарион был лишь одним из многих, и, может быть, еще и не самым опасным. Хотя, в отличие от этих экстрасенсов, он не столько «про деньги», сколько про некую одержимость, духовную прелесть на фоне определенных особенностей психики у него и у его окружения.

Как бы то ни было, Виссариона и его «Город Солнца» «закрыли» во всех смыслах этого слова, в 2021 году, а о. Валентин (в журнале Kalakazo в ЖЖ) даже об этом – не без сострадания к бедняге – написал.

Что еще запомнилось? Ну, вот, например, как митр. Иоанн (Снычёв) дал о. Валентину

[1] Окончание. Начало см.: Звезда. 2026. № 4; Волга. 2026. № 1-2.

задание – во что бы то ни стало перестелить крышу над куполом храма. Предтеченская-то церковь на Каменном острове – историческая, памятник архитектуры, охраняемый государством (не заботившимся о нем), так что нужно все было починить с соблюдением всяческих правил, что делало такую стройку еще более дорогой. Это были самые тяжелые времена, голодные и бандитские 90-е... О. Валентин, сколько я слышал краем уха, предпринимал все возможные и невозможные усилия в поисках средств на это. На ремонт в храме еще деньги как-то найти удалось и сам ремонт сделать, но вот на крышу – ну никак.

Помог император Павел, которого, кстати, о. Валентин как страдальца почитал, следуя в этом благочестивой питерской церковно-народной традиции. Храм-то наш был построен при Павле, Верховном магистре, как известно, Мальтийского ордена... Ну, в общем, всех подробностей я не знаю, но как-то о. Валентин с этими Мальтийцами списался, а может, и встречался, и на починку крыши храма их раскрутил, так что митр. Иоанну, еще прежде его кончины, новую крышу предъявил. Так вот и получалось, что с одной стороны, с амвона храма порой крыли масонов последними словами, а с другой – крышу храма перестилали на деньги Мальтийцев, по слухам с этими масонами тесно переплетенными... Впрочем, что во всей этой истории правда, а что фантазии, Бог весть...

Факт тот, что Запада ни о. Валентин, ни многие члены нашего прихода не боялись, фобий на этот счет не разделяли, что, между прочим, имело для нашей семьи, как и других многодетным семей и матерей-одиночек, свой позитивный эффект в виде гумпомощи (одежды и еды от австрийских христиан), которая приходила раз в полгода, но была в те голодные и нищие годы весьма кстати. За благодетелей мы молились и посылали им с благодарностью открытки.

У митр. Иоанна с о. Валентином отношения были не такие уж простые, но приход наш владыка, можно сказать, любил и часто в него по-соседски из своей резиденции заезжал. Без всякой помпы, никогда денег с храма не просил, никаких проповедей идеологического содержания не произносил. Только очень любил, когда все в храме поют, а не только хор, и порой сам пытался руководить церковным народом в этом единодушном пении. О. Валентин, надо сказать, был человеком с хорошим музыкальным вкусом и завел отменный хор. Но митр. Иоанну, который, конечно, и это ценил, было мало этого хора, он хотел, чтобы пел весь народ и буквально настаивал на этом. А еще он очень любил цветы, и, как только он появлялся в храме, о. Валентин тут же отряжал кого-то покупать цветы, чтобы хоть чем-то ублажить владыку. Не деньгами, которых тот ни копейки не брал, а свежими цветами!

Все, что я здесь рассказал, надеюсь, не создало впечатление, что храм был каким-то клубом по интересам, что в нем просто собирались милые интеллигентные люди, пришедшие в православие, но более всего в теплую компанию себе подобных и к интеллигентному и чуткому батюшке. Элементы всего этого, конечно, тоже были, но все же главным была та реальная теплая и живая вера, которая всех соединяла. А может, и нечто большее, чем вера... Это было место, куда, по словам героя Достоевского, «можно было пойти».

Конец утопии

Медовый месяц, длившийся несколько лет, в отношениях между Церковью и интеллигенцией (она составляла если не подавляющее большинство, то самую активную часть нашей общины) для прихода на Каменном острове закончился в Вербное воскресенье 1996 года, когда, придя в храм, мы увидели вместо о. Валентина, ну, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть... Он ведь и сейчас настоятель того храма и для кого-то любимый батюшка... Слов у меня таких нету... И вообще вся эта история – одна сплошная рана, не только для меня, но и для почти всех, кто был свидетелем тех событий.

Через какое-то время мы узнали, что распоряжением нового митрополита, Владимира (Котлярова), назначенного 27 декабря 1995 года на Питерскую кафедру вместо почившего митр. Иоанна (Снычёва), многие служившие на приходах иеромонахи призываются в Лавру, чтобы служить там. Так что и нашему настоятелю предписано то же, а на его место назначен другой. Что

ж, послушание есть послушание, мы честно пытались стоять на службе в Вербное, но это было – простите мне мою (греховную) эмоциональность – просто физически невозможно. Не только у многих женщин и девушек ком стоял в горле и слезы наворачивались, а то и просто текли из глаз, но и у вполне взрослых мужчин... И дело было тут не только в нашей духовной и, видимо, также эмоциональной, привязанности к о. Валентину (что плохо, но что было, то было), но и в ощущении какой-то страшной неправды от происходящего.

Все это, да еще накануне Страстной – а с новым настоятелем сразу пришла группа поддержки (крепкие парни и деловые решительные тетки, которые все начали брать в свои руки) – выглядело предельно безобразно. Одна деталь: узнав, что в общине есть староста, новый настоятель поспешил к митрополиту, чтоб тот издал указ об отстранении не только о. Валентина (там хоть какой-то был благовидный предлог – переведение в Лавру), но и нашего любимого старосты, математика, доцента ИНЖЭКОНа, С.А. (тут и предлогов никаких не было – одно желание поставить под свой контроль финансы и полностью сменить весь приходской актив)[1].

На Страстной ходить в храм было невозможно. Мы вычитывали службу по Триоди дома как могли и ждали вестей от о. Валентина о том, куда ехать на Пасху, то есть где он будет служить.

Распоряжению митрополита поселиться в Лавре он пока под каким-то благовидным предлогом не подчинился, но храм на Каменном (только что закончив ремонт) уже навсегда покинул. Доходили слухи, что то один, то другой его товарищ по священническому цеху, испугавшись, отказывался приютить на Пасху полуопального (хотя ни под каким прещением он еще не был) непокорного иеромонаха с его общиной. Самым смелым оказался о. Игорь Филин, настоятель храма преп. Серафима Саровского в Песочном.

Что было дальше? Дальше были совершены все характерные для интеллигенции ошибки, которые можно было сделать в этой ситуации. Мы решили составить делегацию и пойти к митр. Владимиру, просить не отрывать о. Валентина от созданной им с нуля большой и дружной общины (рассматривались всякие возможные компромиссы). О. Валентин слабо верил в удачу этой затеи, но попробовать благословил. В результате была составлена делегация, в которую входил и я. При этом мы, наивные, пошли не с пустыми руками. Нет, не со взяткой, а с... проектом какого-то, при храме, хоть прежнем, хоть каком-то другом, просветительного общества по воцерковлению интеллигенции, во главе которого должен был встать о. Валентин; у него ведь это прекрасно получалось, лишь бы не отрывали его от общины. Проект был подписан немалым числом членов прихода, среди которых были и крупные ученые, в том числе членкор академии медицинских наук, видные деятели искусства и т.д. О. Валентин за время своего служения воцерковил немало довольно известных людей, и практически все они «вписались» за него. Но ничего этого, конечно, митр. Владимиру было не нужно. Он ответил, что от о. Валентина и от нас требуется послушание и его распоряжение неотменимо.

Сам о. Валентин позднее рассказывал, что какие-то люди из окружения нового митрополита ему через знакомых намекали, что все дело бы решила приличная взятка (даже и сумма была известна[2]). И именно это было для него последней каплей...

[1] Из воспоминаний С.А.: «Новоназначенный настоятель храма объявил о созыве собрания приходского актива в начале Страстной, м.б., в понедельник. О. Валентин в это время находился в кардиологии В-МА (Военно-медицинская Академия. – Прим. Г.Б.) (на Пасху его потом отпустили). В тот день служил старенький священник о. Алексий. Новый настоятель во время службы прошёл с улицы прямо в алтарь, как был, в кожаной куртке, с дипломатом. Сразу повеяло смертельным холодом. После службы посреди храма был поставлен стол, на столе – диктофон, за столом – новый настоятель со своими. Объявил, что мы должны сдать дела, ключи, документы. Каждое возражение будет записано. Народ пытался что-то говорить о важности общины, приходской жизни, сохранении традиций. Но в ответ услышали, что он пришёл не один, у него свои люди и свои порядки, а нам там места нет со всеми нашими интеллигентскими штучками. Вот так, по сути. И остались мы молиться келейно за отца Валентина и за нас, не представляя, что ждёт нас впереди».

[2] 6000 долларов. По тем временам сумма хоть и большая, но при желании насобирать ее было можно. Но о. Валентину претило участвовать в этой церковной коррупции, да еще на фоне предыдущего бессе-

Сейчас, 30 лет спустя, я думаю, что одной из главных причин, почему нами все происшедшее было так тяжело воспринято, было то, что в нашу общину пришли люди с общей травмой советского прошлого, которые надеялись (сознавали они это или нет) в православной Церкви эту травму изжить. И вот, когда мы столкнулись с совершенно формальным, бездушным обращением, без всякого учета живой жизни, которая возникла в нашем приходе, мы как будто снова встретились с чем-то из нашего прошлого – бездушием и формализмом (да еще и корыстью мотивированными), но уже в РПЦ, в которую мы так наивно и горячо поверили... Это было, конечно, тяжелым ударом.

Помню, что в это время я как раз читал Письма Василия Великого и нашел там ряд писем (Epp. 227–228), обращенных к пастве маленького городка (фактически селения) (Колонии) в Малой Армении, которую в это время по заданию императора Валента (кстати, еретика) курировал Василий. Так вот, по церковной необходимости Василий поставил епископа этого городка епископом другого, соседнего, бóльшего (Никополя) (после смерти тамошнего), потому что просто не было более подходящего. Но при этом, зная, как любят своего епископа на прежнем месте, оставил его епископом и там. А жители Колонии возмутились этим решением вплоть до того, что собрались обращаться с жалобой в светский суд.

Так Василий им писал письмо, фактически извиняясь перед ними, по крайней мере, утешая и объясняя им, с чем все это связано, обещая, что при первой же возможности приедет сам и все объяснит еще и лично (это при его-то слабом здоровье, когда каждое путешествие было для него мукой)... Василий, кстати, не ругает жителей Колонии за привязанность к своему епископу, даже хвалит ее, считая это естественным и правильным, вполне христианским, просто просит их не жадничать, но поделиться своим сокровищем.

А нам никто ничего объяснять не собирался, ни о каких компромиссах, которые мы предлагали, и слышать не хотели... Просто потребовали подчинения, которое называлось послушанием. Так мы встретились с тем, чем отличается Церковь как организм, ценящий и лелеющий все в себе живое, от церкви как организации (несущей к тому же родовые черты советской административно-командной системы с добавлением бандитских элементов 90-х).

В ту Страстную Седмицу, пока мы ждали вестей от о. Валентина, я впервые в жизни вчитался в службу Страстной и даже вступил с ней, в, наверное, слишком вольный, стихотворный диалог[1].

РПЦЗ. Начало странствий

Через некоторое время после изгнания из храма о. Валентин сообщил нам, что он переходит в Зарубежную Церковь (РПЦЗ), которая согласна после покаяния принять его, а из членов бывшей общины, кто хочет, может пойти за ним. У о. Валентина был в довольно хороших друзьях протоиерей Владимир Савицкий, бывший некогда благочинным всей Киргизии РПЦ МП. Так вот, этот о. Владимир недавно, в том же 1996 году перешел в РПЦЗ.

Не думаю, что о. Валентин на тот момент разделял все убеждения о. Владимира, скажем, его приверженность монархии, тогда в любом случае эта тематика вообще никак не всплывала. Нет сомнений, что сам о. Валентин не был типичным представителем приходивших тогда в РПЦЗ – людей обычно консервативно-патриотического и монархического склада, ярых противников сергианства и экуменизма. Думаю, что церковно-идеологически о. Валентин был ближе всего к «парижанам» (евлогианам), но присоединиться к ним возможности не было. Главное же, о. Валентин стремился остаться пастырем для своей общины, как и сохранить ее как таковую. И такую возможность ему предоставила Зарубежная Церковь.

Итак, с подачи о. Владимира состоялся переход о. Валентина в РПЦЗ. Я и еще несколько членов нашей прежней общины, во главе со старостой С.А., присутствовал на этой службе,

ребренника митр. Иоанна... Новоназначенный настоятель же эту сумму, говорят, внес (митр. Владимир собирал на новую иномарку). Обо всем этом через много лет я узнал из воспоминаний о. Валентина.

[1] Из этого вышло стихотворение «Страстная седмица»; оно вошло в сборник «Дважды двенадцать», СПб.: Пальмира, 2025 г.

проходившей в домовом храме у о. Владимира. Так начался переход немалой части прихожан, пошедших вслед за своим настоятелем, в РПЦЗ. Окончательно община была зарегистрирована в июне 1996 года.

Характерно, что, когда встал вопрос о названии, мы посвятили свою новую общину апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, то есть апостолу любви. Это весьма нетривиально было для приходов «зарубежников» в России, так как они зачастую посвящались либо царю-мученику Николаю и вообще царственным мученикам, либо таким знаковым фигурам, как мученица великая княгиня Елисавета (именно ей была посвящена община о. Владимира). Мы же, что называется, в общую тенденцию явно не вписывались – сразу были белой вороной, делая акцент в христианстве не на идеологии или приверженности той или иной церковной традиции, но ни больше ни меньше как на любви.

Так началось наше странствие – никакого ведь храма или даже постоянной квартиры, как у о. Владимира и его небольшой общины, у нас не было. Где только ни служили... и в театральных мастерских, и в музее Ахматовой, и на частных квартирах – но там вмещаться долгое время было трудно – вслед за о. Валентином пошло не меньше чем 30-40 человек... Постепенно, впрочем, кто-то отпал, и стали кое-как помещаться в квартирах из нескольких комнат.

В первые несколько лет такой жизни мы, наряду с бытовыми неудобствами, пожинали и многие позитивные плоды нового рода церковной жизни. Члены общины все более тепло относились друг к другу, было настоящее (или казавшееся таковым?) чувство своей семьи. Батюшка был куда более доступен для паствы, чем в храме. После богослужений по воскресениям и праздникам всегда было чаепитие с общением и интересными и полезными разговорами. Были и совместные выезды, например, в Старую Ладогу... О взаимопомощи и прочих вещах я и не говорю.

Мы потеряли храм, но многое приобрели. Ну, и никаких идеологов, проповедовавших с амвона, как случилось на Каменном острове, у нас, конечно, не было. Равно не культивировались и достаточно обычные для среды РПЦЗ разговоры с осуждением МП. Вообще какой-либо идеологичности мы старались избегать. В общем, была теплая и семейная атмосфера. При том что люди все были разные, разного происхождения, возраста и профессий, со своими вкусами, но это как-то не мешало.

В этой атмосфере, впрочем, были и свои опасности, но поначалу они не давали так уж явно себя знать. Если сказать о них обобщенно, то вместо преображения душевной любви в духовную нам грозило застревание в этой душевности с постепенной деградацией и ее. Но всего этого мы до поры до времени не чувствовали и не понимали.

Возвращаясь же к самому моменту перехода в РПЦЗ, не могу сказать, что мне он дался легко. Совсем недавно, в большой историософской статье «Золотой век и апокалипсис», я критиковал идеологию РПЦЗ. Кроме того, я знал, что авторитетный для меня архим. Софроний (Сахаров) относился к РПЦЗ критически. Все это для меня тогда было значимо, и со всем этим нужно было что-то делать.

Я уж не говорю о том, что переход в РПЦЗ создавал много совершенно неожиданных проблем. Например, когда летом 1996 года приехал в Питер владыка Каллистос (Уэр), мой дорогой тьютор из Оксфорда, которого я вспоминал только с благодарностью, мне пришлось уклониться от встречи с ним, так как пришлось бы подходить под благословение – епископ же! – а теперь я вроде как этого делать был не должен (так я с владыкой больше ни разу и не встретился, хотя каждый раз, когда он приезжал в Питер, он звал меня). Мой же оксфордский приятель, председатель СИНДЕСМОСа, Д.К., и вовсе мне сказал полушутя, полувсерьез, когда я ему объявил, что перешел в РПЦЗ, что я теперь в стане их врагов...

Витя

Осенью 1996 года я пережил и два потрясения личного характера. Сначала – о первом. Мой старший друг и первый учитель в поэзии Витя Ширали проходил в это время через одну из самых страшных трагедий своей жизни. Об ее существе он даже до конца и не знал, так как мы, его

друзья долгое время (во избежание худшего) скрывали самое страшное от него (не помню уже, знала ли об этом его мама, Мария Викторовна). Произошло же вот что. Витина возлюбленная, Лариса Олеговна Кузнецова, которая должна была уехать навсегда к родным в США, хоть Витя ее умолял остаться, и не уехала, и не осталась, а выбросилась с балкона высотки в Питере и насмерть разбилась. Витя этого не знал, он думал, что она уехала, не подает вестей и страшно тосковал. А с тоски еще больше прежнего пил. Надо сказать, что именно с появлением в Витиной жизни Ларисы в 1993 году у него прервался долгий период творческого молчания, он был к ней сильно привязан, и вот теперь она (как он думал) уехала с концами...

Сам я оказался рядом с Витей (до этого был погружен в свои дела – Оксфорд, ВРФШ, все эти церковные треволнения, то есть жил совсем другой жизнью) уже тогда, когда Витя вошел в страшное пике – он допивался (очень быстро) до попадания на Пряжку, проводил там недели две, его выпускали, и он еще через пару месяцев (хорошо, если не чаще) снова оказывался там. Вот я и начал регулярно принимать участие во всем этом, пытаясь абсолютно безуспешно этот смертельный круг порвать, да и хоть как-то помочь его маме. На Пряжке врач (такая чуткая, умная и одновременно твердая еврейка Марианна Абрамовна; Витя ее очень любил, а она – его) сказала мне, что ему осталось по ее понятиям совсем недолго, что сделать практически ничего нельзя. Но мы, его друзья (их рядом с ним в тот момент оказалось совсем мало), пытались, конечно, хоть что-то сделать для него. Как это смертельное пике кончилось, мы знаем – появилась, приехавшая с Украины, Галя (некогда возлюбленная, имевшая от него сына), и сделала то, что ни друзья, ни мама, ни врачи сделать не могли... Но еще до окончательного спасения его Галей из этой мертвой хватки алкоголя и отчаяния, Витя, узнав все же от кого-то о смерти Ларисы, закончил свой цикл, посвященный ей, и включил его (положив за основу) в сборник стихов, который так и называется: «Долгий плач Виктора Гейдаровича Ширали по Ларисе Олеговне Кузнецовой и прочие имперские страсти» (издан в 1999 году). Про «имперские страсти» тут появилось прибавление потому, что Витя тяжело переживал распад СССР, который для него, наполовину «нацмена», был прежде всего империей, наследницей Российской, а вся эта история с Ларисой вписалась в парадигму этого тяжелого переживания. Такая вот одновременна страшная и удивительная история.

А у меня от тех попыток спасти Витю осталось стихотворение «Крестовоздвижение»[1], да письмо о. Валентину, которое я написал, дежуря одну из ночей у Ширали той самой осенью 1996 года. Вот отрывок из него: «Пришлось вызвать врача. Приехал молодой такой круглолицый. Они Виктора уже хорошо знают. Ну что, – он говорит, – случай последней стадии алкоголизма. Спасти нельзя. Полная деградация личности. А я-то знаю, что это бред! Вот, что написал Ширали 4 дня назад еще в психушке:

Шлиман раскопал не Трою,
А какой-то городок.
Может, сам же и построил,
Золото взял на зубок.

Вот, что значит верить в эпос.
Наговоренный слепым.
Илиада это выпас
И колодец золотой.

Золотая моя юность –
Сколько скрадено Елен! –
Как ты в осень обернулась,
Золотую как обман.

[1] Опубликовано в сборнике «Дважды двенадцать».

Ну вот, пусть хоть один из этих «докторов» напишет такое стихотворение, а потом говорит о деградации личности.

Что такое личность? Кто писал эти стихи? Тот же ли Ширали, который скотом и псом валяется в своей блевотине? Это правда о человеке, что он – «кал еси» и нечто совсем иное еси. Страшная правда, докторам недоступная.

Смерть бабушки Раи

Той же осенью, в октябре 1996 года, умерла моя бабушка, мамина мама Рахиль-Мария Менделевна Шустерович (так по паспорту, а для людей – Раиса Михайловна), для меня просто бабушка Рая. Умирала она долго и мучительно, а мои родители самоотверженно ухаживали за ней до конца. Я тоже присутствовал при ее смерти.

Думал о том, что, вот, ничего я не сумел сделать для ее души, что она так и умирает неверующей, умирает тяжело и мучительно... Все, что я тогда, со слезами на глазах, мог – это молиться за нее. Да вот, еще помазал ей лоб и лицо святой водой, да перекрестил на прощанье. Не знаю, разрешено ли это в отношении неверующих, тем более еврейского происхождения... Но что сделал, то сделал.

А еще, уже уходя от родителей, написал, сдерживая слезы, такое стихотворение (я уже как-то раз приводил его):

Эпитафия

Дав привыкнуть к смерти
Своей,
Бабушка Рая
Умерла.
Бабушка
Рая...
Рахиль-Мария –
Такое имя
Дали ей
Её родители.
Впрочем,
Так её
Никто не звал,
Ни дома,
Ни на службе.
Имя это
Осталось скрытым
Как будто,
Неосуществленным...

Бабушки Раи
Больше нет
С нами...
Боже,
Упокой Рахиль-Марию
С её родными –
Отцом и матерью.
И даруй ее мужу –
Дедушке Натану

Покойному –
В раю их
Звать её
Рахиль-Марией,
А его ей –
Нафаном.

11 октября 1996

А чтобы не завершать эту заметку слишком пафосно, расскажу еще одну, отчасти забавную, историю. Мамина родная сестра, теперь уже покойная, желая, чтоб ее сестра с мужем хоть немного пришли в себя после мучительных проводов их мамы, пригласила их погостить к себе, в США – с оплатой дороги. Так они в первый и последний раз (если не считать папиного пребывания в разрушенной войной Европе в 1945 году) оказались заграницей. Повидались с сестрой, племянником и его семьей, посмотрели Штаты. Впечатление от страны было у них с папой примерно таким же, как мое, в мой приезд в 1994 году – без восторгов. Но забавно не это, а то, что папе, когда он там повстречался со своим прежним коллегой по работе, переселившимся в США по еврейской линии, было сделано предложение – продать за приличные деньги секреты советского ВПК (папа при жизни даже не рассказывал об этом, а мама раскололась). Да и вообще было предложено остаться в Штатах с какими-то посулами. Ну так вот, папа категорически это все отверг. И хотя я сам к советскому ВПК всегда относился крайне отрицательно, но этот его поступок вызвал у меня несомненное уважение, как некое свидетельство папиной, так сказать, integrity. Мужские качества во мне он не очень-то воспитывал (не сумел противостоять тут теще), но ценность цельности как-то подспудно внушил.

Немного лирики

В январе 1997 года, на Крещенье Оля после долгого перерыва написала одно из самых любимых мною стихотворений.

Крещенье

Вот благо сыплется на нас,
И тихая ложится влага,
Качает дерево рога,
И вместо манны только снега,
Вздрогнув,
касается рука.
Чего? Земли, воды, огня
Или небес? Зачем так нежно,
Роскошно, празднично, безгрешно,
Заботливо, тепло, утешно
Всех укрывает и меня;
Помойку всю и наготу
И все – в крещенское убранство.
Земля венчается на царство;
Всю немоту и черноту
И боль, и горечь и тщету –
Струей веселой иорданской.

Помню, как мы с о. Валентином сидели на первой в истории России конференции по

Освенциму и ГУЛАГу[1], и Оля протянула ему листок с этим стихотворением, он его прочел, и я увидел, как в нем борется желание выразить свой восторг с осторожностью духовника, который понимает, что хвалить особо никого не стоит.

В тот год на Крещенье как-то необыкновенно красиво выпал снег и огромными причудливой формы комьями облепил деревья у нас под окнами. Ох, как мне не хватало потом этих деревьев под окнами, когда мы переехали в 1998 году на Петроградскую сторону с окнами во двор-колодец.

Об одном из самых счастливых моментов на этой квартире я написал, напишу и об одном и самых жутких. Не помню уже, в каком именно это было году, но точно в 90-е. Как-то раз я проснулся посреди ночи от странного запаха. Вышел в коридор и увидел, что входная дверь – никаких железных дверей тогда не было, у нас по крайней мере, только простая деревянная – горит ярким пламенем, бегущим по краям, и уже начинающим подбираться к центру. Закричал, выбежала Оля с детьми. Все, встав в цепь, начали тушить огонь. Опасались, конечно, открыть дверь, но все же, в конце концов, решились – снаружи никого не было, но дверь обгорела прилично (правда, так ее и не поменяли – просто подчистили, подкрасили, и оставили как есть). Только позднее узнали, рассказав о случившемся во дворе, что на соседней лестнице, в квартире, находящейся на том же этаже в том же месте, живут то ли наркоманы, то ли торговцы наркотой. И видимо, не получив дури, кто-то из клиентов спутал квартиру и поджег нашу.

Как объяснилось, полегчало. А то, думали, может по еврейской части... времена-то какие были.

Конфы

Описывая феномен «болтовни», Хайдеггер еще в оны годы упомянул об особой когорте то ли общественных деятелей, то ли псевдоученых, которые ездят с одной конференции на другую, что-то постоянно обсуждают, утопая в бесконечной говорильне без всякого приращения знания и смысла. О примерно том же, пожив в среде русских религиозных философов, м. Мария написала (узнав о смерти дочери, Гайяны, в СССР) еще жестче: «Не укрыться в миросозерцанье, / В этот тканный временем наряд. / Ни к чему словесное бряцанье, – / Люди тысчелетья говорят» (1937). Но тут каждый получает свои уроки и учится или не учится на них.

В конце 90-х я участвовал в нескольких мероприятиях такого рода, но, с вашего позволения, опускаю подробности.

Из действительно важных для меня конференций этого времени стоит упомянуть лишь проходившую в Оксфорде в 1997 году, – по Максиму Исповеднику, но и о ней я здесь рассказывать не буду, чтобы не перегружать мемуары богословием, патрологией и самопиаром[2].

Кочетковцы. Мать Мария. Сорос. Феминизм

Где-то, кажется осенью 1997 года, Н.П. отправила меня в командировку в Москву – поглядеть, что из себя представляют последователи о. Георгия Кочеткова («кочетковцы»), их институт (тогда он назывался, как и ВРФШ, – Высшей школой, только не религиозно-философской, а православно-христианской) и вообще их церковная жизнь. Эту поездку я бы, наверное, обошел молчанием (ведь «кочетковцем» я не стал, но и в число их критиков тоже не вписался), если бы не одна знаменательная встреча.

На книжном лотке в их храме (забыл уже, где он находился и в честь кого был освящен), я увидел двухтомник *Мать Мария (Скобцова)*. Воспоминания, статьи, очерки: В 2 Т. Paris, 1992. Имя это я уже слышал и книжку о. Сергия Гаккеля про м. Марию читал. Как личность она по

[1] Что я там говорил, можно узнать из доклада «Теология после Освенцима – православная точка зрения». Его можно найти на моей страничке на academia.edu: https://rchgi-spb.academia.edu/GrigoryBenevich

[2] Мой сделанный на этой конференции доклад «Суббота у преп. Максима Исповедника» (по-английски и по-русски) можно найти на моей страничке academia.edu.

этой книге на меня, конечно, произвела впечатление, но тут я раскрыл в случайном месте это парижское издание и был поражен нетривиальностью и яркостью ее мысли. Потом заглянул в несколько других мест, и мое впечатление только усилилось. Подумал: как же так получилось, что в книге о. Сергия эта сторона матери Марии (то есть она как мыслитель) практически совсем обойдена? Ну, и в целом буквально по нескольким прочитанным фразам мне захотелось все это внимательно прочесть и изучить. Так что, несмотря на изрядную цену, за которую продавался этот парижский двухтомник, я, при моем-то жмотстве, его немедленно купил.

Вернувшись в Питер, я эти книги почитал и вполне убедился, что мысль м. Марии, все ее наследие заслуживает пристального изучения. А когда я поглядел, что о ней вообще написано, мне показалось просто несправедливым, что – так мало: по существу, не затронута ее мысль, которая, хоть и связана с традицией русской религиозной философии (к последней я был не особо расположен), но в чем-то важном отличалась от нее – была пропущена через личный опыт и обращена к практической жизни.

Сам факт, что женщина может так ясно и сильно мыслить, не скрою, произвел на меня впечатление. Подумал, что, может, о м. Марии и не пишут всерьез как о мыслителе из-за того, что от женщин по мужскому шовинизму в этом отношении ничего особенного не ждут. Это выглядело несправедливым. Особенно интересным мне показалось то, что она писала о духовном «материнстве». Я к тому времени уже встречал у Максима Исповедника концепцию о душе, которая должна стать «матерью-девой», где рождается Христос (даже читал в Оксфорде статью на этот счет). И вот, неожиданно для себя, нечто сходное (так мне, по крайней мере, показалось), я встретил и у м. Марии. К тому же важным было, что она говорит и пишет о связи первой и второй заповеди, и ее концепция «всеобъемлющего материнства» как-то связана с этой проблематикой.

Помнил я и о том, что в монастыре в Эссексе говорили о м. Марии с большим пиететом, и что там хранится 5-метровая вышивка м. Марии «Житие царя Давида», которую я в свой первый приезд в монастырь посмотреть не смог. Все это вместе подталкивало к серьезному исследованию. И в отличие от патрологии, для настоящих занятий которой у меня не было не только необходимой вторичной литературы, но и многих важных навыков, здесь задача представлялась куда проще. (На самом деле многих необходимых навыков у меня не было и в этой сфере, и тоже пришлось многому учиться.)

Как бы то ни было, учитывая, что Сорос как раз в это время уже раскинул свои сети над Россией, я решил попробовать пойматься в них. Для этого, конечно, нужно было составить соответствующий план исследования. Я уже более или менее представлял к тому времени «конъюнктуру», то есть что может понравиться грантодателям. При этом, конечно, я сразу собирался сыграть свою игру: «угадать» – да, но «угодить» – нет.

Впрочем, я и не скрывал в своей заявке, которая называлась: The Religious Philosophy of Mother Maria (Scobtsova) (in the context of Russian religious thought and modern feminist theology), что у м. Марии мы не найдем ни борьбы за права женщин, ни ряда других, существенных для феминистской теологии вопросов (кое-что я о ней знал – заглядывал в Оксфорде), например, стремления исправить богословский язык, избавив его от «маскулинности». Тем не менее мне было в самом деле интересно, как м. Мария работает с традиционной для русской философии «софиологией» и как это соотносится с соответствующей темой у феминисток.

Как бы то ни было, все ритуальные слова в своей заявке я произнес – и про «философию другого» (с которой у м. Марии общее – ее концепт мистики человекообщения), и про теологию после Освенцима (в связи со спасением м. Марией евреев), и про критику консервативных форм православия (что было, то было). Так что грант свой (первый в жизни личный грант) я от Сороса получил.

Шутки шутками, но вляпавшись в это дело, мне пришлось еще не один год «очищать» и «возвышать» – уже не по гранту, а для самого себя, всю эту проблематику, то есть весь этот дискурс, связанный с феминистской теологией. Сначала я отрабатывал грант (чего я там написал, да еще на ломаном английском, трудно сказать – текст этот, кажется, утрачен). Потом – года два – я писал диссертацию (она доступна в Сети), и только после того как все это было закончено, я написал небольшую статью уже не о м. Марии, чей богословский авторитет для многих спорен,

но о св. Иоанне Кронштадтском и преп. Силуане[1], где, среди прочего, имплицитно обратился и к вопросу, поставленному в феминистском богословии – не страдает ли Бог традиционного (а значит, и православного) богословия однобокой маскулинностью, ведь писавшие о Нем почти все были мужчинами?

Поездка на Святую Землю

Где-то между первой и второй конференцией по богословию после Освенцима и ГУЛАГа[2] у меня появилась возможность впервые побывать на Святой Земле и посетить Израиль. Это получилась, так сказать, практическая работа или полевая экспедиция после кабинетного теоретизирования. Попал я туда вот как. Летать за свои деньги заграницу мне по-прежнему было недоступно, но тут моя тетя, Лена, папина сестра, очень общительный человек, узнала, что в ее знакомой по двору семье ищут человека, который мог бы сопроводить старушку-инвалида в перелете к детям в Израиль. Старушка была лежачей, и в самолет без сопровождающего ее не пускали. Они сначала предложили самой моей тете, но она уже была пожилой и переадресовала просьбу мне. Дорогу оплачивали и даже какую-то мелочь давали за сопровождение – ну я и согласился.

Так я впервые оказался на Святой Земле, не имея представления, где я там буду жить (ясно было, что не в той семье, которая меня ангажировала только для одной цели). Перед отъездом я навестил Ширали и взял у него его двухтомник, с дарственной для прекрасного питерского поэта Елены Игнатовой, о которой я, конечно, слышал, но лично с ней знаком не был, а также номер ее телефона. По счастью, старушку мне нужно было привести в тот самый город (Бейт Шемеш), где жила Лена. Так что сразу по приезде я отправился к ней. Был встречен с легким недоумением, которое на глазах прошло, когда мы чуть-чуть разговорились, и я был окружен волнами самого теплого гостеприимства с ее стороны и со стороны ее супруга. Не помню, решился ли я показать Лене свои стихи, но точно помню, что показал Олины, и Лена отозвалась о них очень хорошо, ну а мне стали показывать Израиль, учитывая мои интересы, – прежде всего христианский.

Вскоре к этим усилиям подключился и другой питерский поэт Володя Ханан, живший в Иерусалиме. С Володей мы были знакомы по работе в котельных, да и по неофициальной культуре. Ну и, позаботившись о моем пристанище в Иерусалиме, он повозил меня по святыням – сам или с чьей-то еще помощью (я уж сейчас всех подробностей не припомню). Так что и в Вифлееме я побывал, не только в Иерусалиме, но больше, собственно, нигде. Настоящим открытием был показанный мне Володей эфиопский храм, ну а все остальное – как у всех, с достаточно обычными впечатлениями питерского православного интеллигента и от торговли вокруг Храма Гроба Господня, и от прочей суеты Старого города...

По-настоящему «пробило» меня в трех местах на Елеонской горе, где я был без сопровождающих – в Гефсиманском саду с его перекрученными, как человеческие мышцы без кожи, оливами (то ли свидетелями молитвы Христа, то ли прямыми потомками тех), у рак со святыми мощами преподобномучениц Елисаветы и Варвары (там была какая-то неземная тишина) – в церкви Марии Магдалины, в женском монастыре, тогда принадлежавшем РПЦЗ, и, наверху этой же горы, куда я поднялся по достаточно крутому склону, в мужском Вознесенском монастыре, тоже принадлежавшем РПЦЗ, с его колокольней, именуемой «Русская свеча», близ места Вознесения.

Ну а потом я отправился в Яд ва-Ше́м (мемориал Катастрофы), и, честно говоря, здесь меня, что называется, тоже «пробило». Но не так, как в святых местах, где в Гефсимании – все существо собиралось как бы воедино, у рак святых мучениц – утихало, а на вершине Елеона – возвышалось. В Яд ва-Ше́м «пробило» до какого-то священного ужаса и внутреннего нутра.

[1] https://silouan.narod.ru/benev1.htm

[2] Рассказ о них я здесь опущу; мой доклад, сделанный на второй: «Иудаизм и будущее православие» можно найти на моей страничке на academia.edu.

Ну, и конечно, я не мог как-то это не попытаться, умерив размером, понять. Так получилось стихотворение в 12 строф «Ерусалим»[1]. В нем свелись воедино все мои главные впечатления от Израиля и Святой Земли. Но было во время моего посещения Яд ва-Шéма и еще нечто, о чем нельзя не упомянуть. Мои израильские знакомые помогли мне получить в читальный зал «дело» матери Марии. Оно, на тот момент, было на удивление тонким – почти никаких важных материалов, но среди двух-трех листочков – знаменитое стихотворение: «Два треугольника – звезда, / Щит праотца, отца Давида»... С его последней строфой:

Пускай же те, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.

Париж, 1942 г.

Стихотворение в «деле» м. Марии было перечеркнуто, то есть зачеркнуто, читавший его (видимо сотрудник музея) явно не был доволен его содержанием (нечто на полях еще было написано, выражающее несогласие). Что и не удивительно.

Деревья, посаженные в память м. Марии и ее спасавших евреев сподвижников, я уже искать не стал.

На этом моя «полевая экспедиция» в Израиль закончились.

А. Н. Шустов

Вскоре после получения гранта от Сороса, начав изучать жизнь и творчество м. Марии, я обнаружил, что помимо восторженной, но о многом умалчивавшей книги о. Сергия Гаккеля, есть работы исследователя совсем другого типа – честные, без ангажированности, лишних эмоций и фантазий (хотя не без гипотез, без которых не может работать ни один ученый) – статьи и публикации Анатолия Николаевича Шустова. Я познакомился с ним лично (жил он в Питере, рядом с Сосновкой), а потом уже частенько встречался с ним в Публичке, завсегдатаем которой он был. Анатолий Николаевич не числился ни в одном научном или учебном гуманитарном институте или учреждении. Он не получал за свои работы до самого последнего времени ничего, или почти ничего. У него не было даже высшего гуманитарного образования, только техническое. Во всяком случае, он точно работал не для денег и научного статуса (диссертаций он тоже не защищал, хотя по объему сделанного им запросто мог бы). Между тем с ним не считали зазорным сотрудничать солидные ученые, например, А.В. Лавров – сейчас академик, с Шустовым они написали вместе статью о поэме Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (девичья фамилия м. Марии) о Мельмоте-Скитальце.

Он, будучи уже на пенсии, работал просто потому, что ему то, чем он занимался, представлялось важным и интересным. Любил русскую словесность и русскую культуру, был их, простите за штамп, – рядовым тружеником. Впрочем, как сказала ценимая им м. Мария, человек меряется не значимостью места, которое он занимает, а тем, как он вкладывается на своем месте. Вот, А.Н. и был таким не так уж часто встречающимся в нашей жизни человеком, который на своем месте (сам же его и организовав) и вкладывался до конца.

Но для меня он был тем (первым встреченным мной исследователем), который, что называется, поставил меня на землю. До встречи с А.Н. я, в своих размышлениях и писаниях о м. Марии, вращался, так сказать, в мире идей. Факты биографии, история рукописей и публикаций, да и просто текстология меня не особо интересовали, да и, признаться, совсем не увлекали. Ну,

[1] См. в сборнике «Дважды двенадцать».

конечно, идеи – вся эта «софийность», «соловьевщина», тем паче в контексте феминистской тематики, казалась куда важнее, чем какие-то там факты биографии и история публикаций. Среди идей можно жить, свободно их тасуя, как колоду карт... Я, конечно, об этом не задумывался, но фактически, особенно поначалу, именно этим и занимался.

А.Н. же, на мои попытки поделиться с ним чем-то в этом роде, спокойно выслушивал меня, одобрял в целом мои занятия религиозно-философской стороной наследия м. Марии, да и ее поэтикой, но вот все же нужно бы учесть этот текст, или этот факт биографии, проверить то или иное свидетельство, ну и т. д. в том же роде. То есть ненавязчиво научил меня элементарным навыкам, необходимым всякому гуманитарию, который хочет не просто очередной говорильни, а реально что-то изучить, узнать и в своей области сделать.

Иными словами, наряду с довольно известными людьми (патрологами, философами, поэтами и богословами), которых мне посчастливилось встречать в своей жизни и которых я смею считать своими учителями, наставниками и соратниками, был и такой «простой труженик», как Анатолий Николаевич, которому я обязан не меньше, чем этим известным и знаменитым людям.

Из наиболее значительного, что он сделал – издание лучшего и самого полного на тот момент двухтомника м. Марии, в подготовке которого поучаствовал и я. Скончался Анатолий Николаевич 1 октября 2012 года, на 77 году жизни, как мне рассказала его вдова, умер, где и положено такому человеку – в библиотеке (от сердечного приступа). Вечная ему память!

Переезд на Петроградскую сторону

Летом 1998 года мы переехали с квартиры на Черной речке (дом был на Торжковской) в квартиру на Большом проспекте Петроградской стороны, на углу Ординарной и Большого (что-то было символичное в этом сочетании – обычного и великого, но мы не особо задумывались об этом). Квартиру побольше площадью и с бóльшим числом комнат удалось выменять на нашу прежнюю (хоть и сталинскую) двухкомнатную с доплатой. На что и ушел практически весь грант Сороса. Но дети росли, и им было необходимо дать свое пространство, да и нам тоже.

Подбором вариантов и всеми поисками занималась в основном Оля, остальные ходили только смотреть, что она предлагала. В общем, она проделала большую работу, но в результате этого переезда пришлось кое-чем пожертвовать – не было больше у нас за окном тех прекрасных деревьев, которые – с двух сторон – радовали глаз на прежней квартире. Все окна в жилых комнатах (квартиры не фасадной, а флигельной) выходили во двор-колодец (точнее на крыши этого двора, так как квартира наша, как и прежняя, была на последнем этаже). Это поначалу, пока не привык, было для меня «обломом». Единственно, что я сделал почти сразу по переезде – позвал одного умельца из нашего прихода, и мы с ним (я подавал инструменты, названия которых пришлось осваивать на ходу, и уносил мусор) расширили небольшое окошко, бывшее в прихожей, превратив его в почти полноценное окно – с довольно красивым видом на крыши Петроградской в направлении Невы. Помню, как мы с папой (а ему, между прочим, было уже 73) тащили откуда-то издалека раму для этого окна, которую удалось по случаю достать.

Многое и другое пришлось в этой квартире переделывать. Например, там выпирали, не давая нормально поставить мебель, остатки старых печей, и я, вооружившись зубилом (с трудом вспомнил слово!) отбивал эти выступающие части... В общем, было много веселого в таком роде, что сейчас для меня выглядит почти, как подвиги Геракла, а тогда совершалось в каком-то отчаянном порыве (такие вещи лучше делать не очень задумываясь, хватит ли сил, тем паче – нужно ли). Все это помогло как-то справиться с депрессией, которая ко мне, подступала порою от вселения в это ветхое и запущенное жилье.

Но я забыл рассказать о переезде. Конечно, это была эпопея, но, оглядываясь назад, я больше всего удивляюсь, что помимо грузчиков, которые тащили (на шестой этаж без лифта) тяжелую мебель, я подключил к переезду своих друзей. Они, бедные, корячились, таская бесчисленные

коробки – с книгами и прочим барахлом, которым мы обросли за годы семейной жизни. Сейчас мне, конечно, стыдно, что, таская эти коробки (летом, когда было довольно жарко) у нас на этих такелажных работах подвизались такие люди, как философ Олег Ноговицын, учредитель премии Андрея Белого Борис Останин и историк Дмитрий Панченко. Из друзей помоложе был только Женя Вильк, известный в городе филолог, замдиректора музея Державина. В общем, я бесстыдно злоупотребил дружбой выдающихся людей, но тогда мы были проще и о таких вещах не задумывались. Но главное, наверное, почему я попросил их помочь в трудный момент – желание душевной поддержки, которую ни один грузчик ни за какие деньги не окажет.

Освящение новой квартиры совместили со службой, которую о. Валентин вместе с нашим странствующим приходом (я тогда уже был в нем чтецом) отслужили у нас в квартире вскоре после переезда. Я предполагал, что и в дальнейшем время от времени можно будет служить у нас, но уже первая служба показала, что смешивать семейно-домашнюю, то есть частную жизнь с богослужебной, без ущерба для того или другого, не получается.

Вскоре после переезда открылась и главная «засада» этой квартиры – то, из-за чего предыдущие жильцы отсюда сбежали. В большой комнате был сделан самопальный подвесной потолок. Мы не удосужились как следует посмотреть, что там над ним, в каком состоянии потолок настоящий. Но, как только пошли сильные дожди, все стало ясно – из-за старой, прохудившейся крыши потолок сильно протекал, и подвесной плохо скрывал все это безобразие, сам начиная уже отсыревать и протекать. Добиться в те времена, чтоб починили крышу, было практически нереально. Так что впору было прийти в отчаяние, сразу и от того, что так лоханулись (всегда неприятно оказаться в дураках), и от самой ситуации.

Совсем уже ни на что не надеясь (предыдущие жильцы, оказывается, это неоднократно делали), все же написали заявление в жилконтору, чтобы перестелили крышу. И – о чудо (это в самом деле было нечто удивительное, так как в тот год никакой программы по починке или перестиланию крыш на Петроградской стороне в помине не было, во всех соседних домах это началось много позднее) – в один прекрасный момент тем же летом или ранней осенью мы услышали, как начали отдирать старые листы крыши, а нас охватила некая смесь страха, что мы окажемся совсем беззащитны перед питерскими дождями и ливнями, и надежды, что над нами настелют новую крышу. Некоторое время мы так и жили – с уже оторванными старыми листами, кое-как набросанными на стропила, пока привозили и складировали на той же крыше новые.

Именно в это время однажды ночью я услышал страшный грохот на крыше. Будучи трусоват и вооружившись каким-то тяжелым инструментом, то ли молотком, то ли топором, и обеспечив тыл женой с фонарем, вылез я из квартиры на лестницу и начал продвигаться в сторону чердака. Грохот между тем усиливался... Наконец, разглядел, кто там гремит... Это был Боря Останин... Но не один, а вместе с тогда уже чиновным, но нам давно знакомым, Сашей Кобаком – некогда два наших с А.Ш. зоила собственной персоной. Оба сильно поддатые. Боря недавно помогал нам переезжать, и тогда я его вывел на крышу, показать открывающиеся оттуда красоты, а теперь он ночью потащил Сашу (благо чердак был открыт), показать те же красоты. Нас они, конечно, будить не хотели, воспитанные ж люди, ага! Потому и не позвонили, а сразу пошли на крышу. А если б позвонили и зашли б к нам, то узнали, что крышу, поскольку она во многих местах нещадно протекала, по нашей настоятельной просьбе как раз в это время и перестилали. То есть старые жестяные листы были все отодраны и просто набросаны на каркас, а новые еще не настелили. Так что Боря и Саша чудом не провалились или не скатились по этим листам, вместе с ними, но лишь со страшной силой прогрохотали. О чем я, украдкой отложив свои орудия обороны, и поведал им, поздравив их с почти что новым рождением. Очень в Борином духе история, по-моему, Жесть!

Ну, в общем новую крышу нам в конце концов настелили, и осень мы встретили уже с ней. Теперь подвесной потолок можно было демонтировать, настоящий потолок очистить и побелить, и перевести дух после всех этих потрясений, наконец, оглядевшись по сторонам и оценив новый в нашей жизни район.

Конечно, мы и прежде не раз бывали на Петроградской, но одно дело сюда заезжать, например, к кому-нибудь в гости, и совсем другое – здесь жить. К тому же Петроградская сторона

(как и некоторые другие центральные районы города) в это время начинала жить уже в другом веке, чем все остальные. То есть вот эта вся европейскость, которая была изначально заложена в этом районе при его строительстве и достигла расцвета перед революцией, в эпоху модерна, медленно, но верно начала возвращаться сюда (хотя бы в по-европейски оформляемых витринах магазинов). Район постепенно приходил в себя, стряхивая, как страшный сон, все уныло унифицирующей советской эпохи...

Сама архитектура Петроградской стороны сопротивлялась унификации. В отличие даже от района той же Черной речки, который застраивали в 50-70 годы все теми же однообразными сталинками и хрущевками (с редчайшими исключениями), здесь каждый дом имел свое лицо. И уже в первые дни жизни здесь (еще до того, как на нас обрушились описанные выше бытовые трудности), я почувствовал дух этого места...

Голландский дивертисмент

В сентябре-октябре 1998 года мне довелось поучаствовать в одном замечательном проекте в Голландии. Начинался он с довольно представительной конференции по Владимиру Соловьеву, а потом небольшой группе из четырех человек из участников конференции была предоставлена возможность пожить в одном католическом монастыре в Наймегене и позаниматься в библиотеке Института Восточно-христианских исследований Католического университета Наймегена, Голландия (Institute of Eastern-Christian Studies, Nijmegen Catholic University, Holland) (сейчас и университет, и институт называются несколько по-другому).

Для конференции я написал доклад на английском, примерное название которого было: Мать Мария (Скобцова) и Владимир Соловьев: тема Софии. Пересказывать его не буду (в расширенном виде он по-русски вошел в мою диссертацию и книгу о м. Марии[1]. Встречен он был с интересом[2].

Но чтобы не превращать эти мемуары в жанр академического хвастовства, без которого не получить новых грантов (слава Богу, мне уже этим не нужно заниматься), расскажу-ка лучше о двух выдающихся ученых, уже, увы, нас покинувших, с которыми я провел тогда полтора месяца бок о бок на одной программе. Это были Сергей Сергеевич Хоружий и Николай Константинович Гаврюшин.

Ни о том, ни о другом я, по своей серости и невхожести в круги рафинированной московской интеллигенции, ничего тогда толком не знал. Но Н.К. довольно быстро мне поведал и историю действительно удивительной жизни С.С., и о его достижениях. Вообще, я во всей нашей компании был самый молодой (хотя тоже относительно – уже 42 года!), и, в отличие от моих старших сотоварищей, ни к академическому, ни к элитарному православно-интеллигентскому кругу не принадлежал. Я не был даже «камер-юнкером» (ну, то есть кандидатом хоть каких-нибудь наук). Так что, несмотря на некоторый мой успех прямо на той конференции, я себя чувствовал не совсем в своей тарелке.

Впрочем, чувство некоторой нашей провинциальности или, попросту говоря, варварства, видимо, испытывал и Н.К. Еще во время доклада С.С. на соловьевской конференции, Н.К. с горечью заметил, что, вот, выступает переводчик «Улисса» Джойса, на не очень-то хорошем (особенно в плане произношения) английском. При этом Н.К. сказал об этом, сколько я помню, не для того, чтоб поддеть С.С., к которому он относился с почтением, а для того, чтоб печально вздохнуть о состоянии нашей, даже самой рафинированной интеллигенции после культурной разрухи советского времени... Именно таков был контекст его высказывания.

А вообще они с С.С. сразу взяли по отношению ко мне роль старших, более умудренных и жизнью, и знаниями людей, и даже немного соперничали между собой за то, кто окажется в этой ситуации моим, так сказать, «сократом». А так мы занимались каждый своим делом, благо

[1] https://predanie.ru/book/104707-mat-mariya-1891-1945-duhovnaya-biografiya-i-tvorchestvo/).

[2] Сужу по тому, что мне через несколько дней предложили его повторить в университете Лувена, а В.А. Котельников его опубликовал в одном из издаваемых Пушкинским Домом сборников «Христианство и русская литература», № 4, 2002.

библиотека была прекрасная. А по межбиблиотечному абонементу можно было заказать из любой библиотеки Голландии любую нужную книгу. Жили мы в довольно старинном монастыре, в котором тоже была своя хорошая библиотека.

Но вернемся к нашей компании. Однажды мы втроем отправились в Амстердам. Ну, все, что положено посетили. Я, конечно, очень Рембрандтом впечатлился, его насквозь христианским искусством. Потом написал большое стихотворение «Протестант»[1]. Попытался извлечь некую позитивную ценность, на этот раз из протестантизма.

Ну так вот, походили мы по музеям, сидим отдыхаем где-то у воды, и тут Хоружий заявляет, что нельзя, побывав в Амстердаме, не сходить в квартал Красных фонарей, что это, мол, все равно что не посетить главной достопримечательности. Н.К. (он же всегда был благочестивым) стал отнекиваться, а я даже не сообразил, о чем, собственно, у них идет речь. Еще не отошел от посещения Рембрандта и был в настроении созерцательном... Ну, в общем, С.С. Н.К. уговорил, а я потащился за ними, не вполне представляя, что меня ждет. Потом, правда, каким-то боковым зрением увидев голую тетку в витрине, понял, куда нас любитель Джойса и исихастов затащил... И дальше я уже смотрел только под ноги. Не из стыдливости или аскезы, а просто отвратительно, что человек может сделать такое с человеком – я имею в виду тех, кто выставил этих теток в витринах.

Что до С.С., то рассказываю я все это вовсе не с тем, чтоб обличить его в распущенности нравов. Не за этим он туда ходил, думаю, а чтоб испытать себя, что ли... Типа того, как поставить себя в какую-то пограничную, но не в психологическом, а в моральном отношении ситуацию, а заодно познать западную цивилизацию, так сказать в ее самых откровенных формах. Но я к такому эксперименту над собой был явно не готов. Не помню, что сказал обо всем этом Н.К., но точно в восторг не пришел.

Наконец, надо рассказать и о своей поездке в Брюссель. Собственно, был я там по дороге в Лувен. Поехал я туда не посмотреть неофициальную столицу ЕС, а с более конкретной целью, хотя и на город попутно тоже поглазел и, надо сказать, впечатлился. Нет, не красотой архитектуры, а плохо скрываемым пафосом неоимперского центра, имеющего глубокие корни в прошлом, о чем напомнила воинственная статуя Фридриха Барбароссы. Эти западные европейцы не такие уж (в анамнезе) невинные овечки, подумал я тогда. В моем, воспитанном в советской школе сознании Барбаросса это что-то про фашистов, ну, да, и про крестоносцев... Одним словом, каждая цивилизация ставит памятники своим героям, которые для соседних цивилизаций совсем не герои, а завоеватели, и с ними ассоциируются самые мрачные страницы прошлого...

Ну, так зачем я приехал в Брюссель? Явно не за Барбароссой. Еще в Питере, повстречавшись как-то с Вадимом Лурье в Публичке и рассказав, что меня заинтересовало Житие Алексия, человека Божия, и я о нем собираюсь писать, услышал: тебе нужно к болландистам, в Брюссель. Я тогда не имел никакого понятия о том, кто это такие. Но потом навел справки, и вот, теперь, оказавшись недалеко от Брюсселя, заехал сюда, специально посетить болландистов, которых о своем визите не предупреждал.

Ну, в общем, я пришел с улицы, протопав через весь город, с трудом найдя их по карте. И, надо сказать, они меня впустили, все, что касается Алексия и его Жития, передо мной выложили, и я во все это погрузился, кое-что отксерив, чтоб продолжить разбираться уже дома. Уже беглого взгляда, помнится, было достаточно, чтобы убедиться, что появление этого Жития в его полной форме как-то связано с отстаиванием монастырем св. Бонифация на Авентине своих земельных прав...

До критической агиографии я еще не дорос... И решил, что ограничусь данными предания, рассматривая Житие исключительно в этих рамках[2]. На что-то большее у меня просто тогда не хватило знаний и навыков.

[1] См. в сборнике «Дважды двенадцать».

[2] В конце концов из этого вышла пространная статья: «Житие преподобного Алексия, человека Божия (преодоление чуждости в контексте православного предания)» // Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культура Средиземноморья». Ред. Р.М. Шукуров. М. Алетейя. 1999 г. (Институт Востоковедения РАН). С. 95–159. Есть на моей странице на academia.edu.

У Виктора Кривулина и в СП

У внимательного читателя моих мемуаров давно должен был бы возникнуть вопрос, почему я так давно не писал о Викторе Кривулине, которого прежде упоминал довольно часто. Вот о другом своем первом наставнике в поэзии, Викторе Ширали, как ходил к нему на Пряжку и прочее, написал, а о В.К. – ни разу. И даже в рассказе о переезде на Петроградскую Сторону, на тот самый Большой проспект, на другом конце которого и жил В.К., не упомянул. У этого умолчания были свои причины.

Будучи погружен во все эти богословско-философские и церковные дела, я практически выпал из литературной жизни. Из прежних товарищей по второй культуре встречался только с Борисом Останиным, поскольку он был редактором практически всего, что издавала ВРФШ, в том числе того, что писал или переводил я. От него-то, да, может, еще от Сергея Завьялова я время от времени и узнавал литературные новости, но не особенно в них вникал.

Краем уха слышал, что В.К. увлекся политикой и даже пытался попасть в депутаты. Мне казалось это странным. Сам-то я от политики в это время был далек. Ну, то есть какие-то геополитические и церковно-политические (ре)сентименты на этот счет у меня в текстах время от времени появлялись, но реального чувства истории России и мира, открытости ей в них в помине нет. Один раз написал о чеченской войне («Прицел»[1]), да и то несколько отвлеченно, и тут же ушел в богословие. Мне тогда и в голову не приходило, что в конце 90-х В.К., будучи соратником Галины Старовойтовой, был одним из немногих, если не единственным, деятелем бывшей второй культуры, кто безнадежно пытался спасти Россию от сползания в тот мрак, в котором она оказалась сегодня. Да и в своих стихах, сохраняя прежний метафизический накал, сумел открыться злобе дня в самом буквальном смысле (все это я пойму только лет через десять).

У нашего с Олей довольно длительного периода необщения с В.К. была и личная причина. Она касалась не нас, а нашей близкой подруги, Саши Созоновой, ее отношений с В.К. Но распространяться об этом я здесь не стану. Как бы то ни было, после изрядно долгого периода необщения (нет, размолвки между нами никогда не было), я все же решил, что пора его прервать, и это просто безобразие, что, живя от В.К. в двадцати минутах моей тогдашней ходьбы по Большому, мы, переехав сюда, ни разу у него не побывали. В конце концов, мне хотелось показать ему свои новые стихи, которые существенно отличались от того, что писал прежде. Оля, к сожалению, в это время почти не писала, так что тут особо показывать было нечего. Старые ее стихи В.К. знал и хорошо о них отзывался.

Встретил нас В.К. тепло и радостно, и отнесся, как он умел, с большим вниманием. Вот бы и мне было отнесись с таким же вниманием к нему самому и его тогдашним стихам! Знал бы, что всего ничего осталось ему жить, а нам встречаться, но кто такие вещи может знать? А вот сказал некто негде, что с каждым человеком следует общаться так, словно встречаешься с ним в последний раз. Но нет, я так не умел.

А В.К. какой-то удивительной внимательностью и открытостью как раз обладал. Стихи мои новые посмотрел, и тут же предложил их оставить, чтобы написать мне рекомендацию в Союз Писателей. Меня это, признаться, весьма удивило – такого поворота событий я совсем не ожидал. Как я теперь понимаю, у В.К. была своя политика по отношению к секции поэзии СП, и он пытался хоть какое-то число людей туда провести, близких себе по эстетическим вкусам и пониманию поэзии или просто ему симпатичных, что для любого крупного поэта вполне естественно. Ну, вот, он и попытался это проделать, в частности, со мною. Это, конечно, было чистой авантюрой. Подключили к этому и Ширали, ведь нужно было две рекомендации. Тот откликнулся с готовностью, но написал дрожаще-решительной рукой что-то совсем краткое, а В.К. написал развернутую рекомендацию, слишком лестную для меня, чтобы я тут ее воспроизвел[2].

Чем кончилась авантюра с моим поступлением в «Союз» в практическом плане, легко

[1] См. в сборнике «Дважды двенадцать».

[2] Отрывки из нее можно найти в послесловии издателей к моему сборнику стихов «Дважды двенадцать».

догадаться. Имя в качестве рекомендателя В. Ширали, скандального и «очень талантливого» (последняя характеристика принадлежит, кстати, Кривулину), как и не менее одиозное для сохранивших власть в секции поэзии Союза писателей Санкт-Петербурга «советских» имя В. Кривулина – одного из отцов второй культуры, как и собственно то, что́ он написал в рекомендации, подействовали на собравшихся под руководством Ильи Фонякова поэтов как красная тряпка. Тут еще нужно иметь в виду, что Ширали некогда написал весьма едкую эпиграмму на Фонякова – зав. секции поэзии Ленинградского Союза Писателей, сохранявшего, удивительным образом, этот пост (не без потворства со стороны некоторых «перестроечников») и в постсоветское время.

В общем, дело мое было безнадежно, и закономерно провалилось. Но, с другой стороны, если б я не поддался на эту авантюру В.К., то и этого текста, интересного и глубокого в плане общих рассуждений о поэзии и возможности сочетания ее с православием, не появилось бы...

В целом же, мой неприем в Союз памятен мне совсем другим. В тот же день «принимали» и Сергея Стратановского, известность которого была несопоставима с моей, как и значение его для русской поэзии. И хотя бывшие советские поэты, кои оставались в большинстве в секции, не посмели его «зарубить», поскольку у него, в отличие от меня, по формальным критериям все было блестяще – куча публикаций, хвалебные отзывы критиков, в том числе и статьи о нем в иностранных энциклопедиях, переводы его стихов на многие языки – все это не мешало этой своре пытаться, если не зарубить, то хоть покусать его. Но Сергей Георгиевич держался с необычайным достоинством, а я был очень рад, что присутствовал при его безоговорочной победе – моральной и фактической. Он же, кстати, в отличие от Ширали и Кривулина, достаточно критично отозвался о моих стихах. И мне это было полезно услышать. Стихи я писать после этого не бросил, но «профессионалом» в поэзии уже стать не пытался (да и не стал бы пытаться, если б не В.К.), а занялся в этом качестве другим. А сейчас, очень редко, но бывает, что и С.Г. о моих стихах скажет нечто одобрительное. Но по-настоящему он, не без оснований, признает Олины.

Диссер

Во второй половине 90-х многие частные ВУЗы в РФ проходили мучительный процесс государственной аккредитации и лицензирования, чтобы иметь возможность выдавать своим студентам дипломы государственного образца. От наличия такой возможности (парням в таких ВУЗах давалась еще отсрочка от армии) – напрямую зависело и число студентов, а значит и финансовое выживание ВУЗа. Для получения же аккредитации и лицензирования было необходимо, в частности, наличие какого-то числа преподавателей с научными степенями. У меня же не только степени не было по тем предметам, которые я преподавал, но даже и хоть какого-нибудь, подтвержденного корочками, гуманитарного образования! Формально меня вообще к преподаванию допускать было нельзя. Все это в совокупности подвигло Н.П. довольно настойчиво давить на меня, чтобы я перестал быть никем и наконец «остепенился». Я и сам уже неоднократно попадал в ситуации, где все вокруг меня были кандидаты с докторами, а я – никто, и на этой (впрочем, не только на этой) почве чувствовал себя самозванцем.

Самый естественный вариант был использовать наработки по изучению наследия матери Марии и написать диссертацию по ней.

Я не стану тут занудно рассказывать о том, как я писал диссер. Писал с увлечением и старательно – все же тема обязывала, к тому же Школа за меня платила – за соискательство в Университете культуры (попросту, «Кульке»), и подвести было нельзя. Как бы то ни было, диссер свой я написал, а в ходе этой работы опубликовал еще немало статей, в том числе на английском, в том же Оксфорде и в Штатах во вполне приличных журналах[1]. Так что к защите у меня всего этого «отчетного материала» набралось более чем достаточно. Короче, я перед Н.П. отчитался за потраченные на меня деньги (небольшие, но все же...) и стал кандидатом культурологии. Скромненько, но вполне достаточно для тех задач, которые стояли при аккредитации и

[1] Многое из этого можно найти на моей страничке на academia.edu

лицензировании ВРФШ, для чего это все и делалось. Ну, и мне пригодилось для всяких прагматических целей.

Но мысль о том, что вот, мать Мария платила по́том и кровью, а затем и своей жизнью и жизнью своего сына за свою судьбу, а я делаю на ней сначала деньги, получая грант от Сороса, а потом и этот диссер, этот помысел, нет-нет, да посещал меня все это время... Но что поделать, если так устроена жизнь в этом мире. Единственно, что я в этой ситуации мог – постараться, по крайней мере, честно писать о ней, не приукрашивая ни ее жизненного пути, ни душевных и духовных метаний, не кривя душой ни в угоду либеральному православию (его олицетворял для меня о. Сергий Гаккель), с одной стороны, ни в угоду ниспровергателям и ругателям м. Марии из МП (их главным глашатаем был о. Валентин Асмус). Вот, как-то пройти между этими Сциллой и Харибдой, честно исследовать жизнь и творчество м. Марии – и было главной задачей моего диссера, а потом – книги[1].

Встреча с епископами РПЦЗ

Где-то в это время, то ли в конце 1999 года, то ли в начале 2000-го у нас дома остановился на ночь епископ Евтихий (Курочкин) (РПЦЗ). О. Валентин попросил оказать ему гостеприимство, не без «тайного» умысла. Он давно уже прочил меня в диаконы (чтецом я уже был несколько лет) и надеялся, что мы познакомимся с Евтихием поближе, и он как-то расположится ко мне, а там и рукоположит. По крайней мере, такова была версия о. Валентина. Сказать, чтоб я особенно рвался в дьяконы, было б сильным преувеличением. Но по послушанию и ради дела, я был готов. А еще о. Валентин подбил меня дать Евтихию почитать мою статью о Житии преп. Алексия, которая тогда как раз только что вышла. Может, хотел произвести впечатление, какие у него умные прихожане в общине, может еще что...

Ну, в общем я эту статью почитать дал, но эффект вышел прямо противоположный. Владыка Евтихий не попался на хитросплетения моей мысли, а прямолинейно заявил, что бросать жену нехорошо и что это совсем не пример для подражания.

И ведь с пасторской точки зрения он, наверное, был прав – не пример для подражания Алексий, тем паче, что, как доказали римо-католики (те же болландисты?), такого святого не было (почему они и вовсе вывели его из святцев). (Впрочем, в современной науке убедительно показано, что отдельные подвиги и «кусочки судьбы», приписываемые Алексию, так или иначе имели место в жизни того или иного святого и/или в их житиях).

Как бы то ни было, я все же предполагал более серьезное отношения епископа к православному преданию, да и к тому, зачем я все это написал. Но, увы... О дьяконстве можно было и не заикаться. К некоторому, впрочем, моему облегчению.

Второй раз я встречался с епископом РПЦЗ опять по настоянию о. Валентина и с той же целью, кажется, в 2000 году. В этот раз в Питер приехал еп. Михаил (Донсков), позднее не менее, чем Евтихий, известный в качестве ликвидатора РПЦЗ в РФ, и вскоре прославившийся как «трижды анафема» – за насильственные действия в отношении митр. Виталия (Устинова). Наша встреча с ним была еще более холодной, чем с Евтихием. С о. Валентином он разговаривал высокомерно, а меня просто не замечал.

После этой встречи о. Валентин был чернее тучи и сказал (помню, мы стояли на пронизывающем ветру на Неве, у Дворцового моста), что ничего хорошего с Церковью в России и с ней самой не будет, а мне лучше бы отсюда уезжать.

После этого совета и под воздействием еще кое-каких факторов и влияний – внешнего и внутреннего порядка – я предпринял ряд действий, в результате которых мог оказаться человеком с совершенно другой судьбой (как и вся наша семья). Но рассказ об этом приурочу к тому моменту, когда эта эпопея закончится (в 2001 – 2002 годах).

[1] Вот ссылка на нее: https://predanie.ru/book/104707-mat-mariya-1891-1945-duhovnaya-biografiya-i-tvorchestvo/

2000 – 2001 ГГ.

Часть 1. Дела семейные

2000 год и следующий 2001-й выдались для нашей семьи и для меня лично весьма бурными, ознаменованными многими событиями. Боюсь, что я уже и так устроил из своих мемуаров такой перманентный самопиар... Но в эти годы в нашей семье в самом деле было несколько приятных моментов. Впрочем, такие события всегда имели свою обратную сторону, если не омрачающую радость от них, то усложняющую жизнь.

Первой радостью было то, что старший сын, Фимка, занял первое место в младшей группе трубачей на международном конкурсе им. Тимофея Докшицера в Москве. В этом главная заслуга, конечно, его учителя, покойного Анатолия Яковлевича Зеличенка, ну, и Оли, которая регулярно таскала его с 6 лет на занятия и терпела все, что терпят матери юных музыкантов, при том что и учитель был талантливый, но «с особенностями» нрава, которые она, почти не жалуясь, переносила.

В Москву с Фимой ездил дедушка (ему было тогда уже 75 лет), то есть мой папа (мы были заняты), и он первым разделил с внуком радость победы, а главное, действительно, хорошего выступления. У папы самого был прекрасный слух, и он явно не реализовал в себе сполна музыкальные способности, разве что пел в молодости, сам себе подыгрывая, песни военных лет, да маму этим очаровал... С моим обучением музыке случился полный провал. А тут во внуке, наконец, дед утешился.

Эта победа, закрепленная на следующий год (или через, я уже не помню) победой на конкурсе имени Мравинского в Питере, впрочем, породила сразу и позднее кучу проблем. Нужно было покупать хороший, а значит дорогой, заграничный инструмент. А главное – вставал вопрос о том, у кого и где потом, после музыкальной школы, учиться. Трубная школа в России находилась в серьезном кризисе (сильно отставала от мирового уровня), и нужно было думать об учебе на Западе... Одним словом, назревали проблемы (пока они только маячили), которые решить было совсем не просто.

Вторым приятным событием было поступление младшего сына, Федьки, в классическую гимназию. Поступил он не без скрипа, и при первой встрече с родителями директор гимназии, узнав, что я преподавал физику в школе, меня подловил, так что я на радостях о Федькином поступлении согласился, и с сентября начал, помимо своего преподавания в ВРФШ и ИБИФе всяких возвышенных предметов, преподавать в классической гимназии (благо идти до нее пешком было двадцать минут) физику в младших классах.

А хоть в этих классах физика и несложная, но ребята-то умные, и нужно было как-то не ударить лицом в грязь. Ну, в общем, я продержался целый учебный год, а потом сбежал. Хоть и гимназия замечательная, и коллектив прекрасный, но учитель физики – это отдельное призвание, и я уже побыл им в деревне Бычье и потом еще несколько лет по возвращении из нее в Питере, а теперь чувствовал, что это не мое. Из всего своего учительства в классической гимназии я теплее всего вспоминаю, как я на педсовете отстоял одну ученицу, которую хотели отчислить. У нее были сложные семейные обстоятельства, но она была талантливая, хотя по некоторым предметам, вроде математики – двоечница. Но я и еще кое-кто из учителей настоял, что исключать ее нельзя, и вот теперь, когда я время от времени встречаю ее на Петроградской (она здесь делает нечто театральное, судя по всему, прекрасно), мы с радостью здороваемся...

Ну, а еще летом 2000 года во время посещения с сыновьями Голубого озера на Карельском, под Рощино, куда мы когда-то вместе ездили с папой, когда мне было лет 14, а ему, ну, чуть больше, чем мне – в 2000, мне приоткрылась тайна отцовства и еще кое-что относительно семьи и детей. Я написал тогда стихотворение в 12 строф, которое называется «Голубое озеро»[1].

А чтобы не создавалась ложная иллюзия какой-то более или менее семейной идиллии или экзистенциального благодушия, приведу и еще один стишок этого же примерно времени:

[1] См. сборник «Дважды двенадцать».

***

Смирись, когда тебя поносят
И дочь, и сын – ты заслужил.
Готовься, скоро тебя спросят,
Зачем ты жил.
Зачем я жил?..

Часть 2. Дела учебные и научные

2000–2001 годы были для ВРФШ очень трудными. Вовсю шла подготовка к аккредитации, которая, собственно, началась уже и предыдущие годы. А в разгар этих событий внезапно уехал в свое родное Запорожье наш главный феноменолог и завкафедрой философии А.Г. Черняков (на нем лежало очень много по части подготовки программ и т.п.). Это так меня потрясло, что я даже написал стишок об этом, обыгрывающий понятие «отсутствие» – все же писал я о философе. Начинался он словами: «Являет ценность человека / Отсутствие... Что он незаменим, / Мы узнаем лишь расставаясь с ним, / Неважно, умер он или уехал». Но потом все же через несколько месяцев (после того, как помог старикам-родителям) А. Черняков вернулся и опять включился в работу.

В 2000 году ВРФШ отпраздновала 10-летие своего существования. Это был праздник не без горечи. И потому, что такой, как в период Sturm und Drang в начале 90-х, Школа уже не была, и потому, что вожделенная аккредитация была еще не получена, и потому, что уровень студентов (как и их число) медленно, но верно падал... Но все же 2000 год был благополучный (получили грант от Фонда Templton), и Школа позволила себе и отпраздновать юбилей, и выпустить, наконец, том Трудов. Это был Том V, и последний. Можно сказать, лебединая песнь, хотя тогда мы еще этого не знали.

Предыдущий, Том IV, выходил давно – в 1997 году. Потом то ли средств не было, то ли сама идея такого коллективного сборника не привлекала, то ли и то, и другое, но Труды ВРФШ не выходили. А теперь, к юбилею, их решили издать, и составителем этого тома (он называется «Богословие. Философия. Словесность»), как и самого первого, в 1992 году, значусь я (редактором же неизменно был Б. Останин).

Вообще, со Школой сотрудничало много замечательных людей, и пятый том Трудов это хорошо отражает. Настоящей же его изюминкой был перевод, который сделал А. Черняков – статьи немецкого феноменолога Александра Хаардта «О присутствии будущего в картине». Статья была посвящена главным образом картине Бакста «Древний ужас» (мы раскошелились даже на цветную вклейку), которая, как и ее анализ, думаю, сохранила свою актуальность и в наше время – ужаса перед возможной будущей катастрофой европейской цивилизации. Думаю, что А. Черняков, который вообще тонко чувствовал катастрофичность современной истории, выбрал ее в 2000 году отнюдь не случайно. Очень жаль, что его собственная безвременная кончина (душным летом 2010 года) сильно упредила наши «последние времена».

Что до меня, то, злоупотребив своим правом составителя, я поместил в сборнике не одну, а две, правда небольшие, статьи – в раздел Богословие: «Святой Апостол Иуда и его соборное послание» и в раздел Словесность: «Пасха Пушкина»[1]. Вторая статья была посвящена великому стихотворению А.С. «К морю» 1824 года. Написана в жанре, к которому я давно не прибегал – с того времени, как вел в ВРФШ при ее возникновении курс «Герменевтики поэзии», по которому сильно соскучился. Не без советов филолога (Е. Вилька, сотрудника музея Пушкина), получилось, мне кажется, нечто интересное. Я пытаюсь показать, что совершающееся в этом стихотворении (хоть Пушкин и не сознавал этого) духовно изоморфно прехождению евреями Чермного моря, вписывается в эту парадигму. Сейчас, почти через четверть века, перечитав эту статью, я вижу,

[1] Обе вывешены на academia.edu

что в ней и методологически, и содержательно заложены основные принципы герменевтики поэзии, которых я придерживаюсь до сих пор.

Часть 3. Конец эпохи. Смерть В. Кривулина

Мы жили на другом конце Большого проспекта Петроградской стороны, погруженные в свои дела и заботы, и не знали, что совсем недалеко от нас умирал человек, которому мы с Олей обязаны очень многим. Так что даже не попрощались с ним. Поэтому, когда узнали об этой смерти 17 марта 2001 года, были до глубины души потрясены.

Кривулин был не просто очень большой поэт. Он был олицетворением всей эпохи «второй», а на самом деле, единственной для нас культуры. Которая была больше, чем культура, а по аналогии с тем, как сказала О. Седакова о «другой поэзии», – «другой культурой». Эта культура – независимо от того, какой у тех или иных ее представителей был религиозный заряд, была не только культурой, но и духовным явлением и движением. Поэтому не удивительно, что, узнав о смерти Кривулина, Оля, впервые за долгие годы прервавшая свое поэтическое молчание, написала на его смерть стихотворение, где вписывает его, а вместе с ним и следом за ним и нас, в библейскую парадигму.

Памяти В. Б. Кривулина

В холодный день под знаменьем Креста
Не добредя до Пасхи половины
Пути, ты умер посреди Поста,
Едва нащупав крест среди пучины
Тяжёлой петербургской, то ль весны,
То ли зимы, досюда протяжённой...

Из моря Чермного Израиля сыны
В пустыню вышли, в воздух раскалённый.

Невероятно, как остался жив
Ты в юности, как после, ковыляя
И ногу волоча, из чёрных жил
Ты крылья вырастил, чтобы забыть, летая,
Об этой тяжести, но за тобой, как цепь,
Гремела речь косноязычьем странным,
И вёл неумолимо Бог отцев
Куда-то вглубь барханов безымянных
Нас, оставляя комьями лежать
В песках поющих, в синеве расцветшей,
Печалью дышащей, кто смог бы удержать,
Но надо удержаться; перешедший
Брод благодати, был Иаков вспять,
Как Иордан, развёрнут и стреножен,
Чтоб зазвенеть Израилем опять
И, став мечом, быть поражённым тоже.

И, памятью разбужен, с двух сторон
Ты слышал шум, шёл караван послушный,
Но из земли земля рождала стон,
Здесь шёл народ и лёг, уже ненужный.

И тот и тот. «Когда б не Бог нас вёл...»* –
Споткнулся и пропал куда-то с матом.

Блестя как новенький, с небес упал орёл,
В сидячей позе, с жезлом и лопатой.

Вожатый, летописец, лесовик,
Зажатый снами зверь иной породы,
Ворочался, скрипел, дремал, привык
До мелочи, до смерти, до свободы.

Март 2001

==========

* Слова принадлежат одному из героев стихов В. Б.

Это настоящее стихотворение, и мне не хочется расплетать его сложную поэтическую ткань своим анализом, подсказывать, например, что косноязычье намекает на Моисея и т. п...

Но на одну деталь хотелось бы обратить внимание. Строчки: «Блестя как новенький, с небес упал орёл, / В сидячей позе, с жезлом и лопатой» – неявно намекали на новую-старую политическую ситуацию, в который мы начали жить с начала нулевых. Оля, что нетривиально в таком стихотворении, вплела в его метафизически-библейскую ткань и нечто злободневное, как, собственно, делал это и сам Кривулин.

Что до меня, то я тоже отозвался на смерть своего наставника в поэзии и культуре небольшим стихотворением. Оно, конечно, не ровня Олиному. Но что-то важное, мне кажется, ухвачено и в нем:

Эпитафия В. Кривулину

Поэт-интеллигент, последний понимальщик
культуры, умиравший с ней,
культуры неизвестно чьей,

не русского народа же, – родней
народа был ему последний
русский
мальчик.

Здесь подспудно переопределяется «интеллигент». Это – не то, что вы подумали, с эпитетом «слюнявый» и всяческим гамлетизмом... А понимальщик – созерцатель смыслов. Смыслов истории и культуры, неотделимой от этой истории. Смыслы же – это никакие не «мысли» (ну, то есть не помыслы), они логосны, и так или иначе восходят к Смыслу всех смыслов. Всегда ценностно заряжены, векторны, а не скалярны. Понять такой смысл, ухватить его, можно лишь ценностно сориентировавшись в том же направлении.

Вот такие ориентиры дает в своих стихах и статьях Кривулин, и это было и остается очень важным для всех, кто встречался и с его творчеством, и с ним самим. Когда-то я таким «русским мальчиком», о котором идет речь в эпитафии, мальчиком, взыскующим смыслов, пришел к Кривулину, и он дал мне словесную пищу, как давал ее всем[1]. Кто мог воспринять. Это было важнее поэзии, точнее, неотделимо от его поэзии, делало ее ДРУГОЙ.

[1] См. также мою статью: «Поэт-репетитор (памяти Кривулина)» (https://reading-hall.ru/akt/14.pdf).

Так совпало, что в год смерти Кривулина я работал учителем в классической гимназии, и путь мой на работу шел мимо его дома на Большом. Каждый раз, проходя мимо, я поминал В.Б., так длилось долго... И продолжается, уже независимо от моих маршрутов, до сих пор.

Часть 4. Дела церковные

Как бы я ни хотел, но обойти эту историю нельзя: иначе трудно понять многое из того, о чем здесь и в следующем мемуаре пойдет речь.

Еще в 1999 году у меня случилась полемика с ныне уже покойным о. Павлом Симаковым (священником РПЦЗ из Питера), главным редактором ежемесячной газеты «Православное обозрение», которую он учредил вместе с о. Владимиром Савицким. Полемику вызвала статья о. Павла «Миф о Холокосте» (майский номер, 1999). Уже по одному ее названию можно судить о ее содержании. О. Павел открыл для себя «ревизионистов», отрицателей Катастрофы (Юргена Графа и других) и полностью, без всякой критики и оговорок, принял их взгляды на геноцид против евреев со стороны нацистов. Масштабы этого злодеяния, согласно их мнению, были в корыстных целях чудовищно преувеличены (минимум в пять, а то и десять раз). Ну и все такое в том же роде (со всеми псевдо-техническими подробностями относительно устройства печей в Освенциме, которые, согласно ревизионистам, не могли давать такую производительность).

Помимо всего прочего о. Павел поминал и «богословие после Освенцима» и даже конференции, посвященные этой проблематике, прошедшие в Питере. В глазах о. Павла само участие в этой конференции уже было криминалом – предательством Христа, так как те, кто «верит в Холокост» фактически подрывают веру во Христа. То есть такая, с его точки зрения, цель «мифа о Холокосте» – помимо того, чтоб нажиться на репарациях, предъявить миру коллективную жертву евреев, которая затмила бы собой жертву Христа, сделав умученных евреев чем-то вроде коллективного мессии.

Я бы, конечно, не ввязался в эту полемику, если бы газетка о. Павла не распространялась в том числе и в нашем приходе, но тут смолчать не смог. Вся эта полемика ничем, кроме публикации (в июльском номере «Православного обозрения» за 1999 год) моего и его ответного письма не кончилась. Но, как говорится, «осадочек остался», и на следующем этапе описываемых здесь событий дал себя знать.

Перекресток судьбы

Я давно уже заметил, что самые серьезные в жизни искушения приходят через едва ли не самых близких людей. Нет, я не хочу никого обвинить, я сам – взрослый человек, и никто из тех, о ком я здесь буду писать, ничего плохого мне не хотел и не сделал. Они как раз хотели хорошего. И мой молодой друг, филолог Е.В., который в какой-то момент в конце девяностых, решив, что ничего хорошего в России не ждет его сыновей и по многим другим причинам, вполне понятным, решил, что нужно воспользоваться возможностью, которую открывает Германия перед евреями, и эмигрировать туда всей семьей. Он и позвал меня вместе со всей моей семьей, отправиться тем же путем.

Плохого не желал мне наверняка и о. Валентин, который после описанной мной выше встречи с епископом РПЦЗ Михаилом (Донсковым) сказал, что ничего хорошего в России с Церковью и с ней самою не будет, и посоветовал уезжать отсюда. Филолог Е.В., кстати, тоже был из нашего прихода, по крайней мере, иногда в нем появлялся. И о. Валентин был в курсе его планов, так что и мне посоветовал присоединиться к нему.

Все это происходило вскоре после нашей полемики с о. Павлом относительно «мифа Холокоста», что (сам факт наличия таких людей в нашей Церкви) говорило о среде, которую не очень-то жаль было и покинуть. Некоторым образом, она сама выталкивала из себя. Тут еще примерно в это же время на стене на нашей лестнице кто-то написал про жидов, живущих в такой-то квартире – номер был указан наш. И хотя через какое-то – не такое уж скорое – время

надпись была закрашена, свое дело она все же тоже сделала (дети с таким столкнулись впервые). Так что все сошлось одно к одному, и в начале 2000 года я, сначала отстояв длиннющую очередь (ее, кстати, поминает о. Павел в своей разоблачительной статье), а потом, собрав необходимые документы (это была изрядная морока) подал, наконец, заявление на эмигрантские визы для всей семьи, включая и стариков-родителей – не оставлять же их здесь одних. Они хоть и нехотя, но согласились.

Атмосфера в стране между тем становилась все более мутной. По крайней мере, в одном из стихотворений 2001 года я написал об этом так:

Хотя еще, кажется, кто-то кричит под обломками
Из заживо погребенных, но еле слышны
Их крики, а уже к боли глухими потомками
Возводятся новые стены великой страны

Из старых камней... Реставрируются развалины
И древней Руси, и Российской империи, и
Советской, и здесь – либо строй, либо сваливай,
Пока тебя не «замочили» и не «замели».

Ну, может быть, я несколько и преувеличивал (тогда никого особо не «мели»), но обострившееся у меня с некоторых пор историческое чувство позволяло немного заглядывать и вперед.

И вот, на фоне всего этого, где-то в конце 2001 года, не помню точно, когда, а может даже в 2002, я получил известие из немецкого консульства, что нам, всей семье – одобрена въездная «еврейская» виза в Германию. Осталось только сходить в консульство и завершить какие-то формальности. Ну, я и пошел, мысленно уже прикидывая, какие бонусы может принести этот переезд. Фимка сможет найти хорошего учителя по трубе, там-то школа не чета нашей, и с его талантом с высокой степенью вероятности сделает музыкальную карьеру. Ну, а все остальные тоже как-то устроятся. Федька пойдет в гимназию, он – головастый. Старики-родители получат нормальное медицинское обслуживание, а не это наше, невесть какое... Чем буду заниматься сам, я не очень-то представлял, но ясно было, что для начала придется попотеть и поучить немецкий, который я, в отличие от своего молодого друга Е.В., учить только начинал. Но в языковой среде как-нибудь все выучим.

Вот с этими или примерно с этими мыслями я шел в консульство. Там встретили меня хорошо, все было, что называется, «отлажено». Ну, вот еще какую-то маленькую бумажку попросили заполнить, чуть не с четверть бумажного листа. Чистая формальность – для подачи документов в ту или иную землю в Германии. Там, не помню уже какие были графы, но, среди них точно была одна, которую я запомнил: вероисповедание. Не стану врать, не помню, помедлил ли я или не помедлил, но точно помню, что написал: христианин.

У меня бумажку вежливо взяли и сказали, что вскоре придет окончательный ответ. Как не трудно догадаться, из-за этого «христианин» нам отказали. То есть старикам-родителям въезд был одобрен (но они, конечно, без нас никуда не поехали), а мне и моим детям – отказано. Я слыхал до этого, что в Израиль, если написать, что христианин, то «репатриироваться» не дадут. Ну, так вот, здесь оказалось то же самое. А мой друг Е.В. летом 2002 года вместе с семьей уехал. И я написал еще прочувствованное стихотворение на его отъезд. Мы были душевно весьма близки (позднее он, кстати, не раз поддерживал моих детей, оказавшихся по учебе или по работе в Германии).

Так, из-за того, что я не соврал – не хочется писать высокопарно: «не отрекся от Христа» – у меня сложилась та судьба, которая сложилась. Впрочем, она ведь еще не завершена...

Алексей ПОРВИН

БУБОННАЯ САЖА ДЛЯ УГНЕТЁННОГО КОГНИТАРИЯ

Петр Содоловский (Разумов). Чёрная пчела: строки вернувшегося. – М.: Территория Ноль тысяч, 2025. – 222 с.

На первый взгляд, эта поэтическая книга воплощает абстрактную, подчеркнуто внеисторическую метафизику, которая выстраивает мир как пространство предельных состояний сознания, оторванное от конкретных социальных и эмпирических координат. Однако за фасадом этого эскапизма и кажущейся отрешенности скрывается жесткая материалистическая база: в книге разворачивается масштабная и пугающе точная картина дезинтеграции человеческого субъекта, при этом стихотворения функционируют как глубокий социальный диагноз, обнажающий механизмы эксплуатации, отчуждения и когнитивного истощения в современном мире. Детальное рассмотрение этой поэтики показывает, что перед нами – беспощадный, исполненный трагизма анализ того, как глобальная биополитическая машина в своём неумолимом разрастании переваривает абсолютно всё – человеческие отношения, культурные коды, языковые структуры, интимные аффекты и даже саму органическую жизнь.

Поэзия Содоловского буквально вторгается на территорию философии Жана Бодрийяра[1], прямо декларируя: «Распилен состав / На систему вещей / Циферки, нолики» (с. 82) – здесь материальная и смысловая цельность предстает редуцированной до порядка знаков и бинарного кода симуляции, своеобразно фиксируя переход от классического индустриального производства к семиокапитализму, описанному Франко «Бифо» Берарди[2], и безошибочно вскрывая экзистенциальную травму, связанную с колонизацией внутреннего пространства субъекта. В мире, где последние зоны автономии субъекта почти ликвидированы, сами природные и жизненные пространства сплющиваются до медийной поверхности, превращаясь в технический оттиск: «Поле давно не гумно, не село / Оно осело офсетом давно» (с. 82). Природа в мире Содоловского подчинена логике машинного производства, где деревья функционируют лишь как винтики в глобальной матрице, а над всем довлеет «магнитное поле» мегамашины[3], форматирующее сознание.

Следствием этой тотальной экспансии становится глубокая мутация человеческой чувственности. В этом контексте в «Чёрной пчеле» особенно интересен эмоциональный ландшафт, выстроенный на глубоком внутреннем смещении: чувства в этих стихах больше не принадлежат субъекту, они отчуждены от своего носителя и существуют как автономные, пугающе осязаемые объекты, образуя «постаффективное» состояние современного человека, которое – пусть и в обход декларативного социального пафоса, через тотальную интроспекцию и солипсическую замкнутость субъекта на собственном внутреннем опыте – и исследует книга. Читая эти стихи, мы наблюдаем процесс превращения живого нерва в механизм, а не просто горечь или меланхолию с их убедительными иллюстрациями, при этом поэтический язык здесь высвечивает замену органических переживаний неорганическими, индустриальными конструктами – шестеренками, грузами, пружинами, черпая свою суггестивную силу в богатейшем интертекстуальном архиве и, преломляясь сквозь призму

[1] См.: Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. – М.: Рудомино, 1999. – 218 с.

[2] См.: Берарди Ф. Душа за работой: От отчуждения к автономии / Пер. с итал. К. Чекалова. – М.: Грюндриссе, 2019. – 320 с.

[3] См.: Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества / Пер. с англ. Т. Азаркович, Б. Скуратов. – М.: Логос, 2001. – 408 с.

безусловного поэтического чутья, вопреки всему пытается возвратить отчужденному чувству и отчужденному слову их изначальную онтологическую плотность.

Более того, в мире «Чёрной пчелы» органическая чувственность предъявлена как лишенная своей романтической неприкосновенности и подвергнутая законам искусственного дефицита. Ситуация, при которой субъект вынужден получать «по талонам тепло» (с. 77), иллюстрирует предельную стадию эмоционального капитализма, когда само желание утрачивает трансцендентный вектор, редуцируясь к механистическому «корыту желания» (с. 78) – утилитарному, дисциплинарному резервуару для утилизации витальной энергии. В подобной выхолощенной онтологии человеческая воля буквально перемалывается в «фарш» и становится варевом – «варевом воли» (с. 78), что работает как точная метафора тотальной гомогенизации, насильственно лишающей индивида его уникальной внутренней архитектуры, превращая его в обезличенную, расчлененную биомассу – чистое, стандартизированное сырье, единственный смысл которой заключается в том, чтобы питать бесперебойный цикл тотализирующей мегамашины – аппарата, который симптоматично элиминирован из поэтического регистра. Замкнутое исключительно в продуктах ее функционирования, сознание утрачивает способность к распознаванию самого аппарата, превращая его в когнитивную скотому.

Однако триумф этой системы был бы неполным без окончательной колонизации самых сакральных убежищ субъективности – памяти, утраты и сновидческой реальности. Рыночная матрица неизбежно вторгается в пространство трансцендентного, подвергая безжалостной инвентаризации даже отношение человека к смерти. Особенно ярко логика товарно-денежных отношений, проникшая в самые интимные сферы духа, проявляется в стихотворении «Сон». Память об умершем друге и символические «камешки» (как можно предположить, знаки подлинного переживания) субъект вынужден нести в «комиссионку». Капитал не оставляет пространства для бескорыстной скорби: даже смерть и дружба подвергаются коммодификации, обмениваясь на «деньги и пуговиц несколько» (с. 84).

Книга, как было уже сказано, трагична, но эта трагедия лишена классического катарсиса: она разворачивается в монотонном гуле механизмов, где-то за скобками высказывания методично перемалывающих остатки человечности. Но какую форму эта трагедия обретает на уровне самого субъекта? Прежде всего, она обнаруживает себя в том, что обменная стоимость окончательно вытесняет потребительную стоимость самой человеческой жизни. В результате утрата последних зон, свободных от рыночной логики, герметично запечатывает горизонт будущего. Когда даже смерть и скорбь встраиваются в глобальную цепочку потребления, у субъекта не остается внешней точки опоры, из которой можно было бы бросить вызов системе. Эта тотальная, удушающая замкнутость закономерно подводит поэтику Содоловского к суггестивной, метафорической констатации классического «капиталистического реализма» – состояния глубокого когнитивного паралича и невозможности помыслить альтернативу существующему порядку. Отсюда – клаустрофобичное пространство стихотворений: «И космос – тьма / И зе́мный пуп – / Такая же тюрьма» (с. 74), отсюда же – неизбежная редукция самого языка, который мутирует из инструмента освобождения в замкнутое семиотическое пространство.

Плачевное положение субъекта «Чёрной пчелы» заключается и в том, что его главное орудие – способность генерировать смыслы («моё говорение», «ум значений») – ощущается как безвозвратно отчужденное. Истощение, которое он испытывает, носит глубоко когнитивный характер: рыночная онтология выкачивает из него интеллект и воображение, превращая живую мысль в ту самую «бубонную сажу» и оставляя обесточенный разум наедине с абсолютным смысловым вакуумом. В этом положении субъект закономерно обретает статус угнетённого когнитария: его мыслительная мощь превращена в ресурс системы и более не принадлежит ему самому. Этот угнетённый когнитарий находится внутри тотальной, замкнутой на саму себя структуры, где даже «небо сгибают к земле» (с. 81).

Кажется, что никакого внешнего спасительного контура нет: состояние тотальной подконтрольности усиливается фигурой Незримого Наблюдателя («Кто-то за всем наблюдает, как вор»), что отсылает к паноптикуму и дисциплинарной власти.

И всё же, в этой книге огромное пространство отведено любви. Той любви, что выживает на руинах субъектности, в условиях жесточайшего аффективного – и вообще онтологического – голода. В тотализирующей системе координат, с такой болезненностью описываемой в книге, любовь становится точкой радикальной уязвимости – мерцающим системным сбоем, который мегамашина не способна до конца алгоритмизировать. Даже будучи сдавленной безжалостными тисками отчуждения («железный шарик жмет / Любовь, любовь» (с. 14)), она трансформируется в онтологическую брешь. Обладает ли этот аффект подлинным эмансипаторным потенциалом? Может ли он стать тем самым спасительным проблеском, разрывающим контуры дисциплинарного порядка и замкнутости? Кажется, книга Содоловского решительно избегает наивного эскапистского оптимизма: любовь в этих стихах не разрушает стены «зе́мной тюрьмы», как мог бы сделать какой-нибудь супергерой. Скорее, она функционирует через острую боль утраты, через саму невозможность воплотиться в полной мере. Любовь в этой книге – свидетельство того, что процесс механизации человека не завершен. Любовью здесь не предлагается выход из «пыльного котла» – такой ход был бы банальным – но творится свидетельство того, что внутри подобного котла всё ещё бьется плоть – живая, сопротивляющаяся энтропии.

Поэтика Содоловского, однако, не исчерпывается лишь фиксацией социальной катастрофы, замаскированной под метафизическую отрешенность. В стихотворении «Запах масла» (с. 202) мы наблюдаем парадоксальную попытку ускользнуть от тотализирующей системы через (возможно, интуитивный) прорыв к объектно-ориентированной онтологии: «мы сцепили пальцы и держимся на весах / Всех предметов в комнате» (с. 203). Эти строки маркируют фундаментальный сдвиг перспективы: субъект здесь отказывается от антропоцентрического диктата, от иллюзии, что человек является мерой всех вещей, и переходит к так называемой «плоской онтологии» (в терминах Грэма Хармана или Тимоти Мортона), нащупывая принципиальную нередуцируемость нечеловеческого мира, чье безразличное присутствие разрушает вертикаль власти субъекта и конструирует новую, тревожную симметрию между мыслящим «я» и окружающей его немотой материальных форм.

Что значит это обретение точки опоры в самом безмолвном, солидарном существовании объектов, когда сцепленные пальцы и «весы всех предметов» образуют единую, неиерархическую сеть взаимосвязей, где человеческое тело и неживая материя (запах масла, комнатная пыль, горный хрусталь[1]) обладают равным онтологическим статусом? Возможно, для измученного, отчужденного субъекта этот уход в таинственную и непроницаемую вещность становится единственно возможной формой сопротивления. Мир объектов оказывается более безопасным и честным убежищем, чем выхолощенный социальный мир людей и коммодифицированный мир языка.

Книга «Чёрная пчела» не предлагает утопического утешения. Напротив, она выполняет важнейшую критическую функцию – с беспощадной ясностью протоколирует «буреломнеба» и распад личности под гнетом не-

[1] Отметим, что в буддизме горный хрусталь – это прежде всего символ ясного, неомрачённого ума, а также чистоты, искренности и способности сознания отражать реальность без искажений, что для поэтики Содоловского оказывается принципиально парадоксальным: его тексты как бы «настраивают» читателя на идеал кристальной прозрачности, но тут же демонстрируют, что современное сознание рискует практически полностью утратить эту способность – оно функционирует как замутнённая, фрагментированная оптическая среда, где отражение реальности неизбежно искажено сетками капиталистических кодов, биополитических режимов и постаффективных перегрузок. Иными словами, горный хрусталь в этой логике превращается в негативную утопию: символ того, чего уже не может себе позволить субъект, чья оптика необратимо отформатирована репрессивными аппаратами.

олиберальной машины. Это пространство, где сами потоки жизненной энергии оказываются под вопросом («Не очень понятно / Как движется в теле витальность» (с. 184)), а бытие сводится к холодной каталогизации вещей: «Вещи имеют устойчивость на зрачках» (с. 203). Показывая мир, в котором субъект вынужден прятаться «за шкаф, за кровать», где солнце подменяется «газом» и «бытовым светом под фонарём», поэт фиксирует предельную стадию отчуждения. Но именно в этой «пасмурной кривой» (с. 206), сквозь сдавленный шепот и боль («касание – это боль» (с. 205)), автор обнажает саму суть механизированного существования. Признавая, что «мир вне вещей», где «чудо стало мигренью разума» (с. 177), мучительно хрупок, а человеческий голос готов в любую секунду превратиться в «слёзы, оставленные кропотливой работой» (с. 210), Содоловский, делая первый и самый необходимый шаг к радикальной демистификации реальности, обнажает саму суть отчужденного существования, тем самым совершая попытку преодоления этого онтологического паралича и, возможно, возвращению утраченной субъектности.

Борис КУТЕНКОВ

КАРФАГЕНСКИЙ КОЛОКОЛ

Мария Степанова. Перемещённое лицо: Статьи последних лет. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2026. – 304 с.

Эту книгу ждали. В её появление уже не верили – после продолжительной и многозначительной паузы в творческой работе Степановой («громкое молчание», сказали бы мы, если бы не избегали столь же многозначительных риторических штампов – автор ведь их не допускает). Тихо надеялись в грустном наблюдении за её «перемещённым лицом», постепенно начинавшим обретать новые географические и социальные очертания – но, кажется, всё равно оставшимся при своём. Избранное же обретало очертания по мере публикации (редкой) новых эссе – а републикация хорошо знакомых в этой книге, думается, обусловлена не только продолжительностью эссейной паузы (упомянем постепенное переключение на прозу – вышел и был замечен «Фокус», готовится, по анонсам, новый роман). Но некоторые, перешедшие сюда из предыдущего статейного собрания «Против нелюбви» (2019), сейчас получают новую злободневность. Воспринимаются как своеобразный колокол из лейтмотивного Карфагена – и актуализируются, проявляясь во времени. Диагнозы нашему времени из работ, вошедших в предыдущие книги (2014, 2015), сегодня звучат если не в виде гласа вопиющего в пустыне, то в каком-то двойном регистре, позволяя нам одновременно почувствовать эти слова в ситуации «здесь и теперь» – и, оглянувшись на недавнее прошлое, осмыслить десяти- или двенадцатилетнюю дистанцию. Разговор ведётся из трагического неумения остановить «дурной маховик», меняя что-то не в мире, но в отдельно взятом сознании: «...В этом привычном семейном куковании за часы до того, как все рухнет и посыплется, есть какая-то особая жуть – кажется, что не приятные черно-белые люди запустили маховик современности, а она сама вырвалась из рук и пошла, пожирая версты и жизни»; рассуждения о ярлычной риторике, когда «одними и теми же строчками легко бить по головам и тех и других», когда сюжеты и язык прошлого берутся «напрокат»... Новых работ здесь, ради справедливости, больше – но каждая из них, не давая резких и радикальных оценок нынешнему общественному раздраю, так или иначе подразумевает его – через исторический контекст как ненавязчивую возможность поговорить о нынешнем времени. И чаще всего – через сюжет перевоплощений, столь значимый в любой работе Степановой: и в поэзии, и в эссеистике, и в том же «Фокусе».

Нет, правда, убеждаешься: осталась при своём, при своих кочующих сюжетах. Переместись хоть куда, но от себя не убежишь. От своего «перевоплощенского» лейтмотива, от беспокойства за мёртвых, от риторики, связанной с попытками уйти от лирического «я», – в общем, всего, что прекрасно знает читатель Сте-

пановой. Всего того, что она не декларирует, но скорее мучительно, сомневаясь, ищет точку схождения частного и объективного. Мария здесь радостно узнаваема – и в своих социальных эвфемизмах, и в определениях поэзии – субъективных, тем и замечательных, и самых что ни на есть «поэтических»: «Незарастающая рана, вечное пустое место, не дающее ни забыть о себе, ни прикрыть зияющий срам небытия, – это исходная ситуация поэзии, точка, откуда она начинает выращивать свой кокон, заранее рассчитанный на то, чтобы его можно было сбросить, как погребальные пелены в утро воскресенья». Кажется, опыт эмиграции и самопроекция «птицы Феникс», болевое нахождение в той исходной позиции, где прежние основания невозможны, остаётся (а как?) начать заново, сквозит здесь дальним ветром; Степанова впрямую не говорит о релокации или чём-то подобном, но речь подспудно идёт именно об этом. Ей, несомненно, близка мысль Григория Дашевского о читателе стихов как параноике, который бьёт в своей *длинной фанатической мысли* в одну настенную заплату, ходит вокруг разных тем одними кругами[1]. И не просто близка, а неотъемлема от неё самой: ещё не встретив упоминание этого фрагмента из Дашевского, знаешь, что где-то набредёшь на него. Оно появляется трижды, объединяя – вероятно, в образе автора этой книги, в её диалектических противоречиях, – две близких фигуры: «...читатель-параноик, пытающийся извлечь из поэтического текста ответы на вопрос, что́ его неотступно тревожит, и любопытный прохожий, греческой губкой в присосках впитывающий бесчисленные объяснения, своего рода аверс и реверс одной потребности – в вовремя заданном вопросе». Важность такой осознанности подчёркивается и в разговоре о Блоке: «когда автор в недоумении выходит из собственного тела и смотрит на себя со стороны как на курицу, чудом высидевшую золотое яйцо, – всего ничего, и тут особенно интересно подумать о судьбе этих, чудом в руки давшихся, удач...». Выходит, смотрит – без этого никуда. Вопрос рефлексии о собственном поэтическом здесь – болевой. И, возможно, именно эссе для Степановой – неназванная возможность подумать о личной стихотворческой практике через отстранение от себя самой, через персонажную речь, столь близкую ей и в собственных рифмованных или гетероморфных текстах.

В этих вопрошающих эссе вообще много от поэзии. Казалось бы, очевидность, – но не имеем тут в виду «лирический эссеизм», когда автор переносит на статейную речь свой не израсходованный в стихах потенциал. Речь определённа, но ассоциативная логика сшивает сущности: музей брошенных вещей, практику Геннадия Айги, его своеобразное нахождение в новой точке после разговора с Пастернаком – переход в иной язык как усложнение себе задачи (отражение всё того же опыта «внутренней эмиграции», но уже в стилистическом ключе). Зачастую – чтобы разрешиться сильной и предельно ясной программной метафорой: «...те, и другие, и третьи – выжившие, непригодившиеся, растворившиеся в смесительном лоне материи – устроены так же, как стихотворный текст: предназначены для того, чтобы нечто содержать или обнимать, удерживать, сохранять границы и направление. Все они, и стихи тоже, нуждаются в человеке, который только и может войти в пустое пространство, которое обозначает/ограничивает шерстяной свитер и поэтический текст, и сделать его населенным». Мысль Степановой в этой книге движется неявными дихотомиями, которые становятся частью одного целого. Эскапизм и протест как выбор при нахождении в той точке, когда прошлое

[1] «Правильный читатель стихов – это параноик. Это человек, который неотвязно думает о какой-то важной для него вещи – как тот, кто находится в тюрьме и думает о побеге. Он все рассматривает с этой точки зрения: эта вещь может быть инструментом для подкопа, через это окно можно вылезти, этого охранника можно подкупить. А если он зайдет туда как инспектор – он увидит что-то другое, скажем, нарушение порядка, а если как праздный турист – он увидит только то, что отличается от его прежних представлений, или то, что ему показывают…» (Мне вот всегда хотелось если не скорректировать, то перевести этот дашевский сюжет на рельсы самого стихотворца, поэта-параноика, – который уж точно таков, думно-фанатичен). Цит. по: https://os.colta.ru/literature/events/details/34232/?ysclid=ms4l2oa51m669697270

невозможно. Форсируемая избыточность памяти как забота о брошенном – и страх перед ней, побуждающий всё к тому же эскапизму. Композиционная разрозненность, монтажное схождение планов делают эссе настоящим интеллектуальным детективом – и побуждают согласиться с отзывом Алексея Цветкова, вынесенным на обложку «Против нелюбви», о том, что с таким блеском, как Степанова, не пишет никто в России.

Так, дихотомийно, появляется один из самых сильных и живых текстов в книге – «История одного посещения», об американской журналистке Марте Геллхорн, прилетевшей в 1972 году увидеть своего кумира, опальную и властную Надежду Мандельштам. Сравнительного контекста здесь нет, но действует всё та же логика перевоплощения, за которой узнаются и советский быт в контрасте с американским (быт плюс мировоззрение), и сегодняшние реалии, перешедшие из советского опыта, и нынешние страхи. «Миссис М» (так именовала журналистка в своём тексте Надежду Яковлевну) – эвфемизм, для Марты Геллхорн *охраняющий от* («В конце концов, к моменту публикации Надежда Яковлевна Мандельштам была еще жива»). В остраняющей логике Степановой он снова действует ассоциативно, объединяя двух, кажется, ни в чём не похожих женщин, непрозрачно говоря о сегодняшнем новом разобщении. Непрямое высказывание Степановой постоянно находится в зоне социального эвфемизма; политическое проникает в ткань этой книги гомеопатическими дозами – но за прорвавшейся определённостью, внезапным контрапунктным «я» многое угадывается: «Понимание внезапно оказывалось обманкой; вокруг участков совершенной прозрачности и проговоренности обнаруживались поля смещений и искажений – то, что подразумевалось по умолчанию, вдруг надо было объяснять и отстаивать, и что-то всегда мешало доказать свою правоту, слишком разные вещи помнились и держались в уме по ту и эту сторону. Так спорили у Н. Я. в июле 72-го, и это редкий случай, когда я сочувствую Марте». Это «сочувствую» гораздо многозначительнее распространённого предложения, которое, как в соцсетевом чёрном прямоугольнике, «могло бы быть на этом месте». Степанова – мастер ассоциативности, распространяемой на разные уровни высказывания в пределах короткой фразы. Так, в одной из работ, говоря о предвестье Первой мировой войны, она пишет: «Поэты упоённо рифмовали», и в этих трёх словах нельзя не услышать трагическую иронию, невольно беспомощную критику в адрес эскапизма и прозрачно ясную аллюзию на день сегодняшний. В другом тексте, говоря о переводческой работе Григория Дашевского, называет некоторые его решения «режуще персональными». Деликатный эвфемизм принимает в себя и осторожно выраженное несогласие, и намёк на взаимодействие между поэтом и переводчиком (где хоть иногда должен победить первый), и как бы вручаемое поэтом право *другому поэту* на «персональность», то бишь неполную точность, субъективность. Финал этого предложения выводит на общелирическую символику несуществующего и ушедшего – но от контрапунктного «возникновения» человеческого, слишком человеческого сердце сжимается, и здесь стилистический приём неотрывен от неподдельной тоски по другу: «Но некоторые решения кажутся мне вдруг режуще персональными (как “the weariest river” вдруг заменяется на “слабейший из ручьев”, и здесь ткань общего-ничьего на мгновение редеет, и в прорехах, кажется, видно Гришу)». Такое работает только на контрасте – и работает, надо сказать, безотказно: именно потому, что – не форсируясь, а вырываясь. Выводя и читателя в зону сочувствия и эмпатии, действуя как внезапный непроизвольный сердечный жест. Откликаясь и в сердцах единомышленников Степановой.

Откликается на протяжении всей книги в этих внезапных «я» и вопрос о взаимоотношениях со «старым миром» – актуальный для Мандельштама и Блока, для Геллхорн и Мандельштам; по-другому актуальный для Дашевского, пишущего из бытия-в-смерти. Но немаловажный и для обитателей 2022-го и 2023-го – пусть и наталкивается на авторскую мысль о невозможности прямых исторических параллелей, о прошлом, взятом напрокат. И здесь, кажется, невозможно без вкраплений

предельно частного опыта. Сами параллели с чем-либо давним, от слишком лобового восприятия которых автор предупредительно отгораживает читателя, напрашиваются, наплывают на семантическое пространство этой книги; избавиться от сопоставлений не получается – в том числе и благодаря авторским полунамёкам. Авторский итог – простое «жить надо», призыв о необходимости не цепляться за прошлое и начать осмысление здесь-и-сейчас – действует этически и благословляюще, не выходя на уровень декларации или навязчивой сентенции, но скорее отвечая заглавию одному из давних эссе Степановой: «Предполагая жить». Явно предполагая это и для автора-самой себя.

Противоборства и согласия с *собой-автором* в этой логике сопоставлений составляют отдельный увлекательный сюжет. Например, используя метафору «spolia» («когда при возведении нового здания пользуются обломками утраченных как строительным материалом»), эссеист невольно наводит на воспоминания об одной из собственных стихотворных книг – что отсылает к целостной творческой практике, заставляет видеть схождения, новые ассоциативные пучки. («Мы-сами, я-сама» – это перечисление закрепилось за Степановой как явление сложного выбора между обобщением и мгновенной субъективацией, стало индивидуальной формулой речи. Как, например, и её известный речевой ход «страшно важно».) Попытка ответить себе на вопрос о частном творческом методе в каждом эссе «Перемещённого лица» обретает особую увлекательность сомнения и вопрошания, где трудно сворачиваешь на обобщение с разговора о личном, но неизбежно возвращаешься к его прагматике. Поэт Степанова очень хорошо знает, как пишет стихи; эссеист Степанова несколько «вуалирует» это знание, пытаясь выйти на ненавязчивость объективации – и всё равно описывая собственную творческую манеру. (Иначе, наверное, и невозможно в случае большого поэта.) Здесь, в этой жажде осознанности, этическим примером становится всё тот же Григорий Дашевский: «...случай Дашевского, в своей критической практике сделавшего ясность (доступность самого темного тезиса простому, на пальцах, объяснению) непременным условием разговора, совсем особый, и он, быть может, как никто нуждается в вопросе: понимании того, в какой координатной сетке находятся его тексты, поэтические и критические, какие условия существенны для их понимания. Возможно, в первую очередь это касается его последней книги». Кажется, что именно это, большое и предельно внимательное, в том числе и по-человечески, эссе о его посмертном собрании проливает свет на «двуплановый» метод работы Степановой. «При этом результат движения – сам текст – оказывается двузначным, двоякосмысленным: с одной стороны, он несет стигму авторства, с другой стороны – помнит о том, что сам он лишь средство передвижения». «Всё это – и обо мне»: как подытожила учитель Степановой, о *мы-авторе*, о *нас-самой*, становящейся частью этой книги (см. открывающее её эссе об Анне Карениной-читателе). Впрочем, ничего удивительного, – поэт, по слову другого стихотворца, «всегда не о вас, о себе», даже если о нас, а уровень рефлексивной погружённости и персонажной развоплощённости Степановой позволяет «ловить» её личность в оговорках. Да и забудем, что перед нами не литературоведение, а вольная эссеистика, где абстрагироваться от стихотворческой практики – задача невыносимая и ненужная.

Тем интереснее, что один из самых сильных текстов в книге, перешедший сюда из «Против нелюбви» – «Поэма без автора» – посвящён «Двенадцати» и сложным отношениям её создателя с рациональным. Очевидно, что это и взаимоотношения создателя «Перемещённого лица» с самой собой, возникающие в спектре противоположностей. Другой случай такого контекстуально разрешимого противоречия здесь может касаться одновременно рассуждений об избавлении от собственного «я» в тексте – и желания предоставить себя чему-то медиумическому, большему, чем ты, стать центром притяжения неких сил; борьба с романтической парадигмой – и нахождение внутри неё. В попытках разрыва с каноном, ощущении «отдельности» чувствуется ученица Татьяны Бек – недаром о своём учителе Мария вспоминает так: «Я очень много думаю

о Т.А., чем старше становлюсь – тем больше; и тем больше понимаю, что это действительно была своего рода школа, даже в большей степени, чем это казалось когда-то – и касающаяся совсем других дисциплин. Собственно, все в ней было важным, и поучительным, и целебным – и страсть к защите и сопереживанию, и готовность возмутиться, и способность к несогласию с теми, кого любишь (а это очень тяжко дается). И щедрость, любопытство, девическая и даже детская готовность к авантюре. И, может быть, главное: настойчивое одиночество, отдельность, умение оставаться в собственных границах, не соглашаясь быть ничем иным – как бы ни хотелось. Это все немного шире или уже того, что принято называть разговором о стихах. Но если верить, что эстетика есть подвид этики, ее расширение, так сказать, крона этого прямолинейного ствола – разницы действительно нет»[1]. Какой-то отзвук этой отдельности можно найти и в повествовании о Мандельштаме, и в тексте об Айги, где пространство «будто само собой образовалось и теперь само себя хранило, спокойное, как гласная буква посреди листа».

Умение Степановой менять интонационные регистры в этой книге создаёт особый эффект двойного присутствия – в прошлом и настоящем. «Петроградское небо мутилось дождем, две недели назад столица была спешно переименована, -бург с его немецким привкусом пришлось заменить на -град, громили немецкие лавки, топили в Мойке бронзовых коней, украшавших немецкое посольство, пятнадцатилетнему Косте Вагенгейму сменили фамилию на Вагинов, с нею он всю жизнь и проходил». И уже не скажешь, о ком это, – о нас или персонажах прошлого: тут, в этой спешной перечислительности, есть узнаваемое соприсутствие, нахождение автора в историческом «внутри». Видела. Знала. Была. В любом статусе перемещённого лица – со своим народом, там, где он (блэкаут, блэкаут).

[1] Мария Степанова. Дело стихов – уводить себя в зону неполной видимости // Литературa, 10 марта 2015.

Антон ВАСЕЦКИЙ

ПЯТЬ СТАДИЙ ПРИНЯТИЯ НЕИЗБЕЖНОГО

Анна Гедымин. Возьми себе. – Ростов-на-Дону: Prosodia, 2026. – 84 с. – (Серия «Действующие лица»).

В размышлениях о любви сломано столько копий, что не добавить еще один обломок было бы трусостью. Что являет собой это чувство, выскакивающее, как убийца в переулке, – благословение или проклятие, предмет повседневного выбора или элемент предназначения? Казалось бы, спектр трактовок от Платона и Аристотеля до Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга (а также более поздних психотерапевтических изысканий) исчерпывающ, и тему можно считать закрытой. На теоретическом уровне.

Но есть и эмпирический уровень. Именно ему посвящена книга стихов Анны Гедымин «Возьми себе». Она разбита на пять глав, самая короткая из которых содержит семь стихотворений, а самая длинная – шестнадцать. Каждый раздел объединен общей темой или мотивом. И только к финалу ты понимаешь, какой путь проделал вместе с героиней книги.

Стихотворение, давшее название первой главе, называется «Сухой водоем». В основе оксюморона – попытка осмыслить безжалостную силу времени. «*Там, где наши мелькали следы, / Ныне – вечного символ покоя. / Ни тебя, ни меня, ни воды...*» – обращается к некогда дорогому для себя человеку героиня. Эта боль пронизывает весь раздел. Увы, предмета «Человек и время» в школе не изучают, и даже запечатленный в памяти ангел «*вдоль той мостовой*» не способен спасти от перемен.

Интересна и структура главы. Она начинается со стихотворения «Второе января», а заканчивается стихотворением «Рождественская ночь». Читатель должен сам решить, как долго писались стихи в указанном промежутке – несколько дней или целую жизнь.

Но за то, что всплываешь из мрака
Несмотря на лихое житье, –
Только радоваться,
Только плакать
Остается.
И славить ее.

Анна Гедымин как может избегает ритмической монотонности. «*Снова недостижим размеренный ритм*», – как будто бы раскрывает она свой творческий метод, с легкостью переходя от анапеста к раешному стиху. И хотя тропы в ее текстах выглядят поначалу подчеркнуто аскетичными *(«Снег — почти до небес, / Свет — почти до земли, / Старый дом, старый лес / От дороги вдали»*), в дальнейшем нас ждет немало открытий в мире повседневности: от неистребимого духа кошачьей органики до солнца, запаханного во мглу, и шахматиста в парке, разливающего по кружкам сумерки. Не говоря уже о смелых рифмах (*«зануды – иуды»*) и омонимичных играх (*«И сны мои вещи»*).

Еще одна особенность поэтики Анны Гедымин заключается в том, что, исследуя вполне себе невеселые темы одиночества, оставленности и забвения, она словно компенсирует их тяжесть самим фактом поэтического высказывания. Одновременно с этим фокусируясь на непрестанном чередовании печали и радости в жизни человека.

Какие же смыслы ждут нас в следующих главах? Второй раздел «На восходе Луны» заявляет о тьме – инфернальной и онтологической. Ее воплощением становятся ковид в одноименном триптихе, затем смерть матери в пронзительном полиптихе «Пятая годовщина», а далее хоть и «*недобрая*», но, к сожалению, преходящая любовь мужчины к женщине.

Закрывающее вторую главу стихотворение «Вопрос» оставляет героиню один на один с пустотой – практически, как с отражением в холодном стекле в уже упомянутой «Пятой годовщине». *«Мама, ты победила: / Я – это ты»*, – признается героиня чуть ранее. И почти с той же интонацией обращается к терзающей ее тоске в «Вопросе»:

Что ты глядишь так холодно, так дико,
Так хорошо?..

Третья глава «В старом городе» посвящена памяти. «*Через десяток лет / Этот неровный свет / Вернется к тебе во сне – / Мурашками по спине*», – прокручивает героиня перед глазами калейдоскоп событий и пространств прошлого. Наблюдая старый город, прерванную расставанием любовь и музыкальную школу в детстве, ставящую знак тождества между Пушкиным и Моцартом. А чуть позже – Бетховеном.

Четвертая глава «Возьми себе» эклектична в своей проблематике. Она объединяет в себе элегичные размышления о принятии мира, взаимодействии с высшими силами, расставании с возлюбленным и готовности отдать ему последнее: *«И – да, вот сердце мое. / Если что – / Возьми себе»*. Увы, даже надежда, высказанная в последнем стихотворении раздела «Новогодний тост», тиха и печальна:

Ибо, как бы ни были
Предсказания лживы,
Мы пока еще живы...

Так что же за путешествие было уготовано нам автором? Ответ приходит при чтении последней главы «День восьмой», чье название напрямую отсылает к Библии. Это и финал цикла творения, и начало нового отсчета. Преодолев первые четыре стадии, героиня целиком посвящает пятый раздел тому, что пыталась если не отвергнуть, то рационализировать: любви к герою. И каждый из текстов раздела содержит новый оттенок этого переживания: от неспособности отпустить до готовности пожертвовать собой, от нежелания забыть до фатализма.

Ты для меня
Больше, чем беда,
Больше, чем вода
В пересохшей округе.
Ты для меня –
И шальная толпа,
И лесная тропа,
И друзья, и подруги.

Иными словами, речь идет об абсолютном принятии чувства, которое на поверку оказывается сильнее и Танатоса, и быта, и свободы, и разума. И даже времени. Чувства, рождающегося как эгоистичное и выворачивающего наизнанку, но в результате делающего тебя самим собой.

Мы недаром упомянули психотерапевтические подходы в самом начале. Согласно им, принятию неизбежного предшествуют отрицание, гнев, торг и депрессия. Да, возможно, Анна Гедымин воплощает их не так буквально. Но на фоне стремительно теряющего гуманность мира финал книги выглядит как минимум жизнеутверждающе. Человеческая любовь вне рамок. Была, есть и будет. Прими это, как предписано в заглавии, и живи дальше.

Настал черед поговорить об интертекстуальных связях, представленных в «Возьми себе». Автор открыто обращается к Иосифу Бродскому, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Александру Блоку и Александру Сергеевичу Пушкину. Любопытно, что диалог с последним не лишен приговских интонаций:

Даже те, кто стал великими
Посреди полей и сел,
«Пушкин – наше все! – выкрикивали. –
Пушкин – наше вот и все...»

Это указывает не только на способность синтеза как один из элементов авторского инструментария, но и на вписанность представленной поэтики в богатую культурную традицию. Об этом же говорится в блербах за подписью уже покойных Льва Аннинского и Бахыта Кенжеева, а также здравствующего Владимира Козлова. Первый акцентирует внимание читателя на прозрачности боли Анны Гедымин. Второй – на красоте ее мира и таланте. Третий – на сплавлении ею исторической и аналитической элегии.

Три разных взгляда на одну и ту же книгу не могут не напомнить нам расхожую истину: каждый видит в авторе то, что близко ему. Согласимся и резюмируем, что «Возьми себе» представляет собой навигатор по сложному и удивительному миру, где чудо проживания идет рука об руку с пронзительностью ощущений, а зримое присутствие Бога не спасает от ошибок, которые мы совершаем, пытаясь стать чуточку счастливее.

Евгения ЛИБЕРМАН

«ТЫ БЕЗЗАБОТНАЯ, МОЯ ВЬЮГА»:
Хроники конца света в поэзии Насти Верховенцевой

Настя Верховенцева. Все спят не видя сна. – М.: Neomenia, 2026. – 56 с.

Первое, что хочется отметить при анализе текстов Насти Верховенцевой, – нахождение вещей не на своих местах: карга прядет табак, кроты вытаскивают на свет своих детей. Читатель видит высвобождение пространств из своих границ *(«скинутые обломки архипелага»*, *«глаза-гусеницы»*, *«дышишь на середине дыхания и никак не можешь надышаться»*). Перед нами хроника конца света, но катастрофичность мироощущения недостаточна: всегда ждешь, что произойдет что-то ещё. Этим поэзия Верховенцевой отличается, к примеру, от письма Игоря Булатовского с его временем конца: оба автора работают с апокалипсисом как с основным событием, но, тем не менее, в отличие от Булатовского, Верховенцева видит просвет в кромешном хаосе *(«Сегодня одиннадцать овец / ведут на убой»*). Ударения принципиально ставятся на другие слоги («на́ружу»), чтобы передать ощущения, которые выходят за рамки литературного языка.

В этих текстах происходит рас-сотворение, как в поэзии Анастасии Кудашевой; все упущено, запущено, но не только и не столько в смысле заброшенности, запущен сам процесс движения и развития.

Рас-сотворяется и тело: ноги несут сами, ступни отступают, *«я буду лежать разобранным / ориентиром, розой мира лягу...»* Человек предстает максимально разобранным, на уровне животных, которых порубили и чье мясо продают: *«бараньи ребра, / лапки куриные, таз человечий; / из околоплодных вод и / из крови расплавленной / вытекают железные отложения, / за рукав затекают»*. Всё стре-

мится причинить лиросубъекту вред: *«я вижу раскиданные монетки, / превращающиеся в алую площадь, / красную, она, заливаясь, как кровь злая, / печёт мне набухшие руки»*, *«и разбитые потолки в кончики пальцев»*.

Верховенцева далеко заходит в стремлении катастрофизировать и так плотную, сгущенную реальность: *«смерть всему зерну которое не всходит как бы я его / ни кропил...»* Приложено усилие, чтобы смягчить последствия, но смерть доминирует. Даже в утешении чувствуется катастрофа. Читатель становится свидетелем распада пространства на сотни мелких объектов (*«Синицами спало / небо»*, *«те стрижи, которые поют, как ты / говоришь, как пьяные, для меня бьются в закрытые окна»*).

Земля – источник познания, все завязано на ней: ее слушают, к ней прикасаются, от неё черпают силы, на ней все и завершается, как в стихотворении «этот день никогда не закончится», где представлена картина похорон. Беспамятство – грех, за который следует наказание – привязывание к земле: *«и на ресницах несодранные комья, / накопившиеся от непробудного сна, / превращаются в сгустки грязи / земли оторопелой земли никому не нужной»*.

Ветер, априори самая свободная и самая живая из стихий, тем не менее становится зависимым, подчиняется чужой воле, но он же и вырывается на свободу и начинает разрушать: *«проходит / в горло вместе с сбивающимся / на потолке вентилятором. Я / вижу следы – лопасти падают / вместе с кожей клочьями, / и лепечут на языке, / накинутом наспех на ветер»*.

Книга Насти Верховенцевой будто бы объясняет стихии, отчасти отождествляя их со всадниками апокалипсиса, отчасти показывая, что за всеми изъянами земли, воздуха, воды и огня стоим мы – люди.

Контакты:

Анна Сафронова *(гл. редактор, проза)*: safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров *(зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru
Олег Рогов *(архивные публикации, критика)*: rgv@mail.ru

Сайт журнала: http://volga-magazine.ru/

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
http://magazines.gorky.media/volga

Подписано в печать 22 октября 2026 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.